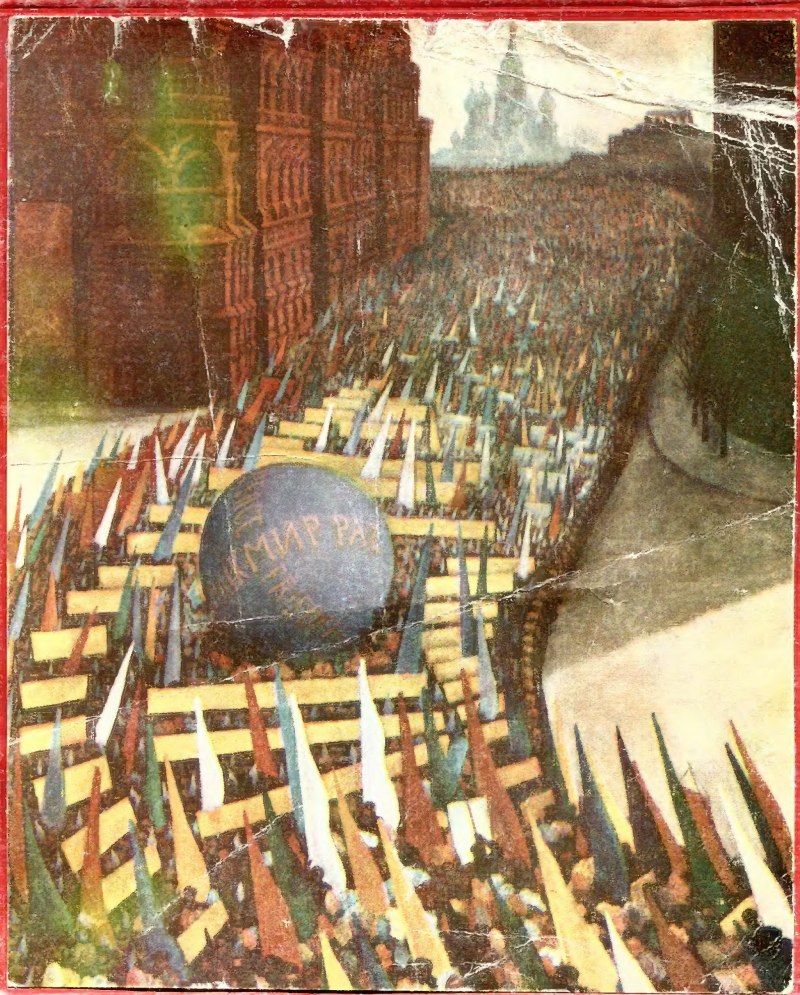
ИНОСТРАННАЯ *литература*



11
1957

В. И. ЛЕНИН

Работа румынского художника Жюля Перахима.

ИНОСТРАННАЯ Литература

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

40 ЛЕТ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Содержание

ЛЕНИН И ЗАРУБЕЖНЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

ДОКУМЕНТЫ ИНСТИТУТА МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА ПРИ ЦК КПСС 3

ЛЕНИН И РИД 5

I

ДЖОН РИД — Коммунистическое движение в Америке 11

В. И. ЛЕНИН — Записки Л. А. Фотиевой и М. И. Гляссер 16

В. И. ЛЕНИН — Товарищу Эдварду Мартину 17

ДЖОН РИД — Письмо В. И. Ленину 18

В. И. ЛЕНИН — Записка Г. В. Чичерину . . 19

В. И. ЛЕНИН — Записка М. В. Кобецкому . 19

II

В. И. ЛЕНИН — Записка секретарям о Луизе Брайант (Рид) 20

III

В. И. ЛЕНИН — Всем Народным Комиссарам и членам коллегий 21

В. И. ЛЕНИН — Записки секретарям . . . 23

IV

В. И. ЛЕНИН — Письма Г. Б. Краснощековой 25

Г. Б. КРАСНОЩЕКОВА — Бесси Битти у Ильича 28

«ДЕСЯТЬ МЕСЯЦЕВ С ЛЕНИНЫМ» 31

ЛЕНИН и УЭЛЛС 32

В. И. ЛЕНИН — Пометки на книге Герберта Уэллса «Россия во мгле» 35

ГЕРБЕРТ УЭЛЛС — Письмо А. М. Горькому 42

ЙОЖЕФ ФОДОР — Ленин (Стихотворение) . 45

11

1957

НОЯБРЬ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ИЗВЕСТИЯ“

МОСКВА

ВЕЛИКАЯ ДАТА

ШОН О'КЕЙСИ — Когда весть пришла в Дублин 47
ПЬЕР ГАМАРРА — Образ матери 50
ФРЭНК ХАРДИ — Из воспоминаний 51
МУХАММЕД ДИБ — Книга, о которой я мечтаю 53
ЛЕОН КРУЧКОВСКИЙ — Великая Октябрьская 54

ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР — Песня павших (Стихотворение) 56
ЛЭНГСТОН ХЬЮЗ — Ленин (Стихотворение) . 57

СТРАНИЦЫ, ВДОХНОВЛЕННЫЕ ОКТЯБРЕМ

МАРИЯ МАЙЕРОВА — Баррикады в предместье 59
ЛЮДМИЛ СТОЯНОВ — Ладислас Ламот . . . 69

СТИХИ ОБ ОКТЯБРЕ

ЛАМАР — Из книги «Боевые песни» . . . 83
ВОЙТЕХ МИГАЛИК — Октябрь 84
ЭРИХ ВАЙНЕРТ — Книга для гостей . . . 85

РАССКАЗЫ О СЕГОДНЯШНЕМ ДНЕ

МИХАЙ БЕНЮК — Степь 91
СТАНИСЛАВ ВЫГОДСКИЙ — На вокзале . . 98
МОЙСИ ЗАЛОШНИЯ — Военный билет . . . 104

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ — Не хочу, чтобы он умирал (Роман) 109
СЮЙ ХУАЙ-ЧЖУН — Мы сеем любовь (Роман. Окончание) 223

КРИТИКА

И. АНИСИМОВ — Жизнь, отданная будущему 254
Ф. НАРКИРЬЕР — Коммунизм — это юность мира 267

ИЗ МЕСЯЦА В МЕСЯЦ

(Хроника) 272

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ . . . 287

На обложке: работа мексиканского художника Диего Риверы «Демонстрация на Красной площади в Москве».

В этом номере помещены две вкладки с многокрасочными репродукциями работ современных зарубежных художников.

Документы Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС

В связи с сорокалетием Великой Октябрьской социалистической революции Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС публикует на страницах журнала «Иностранная литература» ряд материалов В. И. Ленина, хранящихся в Центральном Партийном Архиве.

Публикуемые документы характеризуют встречи и беседы В. И. Ленина в 1919—1921 годах с представителями английской и американской литератур: Гербертом Уэллсом, Джоном Ридом, а также с приезжавшими вместе с ним в Россию его женой Луизой Брайант (Рид), Луи Фрейной и Бесси Битти. Документы показывают, как помогал Ленин зарубежным литераторам знакомиться с деятельностью Коммунистической партии и Советского государства.

Публикация открывается запиской «Коммунистическое движение в Америке», составленной Джоном Ридом для В. И. Ленина в ноябре-декабре 1919 года. В главах I и II этой записки Рид сообщает Ленину о ряде событий в истории американского социалистического движения, предшествовавших созданию Коммунистической партии в Соединенных Штатах. Писатель рассказывает о влиянии Великой Октябрьской социалистической революции на американских рабочих-социалистов. Он обличает предательство оппортунистами коренных политических интересов рабочего класса, восстанавливает факты, живо характеризующие борьбу партийной бюрократии американской социалистической партии против ее Левого Крыла. Главы III и IV записки Джона Рида в своей основной части опубликованы в №№ 9 и 10 журнала «Коммунистический Интернационал» за 1919-1920 годы и воспроизведены в книге «Капитализм и рабочее движение в Америке», изданной на русском языке в 1924 году. В данной публикации они поэтому не приводятся.

Далее впервые публикуется факсимиле записок В. И. Ленина секретарям о приеме Джона Рида 17 августа 1920 года, и русский перевод последовавшего за ним письма В. И. Ленина Эдварду Мартину — представителю Объединенной Коммунистической партии Америки в Коммунистическом Интернационале и другу Рида.

В связи с тем, что в Америке «неистовствует антисоветская пропаганда, и вся капиталистическая печать изобилует нападками на Советскую Россию», 20 сентября 1920 года Джон Рид просил В. И. Ленина дать интервью Луизе Брайант. Прочитав письмо, В. И. Ленин запросил мнение Народного Комиссара по иностранным делам Г. В. Чичерина о характере интервью.

Переписка В. И. Ленина с секретарем Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала М. В. Кобецким посвящена кончине Джона Рида.

Ряд документов характеризует поддержку, которую оказывал В. И. Ленин вдове Джона Рида, писательнице и журналистке Луизе Брайант (Рид).

В серии писем и записок, относящихся к августу-сентябрю 1920 года, В. И. Ленин обязывает всех Народных Комиссаров и работников секретариата Совнаркома оказать содействие соредактору Джона Рида по газете «Революционный Век» «*Луи Фрейна*, американскому коммунисту, который остался на время в Москве и который является автором крайне полезных литературных произведений (о большевизме, его истории и тактике) на английском языке».

Публикация заключается двумя письмами к Г. Б. Краснощековой, связанными с беседой В. И. Ленина и американской очеркистки Бесси Битти, приехавшей в Россию вместе с Джоном Ридом, Луизой Брайант и Альбертом Рисом Вильямсом.

Публикуемые далее пометки В. И. Ленина на книге Герберта Уэллса «Россия во мгле» дополняют известные ранее данные об их встрече, состоявшейся в середине октября 1920 года. Наряду с антимарксистскими высказываниями Уэллса, свидетельствующими о его буржуазно-либеральной идейной ограниченности, Ленин отмечает заявления выдающегося английского писателя о достижениях и завоеваниях Октябрьской революции. Из фондов Архива А. М. Горького Института мировой литературы Академии наук СССР впервые публикуется письмо Г. Уэллса А. М. Горькому от 21 декабря 1920 года, сообщающее о полемике Уэллса с Черчиллем в связи с циклом очерков «Россия во мгле». Уэллс пишет Горькому, что, рассказав правду о Советском правительстве и большевиках, он достиг многого, чтобы «подготовить почву для культурных отношений между двумя половинами Европы». Уэллс неутомимо боролся «с глубоко укоренившимся недоверием к большевистским властям», присущим некоторым недальновидным зарубежным буржуазным политикам и в наши дни. Свое письмо Уэллс заканчивает приветствием «великой и дорогой, незабываемой России».

Текст, подчеркнутый одной чертой в публикуемых рукописях В. И. Ленина, набран обычным *курсивом*, двумя — **полужирным**, тремя — **полужирным в разрядку**. Все сокращенные в оригинале слова расшифрованы. Общеупотребительные латинские выражения («NB» («nota bene») — «заметьте» и другие) оставлены без перевода. Заглавия публикуемых документов, принадлежащие авторам, отмечены знаком * слева. Пояснительные примечания помещены вслед за текстом соответствующих документов.

Ленин и Рид

I

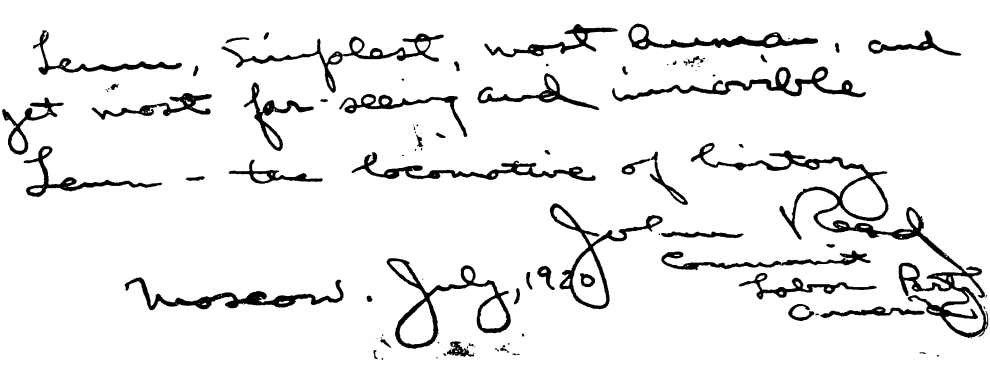
За три десятилетия своей публицистической деятельности Ленин написал предисловие лишь к одному литературно-художественному произведению. То была первая книга о Великой Октябрьской социалистической революции — «Десять дней, которые потрясли мир» Джона Рида. Ныне это предисловие, написанное в конце 1919 года, широко известно. Ленин заявил в нем, что книгу Рида следует распространить в миллионах экземпляров и перевести на все языки, ибо она правдиво и необыкновенно живо излагает события, столь важные для понимания того, что такое пролетарская революция и диктатура пролетариата.

Джон Рид первым в мировой литературе создал эпическую картину рождения диктатуры пролетариата. Предваряя на год Уэллса, сделавшего аналогичный вывод в книге «Россия во мгле» (см. стр. 36 данной публикации), Рид заявил, что большевики были «единственными людьми в России, обладавшими определенной программой действий». Он вдохновенно пишет о «сотнях тысяч русских людей», пошедших за большевиками «с таким беспримерным единодушием».

Через всю книгу Рида проходит ее центральный образ — образ Ленина, величайшего человека в истории, человека, который «предвозвестил мировую социалистическую революцию». Рид неизменно подчеркивает идейную близость Ленина рабочим и крестьянам в солдатских шинелях. Он пишет, что в революционных бурях Ленин «стоял незыблемо, как скала». Он видит в Ленине необыкновенного, подлинно народного вождя, чуждого какой бы то ни было рисовки, не поддающегося настроениям, твердого, непреклонного, без эффектных пристрастий, но обладающего могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки при сочетании проницательной гибкости и дерзновенной смелости ума. Восторженно отзывался Рид о непревзойденном ораторском искусстве Ленина, от слов которого всегда «веяло спокойствием и силой, глубоко проникавшими в людские души». Он отмечает, что народ «всегда верил тому, что говорит Ленин».

Позднее, летом 1920 года, Джон Рид писал в связи с пятидесятилетием со дня рождения Владимира Ильича: «Ленин — такой простой, такой гуманный и в то же время такой дальновидный и непоколебимый. Ленин — локомотив истории».

О Ленине говорил Джон Рид и в статьях, опубликованных в 1919-1920 годах на страницах журнала «Коммунистический Интернационал». В № 10, рисуя обстановку в США накануне Октябрьской революции, Рид вспоминает, что уже к концу весны 1917 года в американских газетах всех направлений «стало появляться имя Ленина и все чаще стало упоминаться слово «большевик». Как отмечает Рид, для американских рабочих-социалистов Октябрьская революция явилась огромным толчком, ибо она «доказывала, что пролетариат может захватить власть в свои руки». Рид снова, теперь уже в чисто публицистической форме, отстаивает ленинскую идею диктатуры пролетариата, как главный результат социалистической революции.



Факсимиле записи Джона Рида о В. И. Ленине (Москва, июль 1920 года). Уменьшено.

26 июля 1920 года, выступая вслед за Лениным на II конгрессе Коммунистического Интернационала, Джон Рид произнес волнующую речь о преследованиях негров в Соединенных Штатах и подлой «системе Джима Кроу», по которой негры отделялись от белых во всех сферах жизни до школы и церкви включительно. Рид саркастически говорил о том, что реакционное духовенство Соединенных Штатов даже в загробной жизни предоставляет богобоязненным неграм рай лишь «по системе Джима Кроу».

В дни позорных событий в Литл-Роке уместно напомнить идеологам «американского образа жизни» гневные слова Джона Рида, произнесенные тридцать семь лет тому назад: «Положение негров, особенно в южных Штатах, ужасно. Они лишены всех политических прав... Негры не могут ездить в одном вагоне с белыми, посещать одни и те же гостиницы и рестораны или жить в одних и тех же кварталах в городах... На юге негр вообще бесправен и не пользуется защитой закона. Белые могут безнаказанно убивать негров. «Великое достижение» белых на юге — это линчевание негров. Это — убийство, совершаемое толпой, причем обычно негра обмазывают нефтью, подвешивают к телеграфному столбу и затем сжигают. Все население города — мужчины, женщины, дети — сбегается на это зрелище и уносит домой «на память» клочки одежды и мяса убитого негра».

Речь Джона Рида представляла собой ответ на выдвинутый Лениным 5 июня 1920 года перед делегатами II конгресса запрос о положении негров в Америке (см. «Первоначальный набросок тезисов по национальному и колониальному вопросам» — Сочинения, т. 31, стр. 122).

17 августа 1920 года Ленин беседовал с Ридом. Через несколько дней — 27 августа — Ленин в письме к другому американскому коммунисту Эдварду Мартину сослался на одно из сообщений Джона Рида, полученное, видимо, во время давней беседы с ним.

На другой день после кончины Рида Ленин поручил работникам Коммунистического Интернационала немедленно перевести на английский язык и направить за границу, для осведомления трудящихся всего мира, сообщение о смерти писателя. По указанию Ленина, Рид был похоронен на Красной площади, у Кремлевской стены. «Тот, кто описал похороны жертв революции, как Джон Рид, достоин этой чести», — писала в предисловии к его книге Н. К. Крупская.

II

Перед своим первым отъездом из Советской России в 1918 году Джон Рид выступил в присутствии В. И. Ленина на открытии III съезда Советов. Он заверил тогда делегатов съезда, что, возвращаясь «в страну закоренелой реакции и господства капитализма, он черпает глубокое удовлетворение в сознании того, что победа пролетариата в одной из могущественнейших стран — не сон, а действительность».

Писатель обязался, вернувшись в «консервативную страну господствующих империалистов... рассказать американскому пролетариату обо всем, что делается в революционной России» и поделился своей уверенностью в том, что рассказ этот «вызовет отклик в недрах угнетенных, эксплуатируемых масс».

Джон Рид выполнил свое обязательство, создав книгу «Десять дней, которые потрясли мир», написав множество статей и корреспонденций о Советской России, выступив с десятками лекций, речей, докладов. Джон Рид, Луиза Брайант, Альберт Рис Вильямс и другие прогрессивные американские журналисты тех лет были первыми представителями мирового общественного мнения, которые приехали в Россию не обучать «отсталый русский народ» западной цивилизации, а учиться у русских рабочих и крестьян, как строить новый, социалистический мир.

К документам о Джоне Риде примыкает и ряд публикуемых материалов о его жене и соратнице Луизе Брайант (Рид) (1890—1936). Вместе с Джоном Ридом она осенью 1917 года приехала в революционную Россию. Это ее имеет в виду писатель, когда рассказывает, как «четверо иностранцев, в том числе одна женщина», пробрались в осажденный Зимний дворец, чтобы присутствовать при последних минутах Временного правительства. «Нас было пятеро, в том числе две женщины»,— пишет далее Рид о Зимнем дворце, уже захваченном красногвардейцами. Среди немногих писателей — свидетелей этого исторического события, вместе с Ридом, Альбертом Рисом Вильямсом, Бесси Битти и переводчиком полковника Робинса Александром Гамбергом была опять-таки Луиза Брайант. С ее слов Рид описывает один из эпизодов уличных боев 29 октября в день юнкерского антисоветского мятежа в Петрограде. Рассказывая бесславную историю батальона женщин-«ударниц», Рид отмечает, что подробности «читатель найдет в книге Луизы Брайант «Шесть красных месяцев в России».

Конечно, Луизу Брайант нельзя отождествлять с Джоном Ридом. Он и его ближайший друг Альберт Рис Вильямс стали не только горячими и убежденными сторонниками Октября, но и его непосредственными участниками. Луиза Брайант, подобно Бесси Битти, была лишь сочувствующей Советской власти наблюдательницей великих исторических событий.

Зимой 1919 года Луиза Брайант вместе с Ридом и Вильямсом предстала перед достойной предшественницей пресловутой комиссии Маккарти — комиссией сенатора Овермэна, созданной специально для разжигания антисоветской истерии в Соединенных Штатах. Как сообщает Рид в статье «Белый террор», опубликованной на страницах № 8 журнала «Коммунистический Интернационал» за 1919 год, правительство США и правительства отдельных штатов создавали тогда специальные следственные комиссии, вызывая для опроса отъявленных противников Советской власти и заведомых контрреволюционеров. Их лживые, клеветнические показания буржуазная печать публиковала на самом видном месте под крикливыми заголовками. Одновременно, при поддержке правительства, по всей стране бесчинствовали такие организации, как «Лига национальной бдительности», «Американская лига охраны», «Американское общество защиты» и т. д. Их члены избивали, а то и убивали сторонников Советской России. Открытое выступление в ее защиту было в тех условиях настоящим подвигом.

Показания Брайант, данные ею 20 и 21 февраля 1919 года, уступают истинно вдохновенным речам Рида и, особенно, Вильямса, выступивших в сенатской комиссии, чтобы рассказать американскому народу правду о Советской России. Однако для юной американской журналистки эти выступления были актом несомненного гражданского мужества. Брайант в ответ на ханжеские вопросы сенаторов о ее религиозных убеждениях саркастически заметила, что ее, видимо, «судят за колдовство». Она призвала наладить «дружественные отношения между Россией и Америкой». Резко выступила Брайант против американской интервенции в Советской России, оправдать которую и намеревалась комиссия Овермэна.

— Я, как американка, признающая право самоопределения, — заявила писательница, — не могу признавать интервенцию. Я не вижу, как мы можем бороться одновременно за демократию и самоопределение во Франции и против того и другого — в Сибири. Я полагаю, что мы должны отозвать наши части из России и что в интересах обеих наций было бы восстановление дружеских отношений.

Осенью 1920 года Брайант нелегально выехала из Соединенных Штатов в качестве представительницы влиятельных газет, которые тогда выступали за признание Советской России. Как сообщил тогда Рид Ленину, Луиза Брайант, «разумеется, постоянно сотрудничает с американскими коммунистами, и ей можно полностью доверять».

В архиве Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС хранятся документы В. И. Ленина, связанные с журналистской деятельностью Луизы Брайант. 3 января 1921 года она обратилась к Ленину с просьбой о беседе перед отъездом в Бухару. «Вы, должно быть, помните, что Рид и я брали у Вас интервью в связи с первыми четырьмя месяцами Советской власти», — напоминала Брайант Владимиру Ильичу. Видимо, для работников своего секретариата, не владевших английским языком, Ленин указал на ее письме: «письмо Луизы *Брайант*. Брайант просит свидания».

Через несколько дней — 12 января 1921 года — Ленин написал для Брайант, очевидно в связи с ее поездкой в Туркестан, такое удостоверение: «Удостоверяю, что податедьница товарищ Луиза Брайант (Louise Bryant), американская коммунистка, вдова товарища Джона Рида, члена Исполкома Коммунистического Интернационала. Очень прошу партийные и советские учреждения оказывать всяческое содействие товарищу Луизе Брайант».

Формально Луиза Брайант не состояла тогда в Американской Коммунистической партии, но Ленин судил о писательнице по ее делам, по всей ее литературно-журналистской деятельности, близкой в те годы коммунистам.

Вернувшись в Америку, Луиза Брайант продолжала рассказывать своим соотечественникам правду о Советском государстве и его руководителях. В вышедшей в 1923 году книге «Зеркало Москвы» она писала о Ленине, как об убежденном интернационалисте и неутомимом борце за счастье человечества.

Большой интерес представляют записанные Луизой Брайант высказывания Ленина о советско-американской дружбе.

«Америка интересовала его больше, чем какая-либо другая страна», — сообщает Брайант. Однажды сотрудник Народного Комиссариата Иностранных Дел сказал Брайант, что если Америка не поторопится начать торговые переговоры с Россией, придется заключить торговое соглашение с Японией. Брайант сослалась на это замечание, беседуя вскоре с Лениным.

— Чепуха, — заявил он в ответ. — Нам нужны тысячи тракторов, паровозов, автомобилей... Мы должны получить все это из Америки, мы должны стать с Америкой друзьями.

«Я никогда не забуду, — пишет Брайант, — как однажды, в самые мрачные дни блокады, я пришла к Ленину и попросила его разрешить мне поездку в Среднюю Азию, после того, как в Наркоминделе мне решительно отказали в этом. Он просто посмотрел на меня и улыбнулся».

— Я рад видеть в России человека, — сказал Владимир Ильич, — обладающего достаточной энергией для исследовательской деятельности. Вас, правда, могут там убить, но если все обойдется благополучно, поездка эта станет самым значительным событием в вашей жизни. Рискнуть во всяком случае стоит.

Два дня спустя Брайант уже отправилась в Туркестан, снабженная собственноручным письмом Ленина и мандатом на проезд в любом поезде и пристанище в любой государственной гостинице.

В том, что писала Брайант о Ленине, много наивного, но ее очерки полны искренности и содержат немало ценного для характеристики различных сторон деятельности Владимира Ильича в первые годы существования Советского государства.

III

В. И. Ленин всегда придавал большое значение советско-американской дружбе.

Ленин действенно помогал честным американским литераторам, ставшим коммунистами, как Джон Рид и Роберт Майнор (1884—1952) — художник, а потом и редактор нью-йоркской «Дейли уоркер», или сочувствовавшим Советскому строю, подобно Альберту Рису Вильямсу, Луизе Брайант (Рид) и ряду других. Публикуемые ниже документы показывают, как Ленин поддерживал американского публициста Луи Фрейну, в то время активно сотрудничавшего в коммунистических изданиях, руководимых Джоном Ридом.

О Луи Фрейне Ленин впервые упоминает летом 1920 года в записке, в которой подчеркивает, что, по его мнению, «*надо* издать по-русски "Two pages" etc. Де-Леона с примечаниями и предисловием Фрейна». «Я тоже напишу несколько слов», — добавил к этому Владимир Ильич.

Полное заглавие этой книги одного из наиболее популярных лидеров американской социалистической партии гласит: «Две страницы из римской истории. I. Вожди плебса и вожди трудящихся. II. Предостережение Гракхов». Она была издана в 1915 году в Нью-Йорке, но в русском переводе так и не появилась. Ленинское указание не было выполнено Госиздатом. Четыре впервые публикуемые документа В. И. Ленина связаны с предполагавшейся, но, видимо, не осуществленной или не доведенной до конца литературной работой Фрейны. В письме, адресованном «Всем Народным Комиссарам и членам коллегий», в тот день, когда он беседовал с Ридом по «очень важному делу», Ленин характеризует Фрейну, как американского коммуниста, автора «крайне полезных литературных произведений» о большевизме.

Ленину, видимо, были известны статьи Луи Фрейны в еженедельнике «Революционный Век» и его большая работа «Революционный социализм и исследования о социалистических преобразованиях», изданная в 1918 году нью-йоркским издательством «Коммунист». На II конгрессе Коммунистического Интернационала Фрейна, вслед за Джоном Ридом, не раз в присутствии Владимира Ильича остро полемизировал с Зиновьевым и Радеком.

Фрейна призывал тогда зарубежных коммунистов учиться у русских большевиков подлинно революционной стратегии и тактике. Когда голландские и немецкие «левые» оппортунисты провокационно предложили перенести местопребывание Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала из Москвы в Берлин, Фрейна решительно выступил против этого губительного плана. «Русские товарищи,— заявил он, — прекрасно осведомлены о том, что происходит в мире, и никто на этом конгрессе не обнаружил лучшего интернационализма, нежели товарищи из русской партии... Пути мировой политики скрещиваются в Советской России; русские товарищи часто гораздо лучше нас осведомлены о скрытых сторонах политики наших собственных империалистских правительств».

Фрейна, как и многие другие делегаты II конгресса Коммунистического Интернационала, приехал в Советскую Россию, чтобы глубже изучить революционный опыт русских коммунистов. Ленин всегда оказывал в этом полное содействие представителям зарубежной прогрессивной общественности.

Известны были Ленину и отзывы о Фрейне, принадлежавшие Джону Риду. В записке «Коммунистическое движение в Америке», составленной для В. И. Ленина в ноябре-декабре 1919 года, Рид отметил, что неоценимую помощь в движении за пересмотр целей и тактики американской социалистической партии оказала «газета «Революционный Век», которую выпускали организации социалистической партии в Бостоне, объединяющие латышей». Одним из редакторов этой газеты был Луи Фрейна. В той же записке Рид заявил, что он, Фрейна и другие представители Левого Крыла «вели через газету «Революционный Век» работу внутри социалистической партии».

Ряд материалов о публицистической деятельности Фрейны и его политической позиции опубликован в 1919-1920 годах на страницах журнала «Коммунистический Интернационал». Так, в № 5 журнала в статье, посвященной основанию Коммунистической партии Америки, отмечалось, что Фрейна, вместе с Ридом и другими будущими американскими коммунистами, издал декларацию — «Манифест и программа Левого Крыла социалистической партии». В № 7-8 в статье «Коммунистическая партия в Америке» освещалась деятельность Лиги пропаганды Левого Крыла, из которого и выро-

сла впоследствии Коммунистическая партия Соединенных Штатов: «Еженедельная газета Лиги «Революционный Век» ("The Revolutionary Age") издавалась в Бостоне под редакцией товарища Фрейна, который был марксистом и до конца остался верен марксистской точке зрения в это смутное время. «Революционный Век» принес большую пользу в начальный период существования Левого Крыла. Газета главным образом выясняла и обсуждала теоретические положения Левого Крыла, кроме того, в ней велась революционная пропаганда по злободневным вопросам... Много места уделялось в газете положению дел в России».

В статье «Коммунистическая партия», опубликованной в № 10, вышедшем 11 мая 1920 года, Рид ограничивается, по его выражению, «лишь изложением наиболее выдающихся фактов из истории движения» революционных слоев американского рабочего класса. Среди этих фактов Рид снова ссылается и на «"The Revolutionary Age" («Революционный Век») — еженедельник, издающийся Луи Фрейной в Бостоне и финансируемый латышской организацией». После 1920 года Фрейна не принимал активного участия в партийной печати. Принципиально важен, однако, сам факт столь энергичной помощи В. И. Ленина американскому публицисту, пожелавшему глубже ознакомиться с советской действительностью.

IV

Письма В. И. Ленина Г. Б. Краснощековой связаны с беседой В. И. Ленина и Бесси Битти (1886—1947) — американской публицисткой и очеркисткой, впоследствии известной как радиокомментатор. По воспоминаниям Альберта Риса Вильямса, Ленин беседовал с Битти не только в 1921, но и в 1918 году, когда писательница работала над своей книгой «Красное сердце России», посвященной революционному Петрограду.

1 января 1918 года Ленин произнес в Михайловском манеже речь на проводах первых эшелонов Социалистической Армии. «Уже просыпаются народы, — говорил тогда Владимир Ильич, — уже слышат горячий призыв нашей революции, и мы скоро не будем одиноки, в нашу армию вольются пролетарские силы других стран». Вслед за Лениным слово получил Альберт Рис Вильямс.

— Говорите по-английски, — сказал Вильямсу Владимир Ильич,— а я буду вашим переводчиком.

Вильямс, однако, решил выступить по-русски. «Ленин следил за мной,— вспоминает он, — с любопытством, с блеском в глазах, словно предвкушая развлечение. Развлечение это, конечно, не замедлило прийти. Выпустив сразу весь запас фраз, которые я знал, я запнулся и остановился. С большим трудом я подыскал еще несколько слов... Я дошел до того момента, когда мне хотелось сказать, что в случае необходимости я сам с радостью вступлю в ряды Красной Армии. Но тут я остановился и не мог подыскать слово».

И тогда на помощь Вильямсу пришел Владимир Ильич. Он спросил оратора:

— Какого слова вам не хватает?

— Enlist, — сказал Вильямс по-английски.

— Вступить, — быстро подсказал Ленин.

«После этого всякий раз, когда мой язык не повиновался, Ленин бросал мне, — пишет Вильямс в книге «Десять месяцев с Лениным», — нужное слово, я его быстро подхватывал и, по-своему, по-американски, изменив его произношение, передавал слушателям. Это обстоятельство, а также то, что я стоял перед ними в образе живого американца, — наглядный символ интернационализма, — все это порождало громкие взрывы смеха и бурные аплодисменты. Ленин смеялся от души, не меньше других».

— Ну вот вам и прекрасное начало! — сказал Ленин Вильямсу, когда тот закончил. — Но чтобы знать язык, нужно серьезно заняться им. А вы, — продолжал он, обратившись к присутствовавшей вместе с Вильямсом на митинге Бесси Битти, — вы тоже должны изучать русский язык. Поместите объявление в газете, что вы хотели бы обменяться уроками. И потом читайте, пишите и говорите только по-русски. Совсем не разговаривайте с американцами: никакой вам пользы от этого не будет, — добавил он, улыбаясь. — Когда мы встретимся в следующий раз, я вас проэкзаменую.

Следующая встреча Ленина с Битти состоялась лишь три года спустя. Но с Вильямсом, который вместе с Ридом сотрудничал в Бюро Международной Революционной Пропаганды, созданном при Народном Комиссариате Иностранных Дел, Ленин беседовал в те годы неоднократно. Одна из этих бесед состоялась 5 января 1918 года в день открытия Учредительного собрания.

«Мы с Джоном Ридом, — вспоминает Вильямс, — сошли с галереи и проскользнули в зал, чтобы узнать мнение Ленина об Учредительном собрании. Он что-то ответил нам равнодушным тоном. И затем сразу спросил, как идет работа в Бюро пропаганды. Его лицо прояснилось, когда мы сказали, что материал печатается целыми тоннами и через окопы направляется в германскую армию. При этом мы добавили, что встречаются затруднения при работе на немецком языке».

— Ах, да, — воскликнул Ленин, внезапно оживляясь. — Как ваш русский язык? Можете ли вы уже разбираться в речах?

— Слишком много слов в русском языке,— ответил уклончиво Вильямс.

— Вот в этом-то и дело, — сказал Владимир Ильич. — Языком нужно заниматься систематически. Нужно в самом начале овладеть основами языка. Я скажу вам, какого нужно держаться метода... Во-первых, нужно изучить все имена существительные, потом все глаголы, потом все прилагательные и наречия, и затем все остальные слова, нужно изучить этимологию и начатки синтаксиса и потом практиковаться в языке везде и повсюду, при встрече с каждым русским человеком...

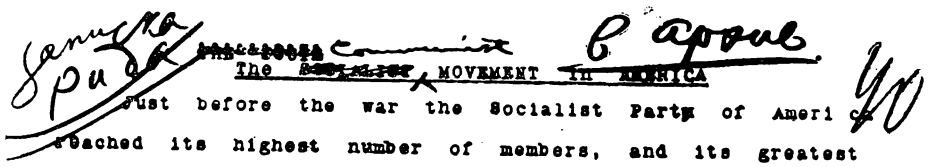
Ленин, — вспоминает Вильямс, — «склонился на барьер ложи и, блестя глазами и жестикулируя, продолжал говорить. Наши сотоварищи-журналисты глядели на нас с завистью. Они предполагали, что Ленин «сдирал кожу» со своих противников или сообщал нам какие-нибудь «тайны» или уговаривал нас энергичнее стать на сторону революции. В такой критический момент, несомненно, только подобные темы могли вызвать такой взрыв энергии у главы великого русского государства. Но они ошибались. Председатель Совета Народных Комиссаров Российской Республики просто излагал перед нами свой взгляд, как нужно иностранцу изучать русский язык, и наслаждался дружеским разговором».

В 1917—1918 годах Битти находилась под непосредственным благотворным воздействием и влиянием Рида и Вильямса. Вместе с ними она 25 октября 1917 года, вслед за первыми цепями красногвардейцев, побывала в Зимнем дворце. Зимой 1919 года на заседании уже упоминавшейся выше комиссии сенатора Овермэна Луиза Брайант с гордостью рассказывала о поведении «ридовской» группы американских журналистов в эту историческую ночь: «...приблизившись к Зимнему дворцу, мы увидели, что он только что пал; мы вбежали в него с первыми частями. Вместе со мной были мисс Битти, мистер Рид и мистер Вильямс».

Роберт Майнор в 1918-1921 годах, по его воспоминаниям, «десять-двенадцать, а то и более раз» беседовал с Лениным. Как отмечает Майнор, Ленин особенно интересовался людьми, приехавшими из-за границы, «даже если они не играли сколько-нибудь важной роли». Именно в конце 1921 года, когда Ленин принял Битти, он, как вспоминает Майнор, беседовал со всеми приезжающими из США. Ленин собирал данные, характеризующие поворот коренных американских рабочих на революционный путь в то время, когда Коммунистическая партия США опиралась главным образом на революционные иммигрантские слои рабочего класса.

Битти занимала Ленина прежде всего, по его шутливому выражению, как «американская американка», родившаяся и выросшая в Америке. Не связанная с рабочим движением, журналистка не могла сообщить Владимиру Ильичу никаких особенно важных для него данных. Тем не менее, подобно переписке о Луи Фрейне, беседы Ленина с американской очеркисткой показывают, как ценил великий основатель Советского государства непосредственные контакты с представителями зарубежной общественности.

Публикуемые вслед за документами В. И. Ленина воспоминания Г. Б. Краснощековой, участвовавшей в беседе с Битти в качестве переводчицы, восстанавливают и уточняют ряд фактов, связанных с содержанием адресованных ей ленинских писем.


Записка Рида в архив
The Communist MOVEMENT IN AMERICA
Just before the war the Socialist Party of Ameri
reached its highest number of members, and its greatest
success in the elections. A member of Congress was elected
by the Party, as well as many members of State legislatures.
Mayors of cities, etc.

Факсимиле надписи В. И. Ленина на записке Джона Рида «Коммунистическое движение в Америке». Уменьшено.

I

Джон Рид

Коммунистическое движение в Америке

(Перевод с английского)

Ноябрь-декабрь 1919

Над заголовком записки Джона Рида рукой В. И. Ленина написано:
„Записка Рида *в архив"*

I

Перед самой войной социалистическая партия Америки объединила в своих рядах наибольшее число членов и достигла величайшего в ее истории успеха на выборах. От социалистической партии был избран один член конгресса, ряд членов законодательных органов штатов, а также мэры нескольких городов и так далее.

Партия добилась этого с помощью пропаганды, которая все больше и больше приобретала мелкобуржуазный характер. Так например, даже в избирательной программе партии на выборах в конгресс в 1918 году (а документ этот был тщательно разработан самым талантливым юристом партии) *ни единым словом не упоминалось о рабочем классе.* Там содержалось лишь требование ряда буржуазно-либеральных реформ самого различного свойства, начиная от развития экономической инициативы и проведения референдума и кончая передачей железных дорог в собственность государства.

Партия объединяла в своих рядах самые разнообразные элементы, начиная от группы теоретиков-революционеров, входивших в Лигу социалистической пропаганды[1], и кончая явными оппортунистами, вроде Морриса Хилквита[2], и рьяными поборниками государственного капитализма, вроде Виктора Бергера[3].

Европейская война в огромной степени способствовала политическому просвещению рядовых членов партии. Здесь, в далекой Америке, где в печати излагалась и точка зрения союзников и точка зрения центральных держав, был ясно виден неприкрытый империалистический характер войны. Конечно, на взгляды многих партийных руководителей влияли националистские чувства; так, социалистические лидеры еврейского и немецкого происхождения (например, Бергер) склонялись на сторону центральных держав, а лидеры английского происхождения (как например, Спарго[4]), поборники «чистой Америки» вроде Чарльза Эдварда Рассела и социалисты-«миллионеры», вроде Стокса и Уоллинга, теснейшим образом связанные с крупной буржуазией, держали сторону союзников.

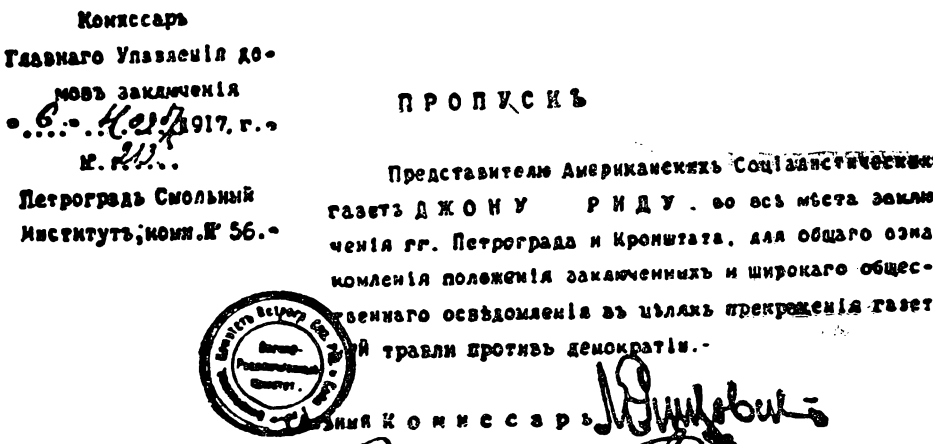
Однако рядовые члены партии занимали, в основном, правильную позицию. Усиление нажима крупных финансистов и промышленников, стремившихся втянуть Сое-

* *Из записки, составленной Джоном Ридом для В. И. Ленина.*

диненные Штаты в войну на стороне союзников, против Германии, было очевидным для всех. А затем неожиданно, словно гром среди ясного неба (так, по крайней мере, казалось нам), разразилась русская революция. Если в самые первые дни, еще не имея точных сведений, мы расценили ее просто как политический переворот, то провозглашение Петроградским Советом принципов: «мир без аннексий и контрибуций» и «право наций на самоопределение» показало американским социалистам, что мы становимся свидетелями социальной революции. Это обстоятельство, больше чем любое другое, способствовало возникновению в партии революционных настроений и их кристаллизации.

Когда Соединенные Штаты объявили о своем вступлении в войну, был созван чрезвычайный съезд партии в Сан-Луи, где была принята знаменитая Декларация о войне — самый революционный призыв к массовым действиям за всю историю социалистического движения в Америке. Рядовые делегаты заставили съезд принять эту Декларацию, вопреки воле большинства лидеров партии. Лидеры же ограничились тем, что, обратившись к массам с призывом бороться против войны, снова уединились в своих кабинетах и ровно ничего не сделали для организации такого бунта. Лишь отдельные, изолированные друг от друга группы социалистов проявили какую-то активность, причем их участников немедленно арестовали и посадили в тюрьму, а партия бросила их на произвол судьбы. Партийные лидеры намеревались саботировать Декларацию, и у них даже был свой план — на заседании Исполнительного Комитета объявить ее недействительной.

В крайне напряженной обстановке, вызванной лихорадкой войны, депутаты законодательных органов и должностные лица, избранные от социалистической партии, повели себя как сущие капитулянты. Так например, когда власти штатов и организации крупных дельцов (такие, как Советы национальной обороны) фактически лишили полномочий мэров городов Милуоки и Миннеаполиса (оба они состояли в социалистической партии), они не заявили никакого протеста и не подали в отставку. Социалисты-олдермены Нью-Йоркского муниципалитета голосовали вместе с его буржуазными членами за оказание помощи правительству в размещении военного займа. Голосовали они и за ассигнование 250 тысяч долларов на строительство Триумфальной арки в честь возвращающихся воинов. (На этой арке были высечены названия пунктов, где мы одержали военные победы, и среди них — Мурманск [5]). Когда к конгрессмену-социалисту Мейеру Лондону обратился за помощью один из членов социалистической партии — солдат, который, следуя принятой в Сан-Луи Декларации, отказался приме-

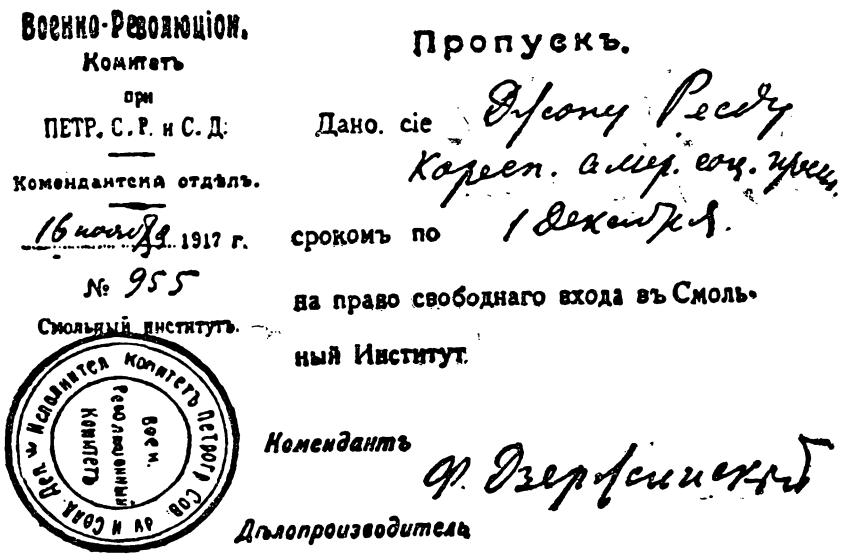

Комиссаръ
Главнаго Управленія до-
мовъ заключенія
6. Ноября 1917 г.
№ 213.
Петроградъ Смольный
Институтъ, комн. № 56.

ПРОПУСКЪ

Представителю Американскихъ Соціалистическихъ газетъ ДЖОНУ РИДУ. во всѣ мѣста заключенія гг. Петрограда и Кронштата, для общаго ознакомленія положенія заключенныхъ и широкаго общественнаго освѣдомленія въ цѣляхъ прекращенія газетной травли противъ демократіи.-

Главный Комиссаръ
Секретарь

Факсимиле пропуска «представителю американских социалистических газет Джону Риду», выданного 6 ноября 1917 года. Уменьшено.



Военно-Революціон. Комитетъ при ПЕТР. С. Р. и С. Д.
Комендантскій отдѣлъ.
16 ноября 1917 г.
№ 955
Смольный институтъ.

Пропускъ.

Дано. сіе Джону Риду
Корреп. амер. соц. прес.
срокомъ по 1 Декабря.
на право свободнаго входа въ Смольный Институтъ.

Комендантъ Ф. Дзержинскій

Дѣлопроизводитель

Факсимиле заполненного и подписанного Ф. Э. Дзержинским пропуска «Джону Риду, корреспонденту американской социалистической прессы» от 16 ноября 1917 года. Уменьшено.

нять оружие, за что подвергался в казарме всяческим истязаниям, Лондон в ответ приказал этому товарищу «подчиниться закону». Он же выступил в 1918 году в Конгрессе с официальной речью, в которой приветствовал короля Италии от имени правительства Соединенных Штатов, по случаю годовщины вступления Италии в войну.

Официальные органы партии, невзирая на рост недовольства среди рядовых членов, категорически отказались осудить своих представителей за эти поступки, означавшие не только измену принципам социализма, но и прямое неповиновение указаниям партии. Мало того, несмотря на трусливое и предательское поведение Мейера Лондона в конгрессе, партийная бюрократия снова настояла на выдвижении его кандидатуры во время выборов 1918 года. Но на этот раз он потерпел поражение — многие члены партии предпочли голосовать за буржуазных кандидатов, лишь бы не допустить избрания Лондона.

II

Ход русской революции, укрепление власти Советов и, наконец, Октябрьская революция и распространение коммунистического учения по всей Европе породили в американской социалистической партии широкое движение за пересмотр ее целей и тактики.

В этом деле неоценимую помощь оказала Лига социалистической пропаганды, издававшая журнал революционно-социалистического направления под названием «Классовая борьба», и еженедельная газета «Революционный Век» (редакторы — Луи Фрейна и Эдмонд Макалпайн), которую выпускали организации социалистической партии в Бостоне, объединяющие латышей.

Конечно, русские товарищи особенно сильно ощутили первые толчки начавшейся в Европе революции. Именно они и члены других социалистических федераций, объединявших выходцев из России, возглавили работу по пропаганде в партии новых принципов, тактики и методов организации и составили основное ядро Левого Крыла в партии.

Федерации, объединявшие выходцев из России, насчитывали примерно 15 000—20 000 членов. Особенно быстро стали они расти после русской революции — так, число членов Русской федерации увеличилось примерно с 2000 до 12 000. Летом 1919 года и другие федерации — латышская, литовская, украинская и т. д., объединившись под ру-

ководством русских, создали «Союз федераций социалистов — выходцев из России». Необходимо помнить, что значительная часть членов этой организации почти не знает английского языка, не читает ни газет, ни книг на английском и следит лишь за периодическими изданиями, выходящими на их родном языке. Живут они, как правило, в тесном окружении своих же соотечественников и в силу того, что большая часть из них занята либо неквалифицированным трудом, либо в таких отраслях — как например, швейная промышленность, — где используется почти исключительно труд иностранцев, они изолированы от американского рабочего движения и от жизни американского рабочего класса. Более того, создание внутри социалистической партии «Федераций, объединяющих лиц иностранного происхождения», первоначальной целью которого было облегчение пропагандистской работы, привело к тому, что рабочие-иностранцы сгруппировались в полуавтономные организации, где в ходу был лишь их родной язык. Таким образом, социалисты иностранного происхождения оказались фактически изолированными от социалистов, говорящих по-английски. Это обстоятельство было весьма неблагоприятным и для той и для другой стороны.

Весной 1919 года, в результате брожения в партии, начала выкристаллизовываться организация, не ограниченная определенными рамками и получившая название Левого Крыла. Это движение, естественно, зародилось в капиталистической столице страны — Нью-Йорке, где организация выпустила Манифест, основанный на коммунистическом учении в том виде, как оно воплотилось в принципах и тактике большевистской партии в России и группы «Спартак» в Германии [6]. Нью-йоркская организация заявила о своем намерении вести в социалистической партии широкую пропаганду в целях превращения ее в партию революционного социализма. Низовые организации, общегородские организации и организации штатов одна за другой принимали Манифест Левого Крыла. Приняли его также федерации выходцев из России, венгерская, южнославянская и другие федерации.

Партийное руководство на местах и общенациональные руководящие органы ответили на это временным или окончательным исключением из партии всех организаций, принявших Манифест Левого Крыла, и попытались реорганизовать их. Так например, в Нью-Йорке партийное руководство прибегло к помощи полиции, чтобы захватить помещение городской организации.

Критика левых в адрес официальной верхушки партии становилась все более серьезной и резкой. Партия посылала делегата на конференцию в Берне [7], но после того, как левые дали уничтожающий анализ позиций II Интернационала, официальное руководство стало отрицать этот факт. Официальная верхушка, которая приветствовала создание Временного правительства в России, а затем образование правительства социалистического большинства в Германии как победу социальной революции, теперь вынуждена была замолчать. Постепенное укрепление пролетарской диктатуры в России, убийство Либкнехта и Люксембург в Германии [8] очень подорвали позиции реакционных социалистов в Америке и необычайно усилили Левое Крыло.

В начале весны левые стали агитировать за созыв чрезвычайного съезда социалистической партии в целях пересмотра ее политики и тактики. Партийная бюрократия всеми средствами пыталась отсрочить или сорвать этот съезд, но в конце концов волна требований, прокатившаяся по всей стране, заставила ее отступить, и открытие съезда было назначено на 1 сентября 1919 года.

Той же весной путем референдума были проведены выборы руководящих органов партии, закончившиеся колоссальной победой Левого Крыла и поражением всей старой руководящей верхушки социалистической партии.

На основании этого можно было себе представить, что произойдет на съезде партии. Партийная бюрократия смертельно перепугалась и приняла драконовские меры, чтобы сохранить власть.

Прежде всего национальный Исполнительный Комитет передал всю собственность партии, сосредоточенную в помещении общенациональных руководящих органов, в руки *частной корпорации, состоящей из членов самого же Исполкома.*

Далее Исполком объявил выборы недействительными, под тем предлогом, что голосование якобы было мошенническим.

И наконец, Исполком отдал распоряжение о временном или окончательном исключении из партии всех местных организаций, принявших Манифест и программу Левого Крыла, и попытался реорганизовать их. Как уже отмечалось, в Нью-Йорке партийная верхушка прибегла к помощи полиции, чтобы захватить помещение городской организации. Всего из партии было исключено около сорока тысяч членов, в том числе федерации выходцев из России, партийные организации штатов Огайо и Мичиган, а также ряд местных организаций в различных районах страны.

Такова была ситуация в тот момент, когда Левое Крыло созвало общенациональную конференцию своих членов, открывшуюся 21 июня 1919 года. Задачей конференции было создание новой общенациональной организации.

Архив Института марксизма-ленинизма. — Фонд 2, опись 1, единица хранения 11 903, листы 1—5.— Подлинник.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *«Лига социалистической пропаганды» — интернационалистская организация революционных американских социалистов, созданная в 1915 году. Несмотря на ряд ее идейных ошибок, В. И. Ленин положительно оценивал деятельность «Лиги» в Америке. Осенью 1915 года Ленин писал секретарю «Лиги» Фитцджеральду, что ее обращение к членам социалистической партии «с призывом бороться за новый Интернационал, за подлинный революционный социализм, которому учили Маркс и Энгельс, против оппортунизма, в особенности против тех, кто стоит за участие рабочего класса в оборонительной войне, полностью соответствует позиции, которую наша партия (Российская социал-демократическая рабочая партия, Центральный Комитет) заняла с самого начала этой войны и которую она всегда занимала на протяжении более 10 лет».*

[2] *Моррис Хилквит (1869—1933) — один из лидеров американских оппортунистов. Осенью 1915 года В. И. Ленин писал А. М. Коллонтай о шовинистской позиции Хилквита в годы первой мировой войны: «Что Хилквит будет за Каутского и даже правее его, я не сомневался, ибо видел его в Штутгарте (1907) и слышал, как он после того защищал запрещение ввоза желтых в Америку («интернационалист»)...» Хилквита наряду с Каутским, Гильфердингом, Макдональдом и другими социал-оппортунистами Ленин называл героями «11½ «марксизма».*

[3] *Виктор Бергер (1860—1929) — американский социал-оппортунист. 21 января 1919 года в «Письме к рабочим Европы и Америки» В. И. Ленин охарактеризовал Бергера как одного из предателей социализма, представителей верхушечки «подкупленных буржуазией рабочих, которых мы, большевики, звали (адресуя это название к русским Зюдекумам, меньшевикам) «агентами буржуазии в рабочем движении» и которых лучшие из социалистов Америки окрестили великолепным по экспрессивности и по глубокой правдивости выражением:... «рабочими лейтенантами класса капиталистов».*

[4] *Джон Спарго (р. 1876) — идеолог американского социал-оппортунизма. В И. Ленин резко критиковал антимарксистские писания Спарго. По отзыву Ленина, высказанному осенью 1920 года, Спарго это «социалист» «вроде нашего Алексинского, яростно ненавидящий большевиков...»*

[5] *«Среди них — Мурманск». — Джон Рид имеет в виду участие американских империалистов в захвате английскими интервентами Мурманска (27 июня 1918).*

[6] *«Группа «Спартак» в Германии» — созданный в 1916 году К. Либкнехтом, Р. Люксембург, Ф. Мерингом и К. Цеткин союз «Спартак», основавший в декабре 1918 года Коммунистическую партию Германии. 26 марта 1917 года в «Прощальном письме к швейцарским рабочим» В. И. Ленин писал, что «будущее принадлежит тому направлению, которое дало Карла Либкнехта, которое создало «группу Спартакуса». «Спартаковцев» Ленин считал представителями «нового, настоящего, пролетарского Интернационала», рассматривал их как «истинных и единственных представителей пролетариата» в Германии и ее лучших людей. В лекции «О государстве» Ленин разъяснял, что «спартаковцы» назвали себя так «потому, что Спартак был одним из самых выдающихся героев одного из самых крупных восстаний рабов около двух тысяч лет тому назад». В письме спартаковцам Ленин заявил, что их деятельность «действительно спасла честь германского социализма и германского пролетариата».*

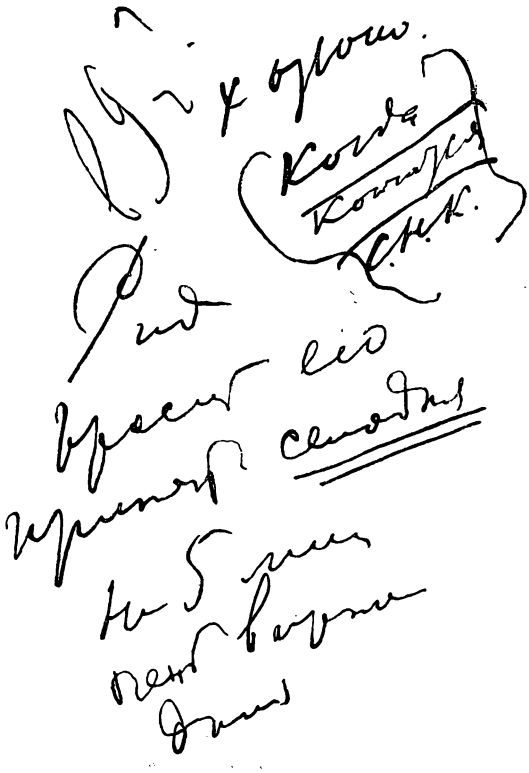
[7] *Состоявшуюся в феврале 1919 года в Берне международную конференцию «желтого Интернационала» социал-соглашателей В. И. Ленин назвал «ни социалистической ни представляющей в какой бы то ни было степени рабочий класс». Ленин говорил, что Бернская конференция своими антибольшевистскими клеветническими выпадами «поддержала всех империалистов», и охарактеризовал ее как «собрание подлых убийц».*

[8] *Весной 1919 года В. И. Ленин указал, что убийство Карла Либкнехта и Розы Люксембург «является событием всемирно-исторической важности не только потому, что трагически погибли лучшие люди и вожди истинного пролетарского, Коммунистического Интернационала, но и потому, что для передового европейского — можно без преувеличения сказать: для передового в мировом масштабе — государства обнажилась до конца его классовая сущность».*

В. И. Ленин

Записки Л. А. Фотиевой и М. И. Гляссер

17 августа 1920



Факсимиле записок В. И. Ленина Л. А. Фотиевой и М. И. Гляссер от 17 августа 1920 года. Уменьшено.

I. Записка Л. А. Фотиевой В. И. Ленину

Рид
просит его принять **сегодня** *.
На пять минут.
Очень важное дело.

II. Записка В. И. Ленина Л. А. Фотиевой

Хорошо.

(*Когда кончится* Совет Народных Комиссаров)

Рукой Л. А. Фотиевой: «в 9 часов?»

III. Записка М. И. Гляссер В. И. Ленину

Владимир Ильич уже наверное не примет Джона Рида — уже поздно, затянется вопрос?

Рид сидит в своей комнате и ждет звонка. (Он, между прочим, прекрасно научился по-русски!)

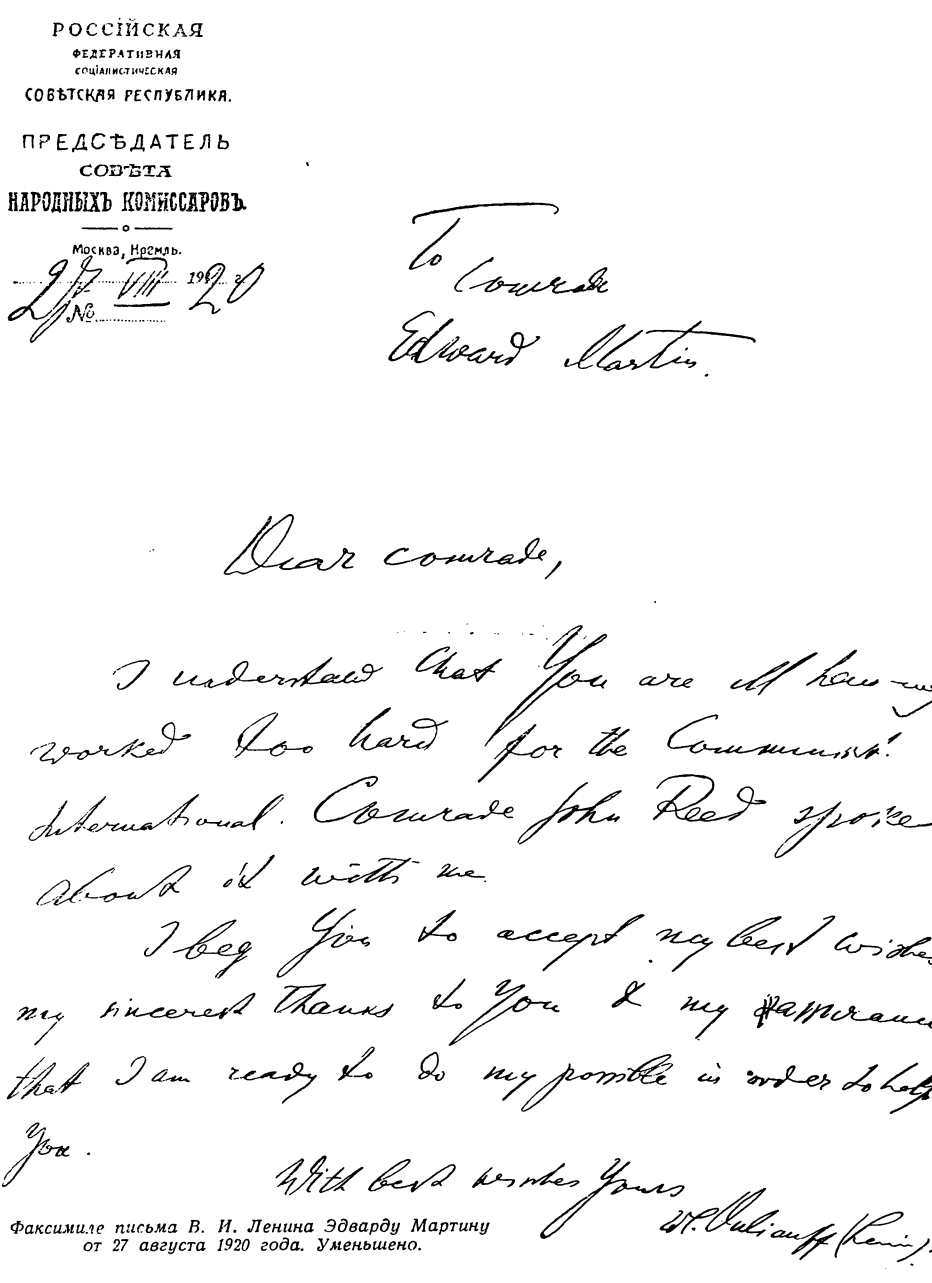
IV. Записка В. И. Ленина М. И. Гляссер

Если очень просит и на *пять* минут, пусть придет сейчас [1].

Архив Института марксизма-ленинизма.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 15 057, листы 1, 2 оборот.— Подлинник.

Ленинский сборник XXXV, стр. 143.

*) *Подчеркнуто рукой В. И. Ленина.*


РОССІЙСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ
СОЦІАЛИСТИЧЕСКАЯ
СОВѢТСКАЯ РЕСПУБЛИКА.

ПРЕДСѢДАТЕЛЬ
СОВѢТА
НАРОДНЫХЪ КОМИССАРОВЪ.

Москва, Кремль.
27 VIII 1920 г.
№

To Comrade
Edward Martin.

Dear comrade,

I understand that You are ill because You worked too hard for the Communist International. Comrade John Reed gave me about it with tears.

I beg You to accept my best wishes, my sincere thanks to You & my assurance that I am ready to do my possible in order to help You.

With best wishes Yours
W. Uljanoff (Lenin).

Факсимиле письма В. И. Ленина Эдварду Мартину от 27 августа 1920 года. Уменьшено.

В. И. Ленин

* Товарищу Эдварду Мартину[2]

(Перевод с английского)

27.VIII.1920 — *27 августа 1920*

Товарищу Эдварду Мартину.

Дорогой товарищ!

Как мне стало известно, Вы заболели из-за чрезмерно напряженной работы для Коммунистического Интернационала. Товарищ Джон Рид рассказал мне об этом.

Шлю Вам наилучшие пожелания, самую искреннюю благодарность и заверения в том, что я готов сделать все, что в моих силах, чтобы Вам помочь.

С наилучшими пожеланиями Ваш

Вл. Ульянов (Ленин).

Архив Института марксизма-ленинизма.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 15 181, лист 1.— Подлинник.

Джон Рид

Письмо В. И. Ленину

(Перевод с английского)

20 сентября 1920

Деловой двор.

Дорогой товарищ Ленин!

Моя жена, Луиза Брайант, нелегально приехала сюда из Соединенных Штатов в качестве представительницы влиятельных газет, которые последовательно выступают за признание Советской России. Товарищ Мартенс [3] особенно хотел, чтобы она получила это назначение. Ей поручено ежедневно посылать радиотелеграммы, и несколько сообщений она уже передала. Я помогаю ей в получении материала, и мне думается, что для нас важно максимально использовать это средство распространения информации. Луиза Брайант, разумеется, постоянно сотрудничает с американскими коммунистами, и ей можно полностью доверять. Возможно, Вы читали ее книгу об Октябрьской революции [4].

Я считаю, что было бы очень важно предоставить ей возможность встретиться с Вами и взять у Вас интервью, чтобы передать его в Америку•именно сейчас, когда там неистовствует антисоветская пропаганда, и вся капиталистическая печать изобилует нападками на Советскую Россию. За последние полгода Вы не давали интервью ни одному американскому журналисту [5].

Прошу Вас поручить кому-нибудь позвонить мне по телефону (Деловой двор, номер семь) и дать мне знать, можно ли устроить эту встречу.

С братским приветом

Джон Рид.

Архив Института марксизма-ленинизма.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 15 471, листы 1, 2.— Подлинник.

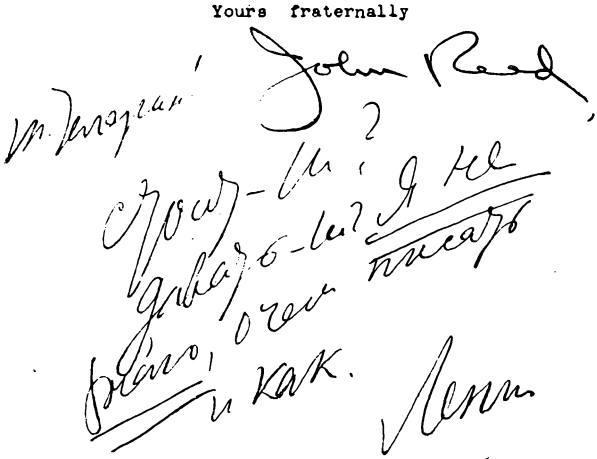
В. И. Ленин

Записка Г. В. Чичерину

20 сентября 1920

Please have some one telephone me at room number 7 Dielevoy Dvor and let me know if this can be arranged.

Yours fraternally



Товарищ Чичерин!
Стоит-ли?
Давать-ли? Я не знаю, о чем писать и как.
Ленин.

Архив Института марксизма-ленинизма.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 15 471, лист 2.— Подлинник.

***Факсимиле** последней страницы письма Джона Рида от 20 сентября 1920 года и записки В. И. Ленина Г. В. Чичерину. Уменьшено.*

В. И. Ленин

Записка М. В. Кобецкому[6]

18 октября 1920

I. Записка М. В. Кобецкого В. И. Ленину

Многоуважаемый Владимир Ильич!
Посылаю Вам рапорт врача о болезни и смерти Джона Рида *.

** Т. Квелч [7], заболевший одновременно с Ридом, поправляется уже.

Искренно уважающий Вас
М. Кобецкий.

II. Записка В. И. Ленина М. В. Кобецкому

Товарищ Кобецкий! И Ваш *рапорт* (то есть пересланный Вами рапорт врача) и эту заметку надо перевести на английский и послать за границу [8].

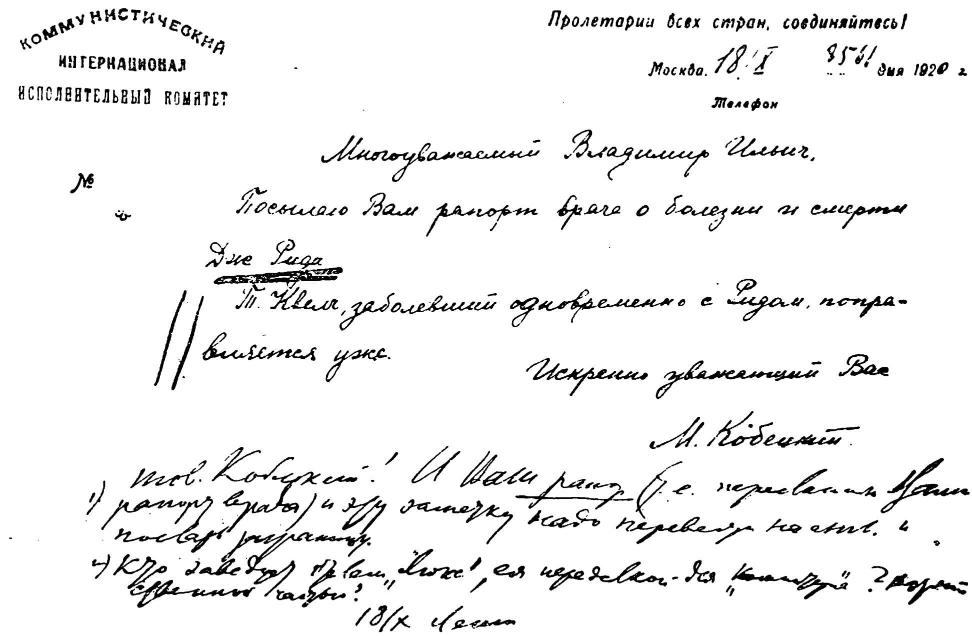
2) Кто заведует отелем «Люкс», ее переделкой для «Коминтерна»? Хозяйственной частью?

18/X

Ленин

Архив Института марксизма-ленинизма.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 15 801, лист 1.— Подлинник.

* *Подчеркнуто В. И. Лениным.*
** *Отчеркнуто на полях В. И. Лениным.*



Факсимиле записки В. И. Ленина М. В. Кобецкому от 18 октября 1920 года. Уменьшено.

II

В. И. Ленин

Записка секретарям о Луизе Брайант (Рид)

18 марта 1921

I. Записка Луизы Брайант В. И. Ленину

(Перевод с английского)

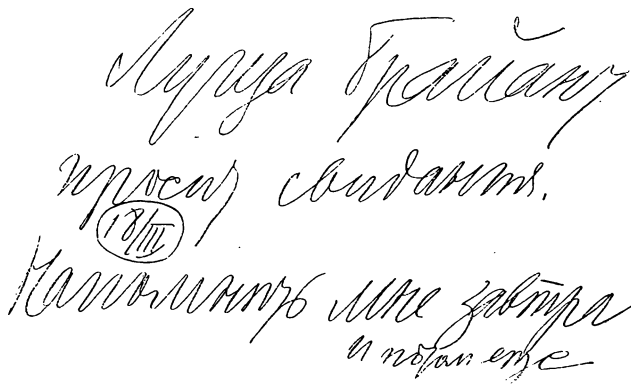
Софийская набережная, 14,
Москва, 18 марта 1921.

Дорогой товарищ Ленин!

Надеюсь, что мне удастся встретиться с Вами в ближайшие дни, так как до возвращения в Америку мне хотелось бы о многом поговорить с Вами. В Комиссариате иностранных дел есть кое-какие вопросы, нуждающиеся в выяснении — вопросы, касающиеся печати и концессий.

Я по-прежнему проживаю по вышеуказанному адресу; мой телефон *8-71*.

Луиза Брайант (Рид).



Факсимиле надписи В. И. Ленина на письме Луизы Брайант (Рид) от 18 марта 1921 года. Уменьшено.

II. Записка В. И. Ленина секретарям

Луиза Брайант
просит свидания.
18/III
Напомнить мне завтра
и потом еще.

Архив Института марксизма-ленинизма.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 17 679, лист 1.— Подлинник.

III

В. И. Ленин

*Всем Народным Комиссарам и членам коллегий

17 августа 1920

Всем Народным Комиссарам и членам коллегий.

17.VIII.1920.

Товарищу *Луи Фрейна,* американскому коммунисту, который остался на время в Москве и который является автором крайне полезных литературных произведений (о большевизме, его истории и тактике) на английском языке,

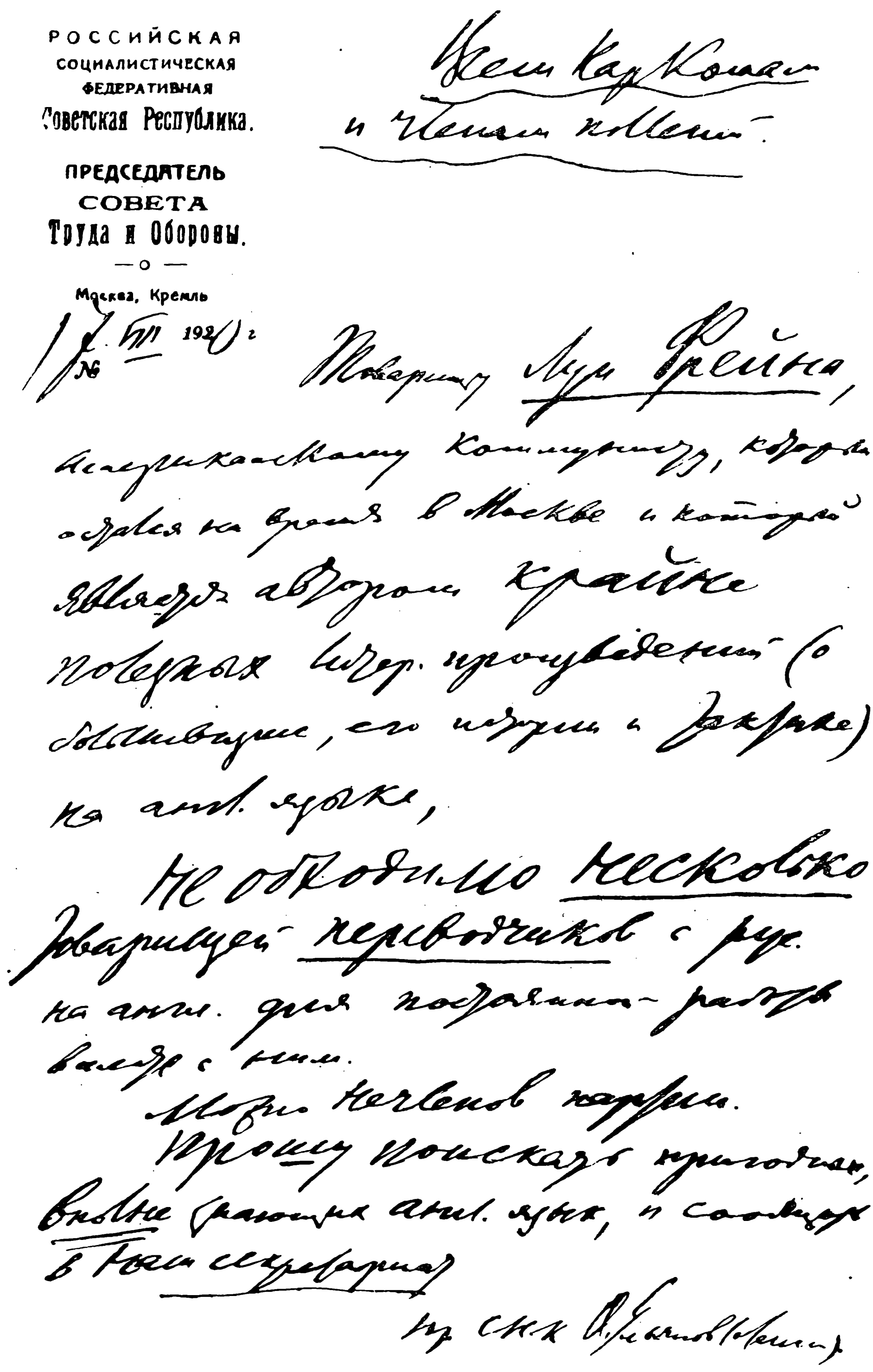
необходимо *несколько* товарищей *переводчиков* с русского на английский для постоянной работы вместе с ним.

Можно нечленов партии.

Прошу поискать пригодных, **вполне** знающих английский язык, и сообщить в *наш секретариат.*

Председатель Совета Народных Комиссаров
В. Ульянов (Ленин).

Архив Института марксизма-ленинизма.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 15 054, лист 1.— Подлинник.



РОССИЙСКАЯ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ
ФЕДЕРАТИВНАЯ
Советская Республика.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА
Труда и Обороны.

— о —

Москва, Кремль

17.VIII 1920 г.

№

Всем Наркомам
и членам коллегий.

Товарищу Луи Фрейна, американскому коммунисту, который остался на время в Москве и который является автором крайне полезных литер. произведений (о большевизме, его истории и практике) на англ. языке, необходимо несколько товарищей переводчиков с рус. на англ. для постоянной работы вместе с ним.

Можно нечленов партии.

Прошу поискать пригодных, вполне (знающих англ. язык, и сообщать в мой секретариат)

Пред. СНК В. Ульянов (Ленин)

Факсимиле письма В. И. Ленина «Всем Народным Комиссарам и членам коллегий» от 17 августа 1920 года.

В. И. Ленин

Записки секретарям

Август—сентябрь 1920

I. Записка М. И. Гляссер В. И. Ленину

Владимир Ильич, у Аксельрода есть хороший переводчик с английского *Моисеев*. Кроме того, переводчик Вакс (тоже с английского).

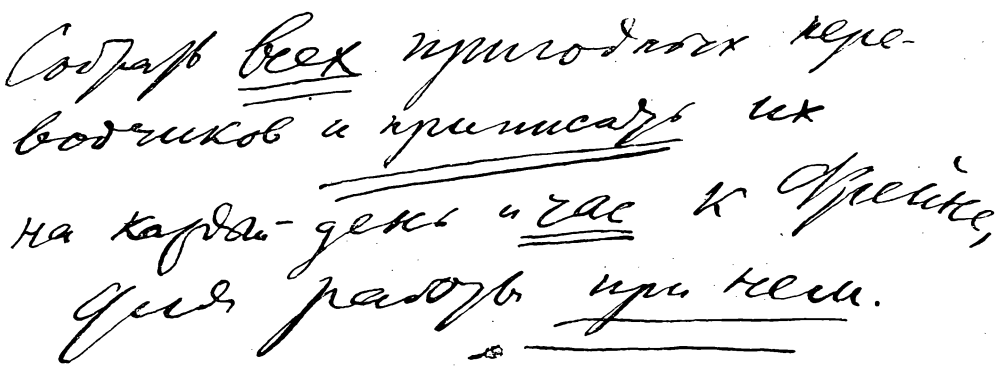
Гляссер.

II. Записки В. И. Ленина секретарям

I

Собрать **всех** пригодных переводчиков и **приписать** их на каждый день и **час** к Фрейне,
для работы **при нем.**

Архив Института марксизма-ленинизма.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 15 064, лист 1 — Подлинник.



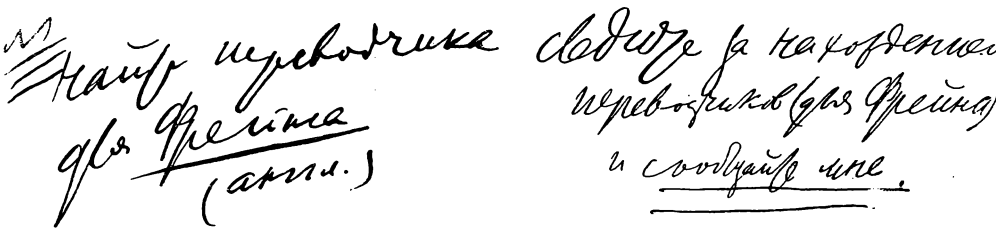
Факсимиле записки В. И. Ленина секретарям (август—сентябрь 1920 года). Уменьшено

II

NB

Найти переводчика
для *Фрейна*
(английского)
Следите за нахождением переводчиков (для Фрейна)
и **сообщайте мне.**

Архив Института марксизма-ленинизма.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 15 065, листы 1, 1 об.— Подлинник.



Факсимиле записок В. И. Ленина секретарям (август—сентябрь 1920 года).

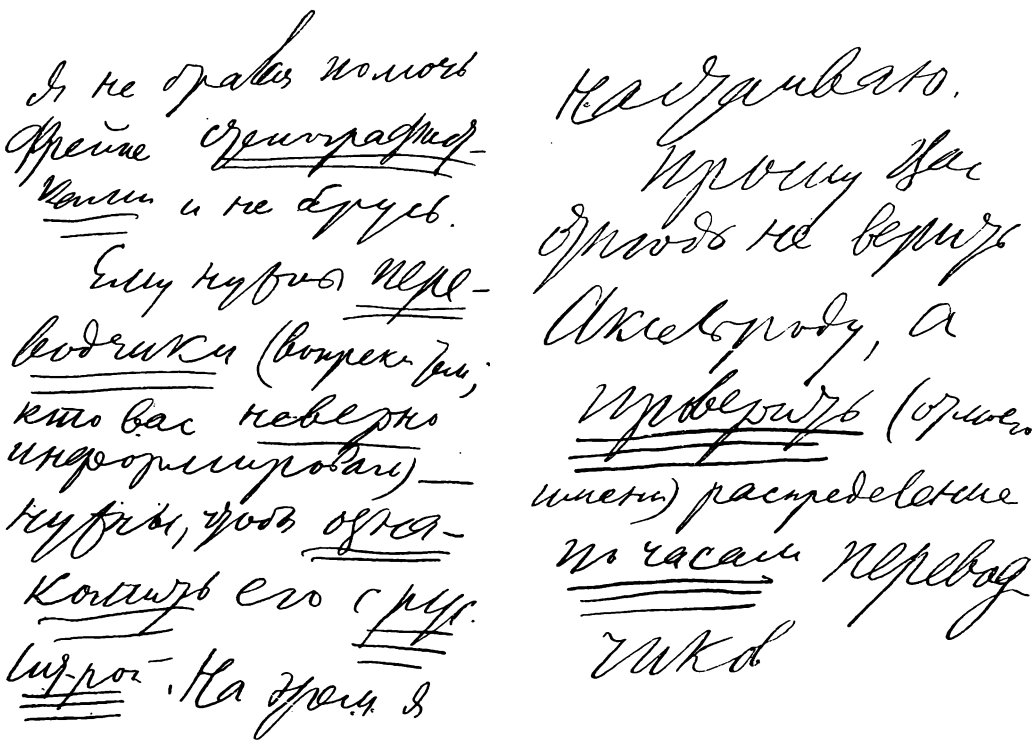
III

Я не брался помочь Фрейне **стенографистками** и не берусь.

Ему нужны **переводчики** (вопреки тем, кто вас *неверно* информировал) — нужны, чтобы **ознакомить** его с **русской литературой.** На этом я настаиваю.

Прошу Вас отнюдь не верить Аксельроду, а **проверить** (от моего имени) распределение **по часам** переводчиков.

Архив Института марксизма-ленинизма.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 15 066, листы 1, 1 об.— Подлинник.



Факсимиле записки В И. Ленина секретарям. Уменьшено.

IV

В. И. Ленин

Письма Г. Б. Краснощековой

3 декабря 1921

I

3/XII

Товарищ Краснощекова!

Кажется, бывшая у меня Битти автор книги «Red Heart of Russia»*?

Нельзя ли мне на немного дней достать ее на просмотр? А, может быть, есть у Битти и другие книги, брошюры? Или пару ее статей на разные темы?

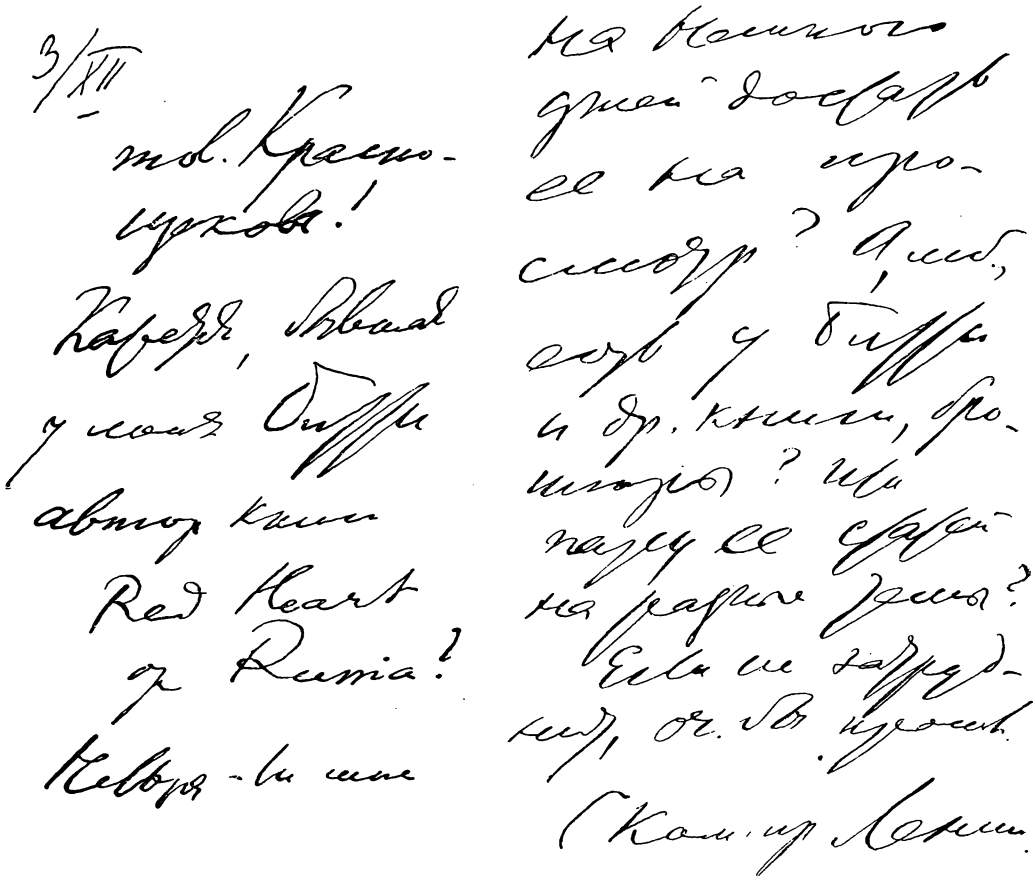
Если не затруднит, очень бы просил.

С коммунистическим приветом

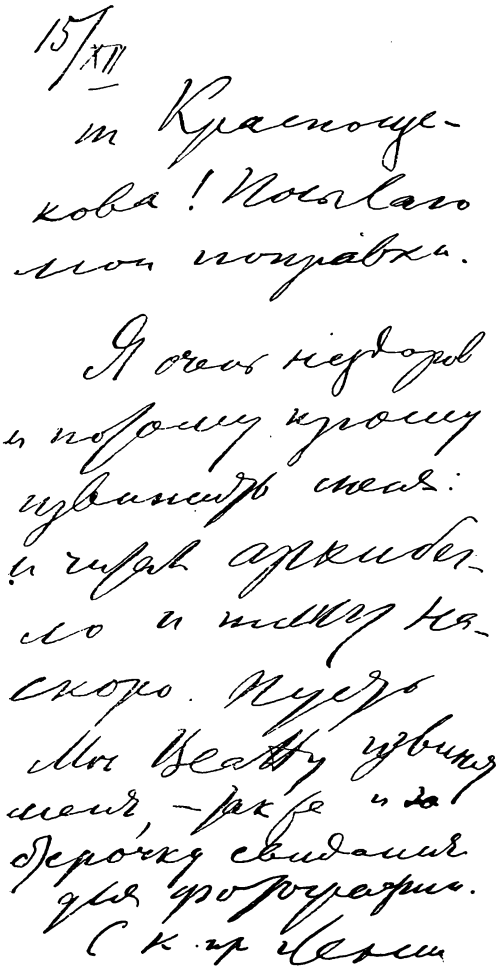
Ленин.

Архив Института марксизма-ленинизма.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 22 342, листы 1, 1 об.— Подлинник.

* *«Красное сердце России». (англ.).*



Факсимиле письма В. И. Ленина Г. Б. Краснощековой от 3 декабря 1921 года.



II

15 декабря 1921

15/XII

Товарищ Краснощекова! Посылаю мои поправки.

Я очень нездоров и потому прошу извинить меня: и читал архибегло и пишу наскоро. Пусть Mrs. Beatty * извинит меня,— так же и за отсрочку свидания

для фотографии.

С коммунистическим приветом

Ленин.

Архив Института марксизма-ленинизма.—Фонд 2, опись 1, единица хранения 22 432, лист 1.— Подлинник.

* *Госпожа Битти (англ.).*

Факсимиле письма В. И. Ленина Г. Б. Краснощековой от 15 декабря 1921 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Приведенные выше документы В. И. Ленина связаны лишь с одной из его многочисленных бесед с Джоном Ридом. Биограф писателя Гранвилль Хикс со слов Луизы Брайант, Альберта Риса Вильямса, Луи Фрейны и других близких друзей Джона Рида, с которыми он делился своими впечатлениями о Советской России, сообщает о беседах Рида с Лениным в 1919—1920 годах: «Рид часто бывал у Ленина в его кремлевском кабинете, и Ленин был рад видеть его не только потому, что он интересовался положением в Соединенных Штатах, но и потому, что ему нравилась жизнерадостность юного американца. Ленин решительно рекомендовал Риду поселиться в рабочем районе и говорил ему, что это лучший способ глубоко изучить русских и понять Россию. Ленин отчитывал его за беспечность по отношению к состоянию своего здоровья и обнаруживал при этом познания в области физиологии, изумлявшие Рида. Они беседовали на всевозможные темы иногда до рассвета, и Рид все глубже осознавал гуманизм, как и величие этого человека. По предложению Ленина, он написал для официоза Коммунистического Интернационала большую статью о революционном движении в Америке» (Гранвилль Хикс — Джон Рид, Нью-Йорк, 1935, стр. 374).*

13 мая 1920 года в письме Луизе Брайант из Центральной полицейской тюрьмы в Або (Финляндия) Рид сослался на тогда еще не опубликованный отзыв Ленина о «Десяти днях, которые потрясли мир»: «...великий вождь считает мою книгу превосходной». К этому же периоду относятся предпринятые по указанию В. И. Ленина неофициальные переговоры с правительством Финляндии об обмене Джона Рида на двух финских профессоров, арестованных советскими органами за контрреволюционную деятельность. «Сообщают, — пишет Гранвилль Хикс, — что Ленин сказал, что он с ра-

достью вернул бы Финляндии целый факультет университета в обмен на освобождение Рида» (там же, стр. 385).

[2] Эдвард Мартин был делегирован Коммунистической Рабочей Партией Америки на II конгресс Коммунистического Интернационала. 27 июля 1920 года он писал о Ленине: «Если Маркс до известной степени предусмотрел переходный период от капитализма к социализму, то на долю Ленина выпало выработать, наконец, и определить ту форму, в которой должен сложиться этот переходный период — диктатуру пролетариата. Таким образом, Ленин является, наряду с Марксом, величайшим теоретиком социализма, имя его будет жить в веках! Величайший, живущий в настоящее время представитель коммунизма, да здравствует Ленин!»

[3] Л. К. Мартенс (1875—1948) член Коммунистической партии с 1893 года, участник петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». В 1919 году полномочный представитель РСФСР в Соединенных Штатах Америки, много сделавший для укрепления советско-американской дружбы. О своих беседах с Мартенсом В. И. Ленин писал Г. М. Кржижановскому и американскому ученому К. Штейнмецу 6 и 10 апреля 1922 года.

[4] Полное заглавие книги Луизы Брайант, вышедшей в 1918 году в Нью-Йорке, гласит: «Шесть красных месяцев в России. Впечатления накануне и во время диктатуры пролетариата».

[5] В. И. Ленин давал ответы на вопросы ряда корреспондентов американских газет и телеграфных агентств 20 июля и 5 октября 1919 и 18 февраля 1920 года.

[6] М. В. Кобецкий (1881—1937) член Коммунистической партии с 1903 года, в 1920 году секретарь Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала. Когда в годы первой мировой войны М. В. Кобецкий жил в Дании, В. И. Ленин писал ему в Копенгаген: «Вы, вероятно, окажетесь теперь, в виде исключения и притом крайне редкого, жителем невоюющей страны и потому... Вы должны непременно информировать нас и сообщать сведения из газет, кои для нас недоступны. Конечно, только важнейшие сведения (особенно о России)». Как сообщает Ленин в других письмах того же периода, он «писал неоднократно на Кобецкого».

[7] Том Квелч — представитель Британской Социалистической партии на II конгрессе Коммунистического Интернационала. В 1920 году член его Исполнительного Комитета от Великобритании. Летом 1920 года Том Квелч писал о В. И. Ленине: «В лице товарища Ленина мы имеем не только отважного и преданного вождя пролетариата, но и великого теоретика. Для борющегося пролетариата Ленин символизирует надежду на будущее. Повсюду рабочие любят его и доверяют ему... Великий дух Маркса снова ожил в Ленине... В том и другом воплотился дух пролетариата. Пролетариат поистине счастлив, имея подобных людей в качестве своих защитников... Когда народы земного шара сбросят с себя оковы капиталистического империализма, когда одержит верх коммунистическая цивилизация,— два имени будут почитаться превыше всех, и это будут имена: Карл Маркс и Николай Ленин».

[8] «Рапорт врача» (медицинское заключение) о смерти Джона Рида, о котором пишет здесь В. И. Ленин, был опубликован по-английски 3 ноября 1920 года в № 9 газеты "Call". Вышедший 19 октября 1920 года номер «Правды» открывался таким траурным извещением: «В ночь с 16 на 17 октября от брюшного тифа скончался член Исполнительного Комитета Коммунистического Интернационала, представитель Объединенной Коммунистической Партии Америки товарищ Джон Рид». Похороны Джона Рида состоялись в 1 час дня 24 октября на Красной площади. В конце октября 1920 года Луиза Брайант писала матери Джона Рида: «Он умер в воскресенье, но не был похоронен до следующего воскресенья, двадцать четвертого. Его похоронили на самом почетном месте России, рядом с великими героями у Кремлевской стены. Вы знаете, как его здесь ценят... Я была глубоко потрясена, но русские были очень добры ко мне. Они не жалели усилий, чтобы облегчить мое состояние. И они глубоко любили Джонни и воздали ему те почести, какие только были в их возможностях».

Г. Б. Краснощекова

Бесси Битти у Ильича

Склонившаяся над пишущей машинкой улыбающаяся женщина в платочке, изображенная на сохранившемся у меня любительском фотоснимке, беседовала с Лениным зимой 1921 года. Это Бесси Битти — американская журналистка, автор одной из немногочисленных зарубежных книг об Октябрьской революции, написанных ее непосредственными очевидцами.

Я познакомилась с Битти более трех с половиной десятилетий тому назад в агитационном поезде М. И. Калинина, куда нас направил А. В. Луначарский. Меня — в качестве одного из представителей Народного Комиссариата по просвещению, а Бесси Битти — как американскую очеркистку, обещавшую рассказать своим читателям о помощи, которую оказывала Советская власть голодающим Поволжья.

Прошло много лет, но я помню, как была потрясена Битти — по своему происхождению и воспитанию настоящая «светская женщина», когда она увидела исключительную простоту и доступность советского «президента». Внимательно наблюдала она, как он беседовал с голодающими крестьянами и питался вместе с ними и всеми участниками рейса поезда «Октябрьская революция» теми же постными щами и тем же черным хлебом двадцать первого года — одного из самых трудных за всю историю нашего государства.

Голод, охвативший Поволжье после страшной засухи 1921 года, был особенно тяжким. Он совпал с хозяйственной разрухой, в свою очередь вызванной четырехлетней разорительной гражданской войной. Битти очень тяжело переживала те порой жуткие картины, которые доводилось видеть нам на каждой станции, на каждой пристани, в каждом голодающем селе.

Битти не расставалась с блокнотом, а в поезде или на пароходе «Сарапулец», на который участники рейса пересели в Царицыне, со своей неизменной пишущей машинкой. За машинкой ее и сфотографировал вместе с М. И. Калининым кто-то из наших фотолюбителей.

21 августа 1921 года Битти довелось присутствовать на грандиозном митинге трудящихся Саратова, созванном в связи с прибытием в город поезда М. И. Калинина. Одним из первых на этом митинге выступил участник нашей экспедиции Том Манн, председатель союза английских металлистов, делегат III Конгресса Коммунистического Интернационала, представитель всех английских рабочих организаций Великобритании на I съезде красных профсоюзов, избранный им в состав Исполнительного Комитета Профинтерна. Том Манн говорил по-английски, и я переводила его речь, то и дело прерывавшуюся бурными аплодисментами.

— Я глубоко сожалею, — заявил Том Манн, — что не могу передать свои чувства и мысли на вашем богатейшем языке, который всем понятен. Мы должны вам сказать, товарищи русские, — продолжал оратор, когда затихли аплодисменты,— что вы в своей борьбе являетесь нашими учителями, вы учите нас, как нужно читать по вашей революционной азбуке.

Пламенная речь о русском народе, произнесенная ветераном английского рабочего движения, произвела глубокое впечатление на Битти, и она сказала мне, что если ей в Москве удастся побеседовать с Лениным, она обязательно расскажет ему обо всем, что увидела и услышала во время нашего путешествия.

Когда мы с Битти вернулись из поездки по голодающим районам Поволжья, нас поселили по соседству в гостинице «Савой», неподалеку от Лубянской площади. Странно выглядела в Москве двадцатых годов эта выросшая в аристократической среде тогда еще относительно молодая американка с ее экстравагантными вечерними туалетами и неизменной, точно застывшей, улыбкой. Я знала, что Битти настойчиво добивается интервью у Ленина. Но Владимир Ильич все время был так занят, что долго не мог выделить свободный час для встречи с американской корреспонденткой.

Неожиданно для Битти, ей позвонили в «Савой» из Кремля и сообщили, что Владимир Ильич готов принять ее, но обязательно с переводчиком. Ленин владел английским, писал и говорил на нем, свободно читал английскую литературу, но со своей безграничной скромностью неизменно извинялся за «плохой» и даже «ужасный английский язык».

Один из виднейших деятелей Американской Коммунистической партии художник Роберт Майнор, с которым я встречалась и в Нью-Йорке и в Москве, говорил, а впоследствии и писал, с своем изумлении тем, что Ленин, ссылавшийся на то, что он «недостаточно хорошо знает английский», беседовал с ним по-немецки и по-французски, а потом на безукоризненном английском языке, не делая ни одной ошибки и лишь время от времени останавливаясь в поисках слова.

— Мы много раз говорили с Лениным по-английски, — рассказывал Майнор, — и я не припоминаю у Ленина ни одной грамматической ошибки.

Как бы то ни было, Владимир Ильич категорически настаивал на том, чтобы Битти пришла к нему с переводчиком. Быть может, здесь сказалось резко обострившееся как раз в это время болезненное состояние Владимира Ильича, исключающее даже малейшее излишнее напряжение, всегда связанное с беседой на чужом языке.

Битти немедленно обратилась за помощью ко мне. Я, разумеется, согласилась, и мы тотчас же отправились из «Савоя» через площадь Революции в Кремль. Мы были так взволнованы предстоящей встречей, что даже не заметили, как заранее предупрежденные сотрудники секретариата Совнаркома встретили нас у Спасской башни и провели прямо в кабинет Владимира Ильича. Ленин поднялся нам навстречу, приветливо поздоровался, расспросил меня о здоровье А. М. Краснощекова, бывшего тогда председателем Совета министров Дальневосточной народной республики, и детях, вместе со мной совершивших длительное путешествие из Владивостока в Нью-Йорк, а оттуда через Англию, Швецию и Эстонию в Москву. Он усадил нас в кресла перед своим столом и необыкновенно приветливо начал беседу.

Беседа наша продолжалась более часа. Битти по-английски спрашивала Владимира Ильича, я переводила ее вопросы, Ленин отвечал по-русски и я снова переводила его ответ для Битти, почти совсем не владевшей русским языком. Эта напряженная работа, видимо удовлетворившая Владимира Ильича (он ни разу не переспросил меня и не поправил, когда я переводила его ответы), помешала мне твердо зафиксировать в памяти содержание беседы. Скажу только, что Битти, как она сама призналась мне потом по дороге домой, оказалась к ней не совсем подготовленной. На равных правах с большими и серьезными вопросами внешней политики Советского государства и международного женского движения она интервьюировала Владимира Ильича в обычном стиле американских репортеров. Помню, как заразительно расхохотался Ильич, когда я перевела ему очередной вопрос Битти: «Что вы делаете, когда остаетесь наедине с самим собой?».

— У меня так много работы, и я так устаю, — шутливо ответил Владимир Ильич,— что, как только освобождаюсь, поскорее ложусь спать.

Беседа кончилась, Владимир Ильич проводил нас до своей приемной, а через два-три дня, — 3 декабря, когда Битти уже направила Владимиру Ильичу на просмотр свою корреспонденцию о состоявшейся беседе, — ко мне в гостиницу приехал мотоциклист-связист из Кремля с письмом Владимира Ильича, впервые публикуемым в этом номере журнала «Иностранная литература». Я тотчас же помчалась к Битти, та вручила мне свою книгу «Красное сердце России», на которую ссылался Владимир Ильич, что-то надписала на ней, и тот же мотоциклист повез книгу в Кремль.

Через две недели, 15 декабря, я получила второе письмо Ленина и рукопись Битти с его поправками на английском языке. Рукопись я тут же передала автору, и вместе с Битти мы долго разбирали исправления, внесенные Владимиром Ильичем, написанные на этот раз неразборчивым почерком и, видимо, как в этой и признался Ленин, наскоро, в минуту, свободную от других более важных и неотложных дел.

Не знаю, где и когда опубликовала Битти свою запись беседы, и не могу припомнить, какие поправки внес в нее Владимир Ильич.

Вскоре писательница возвратилась в Соединенные Штаты, и больше мне не довелось встретиться

с этим своеобразным человеком. Знаю только, что, вернувшись к себе на родину, она выступала с лекциями о Советской России и, по примеру наших первых детских колоний, организовала для детворы Лос-Анжелеса большой лагерь "Happy Land"("Счастливая страна"), в котором летом жили мальчики и девочки из рабочих семей этого большого города. Позднее Битти стала основателем и директором Музея по искусству костюма, руководителем «Центрального Международного Женского Архива» — идейного и историографического центра буржуазно-либерального женского движения в странах английского языка. Много лет подряд чуть ли не ежедневно она выступала и как радиокомментатор.

Пусть Битти, в отличие от Джона Рида и Альберта Риса Вильямса, не смогла осознать всего исторического величия нашей революции. Но она зато, подобно своей ближайшей приятельнице во многом так на нее похожей Луизе Брайант, была полна сочувствия к тогдашним лишениям советских людей, восторженно отзывалась о их мужестве и героизме. Я помню, как глубоко взволновала ее скромность и мудрость Ленина. В нем она, как ее друзья Джон Рид и Альберт Рис Вильямс, Луиза Брайант и полковник Робинс, видела величайшего политического деятеля и мыслителя современности. Не сомневаюсь, что беседа с Лениным навсегда осталась для Битти самым ярким воспоминанием ее литературной и журналистской деятельности.

НА СНИМКАХ: 1) М. И. Калинин, Г. Б. Краснощекова и Бесси Битти на пароходе «Саратовец» близ Царицына. 2) На групповом снимке участников экспедиции М. И. Калинина рядом с ним Бесси Битти, второй слева Том Манн — представитель английских профсоюзов и один из основателей Коммунистической партии Великобритании. Снимки сделаны в августе 1921 года и публикуются впервые.

„Десять месяцев с Лениным“

На этом кадре из кинохроники 1918 года рядом с Ф. А. Ротштейном (справа) сфотографирован один из ближайших друзей и соратников Джона Рида американский прогрессивный писатель Альберт Рис Вильямс. Вместе с Ридом он сотрудничал в первые месяцы Советской власти в Бюро Международной Революционной Пропаганды. Он был инициатором создания Интернационального батальона Красной Армии, выступившего на фронт против немецких захватчиков.

10 января 1918 года, в день открытия III съезда Советов, Альберт Рис Вильямс приветствовал его делегатов «от имени американской демократии». Выражая мнение всей группы американских прогрессивных журналистов, возглавленной Джоном Ридом, Вильямс заявил, что все они приехали в Россию «не для того, чтобы чему-нибудь учить русских товарищей, а для того, чтобы рассказать, как воспринимаются за океаном уроки России, и чтобы поучиться у русского авангардного пролетариата». В России,— говорил тогда Вильямс,— он воочию убедился во всех великих преимуществах советской формы демократии над старым, отжившим буржуазным парламентаризмом. Свою речь Вильямс закончил,— как гласит газетный отчет, «при буре приветствий и поливших с хор звуков «Интернационала»,— здравицей в честь революционной России и Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.

Когда зимой 1919 года Вильямс вернулся в Соединенные Штаты и был вызван вместе с Джоном Ридом и Луизой Брайант в сенатскую комиссию Овермэна, он заявил: «Я верю в Советскую власть, как в великую творческую силу, соответствующую нуждам русского народа. Я верю в нее всей душой, ибо другие правительства самым фактом своей гибели доказали, что они не имели права на существование». В Советах Вильямс видел «воплощение великой мечты», а в Ленине — величайшего из великих вождей трудящихся.

Реакционеры-сенаторы пытались оклеветать русских коммунистов, обвиняя их в пресловутых «большевистских зверствах». Вильямс сказал им: «Призовите на суд истории с одной стороны большевиков, обвиняемых в красном терроре, а с другой — белогвардейцев и черносотенцев, обвиняемых в белом терроре, и предложите им поднять руки. Я знаю, когда они подымут руки, мозолистые и загрубелые от работы руки крестьян и рабочих будут сиять белизной по сравнению с обагренными кровью руками этих привилегированных леди и джентльменов...»

О литературной и ораторской деятельности Вильямса в те годы весьма убедительно рассказывал Эптон Синклер в те времена, когда он считался другом Советского Союза. «Все силы капитализма были мобилизованы, чтобы сделать блокаду Советской России полной и непроницаемой, — писал тогда Синклер. — И когда Вильямс все же прорвался сквозь нее и принес нам истину, он, с его рассказами и сообщаемыми им фактами, показался нам вестником из другого мира». Как отмечает писатель, американские рабочие «десятками тысяч стекались на доклады Вильямса и Джона Рида, чтобы высказать свое сочувствие революции».

Вильямс написал книгу «Десять месяцев с Лениным». В предисловии к ее русскому изданию А. И. Елизарова-Ульянова отмечала: «Альберт Рис Вильямс — американец, литератор, приехавший в Россию вместе с Джоном Ридом... Как вместе с Джоном Ридом, так и один, он старался войти в гущу нашей революции, познать ее движущие силы, соотношения классов, значение и корни большевистского направления, не только без всякой предубежденности, которая тогда была преобладающим настроением среди иностранной интеллигенции, но с искренним и глубоким стремлением понять ее, с явным сочувствием к революции, творимой массами... Много раз, в разные имевшие историческое значение моменты,— как во время заседания Учредительного собрания или перед заключением Брестского мира,— он виделся с Лениным, говорил с ним. Встречал он его и на повседневной, такой безумно трудной вначале работе по строительству и организации, наблюдал отношение к нему представителей разных групп населения и заносил все эти наблюдения в свою записную книжку».

Книгу Вильямса о Ленине А. И. Елизарова охарактеризовала как «альбом эскизов и силуэтов художника, дающий нам изображения Ленина в разные моменты, в различных позах, под различными углами зрения».

В 1929 году,— рассказывает Вильямс в одном из своих очерков о советских колхозах,— он снова «оставил Америку и еще раз отправился в русские долины и степи, чтобы собственными глазами посмотреть на совхозы и колхозы, вызвавшие такую тревогу и страх в буржуазном мире». В коллективизации советского сельского хозяйства писатель увидел «такое же, равное по величине, социальное явление», какое ему довелось наблюдать в 1917 году, «когда в течение нескольких месяцев по всей бывшей империи возникали точно чудом советы в каждом городе, в каждой деревне, в каждой шахте, на каждом судне, заводе, фабрике». «Можно ли было не изумиться,— вспоминает Вильямс,— когда, проехав семь тысяч километров по Сибирской дороге и выйдя из поезда во Владивостоке, я нашел там нормально работающий Совет — копию Петроградского совета. Явление небывалое до сих пор в истории, но теперь повторившееся с тем же размахом в сказочном развитии колхозов по всей огромной площади СССР».

Ленин и Уэллс

Герберт Уэллс был одним из самых выдающихся писателей XX века. Вслед за знаменитыми, обошедшими весь мир научно-фантастическими романами он создал ряд антифашистских произведений, гневно обличавших империалистическую реакцию во всех областях жизни капиталистического общества. Верный друг Советского Союза Уэллс считал Октябрьскую революцию началом новой эры истории человечества.

В 1920 году Уэллс, первым из писателей Западной Европы, побывал в Советской России и вскоре рассказал о своих впечатлениях в серии статей, озаглавленных «Россия во мгле» и собранных впоследствии в одноименной книге.

Уэллс мало увидел в нашей стране и многого не понял, но несмотря на все его заблуждения, а порой и вопреки им он мужественно выступил в защиту Советского правительства и возглавившей его партии большевиков, которую яростно травила в те годы буржуазная печать всего мира.

В то время как английские империалисты продолжали финансировать и снаряжать войска интервентов, грабивших советскую землю, Уэллс заявил, что Советское правительство — это «единственно возможное в России правительство». Пытаясь разобраться в причинах победы Октябрьской революции и руководящей роли Коммунистической партии, Уэллс писал, что во всей «беспредельной России» в 1917 году «существовала только одна группа людей, которые имели общий план действий, общую веру и общую волю,— то были коммунисты». Коммунисты,— продолжал Уэллс,— не составляют даже одного процента всего населения России; и тем не менее они одни были единственным организованным целым, дававшим людям определенный план действий. Большевики, по его характеристике, «морально выше всего того, что до сих пор с ними боролось».

Уэллс заявил тогда, что он понимает идеалы, воодушевляющие большевиков, и преклоняется перед ними. По его образному определению, большевики составляют «единственный фундамент, на котором можно построить возрождающуюся Россию» — исходную точку новой цивилизации.

По заслугам охарактеризовал писатель роль А. М. Горького, который был глубоко и страстно убежден в необходимости «сохранить связь русской умственной жизни с общей умственной жизнью человечества в эти сумрачные годы, годы голода, войны и общественных бедствий». «Он нашел себе прочную опору в лице Ленина», — подчеркивает Уэллс.

Весьма высоко оценил он успехи Советской власти в области народного образования. «Все, сделанное большевиками в этой области,— отмечал писатель,— особенно принимая во внимание огромные трудности, с которыми им приходится сталкиваться, очень хорошо».

Такого рода оценки завоеваний Советской власти глубоко поучительны для определенных слоев западноевропейской и особенно американской интеллигенции и в наши дни, но в те годы их провозглашение было настоящим гражданским подвигом. Недаром на Уэллса обрушился главный организатор и вдохновитель антисоветской интервенции Черчилль. Это мужество придала Уэллсу беседа с Лениным.

Традиционный специфически интеллигентский скептицизм не помешал на этот раз Уэллсу осознать все величие ленинских замыслов и глубину революционных идей ленинизма. Сколько бы оговорок ни делал Уэллс, он уехал из Советского Союза его другом и таким остался до последних лет жизни.

В 1921 году, как только книга Уэллса поступила в Россию, Ленин прочитал ее лондонское издание и сделал на нем ряд весьма характерных пометок. Почти все они суммированы и систематизированы на форзаце книги, где Ленин перечислил те страницы, на которых он сделал пометки. Ниже впервые публикуются эти пометки. Здесь же они кратко рассматриваются в той систематической последовательности, в которой расположены в ленинском указателе.

Первая группа ссылок сопровождена краткой и точной характеристикой их содержания: "Against marxism" («Против марксизма»).

Ленин отмечает все антимарксистские высказывания Уэллса, столь характерные для его мировоззрения. Так, на стр. 46 — первой из указанных в ленинском перечне, Уэллс сетует по адресу «грубой марксистской философии», подразделяющей всех людей на буржуазию и пролетариат, а в жизни общества видящей лишь «примитивную классовую борьбу». В тексте этой страницы Ленин подчеркивает приведенные положения и отчеркивает их вертикальной чертой на полях. На отмеченных далее Лениным

стр. 67—68 Уэллс объявляет «скучным до последней степени» так и не прочитанный им великий труд Маркса «Капитал» — эту гениальную книгу, полную революционной страсти. Не знающую себе равной научную добросовестность Маркса Уэллс с типично дилетантским высокомерием третирует как «монументальный образец претенциозного педантизма».

Ленин подчеркивает и отчеркивает в тексте стр. 67—68 эти выпады, отнюдь не делающие чести их автору. Отчеркивает он и сердитые замечания Уэллса о ненавистном буржуа слове «пролетарий», презрительно отнесенном к «марксистскому жаргону». На стр. 69, подчеркнутой в указателе особо заинтересовавших Ленина страниц книги Уэллса, тремя вертикальными чертами на полях отмечено заявление Уэллса о его «весьма активной враждебности» к Марксу.

Ленин зафиксировал в своих пометках явно антимарксистскую направленность книги Уэллса. Но поверхностный публицист Уэллс не был бы Уэллсом — выдающимся художником-реалистом, если бы, вопреки своим идейным заблуждениям, он не увидел в молодом Советском государстве новое, исторически прогрессивное, воплощающее в себе, несмотря на все неслыханные трудности и лишения, лучшие идеалы человечества. И Ленин отмечает наиболее выразительные высказывания Уэллса, свидетельствующие о понимании английским писателем характера трудностей, выпавших на долю советских людей.

Тремя чертами подчеркивает Ленин в своем указателе стр. 12. В ее тексте он ставит «NB» и отчеркивает тремя вертикальными чертами на полях заявление Уэллса о том, что в России после Октябрьской революции рухнула вся социальная и экономическая система капитализма.

На отмеченной Лениным далее стр. 18 его внимание привлекли одобрительные замечания Уэллса о вполне оправданном введении Советской властью коллективного контроля за распределением продовольствия и карточной системы. Они опять-таки выделены Лениным в тексте, отчеркнуты тремя вертикальными чертами на полях и сопровождены «NB». Сочувствие Ленина вызвали и содержащиеся на отмеченной в перечне стр. 27 высказывания Уэллса об исторической ответственности европейского империализма за хозяйственную разруху изнуренной шестилетней войной России. Ленин отчеркнул эти строки четырьмя чертами на полях, сопровожденными пометкой «NB».

Дважды подчеркнул Ленин в указателе стр. 54—55. На них содержатся замечания Уэллса о борьбе Советской власти с паразитами-спекулянтами. Особенно энергично Ленин отчеркивает мужественное по тем временам заявление Уэллса, вызвавшее впоследствии негодование Черчилля и других воинствующих идеологов английского империализма.

Ссылку на стр. 44 Ленин сопровождает двумя восклицательными знаками в скобках. Здесь он имеет в виду приписанную Уэллсом замечательному русскому композитору Глазунову тоску по выступлениям «перед восприимчивой публикой». Сам же Уэллс опровергает свое ложное представление о судьбах людей русского искусства, рассказывая, как, несмотря на голод, холод, хозяйственную разруху, продолжалась деятельность лучших русских театров, выступавших перед самой благодарной и заинтересованной аудиторией в мире.

«Наиболее устойчивым элементом русской культуры,— писал Уэллс,— оказался театр. Во время нашего пребывания в Петрограде каждый вечер было более сорока спектаклей; в Москве дело обстояло приблизительно так же. Мы слушали Шаляпина, великого актера и певца, в «Севильском цирюльнике» и «Хованщине». Мы видели «Садко», мы видели Монахова в «Царевиче Алексее» и в роли Яго в «Отелло» (Дездемону играла жена Горького Андреева). Пока мы смотрели на сцену, казалось, что в России ничего не изменилось, но когда занавес опустился и мы обернулись к публике, то революция дала себя знать. Не было больше блестящих мундиров, вечерних туалетов в ложах и креслах. Публика представляла собой недифференцированную людскую толпу, точно такую, как и повсюду — дружественную, внимательную, добродушную, вежливую — и оборванную».

На стр. 71 Ленин отмечает неожиданно трезвое признание Уэллса, опровергающее весь его крикливый антимарксизм. Здесь писатель после всех своих антимарксистских выпадов заявляет: «всюду, где развивается промышленность, возникает коммунистическое движение»... Марксисты, — пишет далее Уэллс, — появились бы все равно, «даже если бы Маркс никогда не существовал». Ленин подчеркивает заключенные в кавычки слова и отчеркивает их на полях тремя вертикальными чертами.

Ссылку на стр. 53 Ленин в своем указателе окружает рамкой и сопровождает вопросительным знаком. Поставленный и в тексте, он относится к приписываемой Уэллсом большевикам идее «диктатуры классово сознательного пролетариата» и достойному лишь «пролеткультовских» идеологов убеждению, что в России — после Октябрьской революции «будет новое небо и новая земля». Как известно, именно Ленин неоднократно предостерегал большевиков от подобных увлечений, всячески подчеркивая ценность всех завоеваний старой культуры, науки, техники, искусства.

Отдельно Ленин группирует ссылки на те страницы книги Уэллса, где он сочувственно отзывается о деятельности большевиков или резко выступает против лживой и

клеветнической антибольшевистской и антисоветской пропаганды. Так, на отмеченной первой в этой группе стр. 75 Уэллс пишет о честности и прямоте большевистского правительства и называет его «самым бесхитростным из всех правительств существующих сейчас в мире», понимая под этим несколько наивным определением большевистскую ненависть к политическому лицемерию и ханжеству, столь присущим буржуазным политиканам. На особо подчеркнутых стр. 89—90 Уэллс негодующе высмеивает белоэмигрантские «россказни о «зверствах большевиков». На стр. 94 Ленин ироническим восклицательным знаком на полях отмечает высказывания Уэллса о том, что сам Владимир Ильич «поразительно вырос со времени своего изгнания».

Последняя группа ссылок Ленина на дважды подчеркнутые им стр. 146—147 и 153 объединяет пессимистические политические прогнозы Уэллса, проникнутые тревогой за судьбы западноевропейской цивилизации, теснейшим образом связанные с судьбой России и прежде всего с ее экономическим потенциалом. На первых из отмеченных здесь страницах Ленин отчеркивает тремя вертикальными чертами и сопровождает пометкой «NB» особенно близкое уму, сердцу и даже текущему счету буржуазных читателей, не лишенное истины утверждение Уэллса о том, что из-за разрухи в России Европа на много лет будет отрезана от всех ее минеральных богатств и «лишится поставок других видов сырья из этого района — зерна, льна и т. д.» И здесь Уэллс верен традиционному буржуазному взгляду на Россию, как на аграрно-сырьевой придаток индустриальных стран Западной Европы. На заключительной странице книги Уэллса четырьмя вертикальными чертами Ленин отчеркивает полный неоправданного пессимизма заключительный вывод Уэллса о возможной гибели «всей современной цивилизации». Ленин всегда резко выступал против подобного буржуазного пессимизма, и в наши дни верная ленинским заветам Коммунистическая партия сурово осудила аналогичные идейно-порочные рассуждения о «гибели цивилизации» в случае возникновения новой мировой войны. Не цивилизация, а капитализм исторически обречен на гибель. Этого не понимал тогда Уэллс.

Уэллс был для Ленина типичным представителем буржуазной интеллигенции со всеми ее достоинствами и недостатками. Но как бы эти недостатки ни были значительны, как бы Уэллс порой ни заблуждался, Ленин все же видел в нем друга советских людей. Потому-то 6 декабря 1921 года, видимо вскоре после того, как он ознакомился с «Россией во мгле», Ленин попросил Горького написать «У э л л с у, который-де теперь в Америке», чтобы и он взялся для нас помогать сборам в помощь голодающим».

22 августа 1934 года Уэллс снова приехал в Советский Союз. На аэродроме он заявил звукооператорам «Союзкинохроники»: «Ленин во время нашей встречи в 1920 году сказал мне: «Приезжайте через десять лет и тогда посмотрите нашу страну». Прошло четырнадцать лет, но я вторично приехал». Даже за те несколько дней, которые Уэллс провел тогда в Советском Союзе, он заметил, что в стране социализма созидается «нечто очень значительное». Писатель сразу увидел «счастливые лица здоровых людей».

«Контраст по сравнению с 1920 годом поразительный»,— заявил он, беседуя с И. В. Сталиным. Беседу эту Уэллс начал ссылкой на Ленина и его высказывания 1920 года.

В том же году в книге «Опыт автобиографии», сопровожденной характерным подзаголовком: «Открытия и заключения весьма заурядного ума», Уэллс писал о Ленине: «Я ездил в Россию, о чем рассказал в своей книге «Россия во мгле», и имел там длительную беседу с Лениным, а также много слышал о нем. Признаюсь, до тех пор мне не приходилось встречать столь оригинального мыслителя, к тому же занимающего такие ключевые позиции, каких нельзя было даже представить себе до войны. Казалось, что все ресурсы, какие еще сохранились в России,—находятся в его руках... Основой его личного престижа были трезвость суждений и дальновидность, проявленные им во время революционного кризиса. К нему шли тогда все со своими страхами и сомнениями. Силу его составляла ясность цели в сочетании с тонкостью мысли».

Уэллс вспоминает, что во время беседы с Лениным его поразило «необычайное одушевление и ясное сознание цели», характеризующие Владимира Ильича. Уэллс и в 1934 году повторяет свои антимарксистские выпады, которые стали еще более нелепыми и приобрели прочность предрассудка. Однако неприятие личности Маркса при поразительной для человека такой эрудиции, как Уэллс, неосведомленности в его учении не помешало ему глубоко осознать все историческое величие Ленина и его дела. В «Опыте автобиографии», своеобразном философском итоге всего, к тому времени почти семидесятилетнего, пути писателя, Уэллс пишет о Ленине: «...теперь, просматривая свою, написанную четырнадцать лет тому назад, книгу, восстанавливая в памяти тогдашние впечатления и сравнивая его с другими занимавшими ключевые позиции людьми, которых я знал, я начинаю понимать, какая это была выдающаяся и значительная историческая фигура. Я далеко не сторонник теории об исключительной роли «великих людей» в жизни человечества, но уж если говорить о великих представителях нашего рода, то я должен признать, что во всяком случае Ленин был действительно великий человек...»

В. И. Ленин

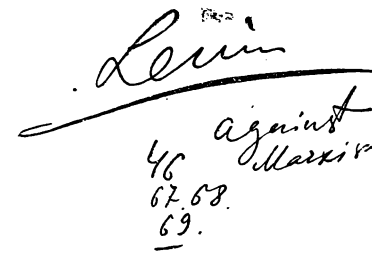
Пометки на книге Герберта Уэллса „Россия во мгле“

(Перевод с английского)

1921

Ленин

46 Против
67.68. марксизма
69.



стр. **12.** NB

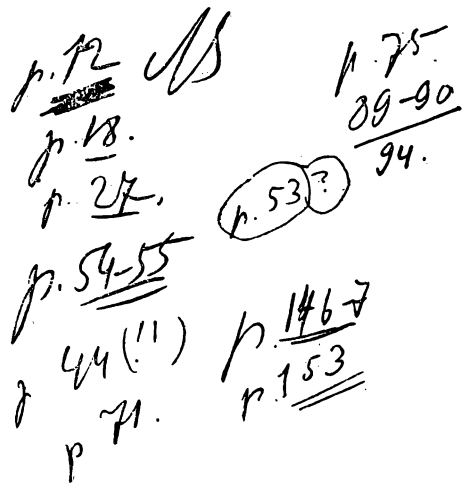
стр. *18.* стр. 75.

стр. *27.* *89—90*

стр. ***54—55*** стр. 53.? 94.

стр. 44(!!) стр. ***146—7.***

стр. 71. стр. ***153***



Факсимиле пометок В. И. Ленина на форзаце книги Герберта Уэллса «Россия во мгле».

I. ГИБНУЩИЙ ПЕТЕРБУРГ

<Стр. 11—12.>

Основное, что произвело на нас впечатление во время поездки в Россию, это картина чудовищного, непоправимого краха. Огромная монархия, существовавшая здесь в 1914 году, и связанная с ней административная, социальная, финансовая и торговая системы рухнули и полностью развалились в результате непосильного напряжения, вызванного шестилетней войной... Та часть старого цивилизованного мира, какой до 1914 года являлась Россия, погибла и исчезла, отчасти вследствие своей внутренней несостоятельности, отчасти под ударами и натиском агрессивного империализма. Крестьянин, ранее служивший основанием государственной пирамиды, и поныне сидит на земле; жизнь его изменилась сравнительно мало; все остальное уже разрушено или разрушается. При таких чрезвычайных обстоятельствах, в обстановке полнейшего развала, власть взяло в свои руки правительство, поддерживаемое партией коммунистов — дисциплини-

рованной партией, которая объединяет около 150 000 его приверженцев[1]. Ценой многочисленных расстрелов оно прекратило разбой, водворило относительный порядок и спокойствие в обнищавших городах и ввело элементарную карточную систему.

Я хотел бы сразу сказать, что это — единственное правительство, возможное в настоящее время в России. Оно воплощает в себе единственную идею, единственное сплачивающее начало, какое еще осталось в России. Но это — факт второстепенный. Решающий же факт для западного читателя, факт грозный и удручающий, состоит в том, что рухнула социальная и экономическая система, очень схожая с нашей и теснейшим образом с ней связанная.

NB

<Стр. 18.>

В условиях нехватки почти всех товаров, возникшей отчасти из-за напряжения, вызванного войной — ибо Россия беспрерывно воюет вот уже шесть лет — отчасти из-за общего разрушения всей социальной организации, а отчасти из-за блокады; в условиях полного расстройства денежного обращения, единственным средством спасения городов от хаоса спекуляции, взвинчивания цен, голода и в конечном итоге — от чисто первобытной борьбы за остатки продовольствия и предметов первой необходимости, было введение какой-то формы коллективного контроля и карточной системы.

NB

Советское правительство ввело карточную систему, исходя из принципиальных соображений, но в настоящее время в России любому правительству пришлось бы пойти на это. Если бы война на Западе продолжалась до сих пор, то и в Лондоне сейчас проводилось бы нормирование продовольствия, одежды и жилой площади.

<Стр. 25—28.>

Когда мы покидали Россию, там еще ярко светило солнце, но при мысли о предстоящей зиме у меня сжимается сердце. Советское правительство приложило колоссальные усилия, чтобы подготовить Северную Коммуну[2] к зимним холодам. Кучи дров лежат вдоль набережных, посреди больших улиц, во дворах — повсюду, где только можно их навалить. Прошлой зимой многим приходилось жить в помещениях, где температура падала ниже нуля. Водопроводные трубы замерзли, канализация не действовала. Читатель может себе представить, к чему это приводило. Люди скучивались в полутемных комнатах и поддерживали в себе жизнь чаем и разговорами. Впоследствии какой-нибудь русский писатель расскажет нам, как это повлияло на ум и душу русского человека. В нынешнем году, быть может, будет не так плохо. Говорят, что с продовольствием дело обстоит лучше, но я в этом сильно сомневаюсь. На железных дорогах царит полный развал, паровозы приходится топить дровами и они быстро изнашиваются; стрелки разболтались, колея нарушается и поезда плетутся с максимальной «скоростью» двадцать пять миль в час. Даже если бы железные дороги работали лучше, это ничего не изменило бы: Врангель успел захватить запасы продовольствия на юге. Скоро на жителей Петербурга, — а их там еще осталось семьсот тысяч — снова польют холодные дожди, а потом пойдет снег. Длинные ночи будут становиться все длиннее, а дни — все короче.

И эта картина страданий и угасания, скажете вы, есть результат большевистского правления. Я в это не верю. О большевистском правительстве я расскажу после того, как дам общее представление о нашем предмете. Но уже сейчас я хотел бы отметить, что эта разоренная Россия не представляет собой страну, строй которой подвергся нападению какой-то мощной, злобной силы, разрушившей его. То был прогнивший строй, ко-

торый изжил себя и рухнул. Не коммунизм построил эти громадные нелепые города, а капитализм. Не коммунизм вверг эту огромную, трещавшую по швам, обанкротившуюся империю в изнурительную шестилетнюю войну. Это дело рук европейского империализма. И не коммунизм терзает страждущую, быть может умирающую, Россию путем организации целого ряда субсидированных набегов, вторжений и мятежей, не он проводит жестокую ее блокаду. Мстительный французский кредитор, тупой английский журналист куда более повинны в этих смертных муках, чем любой коммунист.

NB

II. ПОТОП И СПАСАТЕЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

<Стр. 43—46.>

Все любители музыки в Англии знакомы с творчеством Глазунова; он не раз дирижировал в Лондоне; Оксфордский и Кембриджский университеты присвоили ему почетную докторскую степень. Встреча с ним глубоко меня взволновала. Я помню его полным, цветущим человеком, а сейчас он мертвенно бледен и так исхудал, что все на нем висит. Глазунов пришел ко мне и стал расспрашивать о своих друзьях — сэре Хьюберте Пэрри и сэре Чарльзе Вильерсе Стэнфорде[3]. Он говорил, что по-прежнему пишет музыку, но что нотная бумага у него на исходе. «А новой не будет», — добавил он. Я возразил, что скоро у него будет бумага и очень много. Но он в этом усомнился. Он заговорил о Лондоне и Оксфорде; видно было, что его снедает тоска по большому городу, где кипит жизнь, где всего вдоволь, по городу, заполненному веселой толпой, по городу, где он мог бы выступать перед восприимчивой публикой, в теплых, ярко освещенных залах. И пока я был с ним, он словно видел во мне живой символ того, что все это еще действительно существует...

NB!!

...Наука, искусство и литература — тепличные растения, требующие тепла, внимания и ухода. Парадоксальная особенность науки состоит в том, что она преобразует весь мир, а в то же время является порождением духа людей, которые нуждаются в защите и помощи больше, чем любая другая категория работников. С крахом империалистического строя в России рухнули и все прибежища науки, искусства и литературы. Грубая марксистская философия, которая подразделяет всех людей на буржуазию и пролетариат, которая в жизни общества видит лишь до глупости примитивную «классовую борьбу», понятия не имеет об условиях, необходимых для коллективной духовной жизни. Но к чести большевистского правительства надо отметить, что оно сейчас осознало опасность разрушения всей духовной жизни в России, и несмотря на блокаду и непрекращающуюся борьбу против субсидированных мятежей и нашествий, которыми мы и французы терзаем Россию, оно разрешает создавать «спасательные станции» и даже помогает им. Кроме Дома ученых существует также Дом литературы и искусств. Если не считать нескольких сборников стихов, новых книг в России не пишут, картин не рисуют. Но многие русские писатели и художники нашли применение своим силам в грандиозно задуманном предприятии — издании своего рода русской энциклопедии всемирной литературы. В этой странной России, в стране голода, холода, борьбы и ужасных лишений ведется сейчас такая литературная работа, какой нельзя себе представить ни в богатой современной Англии, ни в богатой современной Америке. В Англии и в Америке фактически перестали издавать хорошие книги по доступным ценам — «слишком дорога бумага». Духовная пища английских и американских масс ухудшается и оскудевает, а власти нисколько этим не обеспокоены. Большевистское правительство в этом отношении стоит на голову выше.

В гибнущей от голода России сотни людей трудятся над переводами, и переведенные ими книги набираются и печатаются; осуществление этого замысла может дать новой России такие познания в области мировой мысли, какими не будет обладать ни один другой народ. Я видел некоторые из этих книг и наблюдал, как над ними работают[4].

<Стр. 52—53.>

? Марксистская теория подвела русских коммунистов к идее «диктатуры классово-сознательного пролетариата», а затем внушила им представление — как мы теперь видим, весьма смутное, — что в России будет новое небо и новая земля. Если бы так случилось на самом деле, это было бы подлинной революцией в жизни человечества. Но, судя по тому, что мы видели в России, там по-прежнему старое небо и старая земля.

<Стр. 54—56.>

Если бы мировая война продлилась еще с год или более, то в Германии, а затем и в странах Запада, вероятно, произошел бы такой же крах, как и в России, только с местными особенностями. Положение, которое мы обнаружили в России, есть лишь обострение и завершение того состояния, к которому неудержимо шла Англия в 1918 году. Здесь тоже во многом ощущается нехватка, как это было и в Англии, но только здесь она достигла чудовищных размеров; здесь тоже есть карточная система, но только она плохо налажена и не дает результатов; спекулянта в России не штрафуют, а расстреливают; вместо английского Закона об

NB обороне государства[5] здесь действует Чрезвычайная Комиссия. То, что в Англии ощущалось как неудобство, в России разрослось до масштабов бедствия. Вот и вся разница. Вполне возможно, что Западная Европа еще и сейчас неудержимо движется к такой же катастрофе. Я отнюдь не уверен в том, что для нас опасность миновала. Из-за войны, распущенности и спекуляции западный мир, быть может, и поныне бросает на ветер больше средств, чем производит; а если это так, то и наша катастрофа — расстройство денежного обращения, всеобщее оскудение, социальный и политический крах и все вытекающие отсюда последствия — лишь дело времени. Магазины Риджент-стрит постигнет та же участь, что и магазины Невского проспекта, а мистеру Голсуорси и мистеру Беннету придется напрячь все силы, чтобы спасти, что только можно, из сокровищ искусства Мэйфэйра[6]. Искажает всю международную ситуацию и вообще вводит

NB в заблуждение людей, занимающихся политикой, утверждение о том, что ужасающая разруха в сегодняшней России в сколько-нибудь значительной мере является результатом одной лишь деятельности коммунистов; что зловредные коммунисты довели Россию до ее нынешнего состояния и что достаточно свергнуть коммунизм, чтобы в России все и вся сразу опять стали счастливыми. Россия попала в нынешнее бедственное положение из-за мировой войны, а также из-за моральной и умственной неполноценности ее правящих и состоятельных кругов (так же, как это может случиться с нашим английским государством и — в дальнейшем — даже

NB с американским). У них не хватило ума и совести прекратить войну, прекратить всякого рода расточительство, они продолжали захватывать себе все самое лучшее, обрекая остальных на нищету и лишения, пока, наконец, не стало слишком поздно. Они по-прежнему правили страной, попусту расточали средства, ссорились и, словно слепые, не видели надвигавшейся катастрофы, пока она не разразилась. И тогда-то, как я покажу в следующих главах, пришли коммунисты...

III. СУЩНОСТЬ БОЛЬШЕВИЗМА

<Стр. 67—72.>

Пропаганда взглядов Маркса продолжается уже больше полувека. Она распространилась по всему земному шару, и почти в каждой стране имеется небольшая группа ярых его приверженцев. Это — естественный результат экономического положения во всем мире. Повсюду эта пропаганда выражает те же ограниченные идеи в тех же формулировках... ...Чтобы познакомиться с идеями большевизма, не нужно учиться русскому языку. Интересующиеся найдут их и в лондонском «Плебсе», и в нью-йоркском «Либерейторе», и выражены они будут точно теми же словами, что и в русской «Правде». Марксисты ничего не скрывают. Они все говорят начистоту. И то, о чем они говорят и пишут, они пытаются претворить в жизнь.

Лучше будет, если я стану писать о Марксе без всякого лицемерного почтения. Я всегда считал его скучным до последней степени. Огромный незаконченный труд Маркса «Капитал» — вереница скучных томов, в которых говорится о таких призрачных, нереальных вещах как «буржуазия» и «пролетариат» — причем изложение без конца перемежается утомительными, маловажными рассуждениями, — кажется мне монументальным образцом претенциозного педантизма. Но все же до моей последней поездки в Россию у меня не было активной враждебности к Марксу. Я просто избегал читать его труды, а встречая марксистов избавлялся от них тем, что просил точно объяснить мне, кто именно составляет пролетариат. Никто из них не мог мне ответить, да и ни один марксист этого не знает. На квартире у Горького я внимательно слушал, как Бакаев и Шаляпин обсуждали сложный вопрос: существует ли вообще в России пролетариат, отличный от крестьянства. Так как Бакаев возглавляет Чрезвычайную Комиссию, осуществляющую диктатуру пролетариата в Петербурге, мне было особенно интересно следить за сложными перипетиями спора. В марксистском жаргоне слово «пролетарий» аналогично слову «производитель» в жаргоне некоторых специалистов по политической экономии; считается, что последний представляет собой существо совершенно иного порядка, чем «потребитель», и в корне от него отличное. Точно так же и термин «пролетарий» противопоставляется так называемому «капиталу»...

Должен признаться, что в России мое пассивное неприятие Маркса перешло в весьма активную враждебность. Куда бы мы ни приходили, повсюду нам бросались в глаза портреты, бюсты и статуи Маркса.

Но для марксистов Маркс лишь кумир и символ; и мы сейчас займемся не Марксом, а марксистами. Мало кто из них читал «Капитал» целиком. Во всех современных обществах марксистами, как правило, становятся люди одного определенного типа, и должен признаться, что в силу своего темперамента и жизненных обстоятельств я испытываю к ним самое горячее сочувствие. Они признают Маркса своим пророком просто исходя из того, что он писал о классовой борьбе трудящихся против предпринимателей и предсказал победу трудящихся, их освобождение, всемирную диктатуру их вождей (диктатуру пролетариата), в результате которой наступит коммунистический рай. Доктрина эта и пророчество с необыкновенной силой влекут к себе молодежь всех стран, в особенности энергичных молодых людей, с сильно развитым воображением, которые, едва начав жить, убеждаются, что они недостаточно образованы, плохо оснащены для жизненной борьбы и в условиях нашей нынешней экономической системы безнадежно обречены на рабство ради заработной платы. Они являют собой живое доказательство социальной несправедливости, тупого пренебрежения к человеку и чудовищной грубости нашего

строя; они чувствуют, что ущемлены этим строем и принесены им в жертву; целью всей их жизни становится его уничтожение, освобождение от его ига. Чтобы создать таких бунтарей, вовсе не требуется коварной пропаганды; всюду, где развивается промышленность, возникает коммунистическое движение, как порождение пороков того строя, который дает людям некоторое образование, а затем порабощает их. Марксисты появились бы все равно, даже если бы Маркс никогда не существовал...

<Стр. 75.>

Большевистское правительство — самое смелое и в то же время самое неопытное из всех правительств мира... Но по существу своему оно честно. Это самое бесхитростное из всех правительств, существующих сейчас в мире.

IV. СОЗИДАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В РОССИИ

<Стр. 89—90.>

Русские эмигранты в Англии, с точки зрения политической, достойны всяческого презрения. Они без конца повторяют россказни о «зверствах большевиков», о сожженных крестьянами усадьбах, о грабежах и убийствах, совершаемых в городах солдатами расформированной армии, о преступлениях в глухих переулках и т. д. — все это, по их словам, дело рук большевистского правительства. Но спросите их, какое правительство они хотели бы видеть на его месте, и в ответ вы услышите лишь пустые, общие слова — при этом собеседник ваш, как правило, будет подделываться под те политические воззрения, которые, по его мнению, вы особенно ревностно отстаиваете, или же примется до тошноты восхвалять какого-нибудь очередного «сверхчеловека», Деникина или Врангеля, который все приведет в порядок — одному богу известно как. Ничего лучшего, чем царь, они не заслуживают, а между тем не могут даже решить, какого именно царя они желают. Большинство образованных людей, оставшихся в России, сейчас постепенно начинает — во имя спасения России — неохотно, но честно сотрудничать с большевистским режимом.

NB

Сами большевики — марксисты и коммунисты. Как я уже пояснил, они оказались у власти именно в России, вопреки всем теориям Карла Маркса. Свои силы они отдают, главным образом, на чисто патриотическую борьбу, к чему их вынуждают набеги, вторжения, блокады и всякого рода преследования, которым наши сумасшедшие западные правительства без конца подвергают их несчастную разоренную страну.

<Стр. 92—94.>

Несмотря на невиданные трудности, большевики стараются создать из развалин новую Россию. Мы можем оспаривать их принципы и методы, можем называть их планы утопическими и т. д., можем насмехаться над их делом или бояться его результатов, но незачем утверждать, что в настоящее время в России не ведется никакой созидательной работы. Конечно, среди большевиков есть тугодумы и доктринеры, которых ничему нельзя научить; фанатики, уверенные в том, что достаточно уничтожить капитализм, отказаться от торговли и денежного обращения и устранить все социальные различия, чтобы на земле сам собой наступил некий унылый рай... Но есть в этом новом русском мире и другие люди, с более широкими взглядами, и если предоставить им возможность для созидания, они будут созидать, и, вероятно, успешно. Из людей, обладающих этой творческой силой, я назвал бы самого Ленина, который поразительно вырос со времени своего изгнания и в последнее время энергично выступал в печати против перегибов, допущенных крайними элементами его же собственной партии...[7].

!

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

<Стр. 145—148.>

В предыдущих главах я намеренно вел повествование от первого лица и писал разговорным языком, чтобы читатель ни на мгновение не забывал о краткости нашей поездки в Россию и о субъективном характере моих оценок. Теперь, в заключение, я хотел бы — если только у читателя осталось еще немного терпения — изложить менее субъективно и с предельной ясностью свои основные взгляды на положение в России. Взгляды эти составляют мое глубочайшее убеждение и касаются не только России, но и нынешних перспектив всей нашей цивилизации. Правда, это всего лишь взгляды одного человека, но я настолько глубоко их прочувствовал, что излагаю их без всяких разжижающих оговорок. Итак, прежде всего, Россия, которая была современным цивилизованным государством западного типа, самой недисциплинированной и расшатанной из всех великих держав, сейчас являет собой такое современное цивилизованное государство in extremis[8]. Непосредственной причиной ее крушения была война современного типа, физически ее изнурившая. Только в силу этого большевикам и удалось прийти к власти. Никогда еще свет не видел ничего подобного этому крушению России. Если нынешнее положение продлится еще, примерно, с год наступит полный крах. От России ничего не останется, кроме крестьян; города опустеют и превратятся в развалины, железные дороги будут ржаветь в бездействии. С исчезновением железных дорог исчезнут и последние следы центральной власти... NB

В случае краха цивилизованного строя в России и перехода ее к крестьянскому варварству Европа на много лет будет отрезана от всех минеральных богатств России и лишится поставок других видов сырья из этого района — зерна, льна и т. д. Совсем не ясно, смогут ли западные державы обойтись без этих поставок. Их прекращение, безусловно, приведет к общему обеднению Западной Европы. NB

Единственное правительство, которое в настоящее время может предотвратить окончательную гибель России, — это нынешнее правительство большевиков (если Америка и западные державы ему в этом помогут). Сейчас ему нет никакой замены. Разумеется, у большевиков имеется множество противников — всевозможных авантюристов, которые готовы попытаться с помощью европейских держав сбросить большевистское правительство; однако нет ни малейшего признака существования каких-либо сил, объединяемых общностью цели и моральных принципов, которые могли бы явиться ему заменой. К тому же сейчас у России уже нет времени для новой революции. Еще год гражданской войны — и окончательное отпадение России от цивилизованного мира станет неизбежным. Поэтому мы должны, насколько удастся, поладить с большевистским правительством, независимо от того, по душе оно нам или нет.

Большевистское правительство неопытно и неумело до крайности; у него бывают периоды насилия и жестокости; но по существу своему оно честно. Кроме того, в этом правительстве есть несколько человек, обладающих подлинно творческим воображением и способностями — в благоприятных условиях и при соответствующей поддержке они могли бы добиться больших успехов в восстановлении страны. NB

<Стр. 152—153.>

Единственная держава, которая может без содействия других стран помочь России в эту последнюю минуту — Соединенные Штаты Америки. Вот почему я придаю большое значение тому смелому предприятию, которое затеял изобретательный м-р Вандерлип[9]. Я сомневаюсь в том, что его переговоры здесь носят окончательный характер; вероятно, они пред- NB

ставляют собой лишь начальный этап обсуждения русской проблемы на новой основе, и быть может это обсуждение приведет в конце концов к более широкому международному подходу к нынешней ситуации. Всем другим державам, кроме Соединенных Штатов, пришлось бы, в связи с нынешним всеобщим изнурением, объединиться между собой, чтобы оказать России сколько-нибудь действенную помощь. Коммунисты отнюдь не настроены против крупного предпринимательства. Чем шире становятся его масштабы, тем больше оно приближается к коллективизму. Это путь немногочисленной верхушки к коллективизму вместо низового пути к нему масс.

Если же такого полезного вмешательства в дела большевистской России не последует, то, по моему твердому убеждению, неизбежна окончательная гибель последних остатков современной цивилизации на всей территории, составлявшей ранее Российскую империю. Крайне мало вероятия на то, что это крушение не распространится за ее границы. Возможно, что и другие крупные территории к востоку и к западу от России одна за другой будут проваливаться в эту брешь, образовавшуюся таким образом в цивилизованном мире. Быть может туда провалится вся современная цивилизация.

NB

Эти выводы относятся не к какому-то далекому проблематическому будущему; я попытался показать основные факты и возможные последствия тех событий, которые сейчас развиваются — и притом с большой быстротой — не только в России, но и во всем мире, и показать их так, как я их вижу. Таковы те общие рамки, о которых я хотел бы представить читателю свои очерки о России. Именно так толкую я пророчество, начертанное на восточной стене Европы.

Архив Института марксизма-ленинизма.— Фонд 2, опись 1, единица хранения 22 561, листы 1—90. Подлинник.

Герберт Уэллс

Письмо А. М. Горькому[10]

(Перевод с английского)

21 декабря 1920

Дорогой Горький,

Я был очень рад получить Ваше письмо из Москвы от 3 декабря, так как уже начинал бояться, что никогда не смогу опять вступить в прямую переписку с кем-либо из вас, дорогих моих друзей. Я был, однако, очень опечален, узнав, что Вы болеете цингой и все еще живете в тревогах и волнениях. У нас, у людей воображения, тонкая кожа, и мы слишком чувствительны. Мне хотелось бы, чтобы Вы могли отдохнуть.

Я кончил свою книжку о России. Я сделал все возможное, чтобы заставить наше общество понять, что Советское правительство — это люди, а не какое-то исчадие ада, и мне кажется, что я много сделал, чтобы подготовить почву для культурных отношений между двумя половинами Европы. Книгу я Вам посылаю. Вы увидите, что я не польстил большевикам. Если бы я это сделал, результат был бы обратный тому, которого я добивался.

Книга, когда она еще печаталась в виде газетных статей, вызвала такой шум, что Черчилль счел необходимым на нее ответить. Я выступил с контрответом. И убил его. Посылаю Вам номера *«Сандей экспресс»*, содержащие эту полемику.

Я не забыл о нуждах Дома ученых[11]. Уже организован сильный комитет, и в ближайшие дни мы выпустим обращение по поводу сбора средств. После опубликования моих газетных статей я уже получил более 200 фунтов. Думаю, что у нас будет достаточно денег не только для того, чтобы послать книги, но и для того, чтобы ока-

зать некоторую помощь вашей немногочисленной кучке ученых. *Очень важно, чтобы о получении всего посланного нас извещали не только официально, но чтобы извещения подписывали Вы и такие хорошо известные в Англии люди, как Ольденбург и Павлов.* Нам тут приходится бороться с глубоко укоренившимся недоверием к большевистским властям, и письма от этих всем известных лиц оказали бы огромное влияние на общественное мнение. Не важно, что именно они напишут, важно показать, что они не репрессированы.

Передайте привет мадам Андреевне [12] и Муре [13] и всем Вашим домашним. Получил письмо от Анны Кочубей [14], в котором она спрашивает о своей сестре и посылает привет.

Теперь о моих делах. Моя маленькая жена была тяжело больна и перенесла очень серьезную операцию. Теперь она поправляется. Я тоже сильно болел. У меня была гиперемия легких, и мне пришлось отказаться от лекционного турне по Америке, которое я намечал на первую половину 1921 года. Вместо этого я, кажется, поеду в Ваше старое убежище, на Капри, и месяца два побездельничаю, чтобы скорее поправиться. Джип [15] в Кембриджском университете, и, по-видимому, дела его идут вполне успешно.

С приветом великой и дорогой, незабываемой России.

Всегда Ваш Г. Д ж. У э л л с.

Архив А. М. Горького. КГ — ИНАН 1—40—6. Письмо будет опубликовано в подготовленном Институтом мировой литературы томе «Архива А. М. Горького» — «Переписка Горького с зарубежными литераторами».

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] *Уэллс ошибочно ограничил число членов РКП(б) в 1920 году 150 000.*

К IX съезду партии, состоявшемуся 29 марта — 5 апреля 1920 года, примерно за полгода до приезда Уэллса в Советскую Россию, РКП(б) насчитывала 611 988 членов, а к X съезду партии (8—16 марта 1921 года) число коммунистов превышало 732 500.

[2] *«Северной Коммуной» в 1918—1920 годах назывались Петроград и Петроградский промышленный район.*

[3] *Хьюберт Хэстингс Пэрри (1848—1918) и Чарльз Вильерс Стэнфорд (1852—1924) — известные английские композиторы.*

[4] *О широко задуманной А. М. Горьким деятельности издательства «Всемирная литература» он писал В. И. Ленину в январе 1919 года: «На днях закончим печатание перечня книг, предположенных к изданию «Всемирной литературой». Я думаю, что не худо будет перевести эти списки на все европейские языки и разослать их в Германию, Англию, Францию, Скандинавские страны и т. д., дабы пролетарии Запада, а также Уэллсы и разные Шейдеманы видели воочию, что российский пролетариат не только не варвар, а понимает интернационализм гораздо шире, чем они, культурные люди, и что он в самых гнусных условиях, какие только можно представить себе, сумел сделать в год то, до чего им давно пора бы додуматься». Весной 1920 года Горький сообщил Уэллсу, что предпринятое им «издание всей европейской литературы XIX в., конечно, только образцовых ее произведений» составит около трех тысяч томов.*

[5] *«Закон об обороне государства» был принят в Англии 27 ноября 1914 года. По этому закону были национализированы все средства сообщения и промышленность, прямо или косвенно работавшая на оборону. Закон наделял правительство правом интернировать лиц, представлявших угрозу для безопасности страны.*

[6] *Мэйфэйр — аристократический квартал Лондона, во многих особняках которого собраны ценнейшие частные коллекции живописи и скульптуры.*

[7] *Уэллс имеет в виду выступления В. И. Ленина против пропагандировавшегося «пролеткультовцами» нигилистического отношения к завоеваниям старой буржуазной культуры. За две недели до встречи с Уэллсом, выступая на III Всероссийском съезде Коммунистического Союза Молодежи, Ленин заявил: «Пролетарская культура не является выскочившей неизвестно откуда, не является выдумкой людей, которые называют себя специалистами по пролетарской культуре. Это все сплошной вздор. Пролетарская культура должна явиться закономерным развитием тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического общества, помещичьего общества, чиновничьего общества».*

[8] *In extremis (лат.) — в момент приближения смерти.*

[9] *Вандерлип — представитель деловых кругов США, приехавший в Советскую Россию для заключения концессионного договора. О переговорах с Вандерлипом В. И. Ленин рассказывал партийному активу Москвы и членам коммунистических фракций VIII Всероссийского съезда Советов и ВЦСПС в ряде выступлений зимы 1920 и весны 1921 года. Вандерлипа Ленин охарактеризовал тогда, как представителя «финансового капитала самой деляческой марки», а в его проектах увидел совершенно откровенное, сделанное «с неслыханной циничностью» изложение точки зрения американского империалиста. О своей встрече с Вандерлипом, состоявшейся осенью 1920 года, Ленин сообщил коммунистам — делегатам съезда Советов: «Когда наши разговоры стали подходить к концу, то товарищ Чичерин указал на то, что Вандерлипа следует принять потому, что это окажет прекрасное действие на дальнейшее его выступление*

в Западной Европе. И хотя, конечно, перспектива побеседовать с такой капиталистической акулой не принадлежит к числу приятных, но после того, как пришлось по должности беседовать весьма вежливо даже с покойным Мирбахом, меня, конечно, не мог испугать и разговор с Вандерлипом. Интересно, что, когда с Вандерлипом мы обменивались всякими любезностями и он стал шутя говорить о том, что американцы — народ чрезвычайно практический и никому не поверят, пока сами своими глазами не увидят, я ему также полушутя ответил: «Вот вы теперь посмотрите, как хорошо в Советской России, и в Америке у себя это введите». Он мне на это отвечал, но уже не по-английски, а по-русски: «Может быть». «Как, вы знаете даже по-русски?». Он говорит: «Я пять тысяч верст проехал по Сибири много лет тому назад, и Сибирь меня заинтересовала чрезвычайно». Такой шуточный обмен любезностями с Вандерлипом закончился тем, что Вандерлип, уходя, сказал: «Да, надо признаться, что у мистера Ленина рогов нет, и я должен буду это сказать всем своим знакомым в Америке».

По замечанию, высказанному Лениным в другом выступлении, «в этой юмористике есть кусочек политики». Излагая заключительную часть своей беседы с Вандерлипом, Ленин сказал: «Я не сразу понял, так как вообще по-английски понимаю плохо — «Что вы сказали? повторите?». Он — живой старичок, жестом показывает на виски и говорит: «Рогов нет». Переводчик здесь был, говорит: «Да, именно так». В Америке все уверены, что тут должны быть рога, т. е. вся буржуазия говорит, что я помечен дьяволом. «А теперь я должен буду сказать, что рогов нет», сказал Вандерлип. Мы простились весьма любезно».

[10] Публикуемое письмо представляет собой ответ на письмо от 3 декабря 1920 года, в котором А. М. Горький сообщал Уэллсу о получении им книжной посылки и благодарил его за этот ценный для Дома ученых подарок (см: М. Горький — Собрание сочинений в тридцати томах, т. 29, стр. 395).

[11] Во время своего пребывания в Петрограде Уэллс с большим интересом следил за работой Комиссии по улучшению быта ученых, присутствовал на заседании, которое проводилось под председательством А. М. Горького. Г. Уэллс высоко ценил таких крупнейших русских ученых, как физиолог И. П. Павлов, востоковед С. Ф. Ольденбург.

[12] «Мадам Андреевна» — М. Ф. Андреева (1872-1953) — известная русская актриса и общественная деятельница, член Коммунистической партии с 1904 года, жена А. М. Горького. Уэллс познакомился с ней еще в 1906 году в Америке, где она была с А. М. Горьким по заданию партии.

[13] «Мура» — М. И. Будберг, переводчица Уэллса во время его пребывания в России. Впоследствии жена Уэллса.

[14] Анна Кочубей — сестра М. И. Будберг, жившая в Англии.

[15] Джип — Джордж Филипп, старший сын Г. Дж. Уэллса. Впоследствии профессор зоологии Лондонского университета.

Публикацию документов В. И. Ленина подготовил и комментировал Б. В. Яковлев. Письмо Г. Дж. Уэллса А. М. Горькому перевела с английского и комментировала А. П. Саруханян. Все остальные переводы с английского выполнены С. О. Митиной под редакцией М. Ф. Лорие.

Редакция выражает благодарность дирекции Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, а также руководству и научным сотрудникам Центрального Партийного Архива: А. А. Стручкову, Р. А. Лаврову, М. В. Стешовой, А. Ф. Бессоновой, П. В. Мананниковой, М. В. Ляховский, Э. И. Поляковой за большую научно-методическую помощь в подготовке второй публикации документов В. И. Ленина на страницах журнала «Иностранная литература».

Йожеф Фодор

Ленин

Перевод с венгерского Ал. Ревича

Он всегда предо мной, крутолобый и широкоплечий.
Он глядит мне в глаза. Взгляд его, так горяч и остер,
Проникает в глубины явлений и душ человечьих,
Мысль его, как светило, земной озаряет простор.

Был он весел порою и добр, был суров и упорен.
В нем, одном, столько черт, столько разных душевных сторон:
Мог он души притягивать, мог быть безжалостным в споре,
Был он сердцем горячим и силой ума одарен.

Был он частью вселенной, весь мир для него был ареной,
Где он все изменял, где во все проникал его глаз.
До его появленья был хаос и мрак во вселенной,
Наша новая эра с приходом его началась.

Пышных фраз не любил он. О нет, ни к чему восхваленья!
В каждом слове его, в каждом жесте была простота.
Он с дороги сметал вековечную пыль и каменья,
Он шагал напрямик, хоть дорога была и крута.

Мы дыханье его ощущаем сквозь время, сквозь дали.
С ним любой вырастал, с ним сильней становился народ.
И когда говорили вождю: — Лбом стены не повалишь!
Отвечал он: — Стена-то гнилая. Толкни — упадет!

И упала стена. Лживый мир казематов и тленья
Задрожал, и стремительный ветер ворвался в пролом.
Встал над рухнувшим миром на бой призывающий Ленин,
И народное знамя простерлось багряным крылом.

Он такую дорогу прошел, что другим не по силам.
И пускай на земле каждый шаг его неповторим,
Мы идем вслед за ним, как планеты идут за светилом,
Мир, намеченный им, мы своими руками творим.

Труд, свобода, достаток и мир — их созвездье вдали засверкало,
Путеводными звездами замерцало вдали.
Старый мир — за бортом. Ленин стал у штурвала
И по новому курсу направил корабль земли.

Рис. А. Васина.

Шон О'Кейси

Когда весть пришла в Дублин

Холодные, пронизывающие ветры с севера овевали угрюмые улицы Дублина: улицы, изобиловавшие большими, шикарными магазинами; улицы, застроенные роскошными домами для состоятельных людей, с аккуратными палисадничками, где их обитатели могли попивать чай на открытом воздухе, когда снова настанет лето и засияет солнце; длинные улицы, пыльные и унылые, лишь по временам оживляемые веселыми криками ребятишек, которые высыпали из мрачных, перенаселенных домов, где лишь самым крепким людям удавалось дожить до того возраста, когда волосы седеют, а глаза становятся мутными. Угрюмы были эти улицы, богатые и бедные, ибо шла мировая война и тиски голода с каждым днем все сильнее сжимали Ирландию, и особенно Дублин. Война не утихала, и одна половина рабочих мира сражалась за то, чтобы каска кайзера, увенчанная орлом, стала царить над всей Европой, а другая половина — английские рабочие на Ипре, французские в Вердене — за то, чтобы она превратилась в бесформенный комок металла.

Хотя немало ирландцев погибло во Франции и пошло ко дну на морских просторах, сердца их соотечественников не испытывали глубокой скорби — за исключением тех семей, которые оплакивали своих близких, ибо Ирландии самой предстояло воевать против английского владычества, и всем ирландцам — как сторонникам, так и противникам Англии — приходилось бороться против голода и трудностей, принесенных войной в каждый дом: трудностей, неприятных для богатых людей; трудностей, невыносимых для рабочих. И вот в то время как пушки грохотали где-то вдали, улицы Дублина сохраняли свой угрюмый вид, а люди, встревоженные и растерянные, молча бродили из магазина в магазин, пытаясь раздобыть хоть что-нибудь, лишь бы дотянуть до лучших дней, когда каждый сможет сказать соседу «мир тебе, брат мой», а молодые влюбленные сумеют найти укромный уголок, целоваться там без помех и рисовать друг другу радостные картины совместной жизни, которая наступит после того, как они обзаведутся своим домом.

Шон все время бродил по угрюмым улицам, но один, без девушки, потому что какая же девушка пойдет с парнем, если он разгуливает в

рваных ботинках и защищает свое тело от пронизывающего ветра одеждой с таким количеством прорех и заплат? Он обходил самые людные кварталы в надежде получить случайную работу, все равно у кого, все равно где; у кого-нибудь, кто не знал об его участии в бесчисленных стачках, когда Джим Ларкин поднял ирландских рабочих на борьбу и они встречали своих товарищей песней, а хозяев преследовали громкими протестами; у кого-нибудь, кто не слышал его речей, произнесенных с многих трибун, и не читал его статей в еженедельной рабочей газете. Время от времени он находил случайную работу, и полученные деньги вместе с пенсией его старой матери — десять шиллингов в неделю — давали им обоим возможность жить, мужественно перенося лишения и не поддаваясь враждебным обстоятельствам, ибо в Дублине большинству рабочих, лишенных куска хлеба, чтобы выжить оставалось лишь одно — не поддаваться голоду и холоду.

Джим Конноли был обвинен в государственной измене и казнен английскими военными властями; Джим Ларкин находился в Соединенных Штатах, он выступал там перед рабочими, открыто высказывая то, что каждый рабочий мира сам себе твердил в глубине души, твердил долгие годы, но недостаток образования лишал его возможности сознательно протестовать; и теперь Джим Ларкин выступал вместо него и заявлял протест, к которому присоединили свои голоса многие рабочие; выступления и протест стоили Джиму Ларкину многих лет заключения в американской тюрьме.

Профсоюзные лидеры направили рабочее движение по чистенькому и аккуратному пути благопристойности. Активным борцам «Старой гвардии», как они себя называли, приходилось молчать, эти люди стали такими же безмолвными и сумрачными, как те улицы, по которым они бродили. Социалистическая агитация прекратилась. Лейбористские лидеры ограничивались сбором членских взносов, они думали лишь о том, чтобы собранные деньги непрестанно широким потоком вливались в подвалы Ирландского банка, обеспечивая им до конца жизни хорошо оплачиваемые и выгодные посты. Кроме того, они осмелели и начали брать пример с буржуазии: носили безукоризненные костюмы, аккуратные воротнички и галстуки, присутствовали на приемах в вечерних туалетах, играли в гольф и завязывали приятельские отношения с хозяевами на скачках, где заключались дружеские пари, причем нередко хозяин изъявлял настоятельное желание поставить деньги за своего нового приятеля из рабочих.

Национально-освободительное движение продолжало тайно развиваться, оно стало теперь настолько сильным, что духовенство не могло ему воспрепятствовать; но эти люди ждали своего часа, готовясь к прыжку в тот момент, когда движение ослабеет или добьется независимости для Ирландии; они готовились к прыжку, чтобы в подходящую минуту со всей самоуверенностью и решительностью захватить контроль над национально-освободительным и рабочим движением.

Самый факт существования такого рода движения был, несомненно, положительным явлением; но движение это было слишком ограниченно и уже не придерживалось славных демократических принципов, в свое время провозглашенных теми республиканскими лидерами, которые возглавляли героическое восстание 1916 года и впоследствии были казнены.

Итак, Шон и его товарищи, активные борцы за дело рабочего класса, угрюмые и молчаливые, бродили по улицам Дублина. До них дошла весть о том, что русские солдаты ушли из окопов, о том, что к власти пришло правительство Керенского — об этом сдержанно сообщали газеты; знающие люди утверждали, что, когда война будет выиграна, пра-

вительству Керенского нетрудно будет указать его место; впоследствии неплохо было бы даже оккупировать какую-либо часть России в виде гарантии того, что Россия не даст урока остальной Европе и не пойдет самостоятельным, независимым путем.

Ни одна ирландская газета не принимала статей, которые тогда писал Шон; даже письмо за его подписью не могло быть напечатано; двери редакций наглухо закрылись перед ним. Винить за это редакции не приходилось, так как вряд ли следовало ожидать, что какая-нибудь из буржуазных газет окажет радушный прием песне или памфлету, написанным Шоном. И он продолжал сочинять статьи для рукописных журналов, издаваемых некоторыми национальными клубами, и песни, любовные песни и сатирические баллады, высмеивая Англию, которая претендовала на право управлять Ирландией против воли народа. Один из его друзей, печатник, тайно делал оттиски этих песен и рассылал их по клубам и отделениям профсоюзов Дублина. То, что Шон видел и слышал вокруг, не особенно обнадеживало; но всегда остается надежда на перемены, приносимые Эпохой, а он умел ждать. Если в Ирландии царит мрак, где-нибудь в другом месте должен возникнуть просвет. И вот, бедствуя, как и многие его товарищи, он бродил, насвистывая, по угрюмым улицам Дублина.

Наконец, в один из дней, столь же долгий, как и все остальные, красной вспышкой сверкнула весть о том, что рабочие захватили власть в Петрограде и Москве; Керенский бежал, его правительство исчезло вместе с ним,— и Шон, разговаривая с взволнованными товарищами на угрюмых улицах Дублина, понял, что Эпоха с помощью замечательных и мужественных людей произвела великую перемену в жизни всего мира.

Они взяли Зимний дворец, об этом написано в газетах. Что это за дворец такой? Не знаю, никогда не слышал о нем. Так или иначе, это какое-то здание, и важно, чтобы внутри были рабочие, а на крыше развевался красный флаг.

Красный флаг! Как часто пел Шон песню о красном флаге! Теперь под этим знаменем сражалась Красная гвардия, и он чувствовал сердцем, что красный флаг больше никогда не упадет, никогда не сникнет.

— Человек по имени Ленин ведет рабочих.

— Ленин? Кто он? Не слышал такой фамилии. Ведь это не русская фамилия, как по-вашему? Я всегда считал, что в фамилиях у русских должно обязательно быть «вич», как «О» или «Мак» в гэльских именах.

Ленин в измятой кепке на голове. Опять кепка! Впервые, насколько Шон помнил, она вошла в историю, когда Кейр Гарди, первый лейбористский депутат, не снимая кепки, занял свое место в палате общин; кепка среди высоких сияющих цилиндров на головах аристократов и буржуа. А теперь кепка в Зимнем дворце, в роскошных залах русского дворянства, кепка в Кремле!

И великий Ленин, которого Шон никогда не слышал и никогда не видел, стал его товарищем и пошел рука об руку с ним по угрюмым улицам Дублина.

Торкуэй. Девоншир.
Англия. Июль, 1957 г.

Пьер Гамарра

ОБРАЗ МАТЕРИ

— Гляди — с флагом! В руке-то — флаг!
М. Горький «Мать».

Моя бабушка была совсем простая и наивная женщина. Она пришла в город из деревенской глуши; всю жизнь она работала не покладая рук, и ей были ведомы лишь самые скромные радости. Любовь к родным наполняла ее счастьем, и она радовалась, видя, как ее дети, а затем внуки набирались сил и вырастали на ее глазах. И конечно же, она надеялась, что они узнают лучшую жизнь, то есть будут здоровы, и у них всегда будет работа, кров над головой и тесто в квашне. Но она никогда не задавалась большими вопросами — о судьбах мужчин и женщин, о тех средствах, с помощью которых они могли бы изменить свой удел, покончить с несправедливостью, с великими муками и страшными бойнями.

В представлении этой старой женщины с ласковым лицом, изрезанным множеством морщин, как и в представлении той молоденькой служанки, какой она некогда была, жизнь нельзя было изменить: она шла раз и навсегда заведенным порядком. Надо было работать и снова работать, если удавалось — откладывать грош, если удавалось — сберегать краюху хлеба, улыбаться и петь как можно чаще.

Она стоит перед моими глазами такой, какой была в конце своей жизни. Прожила она очень долго, и подчас ей изменяла память. Я беседовал с нею. Она пела мне песни, какие певали в ее краях. Я забрасывал старушку вопросами, пытаясь пробудить в ее памяти обстановку и события далекого прошлого, которые, как я чувствовал, смутно витали в ее воспоминаниях, готовые ускользнуть навсегда. И меня несколько раздражала неуверенность ее ответов; раздражала меня также и ее покорность судьбе. До конца дней своих она оставалась боязливой и скромной, простой и незаметной: она походила на муравья, маленького трудолюбивого муравья... Конечно же, она не могла многого знать, конечно же, она не знала, что грядущее не будет походить на прошедшее и что это грядущее уже подготовляется и ее бедными морщинистыми руками...

Я сохранил к ней огромную привязанность и никогда не забуду ни доброго, улыбающегося лица, ни светлых, выцветших глаз, в глубине которых мне виделась вся ее многотерпеливая жизнь.

Когда я перечитываю «Мать» вашего, нашего Горького, я вспоминаю о своей бабушке. Не для того, конечно, чтобы уподобить друг другу двух этих женщин. Я вижу в них много общего, хотя у них немало и различного. Но образ моей бабушки сообщает образу Матери черты, роднящие его с моей страною, с моей душой. Суровая, огненная музыка незабываемых строк постоянно звучит в моей памяти:

«...ищут дней светлых. Хотят другой жизни в правде, в справедливости... добра хотят для всех!

У нее рвалось сердце, в груди было тесно, в горле сухо и горячо. Глубоко внутри ее рождались слова большой, всё и всех обнимающей любви и жгли язык ее, двигая его все сильней, все свободнее».

Я дохожу до этого места — и вижу, как рассеивается мрак, и мне ведом гнет этого мрака, и мне ведомы заслуги тех, кто ускорил зарождение дня. Я думаю о всех матерях мира, о множестве скромных женщин, у которых в тот или иной час их жизни на устах трепетали слова бесконечной любви. Они не всегда умели или могли их произнести. Не каждой из них представлялся случай броситься с бьющимся сердцем в гущу схватки и подобрать знамя. И однако многие среди них или, вернее, все — каждая на свой лад — держали в руках лоскут знамени. Они передали нам человеческую доброту и достоинство, истинное благородство.

Разрешите мне поделиться с вами этим весьма скромным воспоминанием, неотделимым от бессмертного образа, созданного Горьким. В великих произведениях каждый находит для себя нечто новое, они волнуют каждого по-своему. Для великой годовщины, которую мы празднуем, образ незаметного, трудолюбивого муравья, образ женщины, чей силуэт почти неразличим на бесконечных дорогах прошедшего,— подарок малозначительный. Но значение и сила этого образа возрастут, если разглядеть за ним лики других женщин, матерей, чьи сердца уже трепещут сегодня, но чьи уста еще не умеют произносить нужные слова.

Мы должны быть упорными, терпеливыми, исполненными достоинства, подобно незаметным женщинам прошлого; мы должны действовать с той прозорливостью, которая была достигнута в результате самоотверженной борьбы множества героев — и тех, кто снискал себе громкую славу, и тех, кто остался в безвестности. Мы должны добиться, чтобы все матери мира, которых день ото дня становится все больше и больше, вторгались бы, подобно Ниловне, в самую гущу схватки и поднимали знамя «добра для всех».

Желая прославить сороковую годовщину Октября, желая передать вам привет и засвидетельствовать мою привязанность, я мог бы обратиться ко многим дорогим моему сердцу книгам, фактам и образам. Я избрал образ Матери, одной матери, всех матерей. Справедливость, братство, счастье — все, что завоевала Революция, все, что мы еще завоюем, борясь за мир во всем мире,— все это будет особенно ярко сверкать во взоре матерей.

Аржантей. Август, 1957 г.

Фрэнк Харди

Из воспоминаний

Как и советское государство, я родился в 1917 году. Разумеется, это лишь случайное совпадение, но русская революция повлияла на мою жизнь, быть может, больше, чем любое другое историческое событие.

Когда от своего отца я впервые услышал о революции в России, мне было немногим более десяти лет. Мой отец был социалистом, хотя плохо разбирался в теории. Инстинктивно он с первых же дней поддерживал русскую революцию. Он часто разговаривал о Советской России и выступал в ее защиту.

Сейчас пытаешься оглянуться назад, и память начинает капризничать, так что мне трудно припомнить, когда именно я впервые услы-

шал от отца о русской революции. Пожалуй, во время его спора со священником.

Мы с отцом работали на молочном заводе. Чтобы убедить отца в необходимости время от времени посещать церковь, позвали священника. Отец не поддался на уговоры, и вскоре разгорелся политический спор, а я стоял рядом и жадно вслушивался.

Отец объявил, что он социалист.

Священник ответил (вижу его как сейчас — худощавый человек с тонкими губами, в черном с ног до головы, не считая белого круглого воротничка): «В России они подвергают церковь гонениям».

«Как бы там ни было, они создали лучшие условия для трудовых людей, и в России нет безработицы, как здесь...»

Во время своих скитаний по Южной Австралии я перепробовал много различных профессий и часто слышал, как австралийские рабочие беседуют о русской революции. Они знали лишь очень немногое, но, по-видимому, чутье подсказывало им, что они должны поддержать революцию.

В 1938 году я впервые встретился с коммунистом — человеком по имени Гарри Клементс, в то время уже старым и больным, но все еще полным сил и энергии. Он дал мне номер австралийской коммунистической газеты «Уоркерс уикли» и журнал на английском языке под названием «СССР на стройке», который был предшественником теперешнего журнала «Советский Союз».

В 1939 году я вступил в Коммунистическую партию Австралии — и то, что я прочел в журнале «СССР на стройке», повлияло на мое решение. Я понял, что народ, в течение многих веков лишенный элементарных прав, выдвинул из своей среды собственных ученых, художников и инженеров и преобразует своим трудом одну шестую часть земного шара.

«В Австралии,— сказал я себе,— мы могли бы сделать то же самое, идя по собственному, австралийскому пути».

В 1944 году я начал писать, внимательно изучая произведения Горького, основоположника социалистического реализма и русской пролетарской литературы.

Русская революция не раз находила отзвук в моем творчестве: во многих рассказах, в книге о поездке в Россию в 1951 году, озаглавленной «Путешествие в будущее», и в книге «Власть без славы». В этом моем последнем романе разносторонне показано влияние русской революции на события в Австралии.

В 1956 году я снова побывал в Москве и убедился, что преобразование людей и общества продолжается с головокружительной быстротой.

За последние два года я встречал многих колеблющихся представителей левого крыла интеллигенции во всем мире. Сам я не колебался ни мгновения. Быть может, это объясняется тем, что я — потомственный австралийский рабочий; а быть может, и тем, что русская революция прочно вошла в мою жизнь.

В книге «Власть без славы» я вложил в уста одного из героев, Михаила Литвинова, слова, обращенные в 1917 году к другому герою книги, Фрэнку Эстону: «Величайшей задачей всякой революции является изменение общественного порядка. Эта задача все еще стоит перед нами. Она будет решена только ценою тяжелой борьбы и жертв».

И задача была решена. Решена ценою тяжелой борьбы и жертв. Разумеется, были и ошибки. Говоря откровенно, эти ошибки порой бывали нелепыми и даже преступными, но главное налицо: общество преобразовано и достигло нового, более высокого уровня исторического развития, и человеческий дух все более освобождается.

Когда-нибудь мой народ, австралийцы, и все другие народы внесут свой вклад в построение социализма во всем мире. Но мы никогда не должны забывать, что народам Советского Союза принадлежит первенство. На их долю выпала тяжелая борьба и жертвы, на их долю должна выпасть и главная честь.

Новый Южный Уэльс. Австралия.
Июль, 1957 г.

Мухаммед Диб

КНИГА, О КОТОРОЙ Я МЕЧТАЮ

Если мне удастся написать когда-нибудь произведение, которое я задумал, то в нем будет действовать Омар, этот юный герой моих первых романов, но уже выросший и закалившийся в горниле жизни; теперь он уже приобрел опыт и ясное понимание проблем, встающих перед его народом, который поднялся на борьбу против угнетающих его колонизаторов; Омар стал рабочим-бойцом, деятельным и смелым. И вот, повествуя о жизни Омара, я не могу не упомянуть об одном факте: речь идет о том влиянии, какое оказала на формирование его мировоззрения необыкновенная, единственная в своем роде книга. В книге этой богатейший познавательный материал соединяется с подлинной поэзией, мечта превращается в живую действительность, надежда трепещет, словно голубка, возвещающая наступление эры мирного труда и всеобщего благосостояния; из этой книги узнаешь, как вера в человека двигает горами, оплодотворяет пустыни... Я говорю о произведении М. Ильина «Горы и люди». «Мне давно уже хотелось найти книгу о таком настоящем, а не выдуманном мире, книгу, которая рассказывала бы о том, как строится мир и как люди участвуют в сотворении мира». Эти слова писателя Омар, как и всякий алжирец, мог бы произнести от своего имени. Нетрудно понять, почему в сердцах алжирцев живет огромная потребность действовать, участвовать в великих работах.

Ведь в нашей стране лишь один человек из восьми может рассчитывать на постоянную работу. А среди семи остальных одни промышляют всякими пустяковыми делами, другие обречены на унизительную праздность: они не работали ни одного дня в своей жизни! Как же не призывать им всеми силами своей души то время, когда, как сказано в книге «Горы и люди», по дорогам зашагают не завоеватели, а рабочие?

Для Омара, как и для всякого сознательного человека, познавшего невыносимые условия существования колониального народа и разделившего судьбу трудящихся, низведенных беспощадной эксплуатацией до положения рабов, сегодня речь идет уже не просто о том, чтобы только мечтать о новой жизни. Он уже знает, что эта новая жизнь утвердилась на значительной части земного шара, он знает, как она была завоевана, какие для этого были приложены гигантские усилия и какие грандиозные результаты были достигнуты таким путем. И в том, что он знает все

это, большая заслуга принадлежит книге «Горы и люди». Вместе с писателем Ильиным Омар может повторить: «Если земля будет общая, если труд людей на земле будет общий, все человечество будет работать по единому плану, для одной цели. Жизнь человечества будет тогда бесконечна. Оно сможет достичь всего. У него будут миллиарды рук для работы и гигантский мозг — единая мировая наука». Омар может сказать: «Октябрьская революция сделала общей землю и труд на этой земле».

По случаю сороковой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции я выражаю пожелание, чтобы эта книга — подлинный гимн во славу творческих усилий и счастья — попала в руки всех тех, кто стоит на пороге жизни, ибо, с моей точки зрения, для юной души, воодушевленной возвышенными мечтами об исследованиях, достижениях и героических подвигах, не может быть ничего более волнующего, чем чтение этой правдивой эпопеи о строителях социализма.

Июль, 1957 г.

Леон Кручковский

ВЕЛИКАЯ ОКТЯБРЬСКАЯ

Только педанты скажут: это было сорок лет назад... Было? Так думают те, для кого история — только кладбище фактов. Мы говорим: уже сорок лет *живет* Революция. Именно теперь, в наши дни, она обрела новое, глубокое дыхание.

Сорок лет растет непобедимое дело революции. Послушная законам истории, революция сама стала ее творцом, ее законодательницей. Она ни на минуту не застывает и не дает задержать себя на алтарях культов. Ибо революция — не цех, где отливают монументы, а надежда живых людей.

Революция содержит в самой себе неисчерпаемый источник творческих сил. Она не только побеждала могучих и коварных врагов — она оказалась способной также справиться с опасностями, грозившими ей изнутри.

Ее опора — героическая ленинская партия рабочего класса. Ее сердце — чувства и стремления масс. Куда шел бы теперь мир, если бы над ним не алело знамя Великого Октября?

Сильные плечи подняли красный герб с серпом и молотом тогда, когда рабочие и крестьяне в гнилых окопах империалистической войны окончательно разуверились в капиталистических порядках. С тех пор этот герб стал источником вдохновения народов, борющихся за жизнь, в которой нет эксплуатации, и за мир, в котором нет войны.

Страна, где революция впервые победила, навсегда завоевала уважение и любовь народов.

Могучие волны этих чувств проникали сквозь кордоны и заграждения в годы империалистического окружения, выбивая почву из-под ног разбойников-интервентов. Позднее, после подавления вооруженной

контрреволюции, вести о победоносных пятилетках помогли нам уберечься от безнадежного отчаяния, помогли людям поднять голову в странах, придавленных кризисами, безработицей и фашизмом.

А когда народы оказались перед смертельной угрозой массового уничтожения, фашистского истребления людей, мы знали, что только оттуда, из первой страны социализма, придет твердое решительное возмездие агрессору и что оно принесет нам освобождение. Только ничтожные, маленькие людишки могут забыть сегодня, что именно так было тогда!

Великая Октябрьская! Сорок лет спустя социализм — это уже мировая система. Он дал возможность выпрямить спину народам, на горькой доле и нищете которых из поколения в поколение держалось и росло благополучие и мощь эксплуататоров. Он является для них сегодня единственной широкой дорогой к тому, чтобы покончить навсегда с вековой отсталостью. Социализм является единственной возможностью построения лучшей жизни, опирающейся на общность мирного труда, на основы бесклассового общества, на дружбу и братство народов.

Великая Октябрьская! Сорок лет спустя творческие идеи ленинизма, обогащенные суровым, иногда трагическим опытом, перевоплощаются в новые задачи и новые победы. Каждый народ вносит свой собственный вклад, свои мысли и свою практику в общее дело строительства социализма, дело «исправления человечества», как писал когда-то об Октябрьской революции польский писатель Стефан Жеромский.

Народам, которым более хорошие условия в прошлом позволили раньше достичь высокого развития экономики и материального благосостояния, этим народам идеи Великой Октябрьской возвращают утраченную веру в высший общественно-полезный смысл жизни, указывают возможность и необходимость освобождения от вековых оков капиталистической морали.

В славные дни сорокалетия наши народы, объединенные чувством солидарности, свободные и равные среди свободных и равных, шлют пламенный привет Отчизне Революции, шлют горячие слова братской любви и уважения советскому народу, который сорок лет неутомимо отстаивает исторические победы идей Великой Октябрьской, в самоотверженной борьбе и труде изо дня в день крепит мощь не только своей Родины, но и всех наших народов, идущих вперед по пути социализма и мира.

Варшава, 1957 г.

Лион Фейхтвангер

Песня павших

Перевод с немецкого Льва Гинзбурга

Мы здесь лежим, желты, как воск.
Нам черви высосали мозг.
В плену могильной немоты
Землей забиты наши рты.
Мы ждем ответа.

Плоть наша — пепел и труха.
Но как могила ни глуха,
Сквозь глухоту, сквозь сон, сквозь тьму
Вопрос грохочет: — Почему?
Мы ждем ответа.

Пусть скорбный холм травой зарос —
Взрывает землю наш вопрос.
Он, ненасытен и упрям,
Прорвался из могильных ям.
Мы ждем ответа.

Мы ждем! Мы — только семена.
Настанут жатвы времена!
Ответ созрел. Ответ идет.
Он долго медлил. Он грядет.
Мы ждем ответа!

* * *

Стихотворение «Песня павших» автор прислал журналу «Иностранная литература», сопроводив его следующими строками:

Эти стихи я написал и обнародовал во время первой мировой войны, за два года до Октябрьской революции. Ныне, когда революция уже победила и доказала сорокалетием своего существования, что она изменила облик мира на века, строки эти кажутся мне глубоко обоснованными: мертвые пали не зря, и ожидания их были не напрасны.

Лэнгстон Хьюз

Ленин

Перевод с английского Н. Шпагина

Ленин идет по планете.
Граница преградой не стала.
Нет такой силы на свете,
Чтоб поступь его задержала.

Ленин идет по планете.
Ленина люди встречают,
И черный, и желтый, и белый
Его хорошо понимают.

Ленин идет по планете,
И над планетой в ночи
Ярче и ярче светят
Красной звезды лучи.

Рис. А. Васина

Мэрия Майерова

БАРРИКАДЫ В ПРЕДМЕСТЬЕ

Перевод с чешского Н. Замошкиной

Баррикады проходят через историю как оружие тех, кто сражается голыми руками. Наполеон с эспаньолкой тщетно попытался обезопасить себя от них, разорвав сеть улочек старого Парижа широкими бульварами Гаусманна. Но в сорок пятом году баррикады не спасли бы Праги, если бы не Советская Армия.

Как известно, Прага — это холмы, склоны, плоскогорья. Большая Прага и предместье смотрят сверху вниз на Град с кафедральным собором, а знаменитая панорама Каменного моста через Влтаву завершается высоким силуэтом Градчан. Один из пражских холмов стал зеленым кварталом с роскошными виллами и семейными домиками, кое-как слепленными во времена первой республики различными строительными обществами и частными предпринимателями.

Поднимающаяся спиралью улица — главный нерв обширного квартала — вбирает в себя тихие боковые улочки и крутые ступенчатые переулки, вьющиеся между оградами садов. В мирное время это — очаровательные уголки, заросшие душистым кустарником. В дни восстания за кирпичными оградами прятались граждане с нацеленными ружьями.

Кто охранял перекрестки тихих улочек и крутых переулков от вторжения нацистов, обезумевших после поражения, и их машин, ощетинившихся пулеметами? Конечно, не владельцы роскошных вилл. За оружие взялись маленькие люди — обитатели квартала: столяр достал припрятанный пистолет, учитель составил план обороны, разносчик молока вместо бидонов нагрузил на тележку катушку проводов для полевого телефона, полотер запихал в карманы несколько ручных гранат и нахлобучил на голову каску. Все это они заблаговременно приготовили, никому не говоря ни слова. Героем дня был сапожник Данемарк. Этот отчаянный верзила уже встал за стеной крайней виллы с оружием в руках, когда осмотрительные люди только покачивали головами.

Едва советские войска овладели Берлином, в нетерпеливой, возбужденной Праге вспыхнул давно тлеющий мятеж. Четыре последних дня оккупации были наполнены лязгом разбиваемых оков. Люди вытаскивали оружие из невероятных укрытий, читатели подпольной «Руде право» больше не таились, в трамваях даже дети не брали оккупацион-

ных денег, Вацлавская площадь кишела взволнованными людьми, готовыми на все. С заводов незаметно исчезали солдаты веркшутца *. Тихие загородные гостиницы были переполнены военными, ожидающими какого-то чуда. Их семьи набивали огромные чемоданы и грузились на всевозможные средства передвижения под насмешливыми взорами зевак.

В субботу, пятого мая того самого славного сорок пятого года, слегка моросило. Мужчины зеленого квартала, возвращавшиеся с работы в субботний полдень, наталкивались в центре на строящиеся баррикады. Конечно, они останавливались и помогали: переворачивали трамваи и ручные тележки, выбрасывали из домов мусорные ящики, выворачивали булыжники мостовой и втыкали на вершины баррикад красные флажки и чехословацкие флаги. Потом они и в своем квартале возвели баррикады. Сапожник, прежде чем занять боевую позицию, остановил грузовик местного торговца и этим заложил основание первой баррикады. Она преградила шоссе, идущее к городкам Слани и Лоуни. Вторая пересекла улицу несколько дальше. Так от Дейвиц до аэродрома возникло тридцать баррикад; одна была сложена даже из железнодорожных вагонов.

Сапожника Данемарка знала вся округа. Это был старожил. Но общественное мнение его явно недооценивало. Что вы хотите — сапожник! Если бы он хоть шил обувь... Конечно, он мог шить обувь, и хорошо шить, но дешевые фабричные товары отняли у него заказчиков, во-первых. Во-вторых, горячий нрав часто отвлекал его от усердной работы, так что иной раз даже постоянный заказчик не мог дождаться починки обуви. В его лавчонке громоздились запыленные ботинки и туфли, ожидая починки неопределенное время. Однако никто не забирал их непочиненными,— Данемарк был хорошим мастером.

В свое время дочь ремесленника возлагала на сапожника большие надежды. Она вышла за Данемарка, тогда длинноволосого парня с рассеянным взглядом и стремительными движениями. Сначала она прощала мужу его демонстративное бунтарство, но когда тот вернулся после забастовки в Кромпаше с разбитой головой и, вместо того чтобы привести в порядок свои дела, послал все свои сбережения бастующим,— чаша ее терпения переполнилась.

— Сумасшедший! — заявила она, собрала вещи и исчезла.

Таков был Данемарк. Как только он узнавал о забастовке или демонстрации — молоток, сапожный нож и шпандырь откладывались в сторону, и сапожник спешил к месту действия, чтобы все увидеть, во всем принять участие, где возможно помочь; частенько он возвращался с наглядными доказательствами своего правдоискательства. Жена своим куриным умишком не могла понять, какой огонь горел в его душе.

Данемарк, оставленный женой, ненадолго утратил дар речи, а когда обрел его снова — не только не пожалел, но даже и не вспоминал об утраченной супруге. Рана на темени зажила, но волос на голове больше не было; с тех пор сапожник стал бриться наголо. Снова он возвращал заказчикам стоптанные башмаки начищенными до блеска, почти новыми.

Даже в оккупацию, когда всюду работали кое-как, весь зеленый квартал знал его мастерскую на боковой улочке, где в окне лежало несколько стелек образца военного времени, сверху и снизу — бумага. Для постоянных клиентов у Данемарка всегда имелась кожа, даже в самые трудные времена, поэтому заказчики всегда находили время поболтать с ним о политической ситуации, пошептаться о новостях.

---

* Немецкая охрана заводов.

Но только самые близкие из них помнили, что дочь его Мария — не родная ему, а сирота, ее мать убили жандармы в Радотине.

— Сумасшедший! — повторили соседки слова бывшей жены, когда Данемарк принес домой завернутого в пиджак плачущего ребенка. Но когда девочка подружилась с его усами и весело шлепнула сапожника по лысой голове, соседки разочарованно зашептали: — Они друг друга стоят, оба ненормальные.

Маленькая Мария заменила Данемарку семью. Когда девочка подросла, она стала дружить со сверстниками-мальчишками. Во время оккупации они частенько выслеживали членов гитлерюгенда и отнимали у них кинжалы или старались хотя бы забрызгать им грязью пальто. Марии ничего не стоило отставить в сторону хозяйственную сумку и присоединиться к ребятам.

Она вела хозяйство приемного отца, и дом выглядел под стать ей самой — неуравновешенной, порывистой, дикой. Порой Мария наводила порядок во всех уголках единственной комнаты, которая была и лавкой, и мастерской, и кухней; она начищала окна до того, что казалось, будто в них нет стекла. А иной раз Данемарк качал своей бритой головой и ворчал, разглядывая драные пятки своих носок и делая вид, что речь идет о ком-то постороннем: «Снова неделю палец о палец не ударила...»

Марии хоть бы что, как будто это к ней не относится. Вдруг ее снова охватывала хозяйственная горячка. Так она росла всем на удивление, почти догнав ростом своего высоченного отца. Но никто не считал ее взрослой. С голенастыми ногами и длинными худыми руками, она казалась подростком.

Так же как и отца, ее знали все. Как не обратить внимания на ее рыжую лохматую голову, пламенеющую при любой погоде, а на солнце отливающую золотом! Если вы вглядитесь в лицо этой приметной девушки, вы увидите, что брови и ресницы у нее выцвели, а глаза прозрачны, как круглые голубые стеклышки.

Данемарк не очень нежничал с Марией, да это было ей и ни к чему. Но они были крепко привязаны друг к другу, понимали один другого с полуслова и не представляли себе жизни врозь.

Когда оккупационные власти, формировавшие все новые и новые полки для фронтов, загнали Данемарка на обувной склад и заставили вместе с другими сапожниками набивать подковки на бесконечную массу солдатских башмаков, Мария пробиралась туда, чтобы помогать отцу. Над картой военных действий где-нибудь в укромном уголке склонялись две головы — рыжая и бритая. Передвигали флажки — чем дальше, тем веселей.

У ребят из бригады «Долой!», которые каждый вечер собирались перед сапожной лавкой, глаза горели отвагой. Если дело выгорит — Гитлер полетит ко всем чертям! Это было вполне в духе бунтовщика Данемарка.

— Создадим кружок молодежи,— предлагали ребята.

— Не кружок, а организацию,— возражала Мария,— и каждый ее член будет следить за окнами, где добровольно вывешены фашистские флаги.

И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет! —

распевали на улице ребята, торжествуя, что эту песню они могут петь прямо под носом у фашистов — те ее не знали.

Когда грянул час восстания, бригада «Долой!» вместе с другими собралась у Национального комитета и получила задание расставить наблюдательные посты у подножья холма,— в случае продвижения фашистов вверх немедленно сообщить штабу.

Ребята, которые знали на своем холме каждое дерево, распределили посты и быстро договорились, как будут сменять друг друга. Мария легко добралась до условленного места.

Над просторными строениями колледжа, занятого оккупантами, поднималась гора, засаженная грушевыми деревьями. От проезжей дороги его отделял забор с колючей проволокой. Над дорогой, выше, где начинаются ограды вилл, крутой ступенчатый проулок завершался домиком, построенным еще в те времена, когда на холме зрели виноградники. За домом густые заросли кустарника — отличное укрытие.

Мария с мальчишеской ловкостью забралась на могучую липу. Отсюда открывались широкие горизонты. Ничего подозрительного не заметно. По главной улице здесь и там торопятся прохожие; что-то вынюхивает, опустив голову, пес. Никто его не прогоняет. В виллах все мертво, занавеси за стеклами затемненных окон не дрогнут. Господа уехали, попрятались в тихие уголки.

Мария спустилась с дерева и спряталась в кустах. В листьях шелестел дождь, напоминая звуки шагов в траве или шуршание женского платья. По водостоку с крыши старого дома звонко падала вода. Ее успокаивающая мелодия постоянно нарушалась далекими выстрелами, похожими на звук рвущегося полотна или далекие раскаты грома.

Вдруг поблизости зафыркал грузовик. Мария быстро наломала зеленых веток и прикрыла ими голову. Едва высунувшись из кустов, она догадалась, что машина идет сверху. По звуку это был военный автомобиль, которых в Праге было множество. Промелькнул он так быстро, что Мария заметила только зелено-серую полоску. В тот же момент в кустах просвистели пули и что-то ударило ей в ногу так, что она присела от испуга. С любопытством разглядывала она светло-красную струйку, стекавшую по босой ноге.

Мария совсем не испугалась крови. Она оторвала лоскут от подола, завязала ранку и забыла о ней.

Она думала о том, нужно ли ей вернуться наверх к товарищам и рассказать о продвижении неприятеля. Если бы машина взбиралась на холм, она подняла бы тревогу. Но та спускалась, очевидно, из школы, где засели фашисты. Шоссе, за которым наблюдала Мария, пролегало по верхушке холма. Солдаты либо ехали за помощью, либо за приказаниями и по дороге стреляли.

Мария в конце концов решила, что сообщит об этом, когда товарищи придут ее сменить. Смена уже не за горами — вечереет, дрозды умолкли, и после дождя из кустов вылетели ночные бабочки. В очищенном дождем воздухе разлился запах сирени из соседней виллы. Его благоухание убаюкивает усталую Марию. Девушка лежит на спине, глядя в темнеющее небо, и мечтает.

— Где ты, ах, где ты, Советская Армия, мы тебя так ждем! Отец, ребята из бригады, все, у кого фашисты убили родных, угнали братьев и сестер на каторжные работы. Знаете ли вы о нас, маршал Конев, летчики, танкисты, все воины славного Украинского фронта, к которым стремятся наши сердца, когда мы слышим по радио бой кремлевских курантов? Можешь ли ты, Москва, помнить и о нас, детях восставшей Праги, такой далекой от Берлина, где над самым логовом Гитлера уже водружен наш общий, победный красный флаг?

Сумерки постепенно переходят в ночь. Мария упрямо смотрит в темноту, но из ее глубины тоскливо поблескивает всего одна бледная звездочка. Затемненная Прага молчит, не слышно ни звука. Ничто не шелохнется в колледже, растворившемся во тьме.

Глаза девушки полны темноты. Никто не приходит ее сменить. Она одна. Но она не уйдет, будет ждать на своем посту!

В это время на склонах зеленого района уже все немецкие надписи сняты и заменены чешскими. Из окон вывешены давно приготовленные красные и трехцветные флажки. Данемарк показал пример, как революционер должен добывать оружие: ствол его ружья убедил эсэсовца поднять руки вверх и расстаться со всем, что стреляет. До наступления темноты многие штатские куртки были перетянуты винтовочными ремнями.

Вечером Данемарк с несколькими добровольцами отправился парламентером в школу. По пути в их машину набилось еще несколько человек. Когда немецкие дозорные доложили, что к школе идут парламентеры, оккупанты быстро решили запросить ставку о возможности капитуляции. Перемирие было заключено, и солдаты вышли на улицу.

Около солдат появились ребята из бригады «Долой!». С любопытством разглядывали они немецкие автоматы. Нашлись руки, которые показали парням, как надо стрелять. Когда оружие было сложено, бригада отправилась по квартирам арестовывать известных нацистов. Дел было столько, что о Марии забыли; в этот напряженный день забыл о ней и Данемарк.

Над призывами радио, над людьми, снующими у баррикад, летело время. Часы торопливо передавали друг другу эстафету.

После капитуляции школы сапожник останавливал на шоссе вражеские машины, бросая противотанковые бутылки, и отводил пленных в кино, превращенное в тюрьму. Данемарк брался за все, не думая, привычное это дело или нет. Теперь никто не говорил о нем: «сумасшедший». А он забыл не только о Марии, но и обо всем на свете, кроме ненависти к оккупантам.

Как всегда неожиданно, он вспомнил о своей дочери.

Дома ее не было. Весь день он ее не видел. Где она? Знают о ней ребята из бригады? Те ошеломленно признались, что забыли ее сменить. Ведь они должны были охранять склоны над Генеральской, ведь эсэсовцы могли оттуда атаковать. Знает хоть кто-нибудь, где ее пост? Один припомнил.

Данемарк помчался в указанном направлении. В темноте дома́ различались, только когда он подходил к ним вплотную. Деревья казались просто черными тенями. Звук его шагов еще больше подчеркивал тишину. Или это страх за Марию так гудел в его ушах? Страх, которого он не чувствовал среди тысяч опасностей дня. Как он найдет ее в такой тьме? Кто знает, что произошло за это время? Может быть, ее уже взяли... «Нет! Мария не дастся!» — усмехнулся он во тьме. Она хитрая, ловкая и верная! Скорее всего, сидит на своем месте. Не ушла.

Ему вспомнилась веселая мелодия из советского фильма — гимн бригады «Долой!». Данемарк начал ее насвистывать, сначала тихо, словно чтобы убедиться в безопасности, потом громче и сильнее:

И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!

А сам чутко прислушивался, крепко прижимая автомат, чтобы не налететь на стену. Шаг за шагом приближался он во мраке к посту Марии.

У нее в кармане был кусок оккупационного хлеба; чтобы не уснуть и хоть чуть-чуть утолить голод, она грызла понемногу твердую корку. Глаза устали смотреть в темноту, челюсти перестали жевать, и девушка погрузилась в теплый, детский сон. Ее охватила волна какой-то музыки без звуков и без слов.

Мелодия извне нарушила спокойный, беспечный сон. Нужно встать, наверное уже утро, надо снять затемнение, ну да, это напевает отец, разве уже так поздно?

Мария сразу вскочила. Кто это? Разве она не дома? В смятении оглядывалась она вокруг. Но песенка звучит все громче. Знакомый призыв:

И тот, кто с песней по жизни шагает...

Она допела громко, радуясь присутствию своего человека:

Тот никогда и нигде не пропадет!

Теперь она поняла, что уснула на посту. Не ее вина! Ее должны были сменить.

Она оправдывалась перед отцом, объясняла.

— Иди и помалкивай,— потянул за руку отец.— Вот тебе пистолет на всякий случай.

Она спросила:

— А у тебя автомат? Фашистский?

— Увидишь. Скорей. Сейчас рассветет.

Прищло утро следующего дня — и Мария увидела бригаду «Долой!», увешанную пулеметными лентами, в касках. Она тут же принялась за дело в одном из залов кинотеатра. Сюда приводили раненых, и женщины ухаживали за ними. По шоссе, мимо недостроенных баррикад, ежеминутно проезжали бронемашины, осыпая пулями все вокруг.

Наконец оборонительные пояса баррикад крепко сомкнулись. В замкнутых промежутках остались только люди в штатском. Солнце озарило цветущие сады, и в воздухе растекся аромат цветущих яблонь. На крыльях ужаса по телефону летели известия от оставшихся в городе: «Эсэсовцы готовят атаку на холм, снимайте флаги, убивать будут прежде всего там, где они останутся. Как только известим вас, что они начали, прячьтесь. Слышали, что сделали они на Панкраце? Принудили женщин и детей идти перед их танками, неистовствовали, убийцы!»

Под влиянием таких известий испуганные матери не знали, что им делать: оставить детей на произвол убийц или лучше убить их своими руками и умереть вместе с ними?

Мария ходила от дома к дому и стыдила мужчин, спрятавшихся в подвалы:

— Что вы спрятались, как крысы, помогите нам!

Женщины поддерживали ее.

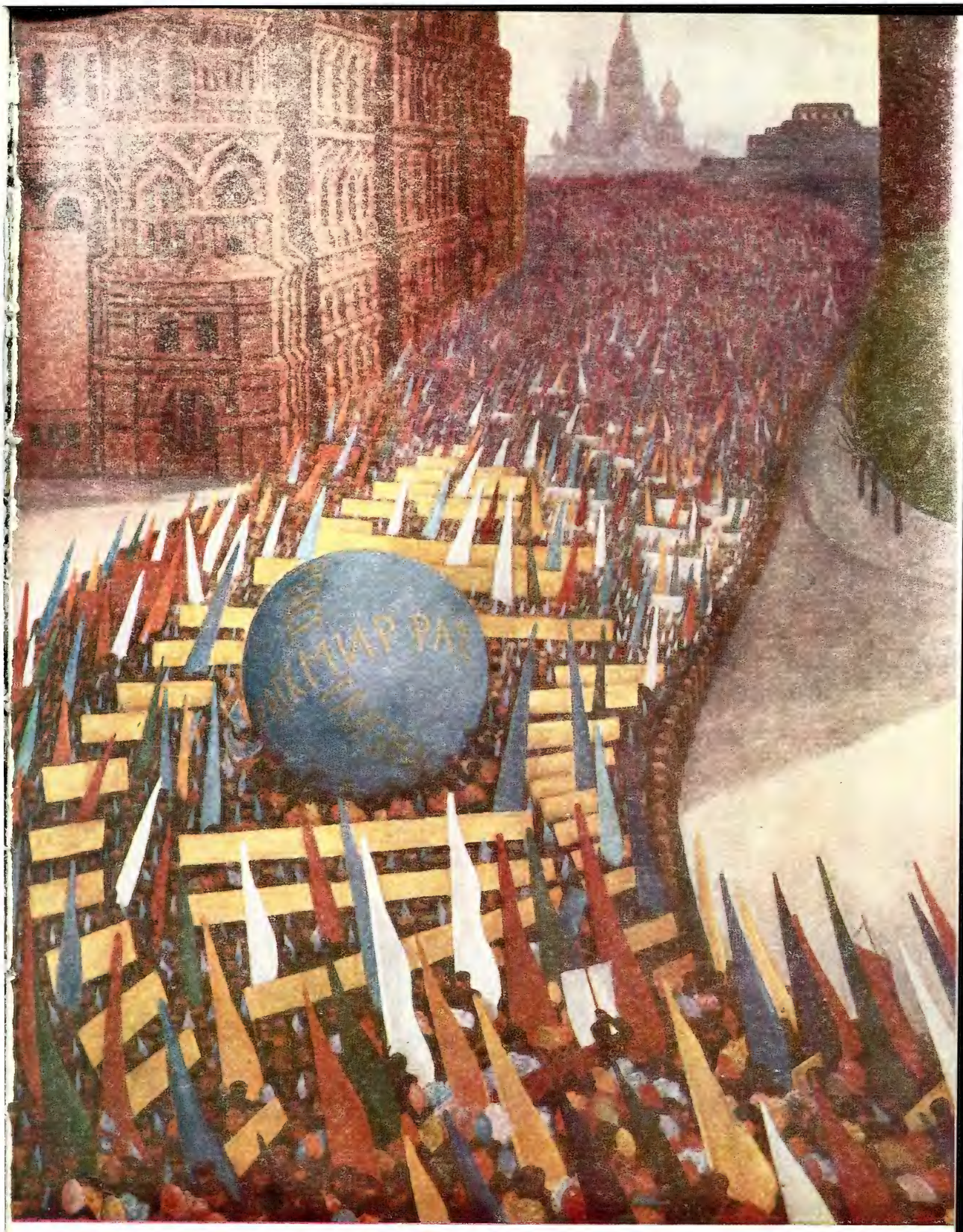
— Стыдитесь,— кричали они,— теперь сражаются дети, а мужчины прячут голову под крыло!

Над призывами радио, над людьми, снующими у баррикад, летело время. Внимание! Внимание! Прага звала на помощь.

Мария пробиралась долиной до самой лесной стороны холма против усадьбы, занятой эсэсовцами, усердно носила ребятам из бригады еду и питье; потом снова возвращалась в кино, ободряла добровольцев, стороживших уже целую сотню обезоруженных фашистов. Даже эта беспомощная стража была достаточной для потерявших голову врагов. Новых и новых пленных приводили в зрительный зал; они шли охотно, видимо надеясь здесь найти спасение.

Третий раз майская ночь спустилась на сады. К полночи темноту разогнало зарево горящих Драждян. Мария вылезла через слуховое окно на крышу и оттуда наблюдала приметы грядущего освобождения. Из зарева вырывались сигнальные ракеты. Что-то там на горизонте творится, уже так близко и еще так далеко? Что будет? Что будет?

Снова началась рассеянная стрельба невидимых отсюда бронепоездов. Время летело над отчаянными маршами пражского радио, раздирающими сердце. Часы передавали друг другу эстафету через обычный промежуток времени. Нет, при такой тревоге даже птицы не могли спать! Разбуженные, они отчаянно щебетали.



ДИЕГО РИВЕРА (Мексика).
Демонстрация
на Красной площади
в Москве

ХУДОЖНИКИ МИРА—К 40-летию ОКТЯБРЯ

Мы воспроизводим цветные репродукции работ, специально присланные нам художниками различных стран мира для праздничного номера журнала. Скульптуры экспонировались на Международной выставке изобразительного искусства в Москве.

ПОЛЬ ХОГАРТ (Англия). **Негритянский рабочий**

У ЦЗО-ЖЭНЬ
(Китай).

Товарищ Лян Юн-фу

(Лян Юн-фу — старый рабочий, участник известной в истории Китайской революции забастовки 7 февраля 1923 года, ныне заместитель председателя Всекитайского комитета профсоюза железнодорожников)

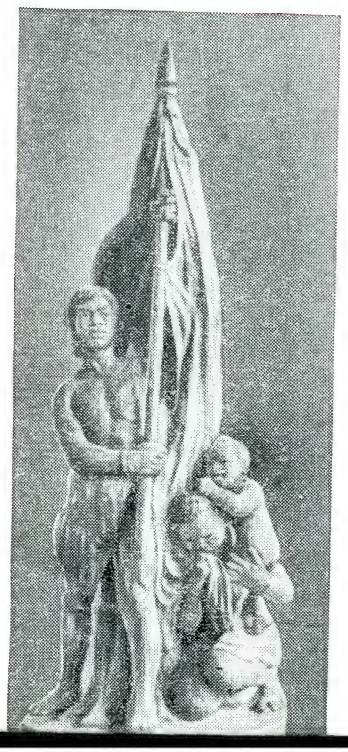
ВЕСЕЛИН СТАЙКОВ
(Болгария).

Производственное совещание лесорубов

МАКС ЛИНГНЕР (ГДР). Восточный ветер

НИКОЛАЕ КРИШАН
(Румыния).
Молодой рабочий

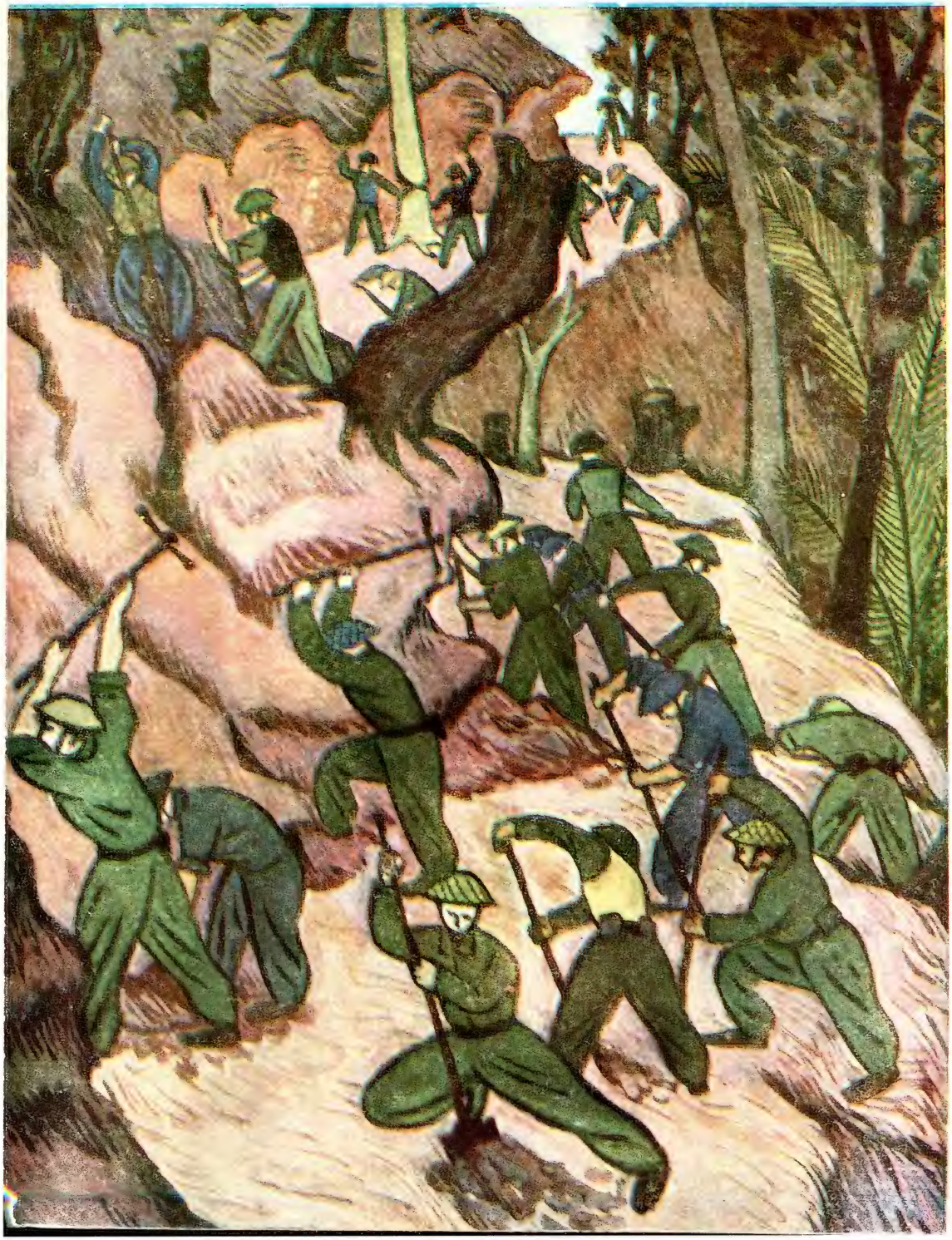
АННА КОРДОНЕЦ.
(Румыния).
Свободная Африка



ЛИ ЕН ДЮН
(КНДР).
За свободу

МИРЧЯ ШТЕФЭНЕСКУ
(Румыния).
Юность

НГО МАНЬ ЛАН (Вьетнам).
Бойцы Вьетнамской Народной армии прокладывают дорогу



РОКВЕЛЛ КЕНТ (США).
Оно нависло над тобой, тяжелое, зловещее...

РУДОЛЬФ СВОБОДА
(Чехословакия).
Долой колониализм!

РОКВЕЛЛ КЕНТ (США). Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Отдаленный гул все нарастал. Тревога поражала людей, как неизбежная эпидемическая болезнь. Откуда и что близится к Праге? Конец это или спасение? Только Мария вся светилась верой. Это наши, это конечно они, славные, желанные освободители!

Она не различала уже ни дня, ни ночи, почти не ела, не спала, летала, как мотылек, и где она появлялась — всюду пробуждалась вера. Свет и тьма соединились в бурном водовороте четырех дней ужаса, отваги и надежд.

В бледном сумраке последнего утра свистели невидимые бичи предательских выстрелов. Притаившиеся нацисты заражали воздух своим бешенством. В близящемся грохоте Мария теперь различала отдельные выстрелы, очереди пулеметов, залпы автоматов, треск противотанковых орудий. Люди то тут, то там выбегали из домов и снова приникали к стенам, прячась от неожиданных выстрелов с последних фашистских самолетов. Отдаленный грохот порой сменялся тишиной и снова громовым лязгом танковых гусениц, под которыми дрожало шоссе и рассыпались по полю борозды.

Данемарк, наученный страхом, пережитым из-за дочери, не спускал с нее глаз. Он разрешал ей уходить только тогда, когда она по-военному доложит ему, куда идет. Сейчас Мария стоит у баррикады с кувшином свежесваренного кофе. Она кричит как сумасшедшая, потому что Данемарк выскочил на вершину баррикады с биноклем. Она зовет, машет руками:

— Товарищи! Советский танк на горизонте! Да, советские танки — их много!

Что теперь? Нужно разобрать баррикаду, чтобы они прошли? Как приветствовать их, как украсить их путь?

Данемарк соскакивает с баррикады, автомат прыгает у него на груди. Из-за баррикады вылезают мужчины, бригада «Долой!» неистовствует, кто-то машет руками, но никто не знает, как начать, чтобы не попасть впросак, чтобы они сразу как можно быстрее узнали, что здесь мы, чехи, чтобы в нас не стреляли...

Танк уже здесь, он с величавой легкостью взбирается на баррикаду и съезжает с нее. У всех вырывается громкое «Ах!». Сразу как будто освободились стесненные глотки — все кричат, плачут, смеются, снова кричат:

— Да здравствует Красная Армия! Да здравствует она, любимая! Наши братья! Освободители! Победители! Привет, привет!

Мария раскинула руки. Ее детские глаза — эти синие стеклышки, в которых виднелась ее душа, — эти глаза вобрали солнечный, отраженный танком луч и заблестели, засияли глубокой синевой.

Свершилось то, о чем она мечтала. Там, далеко, в Москве, думали о пражских детях, которым грозила смертельная опасность, думали о сапожнике Данемарке, притаившемся с оружием за стеной, думали и о Марии. Послали своих бойцов вовремя — потому что, смотри, пушки нацистов вот-вот начали бы разрушать древние площади, сердце Праги, сразили бы ее, золотую, стоглавую; пушки, нацеленные на старинные Градчаны, погубили бы все живое, что встретится на пути их безумного бегства.

Что тут началось!

Ноги не могли поспеть за счастливыми освобожденными гражданами зеленого района. Люди в необычайной спешке толкают один другого, чтобы скорей приветствовать Советскую Армию. Женщины с детьми бегают вокруг боевых машин. Не боятся. Гладят их. Из укрытий, окрыленные этой вестью, выбегают люди. Ведь советские воины уже здесь! Уже здесь! Долой страх! Мы свободны!

Из группок вырастает толпа, кипящая радостью. Танк движется по направлению к Праге, за ним мчатся машины разной величины, невиданных систем, потом снова орудия, танкетки, танки. На них запыленные советские воины-победители. Победители фашизма!

Усталость сделала их лица серыми, но губы их улыбаются, руки машут — и они несутся дальше.

Порой этот могучий поток прерывается, и его гул звучит вступительной фанфарой необычайной симфонии. Все ближе и ближе к городу наступают танки, грузовики, орудия, броневики. Движение одной части задерживается, с грузовиков и лафетов соскакивают пехотинцы, артиллеристы, с танков — танкисты, а на молодые посевы на холме садится советский биплан.

Ни один спектакль, напряженный и волнующий, не имел такого множества восторженных зрителей.

Так вот они какие! Простые, радостные, родные! Такие, как мы себе их представляли!

Удивление переходит в ликование, когда танковая часть останавливается. Дети вскакивают на горячие и промасленные машины, старушки плачут и пытаются целовать запыленные руки бойцов, мужчины обнимаются. Данемарк прижимает к себе танкиста с раскосыми глазами, бригада «Долой!» рассматривает автоматы, оценивает моторы.

Только Мария стоит, не зная куда деть руки, всхлипывает и смеется. В рыжих кудрях ее горит восходящее солнце.

Между двумя баррикадами располагается военный лагерь. Повар разводит огонь под котлом. Усатый старшина в ватнике раскладывает и раздает почту. Квартирьер бегает, осматривает дома. Организуется перевязочный пункт. По зеленым посевам спускается с холма румяная радиотелеграфистка с самолета. На холм поднимается молодой офицер с биноклем. Он знает, что на шоссе у лесочка до сих пор скрываются вооруженные нацисты.

Ему кричат: «Наблюдатель!» и машут рукой, чтоб он спрятался у стены. И верно, хлопают вражеские выстрелы. Приказ — и отделение снова наступает, дисциплинированно, спокойно. Здесь воины из разных союзных республик. Из-под пыли четырехдневного наступления видны бронзовый цвет Казахстана, смуглая кожа грузин, опаленные загаром лица светловолосых русских и украинцев.

Одни направляются к лесочку, другие осматривают дома, откуда слышны выстрелы.

С машин соскакивают все новые и новые красноармейцы, они подкидывают детей, целуют их.

— Вот шоколад, вот сахар, а вот послушай-ка, как тикают часы.

— Мать! Бери консервы! Кушай!

Как молодым женщинам не гладить их плеч, как старикам не жать им руки? Благодарности столько — хоть всех обними и прижми к сердцу! Вся картина могучего наступления, образ поразительной силы, непобедимой военной мощи превращается с каждой такой встречей в теплые человеческие чувства, озаренные любовью.

На перекладине садового забора сидят граждане и бойцы, понимающие друг друга, хотя каждый говорит на своем родном языке. Мария слушает танкиста — и легко угадывает, что он ищет воду. Да, конечно, пойдем во двор того низенького домика старых Дейвиц, там колонка. Слышишь, вместе с вами вернулся партизан, он дома, и вся округа слушает у него сообщение из Москвы о том, что армии Украинского фронта идут на Прагу.

— Идут? Уже здесь, уже в Праге! А ты, товарищ танкист, — как те-

бя зовут? Миша! Вот колонка, ты мойся, я буду тебе лить воду, а партизанка уже несет тебе пить.

У ворот довольно улыбается Данемарк. За его спиной, мимо лагеря, все еще проезжает на Прагу армия-освободительница. Колеса орудий громыхают по дороге, мчатся катюши — это чудо советских инженеров, и снова танки, грузовики, броневики.

Миша улыбается, ест, пьет, партизан приносит гармонь и спрашивает Марию:

— Ну, что сыграть, рыжик?

Мария складывает губы, чтоб засвистеть своей бригаде, но вдруг стыдится этого мальчишеского способа и запевает чистым голоском свой гимн — марш «Веселых ребят»:

И тот, кто с песней по жизни шагает,
Тот никогда и нигде не пропадет!

Миша смотрит радостно — точно отозвалась родная сторона.

Около гармоники собирается толпа пражан и советских бойцов. Все знают эту песню: в самые черные дни оккупации она была светлым воспоминанием о советском фильме, принесшем столько радости. Потом гармонь начинает плясовую.

Девушки слетаются на нее, как мухи на мед, и теперь все закружилось, двор полон танцующих. Даже дети берутся за руки — и в круг. Как тут советскому бойцу не сплясать казачка, как не запустить ракеты, хотя на дворе день!

Лагерь кипит, точно бутылка шампанского, из которой вышибли пробку. Рассыпается жемчугом смех, все кругом ликует, крики и шум поднимаются над взволнованной толпой.

Данемарк притоптывает в такт, вскидывает автомат над головой привычным боевым движением. Он не спускает глаз с Марии — и вдруг удивляется: он видит в плавности ее движений, в выражении сияющего лица что-то новое. Смотрит, чтобы понять эту перемену, гладит свою бритую голову и кричит:

— Кто залепил тебе палец пластырем, чьи босоножки у тебя на ногах? Когда успела причесаться?

Мария не отвечает — не слышит, потому что ее партнер Миша говорит ей очарованно:

— Какой народ! За всю войну нас еще нигде так сердечно не встречали! Какие вы искренние, милые люди!

Мария отвечает ему за всех:

— Потому что мы вас любим, вы наши освободители! Вы вернули нам жизнь! Всему миру вернули жизнь!

Танкист Миша, взглянув в глаза Марии, увидел не прозрачную синеву детских глаз, а темную глубину девичьего взгляда.

Словно ветер пролетел по посевам — из уст в уста передавали новый приказ. Так же быстро, как был разбит временный лагерь танковой части, каждый боец очутился на своем месте. В танках заворчали, завыли моторы, уже накинут верх на грузовики — и колонна двинулась в победный поход.

Мишин танк облепили партизаны, бойцы баррикад, девушки и дети — не говоря уже о бригаде «Долой!» — а выше всех забралась Мария. Снизу на нее с тревогой смотрит приемный отец: это уже не подросток, это девушка с легкими движениями, с потемневшим и глубоким взглядом. Сидит на танке вся в цветах и сама — как цветок.

«Вот так чудеса!» — мелькает в голове сапожника. И тут его привлекает одно подозрительное окно. Он чувствует ответственность за этот танк, увешанный людьми с круглолицей Марией наверху.

Там, именно там, где сейчас дрогнула занавеска, висел пятнадцатого марта первый фашистский знак на красном полотнище.

Данемарк мгновенно превратился в охотника, весь напрягся.

За занавеской он больше угадывает, чем видит, и с непоколебимой готовностью быстрым, незаметным движением целится из автомата в это окно — и стреляет!

Стреляет быстрее, нежели рука за занавеской могла нажать курок.

— Не для твоей пули, зверюга, я вырастил сироту! — скрипит зубами Данемарк. Теперь, сделав дело, он ругается, грозит окошку автоматом. Оттуда бессильно повисает тело заядлой нацистки, и пистолет с треском падает на мостовую.

Танк, на вершине которого стоят Миша и Мария, величественно вливается в бесконечную победную колонну, тянущуюся от баррикад предместья в освобожденную Прагу.

Людмил Стоянов

Ладислас Ламот

(Из первой части трилогии „Детство, молодость и война")

Перевод с болгарского Т. Карповой

По всему фронту — от Шкумбина и Охридского озера, по линии Червена Стена — Завой-на-Черна — Добро поле, вплоть до Кожуха и Беласицы,— артиллерийский поединок не прекращается ни днем ни ночью.

Человек здесь словно бы и не существует — он зарылся в землю, а над ним гремит музыка ненависти и смерти.

Вокруг вздымаются лишь бездушные скалы, покрытые лесом горные вершины да сыпучие македонские холмы — такие же чуждые людям, как и причины, которые привели человека в этот ад.

Кажется, сама земля вздрагивает от громоподобной неприятельской канонады. Ни зелень лесов и полян, ни цветы — ничто не радует глаз. Все это кажется чуть ли не вымыслом тысячелетней давности. Главное сейчас — грохот, разрывы гранат, пулеметный треск, завывание мин, шум самолетов. Ко всему этому беспрерывному грохоту солдаты привыкли так же, как рабочие на заводе привыкают к грохоту машин и шипению трансмиссий.

Фронт, похожий на огромную цементированную крепость, трещит под натиском вражеского огня, под напором свинцового дождя.

ЗУАВЫ

На участке роты стоит тишина. Ниже нашей позиции лежит долина с неглубокой рекой. В часы затишья, особенно по ночам, ее журчание доносится до наших окопов; в излучинах река поблескивает быстрыми, пенистыми волнами. Между скалами на противоположной стороне реки расположена неприятельская позиция, хорошо замаскированная и забетонированная. Ее обороняет надежно укрытый скалами батальон зуавов. Их передовой пост — настоящий бастион — так вооружен, что днем мы не можем высунуть головы из окопов. У них, наверное, есть наблюдательные пункты с пулеметными точками, вроде наших, и опытные стрелки, подстерегающие каждое наше движение. К тому же вражеская позиция господствует над нашей. Может быть, поэтому враг чувствует себя в безопасности и не предпринимает серьезных атак; он только обороняется.

Какие у него планы?

Мы знаем только одно: зуавы — это чернокожие солдаты, но мы их не видели до тех пор, пока однажды ночью наш передовой пост, к общему изумлению, не привел двоих. С ними был и третий — француз, сержант Ладислас Ламот, который шел позади, и потому на него никто не

обратил внимания. Всеобщий интерес был прикован к зуавам. Черные, как ночь, они были в коричневых рубахах и синих штанах, с фесками на головах.

Они, видно, все еще не могли сообразить, как это так внезапно и неожиданно очутились в руках врага... Зуавы ловили каждый любопытный и доброжелательный взгляд и улыбались, поблескивая крепкими белыми зубами.

В это раннее майское утро, как всегда, низко летали ласточки; друзья человека, они всегда снуют там, где он что-то строит, создает, где кучами лежат песок и цемент. Над окопами на ветру колыхались редкие стебельки травы, и на их фоне две фески пленных зуавов казались яркими цветущими маками.

Полусонные солдаты пробирались по окопу поглядеть, что за птицы эти странные зуавы, пришедшие сюда с другого конца света умирать за Пуанкаре и Бальфура. Конечно, такие мысли приходили в голову не каждому, иначе наши оборванные зеваки задали бы себе вопрос: не для того ли и они здесь, чтобы умирать за коронованных господ — царя Фердинанда и кайзера Вильгельма?

Оба африканца спокойно ждали, пока старший сержант Киро Пиронков обыскивал их сумки. Он нашел там белый хлеб, консервы, мармелад, шоколад...

— Глядите-ка, у этих черномазых чертей, — с явной завистью проговорил Киро, — просто царская закуска...

— Хлеб-то, хлеб какой, посмотри, какой хлеб — настоящие французские булки,— восклицали солдаты, обступив пленных,— не то что наш кукурузный... прости нас, боже.

Старший сержант Киро счел нужным назидательно прибавить:

— Спорить буду, что это им дали нарочно: дескать, смотрите, какой мы хлеб едим, а вы...

Подошел Перпелиев, прапорщик из третьей роты — худой и бледный юноша, — и начал по-французски допрашивать пленных.

— По приказанию командира батальона, — бросил он в нашу сторону и принялся выяснять, как они попали в наши руки, куда направлялись, зачем.

Ладислас Ламот тем временем стоял в сторонке, строгий и невозмутимый, будто он появился здесь только для того, чтобы проводить зуавов и затем вернуться назад. На него никто не обращал внимания.

Из объяснений зуавов становилось ясно, что повар, как бывало каждую ночь, приказал им сходить к реке за водой. Оба солдата, взяв громадные бидоны и коромысла, осторожно спустились по каменистой тропинке, так, чтобы не скатился ни единый камешек, падение которого могло бы вызвать подозрение противника. Вот и все, что можно было узнать при первом допросе; сейчас повар Гастон с нетерпением ждет их с водой, чтобы приготовить завтрак для господ офицеров.

— А где же бидоны? — спрашивает прапорщик Перпелиев. — Ну, где бидоны? Как можно было упустить такие трофеи?

Два солдата, приведшие пленных, стоят по обе стороны зуавов, косятся на них украдкой и тут же отводят глаза — такими необыкновенными кажутся им эти пленники с черной, как деготь, кожей, белыми, как мел, зубами и сверкающими белками глаз...

Наконец наступил рассвет. Порозовели освещенные солнцем окрестные вершины. День наступил неожиданно, и наша позиция ожила.

— Колю Тонков и Штерю Янков! К командиру батальона! — послышался голос старшего сержанта Киро Пиронкова. Этих солдат ожидал орден за храбрость.

Как все это произошло? Как удалось захватить пленных?

Это случилось часа в три утра, перед самым концом третьей смены. Наш передовой пост заметил на реке двух зуавов, которые, отыскивая место поглубже, приближались к нашему берегу.

Чей-то низкий голос негромко крикнул по-французски:

— Назад!

Потом кричавший — это был Ладислас — бросился в воду и пытался вернуть солдат обратно, но наши разведчики вскинули винтовки и скомандовали:

— Руки вверх!

Оба чернокожих автоматически подняли руки, а третий, белый сержант, выхватил револьвер.

Раздался винтовочный выстрел — и револьвер упал в реку. Сержант, скорчившись от боли, поднял одну руку.

...Зуавы охотно рассказывали, как они заблудились, и при этом на их лицах сияла улыбка! Все обращали внимание на их курчавые головы и красные фески.

Дети! Настоящие дети! Вдруг они из-за чего-то поссорились — об этом можно было догадаться по сердитым взглядам, которые они бросали друг на друга,— наверное, спорили, кто из них больше виноват; что ни говорите, а не очень-то приятно попасть в руки тех, кто целыми днями стреляет в тебя и про кого повар Гастон говорит, будто они едят живых людей...

Потом их отвели к командиру батальона.

Солдаты стали расходиться. Слышались отдельные голоса:

— Черные... а все же они такие же люди, как и все...

— А видал, какой хлеб едят?

— Хлеб едят белый, а сами черные...

— И чего болтаешь!.. При чем тут белый хлеб и черная кожа?

— Как все это получилось? — недоумевал кто-то.— Влипли, как мухи... Ослепли, что ли?

— Бывает... не приведи бог и тебе попасть в переделку.

В глубине окопов мелькнули и тут же исчезли две красные фески.

Внимание всех сосредоточивается на пленном французе.

Перпелиев спрашивает:

— Ранен?

Рука сержанта залита кровью. Сквозная пуля прошла от ладони до локтя.

— Пойдем к фельдшеру,— говорит Перпелиев.

ПОЛКОВОЙ СВЯЩЕННИК

В расположении нестроевой роты тишина и безлюдие. По просторному двору бродят несколько раскормленных коров, они жуют только что пробившуюся травку и радуются теплому майскому солнцу.

В глубине двора, в загонах, похрюкивают жирные свиньи. У загородки суетятся куры и петухи; просовывая шеи между досками, они воровато склевывают зерна, рассыпанные возле корыт, клюют осторожно, с опаской, хотя розовые поросята не обращают на них никакого внимания.

Нестроевая рота — огромное хозяйство. У нее все свое: и отара овец, и конный парк, и склад, и мастерская для ремонта повозок, и кузница, и жилье для офицеров и солдат, и гауптвахта... Позиционная война создает свои законы, распорядок, нравы, свое хозяйство, связанное с нуждами фронта.

Фельдфебель Гроздан Илиев встретил меня недружелюбно. Из-под седых, нависших бровей он посмотрел на меня так, будто хотел сказать:

«Знаем мы вас, только и смотрите, как бы устроиться подальше от фронта». В силу непреодолимого человеческого эгоизма, себя он исключал из числа людей подобного сорта. Пока я представлялся ему и объяснял цель своего прихода, фельдфебель рассматривал меня со всех сторон и, озадаченный словом «реляции», решил быть повнимательнее. Перечитал письмо и, снова встретив непонятное слово, пробормотал сквозь зубы:

— Поглядим, куда вас пристроить...

Я ему объяснил, что сюда меня направил батальонный командир, которому хочется привести в порядок реляции о боевых действиях батальона в Румынии в 1916 году и на Македонском фронте в 1917 году. Все это, говорю, потребовал командир полка, которому надо составить историю полка...

Гроздан Илиев, который, очевидно, начал испытывать угрызения совести за недостаточно заботливое отношение к нижнему чину, получившему такое важное задание, повернулся ко мне и благосклонно махнул рукой:

— Займи комнату попа...

Итак, разрешение получено.

Полковой священник — персона важная, без его молитвы никто не смеет отправиться на тот свет. Неподалеку от нестроевой роты находится кладбище: убитых солдат привозят туда по ночам, там их отпевают и предают земле.

В комнате стоят две деревянные кровати, покрытые серыми солдатскими одеялами, стол и стул. Больше ничего. Только засаленная камилавка, предназначенная, вероятно, для официальных случаев, торчит на гвозде.

Отца Хаджиева я не застал — он был на службе и пришел пообедать в самую жару. Это был низенький человек с добродушным лицом, на вид лет пятидесяти, с большой головой, волосы с проседью.

Он мне обрадовался. Видимо, одиночество изрядно ему надоело. Пожаловался на фельдфебеля Гроздана, который заставил его сидеть на солдатском пайке, хотя ему, как военному чину, полагалось пользоваться офицерским столом.

В кармане отца Хаджиева уже лежал отпускной билет, и он с нетерпением ждал того дня, когда вырвется отсюда.

Он достал платок и вытер вспотевшие лицо и шею. Чем-то взволнованный, он то и дело хмурил брови, потом, тяжело вздохнув, заговорил таким тоном, будто поверял какую-то тайну:

— Плохи у нас дела.

— Почему? — спрашиваю. — Что случилось?

— Ну, как же, каждый день бунты, расстрелы... Вот и сейчас расстреляли трех человек — пришлось исповедовать...

— За что же?

— За мир агитировали... листовки подбрасывали... Честно говоря — надоело народу. До каких пор воевать? — уставившись в одну точку, проговорил он и, казалось, ждал ответа.

Я спросил:

— Исповедовались?

— Куда там! Наша песенка, говорят, спета, зато другие дождутся хорошей жизни.

— И больше ничего не сказали?

— Один крикнул: «Придет и наш день!». Прокурор так и подскочил: «Это ваше последнее слово?» Все трое в один голос воскликнули: «Да здравствует большевистская Россия!»

Священник круто переменил разговор. С радостью заговорил, что скоро увидит своих — у него было две дочери: одна — пианистка, другая

пишет стихи. Верил, что обе станут знаменитостями. Постепенно я узнал все подробности о его семье, саде, доме. Все эти детали выяснялись в разговоре. О попадье он не вспоминал, но чувствовалось, что все его мысли с ней. Упоминать о жене — значило касаться интимной стороны брачной жизни, а отец Хаджиев весь был во власти теологической морали отцов церкви и свято соблюдал ее.

Потом он расплел волосы, которые рассыпались по спине чуть ли не до пояса, снял коричневую рясу — и сразу стал смешным.

От него пахло ладаном и кладбищем.

В расположении нестроевой роты вдруг началось оживление, послышался шум, голоса. Забили в железку — это был сигнал о приближении вражеских самолетов.

Отец Хаджиев вскочил как ужаленный и пулей вылетел в дверь. Я видел в окно, как он мчался по двору с развевающимися длинными волосами. Поп спешил в убежище... Но могло ли оно спасти его? Шальная бомба — одна из миллиона — могла похоронить всех вместе с фельдфебелем Грозданом.

Нестроевая рота была расположена на Прилепской равнине, в десяти километрах от фронта. Жгучее южное солнце опаляло деревянные бараки, а неприятельские самолеты продолжали путь на север, торопясь выполнить задание. Им было не до наших дощатых домишек.

Вскоре вернулся слегка смущенный отец Хаджиев.

— Убежище,— сказал он,— пустое дело! Но обидно было бы погибнуть накануне отпуска!

И он снова с волнением заговорил о встрече со своими. Восторгался родной Болгарией... Там у него всё — дом, сад; утром в церковь, а когда возвращаешься — на столе стоят цветы... И он снова завел речь о дочерях, заговорил влюбленно, готовый заплакать от умиления...

На следующий день он рано поднялся и стал бесшумно одеваться. После минутного раздумья тронул меня за плечо:

— Прощай, молодой человек. Даст бог, увидимся в Болгарии... — Лицо его так и сияло от радости.— Никчемная эта война, и нет ей ни конца, ни края!

ПЛЕННИК

В моем фронтовом дневнике имя Ладисласа Ламота встречается несколько раз. Я запомнил его нежное, сосредоточенное лицо с веснушками около носа, голубые глаза, чуть пробивающуюся бородку... С локтя капала кровь, мускулы на его лице слегка подрагивали, и он все время старался скрыть это. Не мог, видно, опомниться от неожиданных роковых случайностей, которые привели его к нам как пленника.

Он, очевидно, знал, что его ждет. Допросы о его части, о ее расположении, о числе людей, о начальствующих лицах...

Ночью мои мысли снова остановились на неясной мне фигуре Ладисласа Ламота. Он сопротивлялся. Сказал только то, что известно всем. Откуда ему, простому сержанту, знать планы начальства? Но то, что он говорит, тоже важно! Дыма без огня не бывает...

На следующий день, поздно вечером, Ладисласа Ламота привели в нестроевую. Его хотят вернуть в нашу часть. Пусть покажет расположение своих частей, их численность.

Возникает вопрос: где ему ночевать?

Как сержанту, ему не полагалось ночевать на гауптвахте, битком

набитой солдатами, оборванными и завшивевшими... К тому же раненая рука мучила его...

Решили, что пленный будет спать на постели полкового священника. Прапорщик Перпелиев должен был прийти за ним на следующий день.

Так мы познакомились. Француз горько усмехнулся и сел на кровать. Ему было не до разговоров. Да и о чем говорить? Но все же он кое-что рассказал о себе. Мать его — полька. Его маленькая дочь, Анеля, носит ее имя.

Я смотрел на него с сочувствием, и он заметил это, потому что после короткой паузы, с усилием улыбнувшись, спросил:

— Как думаете, мсьё, скоро будет мир? Сумеем ли мы вернуться, наконец, к родному очагу?

— Мне кажется, что все одинаково измучены,— ответил я.— Пора уже кончать...

— До каких пор будет тянуться эта грязная бойня?..

Я пожал плечами и ответил ему улыбкой.

Разговор не клеился. Француз, кажется, свыкся с положением человека, у которого уже нет оружия и, больше того,— которому запрещено даже прикасаться к нему, и это наполняло его особым чувством. Он поправил свою повязку, которая, по-видимому, давно не сменялась. Ламот перестал смотреть на меня испытующе, и постепенно к нему начала возвращаться присущая французам живость — встал, сделал несколько шагов по комнате; потом снова сел. Ему хотелось поговорить, но он как будто не осмеливался держать себя свободнее.

Назвал меня «camarade» и замолчал, ожидая, какое впечатление произведет подобное обращение. Я ничем не выдал своего отношения, принял обращение, как естественное, и ответил ему так же.

Чем он занимался до войны? Был фотографом. У него было фотоателье...

— О, быть фотографом в Париже — не так-то просто! Это почти искусство. Верите ли, camarade, какой-нибудь портрет, ну скажем, Верлена, найденный где-то на мансарде, можно превратить в художественное произведение, сделать ценностью... У меня были такие случаи.

Он увлекся. Заговорил о семье, о жене, о детях — Андре и Анеле.

— Вот и снимок их...— и он торопливо полез в карман. С выцветшей фотографии смотрели на меня, взявшись за руки, черноглазый мальчуган лет шести-семи и кругленькая, как мячик, светловолосая девочка лет четырех.

— Разве вам оставили карточку? — спросил я.

— Славу богу, да... Сержант был так великодушен. Он только взглянул на фотографию и вернул ее.

— И у вас ничего не отобрали?

— Только вырезку из газеты.

— Какую?

— Из «Юманите».

— О чем же она?

— Мне ее один товарищ дал... и зачем она мне понадобилась! В ней комментарии к декрету Ленина о мире и его предложение о всеобщем мире. Потому-то я вас и спросил, скоро ли наступит мир. Какие настроения у вас?

— У нас слово мир запрещено. Кто агитирует за мир, того расстреливают...

Ламот удрученно посмотрел на меня, потом отвел взгляд в сторону и, словно бы невзначай, сказал:

— Совсем, как у нас. Не нравится это военщине... Не хотят заме-

чать, что взоры народа с любопытством и с надеждой устремлены на север — к стране большевиков.

— Допрашивали вас? — перебил я его.

— О чем?

— По поводу вырезки из газеты.

— Слава богу, нет. Пока нет.

— Странно. Дай бог, чтобы все обошлось.

Говорили допоздна. Перед дверью, на мешках с пшеном, полулежал старый ополченец Миразчия, приведший пленного.

Философия ополченца была проста:

— Чего его стеречь? Не сумасшедший он, чтобы убегать. Попал парень в беду, авось все и обойдется. Отправят его в Болгарию. И там плохо, но все не так, как тут. Присмотрят там за ним. Красный Крест им займется, а потом...

— Что он говорит? — спросил Ламот.

Я объяснил ему. В словах конвоира было что-то успокаивающее, и лицо Ладисласа прояснилось. Он сел на кровать и, положив нога на ногу, задумчиво сказал:

— В моем положении одно плохо — не хозяин я сам себе. Все зависит от доброты людей. Вот этот резервист, к примеру, добрый человек. Но разве все такие, как он?

Рано утром в комнате появился прапорщик Перпелиев. Ламот тут же вскочил с постели, поправил бинт и, улыбнувшись, спросил:

— Идти, да?

— Да,— подтвердил Перпелиев.— Потом опять вернемся в бригаду.

В университете я учился на одном курсе с Перпелиевым и потому решился мимоходом спросить его о газетной вырезке.

Испуганно оглянувшись, он предупредил:

— Об этом лучше не говорить.

Потом добавил:

— Она в надежных руках...

Я знал, что Перпелиев дружит с Христоско Мерджановым, Тодором Гиневым и другими честными людьми из среды офицеров. Если бы газетная вырезка попала в руки прокурора — французу конец.

Глядя Перпелиеву в глаза, я спросил:

— Он коммунист?

— Говорит — нет, но сочувствует им, потому что они борются против войны. «Эту мерзость,— говорит,— надо кончать...»

Каковы планы командира нашей бригады? По словам Перпелиева, командир считает, что надо атаковать неприятельскую позицию. Атака, по мнению командира, решит исход наступления. Если начнут они,— нас отрежут от главных сил и засыплют гранатами. Вот почему командир должен знать все о расположении противника: о каждом камне, о каждой тропинке...

В ВОЕННОМ ТРИБУНАЛЕ

Военный трибунал — приземистое здание, деревенский дом, приспособленный под «зал заседаний», с длинным столом и несколькими скамьями для подсудимых и свидетелей.

Над очагом остались торчать крюки, а в золе валяются два таганка.

Снаружи, у стены, сгрудились солдаты — жалкие, забитые, одни дремлют, уронив головы на колени, другие — запрокинувшись и выставив кадыки, небритые, со свалявшимися волосами под засаленными фуражками. Все они мало чем отличаются друг от друга — фронтовые невзгоды стерли былые различия.

Их обожгло солнце, истощил голод, а непосильный круглосуточный труд превратил в настоящих автоматов.

Это подсудимые. Они сами явились сюда из разных подразделений дивизии — безучастные, словно несли службу.

Уже третий час, а заседание все еще не начинается. Судьи не торопятся. После обильного и сытного обеда у них одна забота — переварить пищу.

Зачем пришел я? Из-за Христоско. Он — адвокат «по назначению», и мне важно знать, что он думает о Ладисласе Ламоте.

— Он симпатичный, не правда ли? — спрашивает меня Христоско.

— Да,— говорю,— чудесный парень. Надо спасти его.

Солнце печет, в этот послеобеденный час совсем нечем дышать. В помещении трибунала еще бóльшая духота. Один за другим входят судьи и рассаживаются за столом: в центре полковник, справа и слева от него два подполковника. Напротив — прокурор.

Судьи раскрывают папки, просматривают дела. В сущности, ничто их не интересует. Там написаны какие-то имена, которые им так же далеки, как самые отдаленные планеты или как их пра-прабабушки — ничего не значащие понятия и только.

Вот и списки солдат, большинство которых опоздало из отпуска. Одни задержались на ночь, другие — на сутки, третьи — на два или три дня. Солдат не имеет права опаздывать. Он обязан перелететь через горы и реки, но прибыть точно в назначенный час. Кому какое дело, что поезда опаздывают, что они часами простаивают на станциях!

Начинается заседание.

— Запрян Тодоров Кискинов! — читает председатель. Сегодня он в хорошем настроении. Рассыльный выкликает то же имя. Входит Запрян.

— Где же ты пропадал, Запрян? Небось, холостяком себя возомнил? Почему опоздал?

— У нас в Бабуне узкоколейка, господин полковник. Чего-то там испортилось, вот и простояли до темноты.

Солдат отвечает спокойно, потому что знает — никакого преступления он не совершил.

— Нехорошо... Что говорит дисциплинарный устав? Разве не знаешь, чему вас учили?

— Так точно, господин полковник, солдат должен быть точным и исполнительным! — уверенным голосом отвечает Запрян.

— Правильно... А вот ты опоздал на целые сутки. Разве это порядок?

— Так точно, господин полковник, запоздал. С кем грех да беда не случается, господин полковник...

— Ты, как я погляжу, парень сообразительный... Есть ли вопросы у адвоката?

Христоско встал:

— Прошу высчитать, сколько времени идет поезд от станции Виница, где он простоял целых восемь часов, до роты, в которой служит подсудимый, и прошу также принять во внимание, что если бы поезд шел по расписанию, то подсудимый прибыл бы вовремя...

Фраза была такой длинной, что председатель, еле дождавшись, когда она кончится, нервно заметил:

— Оставьте, прошу вас, эти софизмы... Поезда ходят по расписанию.

Христоско умолк: он был поручик, а председатель — полковник... Дистáнция достаточная, чтобы замолчать.

Председатель:

— Есть ли вопросы у господина прокурора?

— Нет, господин полковник, все ясно,— приподнявшись, ответил прокурор.

Судьи совещаются. Как проходит совещание? Председатель, прикрыв лицо папкой, шепчет несколько слов члену суда справа, затем члену суда слева.

— Именем закона, Запрян, за нарушение дисциплины ты приговариваешься к трем годам строгого тюремного заключения, которое отбудешь после окончания войны, — безразличным голосом произносит председатель.

Мысль о том, что после войны, когда все люди будут радоваться, когда они увидятся с близкими, будут целовать своих детей,— он должен будет идти в тюрьму, кажется, не произвела на Запряна никакого впечатления. Во всей этой процедуре было что-то несерьезное, бессмысленное, ибо дело о проступке имеет и другую сторону: солдат вернется в свою роту. Утром, когда начнется бой, с какими думами он бросится на врага, если ему известно, что́ его ждет после победы?

Запрян оглянулся по сторонам, утомленный тяжкой процедурой, и попятился назад с таким невинным видом, так смиренно, будто находился в церкви.

Его дело закончилось. Председатель снова заглянул в список.

— Геро Тонев Белимелски!

— Геро Тонев Белимелски! — повторил, как эхо, рассыльный.

Вошел человек небольшого роста с фуражкой в руке, с лицом, заросшим колючей щетиной, с беззубым ртом и угодливой улыбкой, как будто она могла спасти его.

Потом судили еще с десяток солдат, и каждый раз следовал приговор — один, два или три года строгого тюремного заключения «после окончания войны».

Объявили перерыв.

Когда мы остались с Христоско Мерджановым с глазу на глаз, он сказал:

— Как тебе это нравится? Катастрофа надвигается, и никто не в силах предотвратить ее.

— Это верно. Неужели они не понимают этого?

После перерыва должны были слушаться, по-видимому, более серьезные дела, поэтому Христоско пошел предварительно познакомиться с ними.

Рядовой Иван Тотев во время перестрелки ранил командира батальона, находившегося в одном из уступов окопа. Произошло это случайно и неожиданно, потому что стрельба велась в том же направлении.

Действительно ли здесь произошла простая случайность? Не пререкался ли Иван Тотев с командиром? Не был ли когда-нибудь Иван Тотев наказан несправедливо? Правда, однажды командир батальона наложил на него самое тяжелое взыскание. Но тогда Иван Тотев сам признавал, что был виноват. Были ли другие случаи? Командир батальона, в сущности, был добрым человеком, он часто выгораживал солдат, защищая их от придирок высшего начальства.

Пуля прошла через плечо и задела ключицу. Командир батальона считает, что это простая случайность, возможная во время перестрелки, а никак не месть. Суд, однако, считал необходимым во всем разобраться. Нужно принять во внимание даже малейшие подозрения, нет ли здесь мотивов личной мести, чтобы не давать повадки другим.

Христоско встал. Он сказал, что в данном случае не может быть двух мнений — случайным ли было ранение, поскольку командир батальона находился в направлении огня, или умышленной местью. Второе предположение трудно допустить даже априори, поскольку хорошо известна

психология нашего солдата и — тем более — характер Ивана Тотева. Свидетели считают его исполнительным солдатом, послушным и преданным начальству. Мог ли он совершить подобный поступок? Логика подсказывает, что если бы им руководил злой умысел, он совершил бы преступление тайно, а не на глазах у всех.

Иван Тотев был осужден на шесть месяцев штрафной роты. Короче говоря, подразделение лишалось хорошего солдата.

Следующий случай был тяжелее.

Речь шла об анонимном письме, которое солдат Желязко Янев переслал своему другу в соседний, 41-й полк. Желязко написал приятелю, чтобы тот, прочтя письмо, передал его другому, верному человеку. Письмо и в самом деле удивительное! В нем говорилось о трехлетнем бремени войны, которое несли солдаты на фронте, женщины и дети в тылу. Говорилось о солдатском «радио», которое знает все и разносит известия быстрее молнии, которое следит за каждым шагом революции в России, за всеми успехами Красной гвардии. О чем только не говорилось в этом письме! Самым важным было заявление о том, что и нашим солдатам больше невмоготу продолжать войну и что правительство должно над этим задуматься. Солдаты говорят: до «16 сентября», и ни шагу больше! Народ требует призвать к ответу тех, кто послал их умирать среди голых македонских скал за интересы кайзера Вильгельма и маршала Фоша! Никому никакой пощады!

Суд оказался в затруднительном положении.

Заседание повели при закрытых дверях. Я остался по ходатайству Христоско.

Процесс продолжался больше часа.

Каким солдатом был Желязко? Дисциплинированным, сообразительным — пример для своих товарищей, слову своему хозяин. Имеет два креста за храбрость. Участвовал в нескольких разведывательных вылазках. В деревне у него свое хозяйство. Был кметом, и все его уважали.

Согласен ли он с тем, что написано в письме, и знает ли, кто его писал?

— Получил я его,— ответил Желязко,— как раз в тот момент, когда в письме из дома мне написали про безобразия, которые творит в селе кмет, про реквизиции, про нищенскую «помощь». Я и подумал: пошлю-ка я это письмо Примовскому в 41-й полк, этого больше терпеть нельзя.

— Так ли? — многозначительно протянул председатель.— Значит, ты не мог терпеть? Уж не хочешь ли ты сказать, что солдаты сами должны решать и военные вопросы?! Не захотелось ли тебе того же, что творится нынче в России? Война — это тебе не свадьба, не веселье со свирелями и барабанами!

Желязко промолчал.

Председатель продолжал:

— Скажи-ка лучше, кто научил тебя послать это письмо? С кем ты решал такие вопросы? Есть ли среди таких, как ты, офицеры и кто они?

— Понятия не имею о том, что спрашиваете, господин полковник,— ответил Желязко.— У того, кто прислал мне это письмо, были свои соображения, но я с ними не согласен. Мне только понравились кое-какие правильные слова — и больше ничего. А то, о чем вы спрашиваете, мне и во сне не снилось...

Есть что-то уродливое в том, что закон тщится любой ценой настоять на своем, вопреки истине и простой человеческой логике. Может быть, у Желязко и было на уме относительно войны то, о чем думали почти все солдаты и офицеры — что война бессмысленна и дело приближается к ка-

тастрофе. Но закон хотел выделить его из среды других и принести в жертву.

Председатель прервал подсудимого:

— Что значит «16 сентября»? Что это за дата? Ты, наверное, знаешь, в чем тут дело?

— Никак нет, господин полковник. Первый раз слышу.

— А знаешь ли, что ты сделал?

— Я ничего не сделал,— чуть слышно ответил Желязко, внезапно побледнев.

Председатель:

— Закон неумолим.

Начались прения сторон.

Адвокат пытался доказать, что война, какие бы цели ни преследовала, не может не возбуждать недовольства... но, тем не менее, посмотрим, как Желязко исполняет свой солдатский долг. Все начальники его хвалят. Два ордена за храбрость тоже кое-что значат. Кто был первым в разведке? Патриот ли Желязко? Патриот, и еще какой...

Прокурор, который до сих пор не проронил ни слова, остановил адвоката:

— Вы, господин адвокат, не забывайте, что ваша обязанность помогать суду, а не выгораживать подсудимого.

Христоско побагровел, может быть потому, что понял — судьба Желязко решена.

— Прошу прощения,— сказал он.— Но одновременно я должен иметь в виду и интересы подсудимого. Разве я не правильно говорю? Какое значение может иметь закон, если не будет вскрыта истина?

Поднялись и два других адвоката «по назначению», чтобы опротестовать слова прокурора. Прокурор нервно перебирал лежащие перед ним бумаги, но когда он взял, наконец, слово,— весь гнев и ярость обрушил на Желязко.

Он подчеркивал главным образом «благородные цели» войны: «освобождение порабощенных братьев», говорил о вероломстве сербов и греков, о том, что настал заветный час — присоединить Македонию.

К чему ведет большевистская пропаганда? — и прокурор перевернул страницу.— Вот она, рука большевизма, и Желязко, вольно или невольно, его агент. И не имеет никакого значения, «вольно или невольно» совершено преступление,— подчеркнул прокурор, ибо считал, что полностью разоблачил подсудимого.

Дело разбиралось долго и закончилось смертным приговором.

До конца заседания было вынесено еще два таких приговора.

Большое впечатление произвела на меня реплика Христоско:

— Господа судьи, а не слишком ли мы усердствуем?

Но председатель уже встал, следом поднялись оба члена суда, засуетились солдаты, присутствовавшие в зале, и реплика Христоско осталась без ответа.

ЧТО ЭТО ЗА ДАТА?

Действительно, что же означает дата «16 сентября»? Сначала никто не обращал на нее внимания, никого она не заставляла задуматься. А когда эта цифра стала все чаще появляться перед глазами людей — свыклись с ней.

Она появлялась на дверцах вагонов и на бортах грузовиков, на стенах жилых домов и штабов. В селах и городах.

— Шутить кто-то вздумал. Ничего, узнают, почем фунт лиха.

Эти слова, брошенные бригадным командиром, облетели позиции — они должны были припугнуть тех, кто еще осмеливался писать эту дату.

Время шло, а канонада на фронте не затихала. Наоборот, она усиливалась с каждым днем, сотрясая воздух от Беласицы до Охридского озера. Как ни укрывались люди в бастионах, как ни зарывались в землю, ни прятались в блиндажах и бетонированных огневых точках — они не могли избежать смерти, которая настигала неожиданно. Тогда прибавлялось работы и у полкового священника, и у полковых могильщиков. Но так как жертвы были единичными, незаметными, то и казалось, будто на передовых позициях было куда безопаснее, чем в тылу, где бесчинствовали авиабомбы.

План наступления, разработанный командиром бригады, был принят. Изучались силы и расположение противника. Оба зуава ничего не могли сказать. Сверкая глазами, они опровергали друг друга, спорили и переругивались между собой на своем языке. Вся надежда была на Ладисласа Ламота. Он должен был указать все огневые точки, дороги и тропинки, которыми пользовался неприятель... Ламот, возможно, испугался и дал важные сведения.

Август подходил к концу. Солнце пекло нестерпимо, трава на полях желтела, реки пересыхали.

Собралась группа офицеров. Командир бригады сошел с ума! Разве возможно атаковать высоту, с которой наша позиция видна как на ладони? Это будет стоить десятков человеческих жизней! Допустимо ли так бездушно обращаться с живыми людьми?! Надо указать на опасность этому тупице, этому, прости господи, «полководцу»! Он хочет отличиться, а десятки молодых парней должны гибнуть из-за его безрассудной затеи.

Велика радость — занять несколько сот квадратных метров скал и камней, земли, за которую ни один хозяин и ломаного гроша не дал бы!

Между тем, надпись «16 сентября» продолжала появляться, и солдатское «радио» продолжало утверждать, что это последний день войны. Почему последний, откуда это было известно? Никто не знал. Может, немцы на Западном фронте вторгнутся во Францию? Или, как поговаривали, на наш Македонский фронт прибудет несколько немецких дивизий, которые начнут штурм Солуна, чтобы положить конец войне?

Но простой солдат понимал, что при всяком наступлении и у противника появляются новые и новые силы, что военное счастье будет колебаться то в ту, то в другую сторону, и потому войне не будет ни конца, ни края. Мысль эта была опасной, и не всякий соглашался с ней. Солдатам надо было долго раздумывать, чтобы понять, кто в выигрыше от войны, чтобы они своими глазами увидели тех, кто ведет ее. Так рождалась мысль, что враг не впереди, а за спиной. Его надо было искать не на фронте, а там, в прокуренных военных канцеляриях, в грабительских тыловых учреждениях, в военных штабах.

Атака не состоялась, и нам пришлось отступить и занять другую позицию, расположенную выше. Мы могли сделать это и раньше — и тем самым сберечь немало человеческих жизней.

По всему фронту с утра до вечера враг выбрасывал тонны металла, на многих участках были разбиты наши части, но присяга есть присяга — до 16 сентября солдаты сражались с присущей им храбростью и стойкостью, и каждую пядь покидали с боем.

По ночам земля приобретала фантастически зловещий облик от множества осветительных ракет. Высоко взлетев, они разрывались и, словно огненные парашюты, падали вниз, освещая каждый куст, каждое деревце, каждого человека в роте, полку, дивизии, таившегося во мраке и с нетерпением ждавшего рассвета, чтобы, подобно дикому зверью, накинуться друг на друга.

РАЗГРОМ

Пенистые волны Вардара, подгоняя друг друга, стремительно мчатся вниз со снежных вершин Шар-Планины. И чем ближе к равнине спускается эта горная речка, тем она становится спокойнее, тем меньше пенятся ее волны.

С двух сторон дороги вздымаются высоченные скалы — это проход Качанин. Над ущельем виднеется узкая полоска неба, спокойно проплывают облака, изредка пролетает сокол.

Мы идем против течения. Дорога неровная, каменистая, кони нетерпеливы. С нами полковой священник. Мы пробиваемся в Болгарию. Несем полковое знамя, спасая его от «позора» поражения. Отец Хаджиев готов пойти на любой риск, лишь бы поскорее добраться до дома.

Впереди нас и следом за нами бредут солдаты, в стороне расположились отдельные группы, нестроевые роты, полковые кузницы. Некоторые развели огонь и пекут кукурузу. Беседуют, смеются, обсуждают события. «На войне, как на войне», гласит старая поговорка. Некоторые солдаты расспрашивают о своих частях; проносятся всадники.

Фронт — чудовище из железа и бетона — развалился, цементированные укрытия разбиты, брошены склады с новеньким обмундированием и продовольствием, хотя солдаты ходили оборванными и голодными.

Но самое главное — умолкло оружие, проклятое оружие, с которым мы свыклись, как свыкаются с малярией или цингой, и с которым ты не расстаешься, даже засыпая на ходу.

Отец Хаджиев рад, что идет с нами и скоро опять увидит любимых дочек. Какое все-таки безобразие — ежедневно отпевать убитых!

Отец Хаджиев мимоходом бросает:

— Напоследок расстреляли пленного француза... Такой был милый, скромный человек!

Сердце мое обрывается.

— Что вы говорите, отец!

— Верно... Имя у него такое славянское.

— Ладислас Ламот!

— Да. Откуда ты его знаешь?

— Он ночевал в нашей комнате...

Отец Хаджиев, судя по выражению его лица, возмущен. Чего они добивались от пленника? Откуда ему было знать штабные тайны? Отправили его в лагерь... Потом опять вызвали... Даже пытали по приказанию бригадного. И наконец... За что?

Теплым сентябрьским утром поют жаворонки. В синеве неба появляется треугольник странников-журавлей. У земли своя жизнь. Война не вечна!

Догоняю священника. Он разговаривает с группой солдат. Шагаем вместе.

— Знаете ли, что говорят солдаты? — спрашивает он.

— Что?

— Кто, говорят, будет платить за разбитые горшки...

— Дело в том,— отвечаю,— что люди хотят знать: за что они страдали целых три года? Кто их послал на войну?

Колыбельная песня реки вносит в обстановку свой давно забытый мотив. Люди вышли на простор, радуются жизни, солнцу, облакам. Покинули землянки, темные и зловещие норы, чтобы увидеть, что есть и другой мир, светлый и прекрасный.

— Слушайте, отец Хаджиев, меня интересует один вопрос...

— Какой?

— Как держался Ладислас Ламот в последний час? Исповедовался ли?

— Нет,— смутившись, ответил отец Хаджиев,— пленный улыбнулся, потом махнул рукой, как бы говоря: «Видите, где нахожусь, — в самом чистилище!»

— Потом?

— Потом ему прочитали приговор.

— Что за церемонии! Обычно с пленными не церемонятся. Просто расстреливают в окопе и все.

— Кто их знает... Его долго возили по всему фронту. А он держал себя достойно, поэтому, говорят, и решили казнить его по всем правилам.

— Какие были его последние слова? — с нетерпением спрашиваю я.

— По правде говоря, не знаю. Не мог я наблюдать эту сцену, отвернулся, чтобы не глядеть. Но слышал, как он крикнул: «Vive la France! Vive la paix!»

Я представил себе живое, бледное, измученное лицо француза, его красивые глаза и милую улыбку.

Сердце мое больно сжалось.

Несколько немецких частей потянулись на север, в Сербию, Австрию, Германию. Наши солдаты провожали их молчаливо, как нежеланных гостей, с легкой иронической усмешкой, которая, казалось, говорила: «Посмотрим теперь, как вы будете обходиться без нас, которых вы так унижали и оскорбляли».

Офицеры переодевались в солдатские шинели. Они чувствовали себя в опасности.

Нет, солдаты не были побеждены. Они совершили подвиг, который направлял историю по новому пути.

Ламар

Из книги „Боевые песни"

Перевод с болгарского Вл. Соколова

В Октябре
мы увидели,
как рухнул старый мир,
будто
ветер
его уронил.

На Днепре,
на Оби, на Лене
шел народ
на подмогу Ленину.
Ждали молодые, как первого грома,
полные восторженного огня,
нового великого дня.
А на пороге этого перелома
стоял — и огромен,
и вдохновенен —
Л е н и н!

. . . . . .

Орудий пенье,
трудный гул земли —
народ и Ленин
в будущее шли.

Так было сказано в книгах
давно:
кто на Восток посягнет —
все равно
погибнет!
И стал Октябрь
говорить моторами революции
о стране, где за счастье народов
бьются,
о человеке,
о внуках его.

И казалось, в ту осень леса
от ветров и от стуж не желтели.
А фабричных гудков голоса
о свободе нам пели.
. . . . . .
И у нас,
и у стольких народов
октябрьские
взрывы
подорвали
империализма брустверы:
наши братья русские
пролетариям
слали
призывы —
не томиться в веригах
ига!

Это свершилось в Октябре,
в тумане,
в снегах, ветрах.
И это не только воспоминания —
это будет светиться
в веках!
Будет мудрый расти человек.
Труда и поэзии
свободные люди
счастье построят.
И вовек
великое будущее
будет, будет!

Войтех Мигалик

Октябрь

Перевод со словацкого Е. Аронович

По поверхности города буря прошла,
крепнет поступь тяжелая масс,
и «Аврора» на Зимний дворец навела
дула пушек. Скорее кончайте дела,
вре́менные,— пробил ваш час!

Оловянные тучи висят над Невой,
кровь святая течет по граниту,
и из Смольного Ленин, гигант и герой,
видит ясно Отчизны своей молодой
путь, народам открытый.

Он тогда уже видел мильоны огней,
гидростанций места указал,
и надеждой зажег он глаза у людей —
пролетариев мира. Дела этих дней
были только началом начал.

Я еще не родился, но в дальних краях
мой отец через топи, трясину и зной
шел под пули в тумане, дожде и слезах,
шел в крови через голод и страх
за величье короны чужой.

А сегодня я — Армии Мира солдат.
Чтобы не было новых могил,
у переднего края стоит наш отряд.
Тем огнем, что зажег в Октябре Петроград,
Ленин путь всей земле озарил...

Эрих Вайнерт

Книга для гостей

Перевод с немецкого Льва Гинзбурга

1

Недалеко от Москвы,
в сплошном окруженье тенистой листвы,
стоит, подбоченясь, как некий гордец,
с дворами и службами летний дворец.
В зеленом парке — фонтанов всплески,
в залах — паркет, мозаика, фрески.
От ночного горшка до фламандской картины,
здесь все — антикварно, здесь все — музей.
Дворец этот в царствованье Екатерины
построил Юсупов — один из князей.

2

Конечно, дворец этот строил не он,
а крепостные на стройке потели.
Мрамор тесали они для колонн,
ставили арки и капители.
Сотни тысяч — плечи и спины —
камни таскали для господина.
Здесь тысячи рук — и ночью, и утром —
стены выкладывали перламутром.

Тысячи пальцев в дьявольской пытке
в ткань гобеленов вплетали нитки.
Сколько костей перемолото было!
Сколько надежд было втоптано в грязь!
На скольких руках полопались жилы,
и сколько юных ослепло глаз!

А если для дела они не годились,
тотчас же другие рабы находились.
Ведь им и платить не нужно совсем —
хлеба ломоть да половник супу.
Над жизнью, над смертью — надо всем
властвовал князь Юсупов.

3

Его потомок за рюмкой вина
признался однажды: «Какая цена
летнего моего казино?
Ей-богу, народа сожрало оно
не меньше, чем битва у Бородина».

4

Другой из этой прекрасной семейки,
во времена Бонапарта,
в Париже протратился до копейки
на девочек и на карты.
Что делать? Депешу он шлет в именье:
«Удвоить оброки без промедленья!»

Тут дрогнул впервые порядок древний.
Криком разбужен дремучий бор.
Кто вилы взял в руки, кто взял топор,—
барские двери взломав, деревня
гневно пришла на господский двор...

Когда Юсупов въехал в ворота,
стоял у дворца гренадеров отряд.
Сказал он: «Спасибо за вашу работу.
Я, собственно, очень рад».
Он был джентльмен с головы до пят
(читал Дидро, Вольтера и Гёте)
и был убежден, что бесчинства эти
можно унять без петли и плети.
(Поменьше убитых! Какой в них прок!)
Он просто утроить велел оброк:
с ребенка, с курицы даже, с телка —
всё взял, до последнего пятака.
Нет, он не плетью, а голодом бил.
Ведь он надо всем хозяином был.

5

Последние отпрыски знатного рода
утратили прежнюю ярость и пыл.
Но так же скверно жилось народу,
и так же голод его давил.

И когда «аминь» в мужицкой молитве
уже звучало призывом к битве,
в дворцовых залах, как в давние дни,
горланили гости, горели огни.
И кровь из народа сосали те гости,
и мясо его обглодали до кости.

6

Но трижды истории грозный кулак
стукнул по стенам старым —
и рухнули вечные ложь и мрак
под этим ударом.

7

И красногвардейцы пришли тогда
и сказали крестьянам: «Братья!
Мы навеки здесь подняли флаг труда,
нет отныне рабов и знати!
Но пусть в этом логове каждый предмет
стоит, как стоял он здесь сотню лет.
Дворец-то ведь — наш! Кто разграбит его,
ограбит тем самым себя самого».

И двинулись люди в молчанье строгом,
толпою текли из раскрытых дверей.
Могли они всю эту роскошь потрогать,
что зренье украла у их матерей.
Касались покрытых парчой диванов,
на мраморных фурий глядели в упор.
И, в страхе от пышных зеркал отпрянув,
в молчанье немом они вышли во двор.
И, перекрестившись, тогда мужики
с проклятьями подняли вверх кулаки.

8

Так вот и замер дворец однажды,
и времени в нем прекратился ход...
Сегодня открыт здесь свободный вход
для всех граждан.
Где, охраняя покой князей,
ружьями стража гремела —
простая вывеска нынче:
«М у з е й
р а й о н н о г о к у л ь т о т д е л а».
Вот они: в чинном дворцовом парке
с песнями ходят девчата и парни;
веселые дети — друзья и подружки,—
полны любопытства, вступают в зал,
глядят на музейные безделушки
и звонко хохочут у старых зеркал.

Кончилась страшная для человека
эра насилья, эпоха зла.
И от дыхания нового века
слепнут дворцовые зеркала.

9

Во время последнего Николая,
как видно гостей позабавить желая,
один из Юсуповых книгу завел,
чтоб все, кто в его побывали доме —
какой-нибудь герцог или посол,—
оставили запись в этом альбоме,
ну, что-нибудь вроде стишка иль пророчества
и подпись сиятельства или высочества.
И вот эта книга сейчас перед нами
лежит, украшена именами
тех, от кого ни много, ни мало
остались лишь выцветшие инициалы.

Не прочитать и в течение суток
всю эту неимоверную смесь
салонных фраз и казарменных шуток,
с личным автографом или без.
Кого только не было в этом зверинце:
английские лорды и прусские принцы!..
И вдруг — конец вельможному сброду.
Последнее слово —
по воле народа —
принадлежит самой Революции:
через всю страницу надпись идет —
железная формула резолюции
и дата:
Октябрь. Семнадцатый год.

10

Изгнали Юсуповых в эту годину...
А книга, заполненная вполовину,
красногвардейцу попала в руки.
И тот, на дежурстве, томясь от скуки,
читая сентенции знатных лиц,
подумал: «Да тут еще много страниц
оставлено для других гостей!
Я полагаю, без лишних затей —
пропустим для ясности листика два —
конец, мол, всей этой своре, и
отсюда начнется вторая глава
всемирной истории!»
Красногвардеец всю ночь почти
думал, как мысль свою донести.
И, взяв карандаш, во всю ширь листа
нарисовал родные места:
нивы, долины, леса и овраги
в мирном покое, в предутренний час.

А солнце, что не изобразишь на бумаге,
восполнил он светом собственных глаз.
Потом, как во сне, завершая работу,
огромные нарисовал он ворота,
и там, под пятиконечной звездой,
красногвардеец стоит молодой.
И, чтобы рисунок был полностью ясен,
чернилами красными все разукрасил
и написал: «Сомневаться бросьте!
Теперь начинаются наши гости!»

11

Новые гости у этого дома.
И выглядят гости чуть-чуть по-другому.
Приходят солдаты сюда с моряками,
приходят шахтеры, крестьяне, поэты,
подпись тяжелыми ставят руками.
Съезжаются братья со всей планеты.
И честные руки их трудовые,
что рубят породу и сеют пшеницу,
вписали в старинные эти страницы
лозунги Ленина, вечно живые!

12

Я стыскал в этой книге тот лист,
где рисовал молодой коммунист.
Его бесхитростные слова
с какой величайшей поэмой сравняются?
Ибо воистину з д е с ь начинается
в с е м и р н о й и с т о р и и
в т о р а я г л а в а!

Рис. А. Васина

Михай Бенюк

Степь

Нигде, ни на одной географической карте, вы не встретите названия «Чеховская степь». Степи киргизские, степь калмыцкая... — да, такие есть. А если заглянуть в словарь, скажем в четвертый том Даля, то там написано, что «степь» это безлесное и нередко безводное пространство с тянущейся на огромные расстояния ровной поверхностью, пустыня; затем приводятся производные от слова «степь» и т. д. А вот о «чеховской степи» ничего не говорится.

И все же она существует, эта чеховская степь, как существует степь гоголевская, тургеневская, горьковская, шолоховская. Разве эти степи, выхваченные из непрестанно преобразующейся действительности волшебной сетью слов, не гораздо живее запечатлеваются в памяти читателя, чем все географические и филологические определения? Мне кажется, что это так. Миллионы читателей нашей планеты представляют степь именно такой, как ее описали непревзойденные мастера русского художественного слова. Каждый из созданных ими образов степи отличается своей индивидуальностью, особым своеобразием, пропорциями, красками, благоуханиями, но в каждом мы находим прекрасные черты души русского народа того времени, когда жил и творил художник.

Из гоголевской степи, например, мне особенно живо представляется образ вихрем несущейся тройки. Поэт Гоголь глядит ей вслед широко раскрытыми от удивления, страха и очарования глазами: «Не так ли и ты, Русь, что бойкая необгонимая тройка, несешься? Дымом дымится под тобою дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный божьим чудом созерцатель: не молния ли это, сброшенная с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли сидят в ваших гривах! Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню, дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху, и мчится вся вдохновенная богом!.. Русь, куда же несешься ты, дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик; гремит и становится ветром разорванный в куски воздух; летит мимо все, что ни есть на земле, и косясь посторониваются и дают ей дорогу другие народы и государства».

Иной выглядит степь Горького, где он встретился с не нашедшими своей дороги людьми, вроде Коновалова, с такими сильными личностями,

как Макар Чудра, Челкаш, в необозримых просторах которой он нашел образ Матери — воплощение революции, рожденной в среде людей, ищущих выхода из мрака, жаждущих правды жизни для всех тех, кто трудится на земле.

И совсем иной представляется степь в изображении Шолохова, степь вдоль берегов тихого Дона с волнующимся под мощным дыханием революции казачеством, с Григорием Мелеховым, понявшим в конце концов, что советская власть окончательно восторжествовала. Охваченный тоской по детям, он возвращается домой в надежде, что, быть может, и для него придет весна, приближение которой пробуждает покрытую еще снегом степь. И вот стоит Григорий у ворот отцовского дома с Мишаткой на руках. «Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром». Солнце еще холодное, но все вокруг начинает обволакиваться светом наступающей весны.

До наступления этой обновляющей весны степь была суровой, с мрачным небом, стонущей под чьей-то тяжелой поступью землей, с людьми, которые чувствовали себя лишними и томились в ожидании возможности развернуть свои невообразимо огромные силы. Вот это и есть чеховская степь. Над нею кружится, как хищная птица, Варламов, денежный человек, перед которым все лебезят, который может на кого угодно накричать и бить кнутом кого угодно.

Начиная от создателя «Слова о полку Игореве», русские писатели страстно воспевали степь. Своими описаниями и рассказами они пробуждали в душе читателей любовь к ней, воспламеняли воображение и наполняли сердца желанием изведать ее влекущие, необозримые дали, как бы созданные для великанов; утонуть в ее благоухающих травах, среди древних курганов; насладиться звонкой песней жаворонков и перекликанием коростелей; отдохнуть у колодца с журавлем; заночевать в одиноком хуторке у бедных, но гостеприимных крестьян; послушать тягучую, заунывную песню, всколыхнувшую стоячий, душный воздух знойного летнего дня; проникнуться трепетом перед таинственными приготовлениями природы к буре, в то время как нагруженные до отказа зерном и шерстью обозы со скрипом движутся по бесконечным дорогам, оставляя за собой густые облака пыли.

Никто, однако, думается мне, не посвятил степи более полной поэмы, чем Чехов в повести «Степь» — этом, единственном в своем роде, произведении богатейшего чеховского творчества. Впрочем, это даже и не повесть, а скорее предлог для того, чтобы рассказать о неизгладимых впечатлениях и воспоминаниях, для того, чтобы вознести песнь любви земле, песнь, полную тоски и печали, о горькой судьбине тех, кто трудится на ней, не владея и не пользуясь ею. Над этими людьми словно нависло проклятие. Оно кружится над всем и над всеми подобно серой, будто и невидимой, но повсюду ощутимой хищной птице. Не будь этого почти невидимого — он появляется всего лишь один раз, и то мельком — неуловимого, бесцветного Варламова, которого все ищут, все боятся и слушаются, чеховская «Степь» могла бы стать гимном, песней воспоминаний раннего детства. Но присутствие Варламова, постоянно снующего повсюду и «кружащегося» над всеми, делает понятным, откуда берутся лишние люди, откуда идут тоскливые песни женщин, откуда эта бледность на лице у мальчика Тита, откуда вся эта подавленность, заставляющая силача Дымова безнадежно повторять «скушно мне!». Все как бы проникнуто муками тяжелых родов, не дошедших еще до благополучного разрешения, все как будто предвещает бурю. Но если гроза и разразилась (в рассказе описывается страшный разгул стихий), чувствуешь, однако, что это еще не та буря, что должна прийти другая, которая разорвет сковы-

вающие цепи и освободит из тисков грудь, так больно стонущую: «скушно мне!».

...Да, существовала такая чеховская степь. Чехов не дождался освободительной бури. Она пришла лишь тринадцать лет спустя после смерти певца степи.

Мне привелось видеть степь уже после бури, много лет спустя. Вот об этом-то мне и хочется рассказать.

* * *

В 1954 году, полвека спустя после кончины Чехова, в знойные июльские дни мне привелось побывать в степи, побродить по его следам. Блуждая по дорогам северного Приазовья, между Доном и Волгой, по тем же дорогам, по которым ездил и он в юности, я часто думал о том, что произошло после него и что еще произойдет в будущем. Вспомнилась, конечно, и его «Степь», и я невольно стал сопоставлять картину, описанную им, с окружавшей меня действительностью.

Передо мной были те же безграничные просторы и длинные, даже тогда, когда едешь по ним на автомашине, невообразимо длинные дороги. Все вокруг было под стать сказочным исполинам. Между разбросанными на огромных расстояниях друг от друга селами тянулись обширные нивы с убранным уже урожаем, и только кое-где дозревала кукуруза да подсолнух. Ни одной необработанной полосы. Все это уже никак не соответствовало образу степи, созданному в чеховской повести, — дикой, неоседланной человеком природы. Солнце, однако, жгло так же сильно, жара стояла такая же нестерпимая. То же однообразие, которому ни кузнечики, ни стрекозы, ни редкая, хлопотливо пролетающая или реющая в выси, высматривая добычу, птица не придавали очарования.

Должно быть, степь, подумал я, раскрывает обаяние только своим сынам, и мне вспомнилась разнообразная красота Западных гор Румынии. Мои глаза жадно искали колодец с журавлем, размахивающую крыльями ветряную мельницу, но ничто, казалось, не торопилось нарушить окружающего однообразия. Изредка мы проезжали через села и снова утопали в беспредельном однообразии скошенных полей.

Но вдруг вдали, на горизонте, показалось что-то вроде ветряной мельницы, размахивающей огромными ручищами в дрожащем воздухе. Нет, это не ветряная мельница, преследовавшая и во сне чеховского Егорушку. Металлический робот, танцующий с вытянутыми вверх руками посреди степи, с упоением разбрасывал далеко вокруг серебристые струи воды, переливающиеся на солнце радужные веера благодатной дождевой пыли. Еще дальше его сосед и товарищ — другой робот — выполнял то же дело, и от этого торопливого размахивания создавалось впечатление, будто они напряженно соревнуются друг с другом. С торжествующим свистом вырывалась вода, с рокотом падала она на широкие листья капусты, свеклы, на зеленое кружево томатных стеблей, на тянущиеся вверх пики луковых гряд.

И как-то сразу чеховская степь начала раскрывать передо мной свое обаяние, ту новую прелесть, о которой ничего не сказано ни у Гоголя, ни у автора, именем которого я назвал ее, ни у Горького, — совершенно новую, невиданную в прошлом красоту. Как же это я не заметил ее с самого начала, ведь все это было перед моими глазами? Наверно, я смотрел сквозь забрало прошлых представлений, и взор искал под раскаленным небом, пересекаемым ястребиным полетом да стаями крикливых ворон, необгонимую тройку, ветряные мельницы, буйно растущие дикие травы, крадущихся в их гуще животных.

И вот дождевой робот раскрыл мне глаза. Через степь тянутся толстые провода высоковольтной линии электропередачи. Там, дальше, где-то

у горизонта, по степи идут мощные тракторы, возделывающие обширные нивы. Какая, должно быть, была здесь красота, когда месяц назад нахлынули на уборку и обмолот урожая комбайны, когда степь, содрогаясь под их тяжестью, покорно сдала им золото своих колосьев.

Как я жалею, что так мало разбираюсь в технике и потому, быть может, не сумею полностью оценить твоего нынешнего обаяния, твоей новой красоты, которой тебя, степь, так щедро одарил советский человек, заставив раскрыть перед ним свои тайны! Какую восторженную хвалебную песнь вознес бы тебе, трактор, Гоголь наших дней, хотя твои гусеницы и не отрываются от земли, подобно копытам коней изумительной тройки. Быть может, стук моторов и гул грузовиков, на которых возвращаются после работы колхозники, не так нежны, как звон бубенцов барской брички, но, сомнения нет, в них больше человечности. И уж во всяком случае, гораздо изумительнее птицы-тройки ТУ-104 или то гигантское металлическое создание, свободно парящее сейчас надо мной в тех высотах, куда раньше осмеливались подниматься только облака да выдуманные народной фантазией крылатые чудовища-змеи.

Что и говорить, мало, очень мало осталось от прежней дедовской степи Гоголя или Чехова; почти ничего. Нет Чичикова, бесследно исчез и Варламов. Старая русская целина была поднята и освоена, урожайность неизмеримо возросла, и машины работают вместо человека. Для того, чтобы все это стало возможным, нужна была советская власть плюс электрификация. Они пришли и исчезли, приобретатель мертвых душ Чичиков и грозный хозяин — без дворянских грамот, но с туго набитой мошной, — нажившийся на чужом труде Варламов. А ведь еще Гоголь и Чехов пальцем указали на тех, кто должен был исчезнуть.

И все же я не считаю, что вместе с Чичиковым и Варламовым исчезла старая поэзия степи. Ведь ни тот, ни другой не любили ее, оба они были ее врагами.

Сколько лет прошло с тех пор, как Чехов написал свою повесть? Семьдесят. Со времени Октябрьской революции — сорок. Менее полувека. За эти годы неузнаваемо изменился облик степи, изменились сердце и сознание ее жителей, старая Русь превратилась в Советский Союз, а история человечества пошла по новому руслу, отстранив от власти варламовых.

Чего только не пережила степь за это время: революцию 1905 года, первую мировую войну 1914 года, Великую революцию 1917 года, иностранную интервенцию, сейчас же после торжества революции, и затем, в 1941 году, вторую мировую войну. Ни одного продолжительного перерыва, хотя бы в два десятка лет. Революцию свершил народ, и тот же народ вынес на своих плечах навязанные ему войны. Народ вышел победителем и в войнах.

Несмотря на тяжелые времена, прокатившиеся над нею, степь расцвела пышнее, чем когда-либо. Ее неутолимую жажду жизни стал, наконец, удовлетворять человек. И теперь, перечитывая чеховское описание, приходишь в изумление перед новой красотой степи. Раньше все как будто было под волшебным светом луны, сегодня все находится под ярким сиянием солнца.

«Едешь, — пишет Чехов, — час-другой... Попадается на пути молчаливый старик-курган, или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда, бесшумно пролетит над землею ночная птица, и мало-помалу на память приходят степные легенды, рассказы встречных, сказки няньки-степнячки и все то, что сам сумел увидеть и постичь душою. И тогда в трескотне насекомых, в подозрительных фигурах и курганах, в голубом небе, в лунном свете, в полете ночной птицы, во всем, что видишь и слышишь, начинают чудиться торжество красоты, молодость, расцвет сил

и страстная жажда жизни; душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью вместе с ночной птицей. И в торжестве красоты, в излишке счастья чувствуешь напряжение и тоску, как будто степь сознает, что она одинока, что богатство ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые и никому не нужные, и сквозь радостный гул слышишь ее тоскливый, безнадежный призыв: певца! певца!»

Ленин и русский народ рабочих, солдат и крестьян пробудили и вырвали из зачарования прежний мир.

Пришли новые певцы, но уже не с заунывной, а с новой песней, проникнутой восторгом смелости, героизма, песней счастливого сознания свободной жизни. А чеховские люди, чувствовавшие себя затерянными в степной глуши и лишними в жизни, стали Корчагиными, Давыдовыми и многими-многими другими, имена которых не появляются на страницах книг. Это — герои революции, гражданской войны, энтузиасты и смельчаки, прокладывающие новые пути, участвующие в социалистическом строительстве трактористы, шахтеры, колхозники, и они же герои, бойцы и партизаны, и снова строители, теперь уже коммунизма. Все их дела, вся их борьба, с неудачами и победами, за то, чтобы не было больше на свете лишних людей, вписаны не только в страницы книг, но и легли в степной чернозем кровью, костьми, бессмертными подвигами, о которых рассказывает ветер, когда он гуляет по обширным полям, сибирские леса, охваченные трепетом новой жизни, бурлящие воды у плотин на Днепре, на Дону, на Волге, на Ангаре... Во все эти голоса земли, вод, ветра вслушивается советский человек, и его сердце начинает биться чаще, и, быть может, в голове его проносится мысль: вот теперь бы прийти Гоголю и спросить: «Страна Советская, куда же несешься ты?» И тогда народ ответил бы спокойно и уверенно: «К коммунизму и к миру народов».

...Пространство между Доном и Волгой, когда едешь по каналу, который теперь связывает эти две реки в единую водную систему, противоречит определению степи, данному в старых словарях. Рука человека, его машины превратили эти дикие места в огромный сад, засушливые земли — в плодородный край. И все это создано в тех самых местах, где еще недавно шли грозные бои против гитлеровских захватчиков, создано в невиданно короткий срок и в то самое время, когда империалисты мечтают превратить все социалистические страны в пустыни.

В преображенной сейчас чеховской степи есть силы, могущие обуздать всех врагов человечества. Несущиеся в атаку всадники, изображенные на фронтоне одного из шлюзов Волго-Донского канала, являются как бы символом мощи тех великанов, которые построили шагающие экскаваторы, заводы и фабрики, электростанции, работающие на благо человека и готовые в любую минуту стать на защиту его жизни и его богатств, если кому-нибудь вздумается напасть на него.

Нет, однако, людей более славных, более добродушных, более честных и миролюбивых, чем эти сыны степей, эти великаны наших дней. Их тоже зовут Вася, Коля, Сережа, Павлик, Саша, Кирюха, Пантелей, Фима или Антоша, как и во времена Чехова. Это внуки тех людей, о которых рассказывал писатель. Только внук чабана окончил Московский университет и является специалистом по китайскому языку, внук подводчика работает инженером на лесозащитной станции, другой — профессор-специалист по атомной энергии, третий представляет страну в качестве посла в одной из западных стран и так далее.

И это не выдумки. Сопровождавшая нас красивая, статная, всегда веселая девушка Зина имеет диплом инженера. Она дочь скромных, простых людей; отец ее погиб на войне в боях против гитлеровцев, две сестры ее были заколоты немцами, да и она сама воевала на фронте. Дру-

гой наш спутник, Саша, с раннего детства остался без родителей, пастушил, теперь он также получил высшее образование и стал специалистом-китаеведом.

А что делает сегодня Егорушка? Быть может, я видел его в Крыму, на берегу Черного моря, среди тех пионеров, что отдыхают в Артеке. Возможно, что он вместе со своими товарищами из Грузии и с маленьким гостем из Монголии соревновался в исполнении народных песен перед микрофоном или же готовился идти удить рыбу. А может быть, он был послан вместе с другими пятьюдесятью пионерами сопровождать знамя в Севастополь, где через несколько дней должны были состояться празднества в честь Дня военно-морского флота. Или, быть может, я видел его, когда возвращался от Марии Павловны, любящей и преданной сестры А. П. Чехова, которая всю свою жизнь была добрым гением дома писателя, его сада вблизи Ялты с оливковыми и кипарисовыми деревьями, которые он заботливо сажал своими руками. Или я встретил его в Таганроге на замечательной детской железной дороге. Сколько раз в детстве мы увлекались мечтой, что у нас будет своя собственная железная дорога, которая пройдет по долине Дезны от Себеша до Монясы! Мы намечали трассу, мосты, станции, устанавливали расписание движения поездов и даже стоимость билетов. Мы, дети, распределяли между собой обязанности кондукторов, начальников станций, машинистов. Я помню, моим желанием всегда было стать кочегаром. Неделями мы отдавались этой мечте, пока эта игра не надоедала и мы не возвращались снова к игре «в войну» между «белой гвардией» и «красной гвардией». Ведь дело было в 1918—1919 годы.

Нашу мечту о железной дороге я видел осуществленной во многих городах Советского Союза, но нигде мои детские воспоминания не всколыхнулись с такой силой, как в Таганроге, там, где был дом, в котором родился Чехов, и школа, в которой он учился. Как знать? Ведь именно Чехов сказал, что в детстве у него не было детства.

Я посетил школу, в которой учился Антоша Чехов. Было время летних каникул, и детей в школе не было. Быть может, в это время они путешествовали по Волго-Донскому каналу. Нас встретили двое преподавателей, которые как раз заканчивали организацию школьного чеховского музея. Наши лица просияли от радости, когда оказалось, что оба они, будучи во время войны офицерами Советской Армии, воевали в Румынии. Один из них пробыл некоторое время в Констанце и в Бухаресте. «Я воевал под Турдой, за Клуж,— сказал мне другой.— Тяжелый был бой!» Затем, согнав с лица тень, навеянную на минуту мрачными воспоминаниями о войне, добавил: «Очень хотелось бы мне видеть снова все эти места. Интересно посмотреть, как они выглядят при народной власти, как строят у вас социализм».

И вдруг мысли перенеслись на мою родину. Оба эти сына Таганрога и столько других из Сибири, Урала, Кавказа, Украины или Москвы, многие из которых пали в боях под Карпатами, в Молдове, у Олта, Муреша или Криша, сражались бок о бок с румынскими солдатами, скрепили братскую дружбу между нашими народами совместно, героически пролитой кровью в боях за общее дело освобождения от фашизма и всякой эксплуатации. «Милости просим, приезжайте и увидите, — сказал я им.— Вам знакомо гостеприимство нашего народа, и вы для нас больше чем гости, иногда даже больше чем кровные братья».

Они пока еще не приехали. Но тот, кому знакома Констанца, вероятно узнал из газет, что сельское хозяйство этой области полностью коллективизировано и в этом, особенно щедром, году крестьяне собрали богатый урожай.

Тот, который воевал под Клужем, вызвал в моей памяти воспомина-

ния — должно быть, они жили и в нем, — которые навлекли на минуту на эту встречу тяжелую тень, как от черной тучи в степи. Перебрал я их в памяти уже после того, как мы расстались, по дороге из Таганрога в Ростов, когда наша машина ехала между выжженными зноем нивами.

* * *

Это было 27 июля 1954 года. Все думы мои в тот день ушли на десять лет назад. Зимой 1944 года я ехал тоже на машине из Турды в Клуж почти сразу же после того, как там закончились бои. Мороз был довольно сильный, небо серое, хлесткий ветер вздымал снежные вихри. Поля были покрыты разбитыми танками, орудиями с поднятыми вверх стволами, напоминавшими воющих собак, и пулеметами с поникшими к земле дулами, патронными ящиками и т. д. Земля была так изрыта снарядами, как будто по ней прошло стадо чудовищного роста кабанов. То тут, то там валялись каска, шинель, штык, фляжка... По дороге время от времени встречались конвои с пленными гитлеровцами и хортистами в изорванном обмундировании, с посиневшими от холода лицами, едва видными из-под надвинутых на уши фуражек. Шли они медленно, измученные боями, утомленные войной, и все-таки с лучом радости в усталых глазах, радости, что вышли живыми из-под огненного вала, который катился все дальше и дальше к границам Венгрии и горам Чехословакии.

Теперь на месте этих битв, как и по всей Румынии, совсем другая картина. Здесь идет социалистическая стройка, и румынские поля начинают походить на преображенную чеховскую степь, по которой гуляют тракторы и на которой ведут хозяйство свободные люди.

Не так давно мне привелось видеть в Бэрэгане — нашей румынской степи — на полях одного из государственных земледельческих хозяйств комбайн, выпущенный Таганрогским заводом.

Для того чтобы создать новый облик Румынии, на полях которой теперь хлопотливо снуют тракторы и комбайны, управляемые свободными людьми, к ним на помощь пришли и сыны чеховской степи.

Тот, кто путешествует по дорогам Румынии, часто встречает на зеленом косогоре или на ровной долине, на краю села или города кладбища с тесными рядами могил, над которыми высятся белые памятники с красной звездой наверху и с высеченными на мраморе русскими именами. Белые плиты, как выстроившиеся батальоны, будто стоят на страже. Они стоят, чтобы никогда больше не повторилось то, что пережили они. Они стоят для того, чтобы на земле был мир, чтобы обильно росли посевы, плодоносили сады и виноградники.

В новом расцвете степных просторов, огромных пространств Сибири, рисовых полей Китая, венгерской пусты, зеленых долин Чехословакии и Польши, садов и огородов Болгарии, в расцвете всех стран, судьба которых в корне изменилась со времени поражения фашизма, бесспорна также и заслуга Чехова. Ведь это он показал нам, что степь не сможет удовлетворить свою жажду жизни до тех пор, пока не перестанет кружиться над нею хищная птица.

Солнце прекрасней, когда под ним не кружатся коршуны, тень которых черными крестами ложится на землю, принадлежащую людям, жаждущим мирной жизни. За четыре десятка лет, истекших с Октября 1917 года, этой истиной прониклись многие народы, и многие из них уже успели добиться победы, другие идут к победе по верному пути этой истины.

Станислав Выгодский

НА ВОКЗАЛЕ

Перевод с польского Р. Меркиной

Недавно я вернулся из города Р., где провел несколько дней, знакомясь по документам и книгам с историей этого города и его окрестностей. Р. — промышленный центр, расположенный в сельскохозяйственном районе. Здесь возникают новые заводы, они со временем изменят лицо района и превратят его в индустриальный.

Я провел в городе несколько дней, но проделанная работа не удовлетворила меня. Все как-то расползалось в голове, и я никак не мог сосредоточиться. Я обвинял в этом то жару, то местные условия: плохую гостиницу, всю пропитанную запахами кухни, отсутствие воды. По дороге из гостиницы в городскую библиотеку, которая находилась в старом, холодном и мрачном доме, приходилось глотать сухую, жаркую пыль.

Идя по улице, я то и дело поглядывал на аляповатый и безвкусный фасад вокзала. Здание было довольно внушительным, но терялось среди окружающих пустырей. Домов вблизи почти не было, и от вокзала до самого горизонта тянулись поля. Глядя на редкие строения, трудно было поверить, что это большая станция на одной из наиболее оживленных железнодорожных магистралей страны.

— На кой черт, — думал я, — понадобился здесь такой великолепный вокзал? Кто сюда приезжал, и куда ездили жители этих мест?

Я не знал, как давно было построено здание вокзала, но из материалов, предоставленных мне влюбленным в свой город библиотекарем, следовало, что до войны из ближних и дальних окрестных деревень несколько тысяч безработных крестьян ежегодно уезжали отсюда в поисках работы и хлеба. Люди, изучавшие этот район, приводили цифры и статистические сводки, а наиболее дотошные даже подсчитали, какой процент уехавших нашли работу на родине.

Одно обстоятельство поразило меня, когда я знакомился с этими материалами. Как могло получиться, что в годы усиленной эмиграции деревенский люд все же находил работу в отечественной промышленности? Ведь именно тогда шахтеры и металлурги индустриального Домбровского бассейна и Силезии эмигрировали во Францию, Бельгию, Германию. Мысль об этом не давала мне покоя, но я тщетно искал решения загадки.

Библиотекарь тоже не мог дать ответа на мучивший меня вопрос. В городском партийном комитете только указали источники, доставившие мне немало хлопот. Короче говоря прошлое никого не интересовало, а эмиграция из деревни была для всех уже далеким прошлым. Весь ужас ее стал сейчас чем-то туманным.

Однажды вечером я отправился к слушателям партийной школы в надежде, что молодые активисты смогут мне объяснить некоторые явления из истории их района. Но они даже не поняли, чего я от них хочу.

— Прошлое? — спрашивали они, разводя руками. — Прошлое? Вы имеете в виду 1944 год?

Тогда я спросил:

— Нет ли у кого-либо из вас родственников или близких за границей? Может быть, кто-нибудь из них уехал в поисках работы?

— Да, — ответили мне, — такие есть. Вот он вам скажет.

И они указали на молодого человека лет двадцати восьми — тридцати. Он готовил чай возле столика, на котором шипел электрический чайник. Я заметил, что он заваривает чай одной рукой, вторая неподвижно свисала вдоль тела. Несмотря на это, молодой человек прекрасно справлялся со своим делом.

— Быть может, вы мне расскажете что-нибудь об эмиграции, товарищ?

Он смущенно улыбнулся и сказал:

— О чем же рассказывать? Чтобы людям не пришлось больше эмигрировать, я, — он остановился и высоко поднял здоровой рукой парализованную, — для этого я бил гитлеровцев, а затем и остатки нашей отечественной реакции. Вот и все.

По пути на вокзал я мысленно приводил в порядок свои записи и наблюдения. Только теперь я понял причину моей неудовлетворенности проделанной работой. Размышляя над будущей статьей, я, как всякий пишущий человек, боялся повторить ранее известные истины, опасался, что цифры и статистические выкладки не помогут, а сделанные на их основании выводы будут стандартными. И я злился на главного редактора и других членов редакционной коллегии за то, что они мне насильно всучили такую тему, заранее зная, что по этому вопросу ничего нового не скажешь.

«Дураков нет,— думал я.— Составлю винегрет из цифр и статистики, хватит с них, а впредь буду умнее. Такую работу можно было с успехом сделать, не выезжая из Варшавы, спокойно сидя дома, обложив себя книгами и справочниками. Разве из всего, что собрано здесь, я создал образ человека? Конечно, нет! Что мне дала беседа со слушателями партийной школы? Ровно ничего. Они произнесли несколько избитых лозунгов и опять отослали меня к статистике. Если бы о том времени рассказал человек, который сам был вынужден отправиться в дальние края, в неизвестные и чужие места,— тогда мог бы получиться настоящий очерк. Но для этого мои собеседники были слишком молоды».

Я чувствовал усталость и раздражение, как человек, впустую потративший время. Ничтожные результаты можно было предвидеть заранее. Зачем я взялся за этот труд? В будущем я решил быть тверже.

Поезд уходил после полуночи, но я предпочел провести оставшееся время на вокзале, а не в моей скверной гостинице. Однако ожидание поезда тоже было малоприятным. Все складывалось против меня. Я оказался простаком. Теперь не только задание, но и расписание поездов мучает меня.

Я прогуливался по ярко освещенному перрону, садился, опять вставал и нетерпеливо ходил из угла в угол, злой и раздраженный. Было жарко и душно. До поезда еще оставалось много времени, ожидающих, кроме меня, пока никого не было.

Чтобы развлечься, я вышел на привокзальную площадь. Девушка, недавно продававшая с лотка спелые помидоры, уходила, забирая с собой корзины с оставшимся товаром. Ей помогал подвыпивший мужчина — ее отец, муж, брат или возлюбленный.

Как описать сонный вокзал в городе, достаточно большом, чтобы стать воеводским центром, но достаточно малом, чтобы в десять часов вечера на его улицах не было прохожих, затихали шум и движение? Как описать такую ночь, ее краски, свое настроение, сонливость и утомление? Далекий заводской гул, свет, мерцающий во мраке, запахи близлежащих полей и одинокий свисток маневрового паровоза, раздирающий ночь до самой глубины черного неба...

В узком проходе пустынной улицы появился одинокий прохожий. Он вышел из мрака на освещенную площадь. Человек шагал медленно, очень медленно. Он остановился на углу в колеблющемся свете фонаря... Кто этот человек, откуда он идет, куда направляется? Быть может, у него нет дома, и он блуждает, затерянный среди ночи, несчастный? А может, остался без работы, голоден? Сейчас придет на станцию, подойдет к железнодорожной линии, украдкой переберется на другую сторону насыпи, притаится во мраке, чтобы прыгнуть в проносящийся поезд. Спрятавшись в угол купе, он молча закурит и, полный страха, будет бодрствовать, прислушиваться, высматривать, с бьющимся сердцем поджидая рассвета. За стеклами вагона встанет сизый, хмурый день; над речкой, затерянной среди болот, поднимется бледный туман и окутает деревья с мохнатыми, густыми верхушками, словно отрезанными от пня и плывущими над землей.

Прохожий закурил папиросу и пошел к соседнему, темному, как будто мертвому, дому. В сгущавшемся мраке еще мрачнее казалась подворотня, поглотившая незнакомца. Я потерял его из виду, только чувствовал, как он осторожно и медленно ступает в темноте. Вот он исчез.

Прошло довольно много времени, я уже успел забыть о нем, когда он вновь появился. В трех окнах мрачной стены дома одновременно загорелся свет. Окна были открыты, и до меня донесся треск выключателя. В тишину ночи проникли первые, чуть слышные звуки музыки, постепенно усиливаясь. Прозвучала тихая мелодия, которую кто-то невидимый слегка приглушил. В открытом окне показался тот самый человек, которого я мысленно лишил крова. Он толкнул дверь балкона и облокотился на перила, его темный силуэт четко выделялся в освещенном прямоугольнике двери.

Я вернулся на перрон. Начали прибывать пассажиры. Некоторые останавливались в зале ожидания, выпивали у стойки пиво, затем выходили на перрон и всматривались вдаль, откуда должен был прибыть поезд. На линии маневрировали паровозы. Они то внезапно исчезали за невидимым поворотом, то столь же внезапно появлялись вновь с другой стороны, блеснув ярким светом. Близилась полночь.

Усталый и сонный, я от нечего делать наблюдал за людьми. Я сидел на скамейке, недалеко от освещенного окна, через которое была видна часть вокзального буфета. Женщина за стойкой быстро и ловко продавала булки с колбасой, пиво, конфеты. Мне казалось, что в такое позднее время она непременно должна быть грубой, резкой, медлительной. Между тем буфетчица так приветливо отпускала покупателей, словно хорошенько выспалась и только начинала свой рабочий день. К окошку подошли три девушки, купили булки и, громко смеясь, отошли. Они поискали скамейку, но обошли мою и сели подальше. Следя за ними, я вдруг заметил юношу.

Хотя эта ночь наступила после обычного рабочего дня, на нем был темный, праздничный костюм из толстого, мохнатого сукна. Проще всего узнать праздничную одежду. Она не измята и, находясь всегда в шкафу, сохраняет первоначальный вид. Малоношеная, она еще не успела принять очертания фигуры, придающие костюму какие-то индивидуальные черты, при которых одежда перестает быть новой.

Было уже поздно, но воздух над городом и вокзалом оставался душным и тяжелым от жары. Юноша стоял на перроне в своем наглухо застегнутом костюме. На ногах у него были грубые, подбитые гвоздями, поношенные башмаки, в жаркое время причинявшие, вероятно, их владельцу немало страданий. Башмаки были тщательно вычищены. Юноша держал в руке фанерный ящичек необычного вида, не похожий на сундучок новобранца или эмигранта. Ящичек был такой плоский, что вряд ли в нем поместились бы инструменты мастерового,— он скорее напоминал портфель, но разве бывают портфели фанерные?

Мальчику было лет тринадцать. Я почувствовал смутное беспокойство. Что он делает один, в такой поздний час, на вокзале? Куда он собрался? Почему один? Как ему разрешили в такое позднее время выйти из дому? Может быть, у него нет ни дома, ни родных? Нет, это не так: судя по костюму, кто-то заботится о нем, опекает его.

Путник остановился возле освещенного окна и заглянул в буфет. Он стоял так некоторое время, не спуская глаз с выставленных за стеклом вкусных вещей. Я наблюдал за ним, и мне показалось, что мальчик нахмурил брови. Это придало его лицу страдальческое выражение. В ту же минуту я мысленно увидел его взрослым, стоящим перед витриной с едой, с закусками, которых он, безработный, бездомный, нищий, не может купить. Усталый, он ждет поезда. Займет место в темном купе и, положив на колени все свое имущество, умещающееся в плоском деревянном ящичке, заснет беспокойным, тяжелым сном. Вот он покидает родной город, привычные места, любимых людей. У них не хватило сил проводить его на вокзал и в последний раз попрощаться с ним. На долгий ли срок?

Мальчик стоял в ярком свете вокзального буфета, я видел его лицо, его хрупкую фигурку, и сердце мое внезапно сжалось. Борясь с дурным предчувствием, я медленно поднялся. Мне не хотелось, чтобы мои тяжкие мысли и необоснованные предположения оправдались.

— Тебе хочется есть?

Юноша удивленно посмотрел на меня и крепче прижал к себе сундучок. В его взгляде я прочел подозрительность и даже испуг.

— У тебя нет денег?

Он отрицательно покачал головой, затем переложил ящичек из одной руки в другую и украдкой оглянулся по сторонам, ища удобного прохода между мной и скамьей.

— Я дам тебе взаймы денег.

— У меня есть еда. — Юноша пожал плечами, словно не понимая того, что происходит.

— Я подумал, что у тебя нет, и...

— Есть, — прервал мальчик. Было совершенно ясно, что он хочет уйти. Я спросил:

— А что ты здесь делаешь так поздно? Куда едешь?

— В Сендзишув.

— В Сендзишув? Это далеко. А почему ты едешь один?

— Это совсем недалеко. Утром буду на месте.

— Но почему ты один? Сколько тебе лет?

— Четырнадцать.

— И дома тебе разрешают разъезжать одному?

— Я не разъезжаю. У меня завтра экзамен в Сендзишуве. И я завтра же вернусь.

— Ах, вот что!

Мне стало стыдно. Стыдно своих домыслов, своего воображения, своих досужих мыслей об одиноких четырнадцатилетних путешественниках. Черт возьми, для тридцатилетних мужчин моей страны прошлое кончается осенью 1944 года, а я, десять лет спустя, еще живу в далекой эпохе, когда юный путник обязательно был эмигрантом, голодным, бездомным...

Мальчик не спускал с меня глаз, не зная, как вести себя.

— А что это за экзамен? — спросил я его.

— Думаю поступить в художественную школу.

— В какую?

— Хочу стать художником.

И это его я посадил в своем воображении в темный вагон и заставил ехать далеко, в чужие страны, в поисках хлеба! Его я лишал дома, семьи только потому, что отсюда, с этого самого вокзала, тысячи молодых людей, таких, как он, какими были его родители, уезжали когда-то в разные Канады, Аргентины, Бразилии!

«Дурак, дурак, — мысленно ругал я себя. — Кто ты такой? Фантазер или легкомысленный глупец, теряющий время на шумных вокзалах и перепутавший эпохи?» И я обрадовался, словно в душе моей рухнула нелепая постройка, полная горьких предчувствий, беспокойных предположений.

— Почему ты решил быть художником?

— Я уже пишу картины, учусь.

— Вот как?

— Могу вам показать.

Мы подошли к скамейке, на которой я недавно сидел. Она была свободна. Мимо нас прошли три смеющиеся девушки и заглянули через плечо в плоский сундучок, открытый мальчиком. Внутри лежали аккуратно сложенные листы бумаги.

Мир юного художника составляли пейзажи, лишь изредка населенные людьми. Преобладали небольшие домики с низкой оградой, за которой из буйной зелени выглядывали яркие цветы. Вдали также виднелись домики среди полей, бегущих к горизонту. Это были очень странные поля. Они отходили от переднего плана волнистыми, плавными полосами, и каждая полоса была другого цвета Не поля, не нивы, а пестрые ковры, стелющиеся по холмам и долинам, простирающиеся к небосклону, где раскинулась широкая лазурь с одной-единственной, высоко приколотой белой розой облака. Как очарованный, смотрел я на это творение, созданное из красок и линий четырнадцатилетним мальчиком. На фоне пейзажа, среди деревьев, покрытых зеленой листвой, под небом, тяжелым от туч, предвещающих грозу, стоял домик. Где-то далеко, там, где тень от мрачных туч закрывала горизонт, петляла узенькая золотистая тропинка — блестящая змейка, то и дело выбегающая из высоких хлебов, еще неподвижных, пока на них не опустится сильная и сверкающая сеть дождя. В глубине — еще несколько изб, совсем разных. Никогда я не видел таких цветов. Мальчик придавал миру новую окраску. Среди домов поднималась к небу башня маленького костела, прямая, как стрела, прорезающая своей чернотой небо.

— Еще? — спросил юный художник.

— Да.

На другом пейзаже не было домиков. Среди полей, отдыхающих в солнечном блеске, стояло маленькое белое строеньице, прижавшись к столбу с раздвинутыми руками семафора. В тени столба поблескивали

рельсы, доступ к которым был закрыт шлагбаумом, словно перед приходом поезда. Полустанок тонул в ярком солнце.

— Это моя деревня, — пояснил мальчик.

— Ты разве из деревни?

— А как же? Разве этого не видно по моим картинам? Я пишу только деревню.

— Где же ты видел такие деревни? — спросил я с изумлением. — Такие красочные деревни?

Мне хотелось услышать его ответ, но в то же время, не дав ему сказать ни слова, я вновь спросил:

— Если в твоей деревне есть станция, то зачем тебе было ехать сюда?

Он посмотрел на меня, как ребенок, желающий удостовериться, что взрослые не заберут у него любимую игрушку.

— У нас еще нет станции.

— Нет? — переспросил я.

— Пока нет, но ведь будет...

— Да, будет, — подтвердил я.

Мойси Залошния

Военный билет

Перевод с албанского Е. Покрамович

Позднее, чем всегда, возвращался Шачо Бендуа с поля. Лошадь была в пене, рыжеватая шерсть ее потемнела от пота. Шатир ласково провел рукой по крупу лошади, потрепал ее по шее и сказал, как бы не сомневаясь в том, что она поймет его:

— Вперед, рыжий... Кончились наши труды, отсеялись...

На дороге Шачо увидел земляка.

— Поздравляю! — крикнул земляк, догоняя Шачо. — Закончил сев?

— И тебя поздравляю, — откликнулся Шачо. — Теперь можно и отдохнуть.

— Что́ я... Ты каждый год первым кончаешь сев. Может, по этому случаю стоит выпить?

— Уж очень устал я... — ответил Шачо, — докурю сигарету и домой. Доброй ночи!

— Доброй ночи... Шачо! — вдруг крикнул земляк, уже отъехав. — Почтальона из Чороводы видел?

— Не видел. А что?

— Тебе письмо.

— Ты не спросил, откуда?

— Нет. — И он исчез в темноте.

«Наверно, от сына из армии, от Эчреми. Уж месяц от него не было вестей», — подумал Шачо и обрадовался.

Он едва двигался, от усталости у него подгибались ноги.

Запах распускающихся цветов, почек, чудесный майский вечер возвращал ему силы. Он почувствовал себя, как в годы молодости, сильным и крепким. «Все идет как надо, с севом кончили, хорошо поработали, и письмо пришло от сына», — с такими мыслями Шачо переступил порог дома и спросил жену:

— Где письмо, которое принес почтальон?

— На очаге, около дымохода, — ответила Хатиджея.

Шачо взял письмо, захватил с собой светильник и вышел читать на крыльцо. Там было прохладнее.

— Поздравляю с хлебом, — сказала Хатиджея. — Теперь только бы сын наш вернулся здоровым.

Шачо молчал.

«Кто знает, о чем он думает...» — подумала Хатиджея и спросила:

— Уж не случилось ли чего с сыном?

— Нет, нет, — ответил Шачо. Он снова взялся за письмо, развернул, поднес к светильнику и принялся его читать, хмуря брови.

— Что там в письме? Почему ты молчишь? — встревоженно воскликнула Хатиджея.

— Письмо из Чоровод, — сказал наконец Шачо. — Требуют, чтобы я в течение десяти дней явился в военный отдел и сдал военный билет. Людей моего возраста снимают с учета.

— Из-за этого ты так встревожился? — удивилась жена, но он не ответил.

Когда вернулся с поля младший сын, Сефери, Шачо сказал ему:

— Возьми это письмо, Сефери, и прочти мне все, что там напечатано на машинке.

Сефери взял письмо из рук отца и стал внимательно читать, не пропуская ни одного слова.

— Читай еще раз, вот здесь! — сказал опять Шачо, показывая пальцем, откуда надо было начинать.

Хатиджея, заметив, что письмо огорчило мужа, спросила:

— Что это значит? Разве плохо, когда человека вычеркивают из списка?

Шачо усмехнулся.

— Что значит, что значит... Снимают с учета, вот и все.

Сефери, смуглый, кудрявый пятнадцатилетний парень, громко засмеялся:

— Может быть, когда по возрасту человека снимают с учета, это значит, что он уже вообще никуда не годится?

Шачо с сожалением посмотрел на сына.

— Так будет когда-нибудь и с тобой, сынок!

Хатиджея, поймав усмешку на лице мужа, немного успокоилась, но теперь ее снова охватила тревога. Она не могла понять, почему письмо было так неприятно мужу. Не замечая, что делает, она сняла с головы платок, встряхнула его и снова повязала. Потом сказала сыну:

— Молчи, тебя не спрашивают! Верно, это не к добру, когда снимают с учета!

«Неужели опять беда! — думала Хатиджея. — Сколько пережито за эти годы! Муж ушел в партизаны. Зимой сгорел дом, она осталась одна под открытым небом. Хорошо, что помогла община, позаботилась о семье. После освобождения партия и правительство дали им землю, помогли построить дом, дали пособие».

— Все, что у нас есть, — думала вслух Хатиджея — все дали нам партия и правительство. Мы перед ними в долгу.

Ее мысли снова вернулись к сыну, ушедшему добровольцем в армию, и к мужу, который прежде был выбран во фронтовой совет, а теперь — в местный.

Откуда пришла к ним беда?

Сначала Хатиджея не хотела рассказывать о своей тревоге мужу, чтобы не причинять ему еще больших огорчений, но все-таки не удержалась.

— Глупости тебе приходят в голову, — сказал Шачо и даже засмеялся.

Сефери опять разразился смехом. В доме сразу стало веселее. Хатиджея и смеялась и сердилась.

— Конечно, стареть плохо, — сказала улыбаясь Хатиджея. — Но стоит ли об этом думать? От этого не помолодеешь. Не бойся, я тебя не оставлю. Уж если не бросила тебя молодым, не брошу и теперь, да еще с детьми.

— А как наши куры? — спросил Шачо. — Помнишь, ты хотела приготовить нам жаркое, как только кончим сев?

— Жаркое готово,— ответила Хатиджея.— Можно ужинать.

Поужинав, Хатиджея, двое младших детей и Сефери пошли ночевать в маленькую комнатку, где спали летом, а Шачо оседлал коня и отправился в ночное.

В конце мая ночи уже короткие, но для Шачо эта ночь казалась бесконечной. Он никак не мог дождаться рассвета, ворочался с боку на бок, ложился на спину, накрывался и, глядя в небо, думал: «Хорошо, если бы у меня не взяли военного билета! Как было бы хорошо, если бы правительство снимало с учета только тех, кто уже не может держать в руках оружие, а не тех, которые выходят в отставку по возрасту».

Где-то вдали раздался ружейный выстрел.

«Верно, волк подошел к стаду»,— подумал Шачо и посмотрел в сторону Бриниата, туда, где бродили стреноженные лошади. И вспомнил Шачо, как три года назад они вместе с другими партизанами окружили вблизи границы диверсантов.

«Человек не должен сам хвалить себя, — подумал Шачо. — Пусть его хвалят другие. Но в этом случае я могу похвалиться, ведь один из главарей вражеского отряда наверняка спасся бы, если бы я не попался ему на дороге». Убить? Выстрелить в голову? — была первая мысль. Нет, он не убил его; он хотел его взять живым, ранил в ногу и доставил к начальнику. И тот поцеловал Шачо за то, что Шачо захватил живым вожака диверсантов.

Прошлое встало перед глазами Шачо. «И у меня хотят взять военный билет!» — с горечью подумал он. Но тут пришла другая мысль — закон есть закон.

После долгого раздумья Шачо решил, что не могут снять с учета того, кто задержал вожака диверсантов.

Четыре дня спустя Шачо окучивал кукурузу по ту сторону Пуговы. Вместе с ним работал и его земляк Сабри.

— Сабри, — сказал Шачо, закуривая сигарету, — ты много служил в армии и лучше меня знаешь правила. Можно не сдавать военного билета и не сниматься с учета, если ты сам этого не желаешь, хотя бы пришел срок и по возрасту ты должен уходить в отставку?

— Нет, Шачо, — ответил Сабри. — Это невозможно.

Шачо с грустью покачал головой.

— Почему ты спрашиваешь? — заинтересовался Сабри.

— Я спрашиваю потому, что получил извещение.

— Если ты получил извещение, то сдай свой билет. Или тебе обидно, что тебя считают стариком?

— Нет, не это меня беспокоит. — Шачо разгладил усы тыльной стороной ладони и продолжал: — Ты член партии, Сабри, понимаешь законы лучше меня. Я полагаю так, что человек должен бороться за свою родину, пока у него в груди бьется сердце, до последнего вздоха. Мы боролись за нашу страну, когда ею владели беи и паши, тем более мы должны бороться за нее теперь, когда стали ее хозяевами. Вот твой отец, ему шестьдесят лет, он боролся наравне с молодыми. И врагу не удалось поставить его на колени!

Пока Шачо говорил, Сабри слушал, не спуская с него глаз.

— Будем надеяться, что войны никогда не будет, — сказал он. — Но, Шачо, если день войны придет, мы, конечно, подымемся все от мала до велика.

— Почему же тогда меня сняли с учета?

— Потому что вышел срок твоему возрасту. Так сказано в законе. Партия и правительство понимают в этих делах лучше, чем мы с тобой.

Шачо покачал головой, думая про себя: «Закон — законом, но все-таки следовало спросить и меня, что я думаю об этом деле. Закон не должен меня обижать».

Он решил отправиться в военный отдел в самый последний день срока. Он все еще надеялся, что, может быть, не придется возвращать военного билета, хотя Сабри не оставил ему никакой надежды.

Придется явиться в военный отдел. Однако Шачо еще сохранял надежду: начальник понимает в законах больше, чем он, Шачо; может быть, начальник найдет такой закон, который позволит не снимать Шатира Бендуа с учета.

Он поднялся чуть свет, оседлал коня и отправился в Чороводы.

— Здравствуй, товарищ Шатир, — встретил его начальник военного отдела. — Ты лучше, кажется, выглядел в партизанские годы, все-таки ты немного постарел, годы берут свое.

«Вероятно, кто-нибудь шепнул ему, что я не хочу сдавать военного билета,— решил Шачо.— Он просто шутит. Может быть, все-таки есть такой закон, в котором сказано, что человека снимают с учета не по годам, а по тому, насколько он сохранил силы, здоровье», — так он объяснил себе слова начальника.

Глядя на майора в упор, как бы желая проникнуть в его мысли, Шачо ответил:

— С тех пор прошло двенадцать лет, товарищ майор. — И как бы в отместку продолжал: — Может быть, вы думаете, что вы остались таким же, каким были когда-то? Вы тоже постарели и, может быть, больше меня.

— Это правда, я немного постарел, — ответил, усмехнувшись, начальник. — Но наши сердца не старятся.

— Если твое сердце не старится, — сказал Шачо серьезно, — почему ты снимаешь меня с учета?

Начальник подробно объяснил Шачо законы, пункт за пунктом. Потом он перевел разговор на другое, вспомнил их партизанские дни, перешел на сельские работы, заговорил о себе...

Беседа длилась довольно долго, наконец Шачо поднялся, сунул коробочку с табаком в карман и направился к двери. Он решил, что начальник совсем забыл о билете, даже и не спросил о нем.

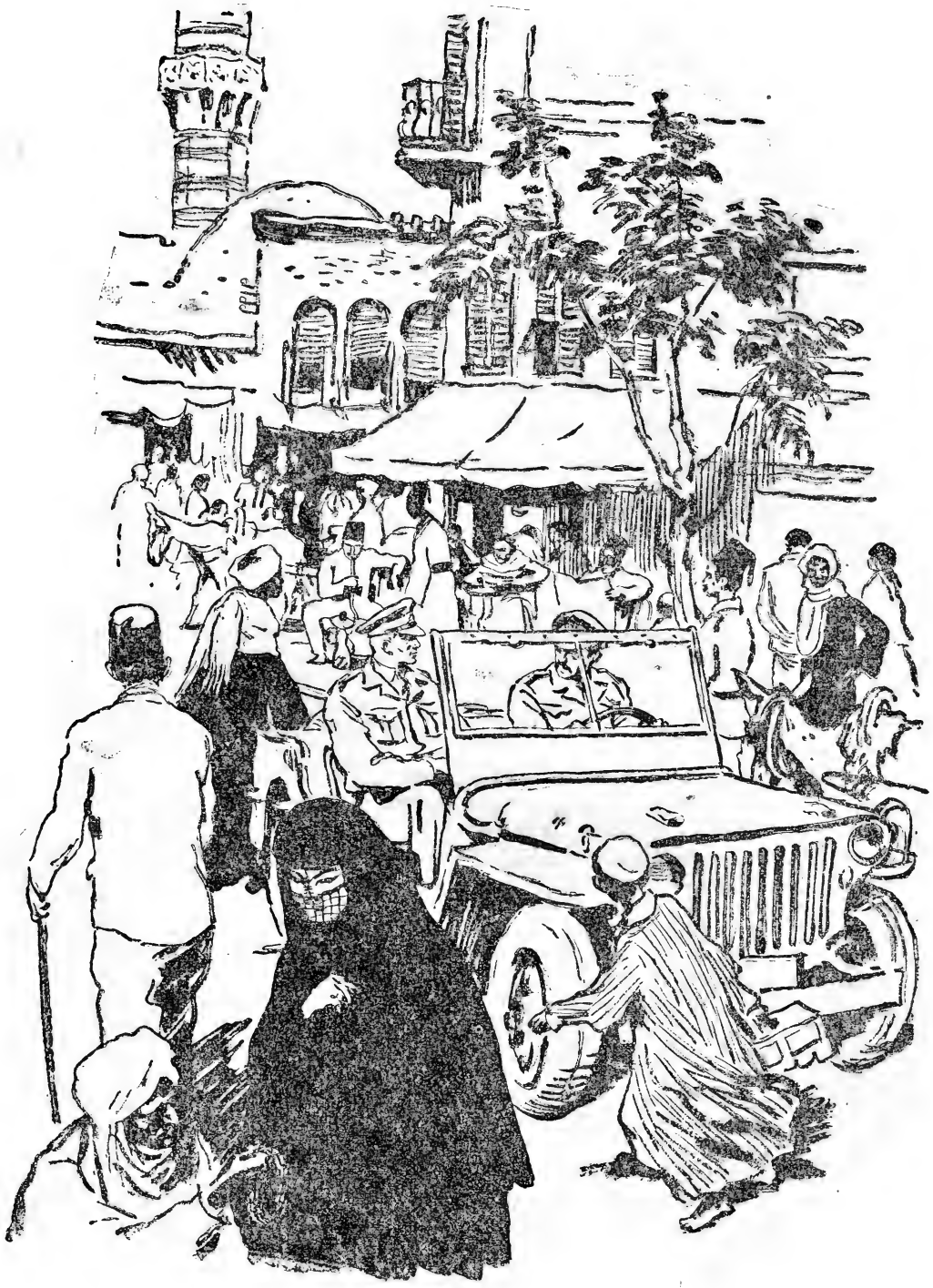
Но майор, как будто разгадав уловку Шачо, сказал:

— Товарищ Шатир, мне кажется, ты забыл сдать свой военный билет.

— Не забыл, я не забыл! — И Шатир, вернувшись, нехотя засунул руку в карман, потом, вынув оттуда билет, резким движением тронул левой рукой сердце. — Если бы ты знал, товарищ майор, что у меня сейчас на сердце! Не знаешь? Я хочу, чтобы партия и правительство всегда видели во мне солдата, чтобы я был всегда на учете, чтобы меня знали как верного бойца до самого последнего вздоха. Вот о чем я думал все эти десять дней и ночей. Если ты снимешь меня с учета, я уже не буду человеком, ценным для партии, для родины. Почему бы, если у тебя в списке сто человек, не прибавить туда еще одного! Будет сто один. Это бы так обрадовало меня и согрело мое сердце!

Начальник молчал, потом взял из рук Шачо его военный билет, положил в ящик и затем, посадив старика перед собой, заговорил тепло и по-дружески:

— Товарищ Шатир, партия и правительство никогда не запретят человеку охранять то, что добыто пролитой кровью, беречь завоеванную нами свободу и счастье. Закон о воинском долге записан навеки в сердцах албанских патриотов, и у тех, кто хранит свой военный билет, и у тех, которые по возрасту своему не состоят в списках доблестных воинов армии албанского народа!



«НЕ ХОЧУ, ЧТОБЫ ОН УМИРАЛ». *Рисунки О. Верейского*

Джеймс Олдридж

Не хочу, чтобы он умирал

РОМАН

Перевод с английского Е. Голышевой

«Вокруг не было ни души, как мы и ожидали. Отряды лежали в отведенных им укрытиях. Появился тот, кого нам нужно было убрать, и в него полетели пули...

Я вернулся домой и повалился на кровать; голова моя была как в огне, сердце сжималось от угрызений совести. В ушах все еще звучали крики, стоны и мольбы о помощи...

Я сказал себе в смятении: вот мы мечтаем о величии нации. А что важнее — чтобы ушел тот, кого не должно быть, или появился тот, кто должен прийти?..

И вдруг я воскликнул помимо воли: «Не хочу, чтобы он умирал!..»

Гамаль Абдель Насер. «Философия революции».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

В ЖИЗНИ...

Глава 1

— Сержант Сэндерс!

— Слушаю, сэр.

— Вы позвонили ветеринару? Как там мой сеттер?

У сержанта Сэндерса было богомольное, но не лишенное солдатской хитрецы лицо.

— Никак нет, сэр. Еще не звонил.

— Позвоните, пока он не отправился куда-нибудь пьянствовать. После одиннадцати этого грека уже не сыщешь, а мне надо знать, сколько у Шейлы родилось щенят. Негодяю не грех бы и самому позвонить. Можно подумать, что он на другом конце Африки, а не на другом конце города. Надо было мне поручить это дело нашему ветеринару или Обществу покровительства животным.

— Так точно, сэр.

У ног полковника Пикока шевельнулся сеттер. Пикок ткнул его носком замшевого сапога.

— Больно у тебя самодовольный вид, старина! Лежишь себе как ни в чем не бывало.

Питер лениво взмахнул белым шелковистым хвостом, и сержант Сэндерс с отвращением увидел, что этот хвост задел его черные начищенные сапоги, — сержант боялся блох.

— Разрешите идти, сэр?

— Идите, — сказал полковник.

Сержант Сэндерс направился к выходу из отгороженной картонной перегородкой комнаты, прихватив по дороге приказы о передислокации и выдаче денежного довольствия. Но тут полковник вспомнил:

— Разве сегодня на утро ничего больше не было назначено?

— Капитан Скотт, сэр. — Сержант произнес это имя, словно оправдываясь («Чем же я виноват, сэр?»).

— А-а, «трубопрокатчик»!.. — благодушно сказал Пикок. — Зови его.

— Да он уже ушел. Вы назначили ему на десять. Он прождал четверть часа и ушел. Я тут ни при чем, сэр! Я ему говорил, что вы вот-вот будете.

Пикок засмеялся.

— Не беда, Сэндерс. А он что сказал?

— Ничего, сэр. Ни единого слова.

Полковник Пикок кивнул. Ему было хорошо знакомо это немногословие. Он ощущал его и сейчас, на расстоянии,— это каменное, немое молчание.

Пикок поглядел на коричневую перегородку, которая отделяла в этой пригородной вилле кабинет начальника от комнаты сержанта и архива, и почувствовал угрызения совести.

Его кабинету не хватало солидности реквизированных помещений главного штаба. Тут тоже был штаб, но штаб дорожно-топографического отряда, который составлял карты и действовал в неразведанных пустынях Северной Африки до самого Триполи, размечал трассы и вел наблюдение за ними по всей Киренаике и пустыням Ливии, и там, не столько на территории, занятой англичанами, сколько на западе, где были немцы. Отряд не входил в состав регулярной армии и даже в Каире не подчинялся распорядку, установленному для управления военно-топографической службы в Набитате. Приятно было оградить этими стенами свою независимость от армии, но когда Пикок вспомнил о Скотте, комната вдруг показалась ему ловушкой.

Однако если Пикок и почувствовал некоторое смущение, он не отдал себе в этом отчета. Он был безукоризненно одет, он был молод. Этот гвардеец не знал, что такое сомнения. Мысль о Скотте угнетала его недолго.

— Так вот как он собирается себя вести! — сказал Пикок. Потом добавил уже осторожнее:— Разыщите, сержант, по телефону капитана Скотта и скажите ему, чтобы он пришел. Скажите...

— Не трудитесь, — послышалось из-за картонной перегородки. — Я здесь.

— О! Ну входите, входите! — И добавил, когда капитан Скотт появился в дверях: — Ничуть бы не удивился, если бы вы сбежали назад в пустыню.

— Да нет, я здесь.

— Вы как всегда там, где вас меньше всего ожидают, Скотти. Видно, этим вы и берете. Но здесь ведь не пустыня.

Полковник ждал, что Скотт ответит ему колкостью. Но Скотт промолчал.

— Сержант, выясните, что с Шейлой. Мне надо знать, как там ее щенки. Давайте, Скотт, займемся нашим делом.

Капитан Скотт кивнул, но не произнес ни слова.

Пикок почувствовал, что ему лучше объяснить свое опоздание.

— Видите, я так был занят сегодня с заместителем начальника разведки, что не успел даже взглянуть на свою собаку. Она ощенилась, и один только бог знает, что там натворил этот грек-ветеринар. В здешнем климате нельзя разводить английских сеттеров, если не можешь отдавать им все свое время и, так сказать, держать их за ручку, словно даму. И все же...

Скотт молча слушал.

Смазливое лицо Пикока выразило легкое раздражение, но он все же рассмеялся.

— Вы слишком долго жили вдали от людей. Три месяца? Слишком долго, Скотти. Надо было вернуться, когда я посылал за вами в первый раз. Даже отряды дальнего действия и те возвращаются чуть не каждый месяц.

У Скотта, который был крупнее, моложе, жестче, черты лица казались неразличимыми. Его насквозь пропекло солнечными лучами, и все светотени словно выжгло. Еще виднелись пересохшие губы, потрескавшиеся в углах рта; под выгоревшими и насупленными бровями прятались воспаленные глаза — слишком много попадало в них песку, слишком часто слепило их солнце. Пустыня состарила и будто стерла его лицо, она иссушила все его тело.

— Знаете, что о вас говорят? — Пикок даже порозовел от удовольствия; теперь, когда этот человек был рядом, его равнодушие превратилось в симпатию.

— Кто говорит? — спросил Скотт.

— Говорят, что вас нелегко увидеть, но еще труднее услышать! — Пикок прямо сиял от благодушия. — Вид у вас такой, словно из вас не выжмешь ни единого слова. Нельзя так долго сидеть в песках. У вас выгорят все внутренности. Да, пойдемте-ка лучше отсюда! Тут как в застенке. Давайте навестим Шейлу, а по дороге поговорим.

Скотт стал медленно надевать фуражку. Он плотно натягивал ее на голову, словно это был средневековый рыцарский шлем.

Пикок взял кожаный стек и застегнул пояс поверх хорошо пригнанного походного кителя, разглядывая при этом Скотта уже доброжелательнее и с интересом.

— Вы не всегда были таким сухарем, Скотт. Раньше и у вас, бывало, заметишь смешинку. — Пикок знал, когда произошла перемена. — Никак не можете забыть историю в Джало. Я знаю, как вы были привязаны к Пикерингу и своим товарищам по отряду.— Он покачал головой.— И мне все это далось нелегко. Да что теперь поделаешь!

— Это верно, — согласился Скотт.

— Вот и хорошо. Рад, что и вы со мной согласны. Мы не можем себе позволить, чтобы эта история вечно стояла между нами. Нравится вам это или нет, но нам придется работать с генералом Черчем, даже если вы и считаете, что у него руки в крови. Ничего у нас не выйдет, если мы не будем ладить друг с другом. А я уж постараюсь, чтобы мы поладили, дайте только забыть прошлое. В ваших же интересах...

— Пойдемте, поглядим на ваших собак, — любезно сказал Скотт, но так и не смог скрыть своего холодка. В улыбке, которая собрала его лицо в самые причудливые складки, не хватало дружелюбия.

«Хамбер» со вздутыми от жары баллонами повез их по душным осенним улицам Каира, где свежестью пахло от одних только английских новобранцев, глазевших на открытую штабную машину, когда она с жалобным стоном отрывала колеса от липкого асфальта. Двое офицеров, сидевших на заднем сидении, не представляли для них никакого интереса.

Сами же они тоже еще не понимали, какой интерес они представляют друг для друга.

— Собаки, — сказал Пикок, глядя на трех щенков, чисто вымытых, жирных, неестественно розовых, как и все новорожденные, но тем не менее мертвых, — собаки не могут доставить вам настоящего удовольствия. Почему-то с ними всегда что-нибудь приключается. То у них глисты, то уши гноятся, а то вдруг... вот это. Мертвые щенки. И чего только я с ними вожусь!

Не он, а Скотт дал, однако, Шейле облизать свою руку. В глазах у

собаки был стыд. Но взгляд ее преданно следил за Пикоком, который, брезгливо отступив от нее, задумчиво почесывал затылок рукояткой стека.

— Ей больше нельзя рожать, — сказал грек Митропулос, отгоняя накаленных солнцем мух. Аккуратно завернув каждого щенка в газету и уложив пакетики в проволочную корзинку, он приказал мальчишке-египтянину ее унести. Потом жестом показал, как что-то ломается. — В области таза, — пояснил он, — у нее какой-то нарост. И понимаете, получилось так...— Он повторил свой жест.— Когда собака тужилась, чтобы освободиться от щенка, она попросту ломала ему хребет... Понимаете, вот так...

— Разве вы не видели, что происходит, когда первый щенок родился мертвым?

— Видел, но что я мог сделать?

— Кесарево сечение. Вы что, не знаете, как делают кесарево сечение?

Митропулос покорно объяснил:

— Я бы погубил вашу собаку. Роды уже начались.

— Ладно, теперь делу не поможешь. Поставьте ее на ноги, но не вздумайте пичкать вашим отвратительным месивом. Даже если это полезно. Оно воняет, а потом и от собаки идет вонь. Если уж так необходимо, давайте ей ослятину.

— Как хотите. Собака ведь ваша.

Пикок расправил Шейле уши, несколько раз провел по ним пальцами, избегая умильных, пристыженных прикосновений языка, произнес «Что же, ладно», вздохнул и сделал знак Скотту, чтобы тот шел за ним.

— Я словно чувствовал, что дело обернется неладно, — сказал он в дверях.

Глава 2

Полковник Пикок представил Скотта генералу Черчу, низенькому, краснолицему военному, у которого, как говорил Скотт, руки были по локоть в крови.

— Вы ведь знаете Скотти, сэр? — веселый голос Пикока казался женственным и каким-то ужасно невоенным в присутствии этого крутого и решительного человека.— Если помните, Скотт был единственным из отряда Пикеринга, кому удалось вернуться назад.

— Помню, — произнес кровавый генерал, властно кивнув головой.

Скотт молча и по всем правилам отдал честь. Руки друг другу они не подали.

— Сюда,— приказал генерал.

Они вошли в комнату, где были развешаны карты. Генерал бросил сержанту:

— Можете идти! — Он отпустил своего адъютанта, сказав, что тот ему больше не нужен. — Вот этот сектор, — показал он Скотту расчерченную по секторам карту Джало-Агейла.

— Опять какая-то возня вокруг Джало, — весело усмехнулся Пикок.

Скотт кивнул; ему стало противно, когда он увидел карту и услышал название этого места.

— Да,— сказал генерал.— Но на этот раз нам следует быть осторожнее.

— Куда осторожнее! — иронически подтвердил Скотт. Но никто здесь не доискивался скрытого смысла слов.

— Я не стану объяснять вам, зачем все это нужно,— ни на что не обращая внимания, не запнувшись и без всякого выражения произнес генерал.— Вы должны наметить трассу по этой дуге, годную для тяжелых машин — короткую, безопасную и прямую. Понятно, Скотт?

— Понятно.

— Мы хотим, чтобы вы обозначили дорогу так ясно, чтобы одиночные грузовики могли следовать по ней без проводников. Но ваши опознавательные знаки не должны быть понятны противнику. Так как эта часть пустыни почти на двести миль в глубину занята неприятелем, вам придется найти какие-то объяснения тому, что вы там находитесь. Иначе говоря: если вас обнаружат или захватят в плен, вы должны найти объяснение тому, что вы там делаете. Имейте в виду: обмануть противника нам совершенно необходимо. Понятно?

Скотт кивнул. Он догадывался, что будет дальше.

— Поэтому мы распорядились, чтобы воздушные силы дали нам один «харрикейн», в котором пока нет особой нужды; он сделает вынужденную посадку где-нибудь в этом районе. А? Что вы сказали?

— Ничего, сэр.— «Харрикейн»? Вон куда загнул. Такого даже Скотт не ожидал.

— У нас есть летчик-француз, знакомый с местностью. По его словам, он сможет добраться пешком до той груды камней, которую выложил Пикеринг, а вы захватите его с собой на обратном пути. Он однажды уже там побывал, действительно совершив вынужденную посадку. Поэтому мы и выбрали его для нашей операции. А теперь он сделает мнимую вынужденную посадку возле нефтяных цистерн в Джало, которые находятся чуть ли не в пятидесяти милях от ближайших путей сообщения. А если немцы вас обнаружат, они решат, что вы направляетесь на поиски «харрикейна». Тот ведь опустится без всяких повреждений и заслуживает того, чтобы его спасали. Помните, вы ведь когда-то вытащили тот маленький «лизандер» *. Самолет, если удастся, надо спасти. Ясно?

— Так точно.

— Конечно, если вы будете осторожны, противник может вас и не заметить. Тем лучше. Если он обнаружит самолет на земле и его уничтожит, ничего не поделаешь,— значит самолет сослужил свою службу, а вы заставили немцев поверить, будто пытаетесь его спасти. Самое важное, это ввести в заблуждение противника. Вы ведь хорошо знаете дорогу, Скотт?

— Да, генерал.

— Поэтому мы и хотим, чтобы эту операцию провели вы. Она выглядит, как подготовка еще к одному обходному маневру слева, чтобы зайти во фланг Роммелю. Как в тот раз, когда мы потеряли отряд Пикеринга. На самом деле это не так. Задача тут совсем другая, и мы вам ее объясним, когда задание будет вами выполнено.

— Это все? — спросил Скотт.

— Нет. Не совсем. Но главное я вам сказал. Вы подчиняетесь лично мне через полковника Пикока. Ваша задача — рассчитать время следования, наметить трассу и отвлечь противника от вашей подлинной цели, делая вид, будто вы тайком направляетесь к месту посадки «харрикейна». На самом же деле, вы должны просто наметить трассу, по которой смогут следовать наши грузовые машины без проводников. Но противник не должен об этом догадаться. Ясно?

— Так точно.

— Подробнее план операции разработайте с полковником Пикоком. Вопросы есть?

— Конечно, генерал.

— Да, да. Разрешите их с Пикоком. Но и я должен задать вам один вопрос, Скотт.

---

* Небольшой моноплан.

Генерал первый раз взглянул в глаза Скотту своими голубыми глазами, в которых вдруг мелькнуло нечто вроде угрызений совести. Все-таки он был солдат.

Скотт молчал.

— Что вам скорее всего может угрожать в глубоком тылу противника?

— Почти наверняка его самолеты.

— Отлично. Нам не нужно, чтобы вы привлекли к себе внимание сухопутных патрулей. Мы не хотим, чтобы они рыскали в этом районе. Самолеты нас не очень тревожат.

— Ну да. Куда приятнее, Скотт, если вас прихлопнет немецкий штурмовик.— Пикок все понял, но, добродушно рассмеявшись, сразу же постарался об этом забыть. А Черч заявил, что предоставляет им самим договориться обо всех подробностях.

— Разве я могу быть уверен, что наши собственные самолеты не нападут на нас, приняв за вражеский патруль?— угрюмо спросил Скотт у Пикока, который мерил шагами свой кабинет.

— Мы предупредим авиацию.

— И вы уверены, что это поможет?

— Конечно. С чего это вы...

— Помните, в тот раз, в Тобруке, когда Олердайс закладывал клейкие бомбы в итальянские «савойи», а английские самолеты налетели и стали бомбить аэродром? Начальство забыло предупредить наших, и Олердайсу пришлось туго.

— Ну, Скотти, такой случай был только раз. И больше не повторится.

— Почем я знаю?

— Вы, конечно, знать этого не можете. Правда, и вас бомбили наши самолеты. Но зачем вспоминать об этом снова? Разве это не обычный риск, которому подвергаетесь вы и отряды «войск пустыни», когда бродите за спиной у противника? Что-то я не слышал, чтобы вы раньше об этом беспокоились.

— Меня беспокоит, когда ваш брат, выдумывая для нас задания, упускает из виду главное. Пусть меня обстреливают наши самолеты, но тогда, когда в этом повинны мы сами. А сейчас вы требуете, чтобы мы выполнили определенное задание. Прекрасно. Со мной будет трое или четверо моих людей, и мне хотелось бы знать, что вы забудете предусмотреть на этот раз? Я не доверяю вашей распорядительности, или, во всяком случае, не вполне доверяю...

— Вы преувеличиваете, Скотти.

— Ничуть. В пустыне нет ни единого человека, который верил бы тому, что говорят в Каире. Доверься вам — и тебе грозит беда. Особенно, если в дело замешан Черч.

Пикок беспокойно шагал по комнате, уговаривая Скотта вести себя разумно.

Скотт с трудом сдерживал злость.

— Я и так веду себя разумно,— сказал он.

— Да, но вы зря беспокоитесь о том, что должно беспокоить только нас.

Скотт не стал спорить. Пикок был не виноват.

— Не следует подвергать сомнению все, что мы делаем, только потому, что Пикеринг и еще двадцать человек из вашего отряда подорвались на минном поле и виноват, по-вашему, генерал Черч. Вы должны побороть это в себе, Скотти.

— Мне хочется, чтобы все было предусмотрено.

— Может, вам вообще не очень хочется выполнять задание?

Рассеянный взгляд Скотта упал на Пикока.

— Делайте свое дело, а я-то уж выполню, что мне положено.

— Ну и слава богу. Мы, со своей стороны, сделаем все, что надо.

— Давайте уточним детали.

Пикок вздохнул с облегчением:

— Мы договорились с отрядом дальнего действия, чтобы они оставили вам горючее на своих складах. Свяжитесь с ними сами. Весь вопрос в том, что вам надо взять отсюда, из Каира?

— Ничего. Все, что нам надо, есть в Сиве. Разве только вы нам подкинете несколько новых теодолитов и парочку хронометров. Сойдут и хорошие карманные часы с большим циферблатом.

— И это все?

— Вы говорите, что с нами поедет наш летчик?

— Да. Он попытается пригнать самолет назад.

— Почему бы нам не подобрать по пути французского летчика и не поручить ему пригнать машину назад? Зачем нужен еще один летчик?

— Затем, что так решило начальство, — пояснил Пикок скучающим тоном.

— Что за страсть у Черча все усложнять?

— Понятия не имею. А вам-то какое дело, Скотти? Черч желает, чтобы только избранные знали о вашем задании. Он не хочет посылать с вами француза; тот не должен знать, чем вы занимаетесь. Слухи могут дойти до ушей противника. Французу приказано посадить свой самолет в пункте «А», а потом дойти пешком до пункта «Б». И все. Он больше ничего не должен знать.

— Почему? Потому, что он француз?

— Да вы же знаете, какие они люди! Je m'en fou!* Не понимают, что такое осторожность.

— Мой штурман — египтянин, а радист — сирийский еврей. Может, Черчу и это не понравится?

— Совсем забыл о Сэме и Атые. Вы не можете без них обойтись?

— Нет.

— А нельзя взять на время парочку ребят из отряда дальнего действия?

— Нет.

— Ну что ж, генерал о них тоже забыл, а я ему напоминать не собираюсь.

— Я напомню ему сам.

— Ради Христа — не надо! Ведь у нас все готово. Зачем же вставлять нам палки в колеса? Вы, видно, и в самом деле не хотите ехать, Скотти.

— Лучше вы меня об этом не спрашивайте,— сказал Скотт.

— Приходится. Больно вы желчный стали. Слишком долго сидели в пустыне. После этой операции вам непременно нужно подольше побыть на людях. И принять повышение, предложенное вам Черчем после гибели Пикеринга. Если бы вы захотели, вас давно назначили бы на тот пост, который он занимал...

— В награду за то, что я его пережил?

— Так вы этого никогда и не простите, а, Скотти?

— Я этого не забуду,— ответил Скотт спокойно и без всякого выражения.

— Ладно... Важно, чтобы задание было выполнено. А вы единственный человек, который может это сделать как надо.

---

* Мне наплевать! *(франц.)*.

— Оно будет выполнено. Но когда я с ним разделаюсь, оставьте меня в Сиве или где-нибудь еще подальше. Мне не хочется сюда возвращаться. Я чувствую себя там куда лучше.

Пикок пожал плечами.

— Дело ваше. Но у вас такой вид, будто вам здорово досталось.

Скотт кивнул.

— Мне и в самом деле здорово досталось.

Скотт был крепыш, невысокого роста. Казалось, весь он точно сбит из одних мускулов; плотник, сколотивший его, видно работал на совесть. Да и тот, кто вколачивал мозги в его черепную коробку, не пожалел материала. Поэтому, когда он говорил о себе что-нибудь жалостливое, это звучало шуткой и только веселило Пикока. Посмеявшись, Пикок принялся обсуждать с ним детали операции.

Глава 3

Командир бригады Пелхэм Пикеринг был мертв уже почти целый год. И чем дольше он был мертв, тем больше о нем говорили. Его жена, молодая и такая цветущая, словно она всю жизнь прожила в деревне, по-прежнему занимала ту же квартиру в Замалеке*, — на зеленом островке, заросшем магнолиями и акациями. Дом был современный, белый и такой чистый, что вполне годился бы под частную лечебницу; там было тепло зимой и прохладно летом. В доме работал лифт; квартира была обставлена скупо, и в ней всегда царил чинный порядок. От неопрятного, неряшливого Пикеринга в ней не осталось и следа. Память о нем была слишком дорога жене, чтобы она позволила загромождать ею квартиру как попало.

Люсиль Пикеринг была очень женственна. Жизнь в Каире не сделала ее рыхлой, как других хорошеньких англичанок; она казалась очень молодой и непреклонно верила в правоту своих взглядов. Да ей теперь и приходилось верить только себе одной. Когда Пикеринг погиб, люди думали, что она никогда не оправится от постигшего ее удара. Неделю ее никто не видел: она провела эти дни у себя взаперти, перестрадала то, что ей суждено было перестрадать, одна, без свидетелей. Люди знали, что она привела свое жилье в порядок, спрятала все вещи покойного, приняла ванну, поплакала, научила прислуживавшего ей на кухне мальчика Абду гладить блузки лучше, чем это делали в местных прачечных. А потом появилась на свет божий, словно ничего и не произошло.

И жизнь ее пошла, словно ничего не случилось. Потекла своим привычным ходом. Глаза у вдовы Пикеринга были ясные, голубые. Она гордилась своим самообладанием. Но ей так хотелось вернуть утраченное счастье, ибо кто лучше нее знал, что она рождена быть счастливой?

— Скотти! — воскликнула она, когда он вошел, и поцеловала его в щеку.— Я укладываю Джоанну спать. Если хотите, можете рассказать ей сказку.

Он знал, что Люси делает это нарочно. Ей хотелось заставить его сблизиться с людьми, хотя бы с маленькой Джоанной, чтобы он преодолел свою робость, свою нелюдимость, свою скованность и немоту.

Джоанне было пять лет. Другая дочь, восьмилетняя Эстер, училась в Палестине. Люси была настоящей женщиной, но Скотту казалось, что она еще недостаточно остепенилась, чтобы быть матерью восьмилетней дочки. Тело ее еще не насытилось материнством.

Люси дала Скотту синюю бумажную пижаму Джоанны. Скотт не-

* Фешенебельный район Каира, расположенный на острове Гезира.

ловко нагнулся к серьезно глядевшей на него девчушке, чтобы натянуть через ее белокурую головку кофточку и надеть штанишки на пухлые, упитанные ножки. Он посмотрел на ребенка. Девочка не сводила с него глаз: она не привыкла к таким застенчивым незнакомцам, но, как и мать, знала, как с ними обходиться.

— Сколько тебе лет? — спросила она.

Скотт не умел держать себя с детьми просто и непринужденно.

— Не знаю, — сказал он серьезно. — А что?

Мать вызволила его из беды.

— Скотти уже скоро десять, — сказала она. — Он только выглядит старше. Поцелуй его и беги спать. Сними только туфельки, когда ляжешь в постель. И не вздумай просить есть. Сегодня среда, а кушать в кроватке можно только по пятницам. Ну, теперь все. Не будет тебе ни воды, ни яблока, ни книжек. И ставни я закрою. Марш! — Она поцеловала девочку, и Омм Али, черная нянька из Судана, увела ее спать.

Стояла ранняя осень, и дело происходило не вечером, а сразу же после полудня, но девочке, по английскому обычаю, полагалось днем спать часа два. Так уж было заведено. И удавалось это, как известно было Скотту, только потому, что Джоанна здоровый и спокойный ребенок. Скотт ее за это любил.

— Садитесь,— предложила ему Люси.— Я вас чем-нибудь покормлю.

— Не хочу. Лучше я поброжу по квартире и погляжу, что вы делаете,— сказал Скотт, наблюдая за тем, как она подбирает раскиданную одежду Джоанны, ее туфли и носки.

— Я только что от Пикока...

— Бедный Тим! Он так всегда за вас волнуется. Сегодня он придет ко мне обедать.

— Да?

— Не надо ревновать, миленький,— сказала она с нежностью.

Отношения между ними не были настолько близкими, чтобы оправдать его замешательство.

— Вы больше там не работаете?

— Нет. Я теперь у шифровальщиков. Эта работа мне больше по душе. Кое-что приходится переводить с французского и с греческого. Интересно. Меня и взяли-то к Тиму Пикоку только потому, что мне надо было дать какую-нибудь работу. А я заранее знала, что долго там не удержусь.

— Неправда,— возразил Скотт.— Вас направили к Пикоку, чтобы вы могли остаться с нами. С теми, кто выжил.

Она привела его в кухню, где проводил свою жизнь, делая вид будто ему это нравится, чистенький, одетый в галабию* четырнадцатилетний египтянин Абду. Скотт поздоровался с ним по-арабски и услышал в ответ приветствие по-английски. Люси хорошо вышколила своего боя. Она дала Скотту стакан молока и салат и заставила его съесть. Когда-то она заставляла и Пикеринга есть зелень; он вечно жевал сырую морковку и салат, вернувшись после длительного пребывания в пустыне. Проведя там месяц, Пикеринг выглядел очень усталым, словно из него высосали все соки. Со Скоттом дело обстояло иначе. Он был от природы сухопар, в пустыне чувствовал себя как рыба в воде и, судя по внешнему виду, никак не нуждался в соках, которыми его пичкала Люси.

— Ну, какой мне смысл оставаться в дорожно-топографическом отряде? — спрашивала она с горечью, которой не скрывала только от

* Длинная прямая рубаха.

Скотта. — Когда Пикеринг умер, надо было и мне умереть. Несмотря на детей.

— Не смейте так говорить.

— Я часто об этом думаю, Скотти. Ей-богу. Но это не значит, что я должна стать живым памятником Пикерингу в сердцах его друзей. На свете был только один Пикеринг и другого больше не будет. Но его уже нет, и мне надо начинать жизнь сызнова. Во что бы то ни стало!

Ее слова встревожили Скотта. Ему хотелось ей возразить, но он не нашел нужных слов.

— Вас раздражают такие разговоры? — спросила она.

Он ответил уклончиво.

— Ничуть. По правде сказать, вы куда уравновешеннее меня. Утром я не слишком-то вежливо разговаривал с Пикоком, потому что никак не могу выкинуть это дело из головы. А уж Черча совсем не выношу. Видно, я и по сию пору не способен смотреть на вещи так разумно, как вы.

— Зря я стала разговаривать с вами начистоту,— сказала она.— Ведь только я знаю, милый, как вы чудовищно сентиментальны. Одна я знаю, что нам обоим пришлось начинать жить сначала, с того самого места, где нас оставил Пикеринг.

Он кивнул. Да, в чем-то она была права. Однако мешала ему не сентиментальность, — он это знал. И угнетала его не одна только память о гибели Пикеринга.

— Вы наверно думаете, что я — человек холодный,— продолжала она.— Не спорьте! Может, вы и правы. Но я была вынуждена стать такой. Со смертью Пикеринга слишком многое умерло. В одну секунду, в одну только секунду все кончилось и для меня тоже.— Она говорила почти бесстрастно.— Пришел конец всему. И я не стану делать вид, будто моя теперешняя жизнь заменяет мне то, что у меня было раньше. Я существую, а не живу, и сердце мое холодно. Если бы я не сохраняла хладнокровия, я бы сломилась и сошла с ума. Несмотря на все, даже на детей. На свете был только один Пикеринг. И он давал мне все, чего мне в жизни хотелось.— Из ее глаз выкатилась скупая слеза.— Правда,— добавила она, с усилием переборов себя,— Скотт тоже человек, хотя и совсем другой.— Она вгляделась в его лицо.— Ну да, Скотти, вы тоже совсем особенный, непохожий на них всех.

— На кого?

— На дурачье, с которым я каждый день встречаюсь в штабе. На всю эту шатию. Был только один Пикеринг. И есть только один Скотт. Не смотрите на меня с таким осуждением. Разве я плохо к вам отношусь? — Она просунула руку ему под локоть. Когда он прислонился к каминной доске, чтобы погреться у стоявшей в камине керосинки, она на секунду прижалась к нему.— Какая жалость, что вы еще чуточку не подросли, тогда вы были бы совсем по мне.

Роста они были одинакового; неприступную крепость застенчивости Скотта смягчала сочная зелень лугов, которые раскинула Люси,— отлогие холмы, поросшие лютиками, напоенные соками земли... Достаточно было его локтю дотронуться до ее руки, и Скотт почувствовал бы, как нежно ее тело, но он не мог отважиться на большее. А она и не предложила ему ничего больше. Мгновение — и все было позади.

— Знаете, куда я вас поведу? — спросила она. Ее синие глаза пытались его развеселить, а бело-розовые щеки смеялись.

— Никуда. Я пришел к вам,— запротестовал он.

— Знаю. А я поведу вас на свадьбу.

Он умел ускользать у нее из рук.

— Я вас провожу и пойду домой.

— Ничего не выйдет! Эйлин, единственная дочь генерала Уоррена и близкая моя подруга, сегодня утром обвенчалась с летчиком Клайвом Бентинком. Вы пойдете туда потому, что вам надо повидать людей. И потому, что я этого хочу. И потому, что мне приказано вас привести. И потому, что генерал Уоррен может быть вам полезен.

— Генеральская дочка...— начал он.

— Ну, Скотти, пойдемте, я вас прошу!

Он уступил, и она ушла переодеваться. Скотт, склонив голову к каминной доске, старался обрести спокойствие. Она вернулась, одетая во что-то желтое, бежевое или блекло-коричневое — в цвета осени. Скотт встречался с ней четыре или пять раз за последний год и еще раз десять до этого, но никогда не видел он ее такой до краев наполненной жизнью, как в эту минуту, когда она ожидала его одобрения. И сразу же рассмеялась над собой. Она не подозревала, что смеется от счастья.

Среди розовых кустов и на густо поросших травой лужайках толпилось около сотни гостей: тут были офицеры высших чинов из генштаба и английские дамы — дамы в военной форме, и жены английских военных; были тут и дамы покрасивее: иностранки, вышедшие замуж за этих розовощеких и краснолицых английских военных.

Скотт, одетый в такой же мундир, как и они, вдруг усомнился, умеет ли он разговаривать на одном с ними языке. Сойдясь вместе, обутые в замшу, они перекидывались дружескими прозвищами, и, стоя среди них, таких нарядных и подтянутых, Скотт после долгих месяцев, проведенных в пустыне, прислушивался к их болтовне, словно к незнакомым дотоле звукам.

— Как дела, Скотт? — негромко осведомился генерал Уоррен, так и не преодолев дистанцию армейского табеля о рангах. Он дружески поздоровался с м-сс Пикеринг: — Здравствуйте, дорогая Люси! — и добавил: — Рад, что вы уговорили Скотта прийти.

Чопорный, застенчивый Уоррен с трудом мямлил слова, пряча глаза от собеседника. Он стоял рядом с женой, которая вежливо заглядывала в лицо каждому из своих гостей. Она прикоснулась губами к щеке Люси, но казалось, уже совершенно изнемогла от усталости. Скотта она наградила улыбкой, словно поощряла его побольше бывать с Люси, помочь ей рассеяться.

— Значит, вы и есть тот самый Скотт? — спросила она.

Генералу подали депешу, он на нее взглянул и отпустил ординарца кивком головы. Война шла своим чередом. Скотт остался один. Кругом были генералы и полковники, майоры и адъютанты — гусары, гвардейцы, синие и желтые,— раздавались ленивые голоса и видны были тонкие лица англичан из привилегированных классов, и лица их множились и повторяли друг друга в этом розовом саду.

— Здравствуйте, Люси! — поздоровался с ней кровавый Черч. Скотта он словно и не заметил. — Ну как, все в порядке? — спросил Черч. — Отлично! Вы слышали, что мы выиграли четверть финала? Я и не думал, что наши дела пойдут так хорошо.

Партнеры еще немного поболтали о теннисе, а потом Скотт удостоился беглого кивка — его присутствие было замечено и вызвало удивление. Люси повела его дальше.

— Вон там стоят Эйлин и Бенти.— Новобрачные были очень молоды; их окружала толпа гостей, пивших шампанское из бокалов, расставленных на покрытом белой скатертью столе.— Бенти — простой летчик, ему еще нет двадцати,— сообщила Люси торопливым шепотом.— И на

вид ему и двадцати не дашь, правда? Он последний отпрыск лордов Лоуренсов. Бедный Бенти! Ужасно молодой. Но ужасно милый, да?

Скотт почувствовал, как его руку крепко жмет этот высокий молодой человек, и увидел тонкий нос с горбинкой, шею с выпирающим кадыком и хохолок на макушке. Бенти заговорил с ним как с близким знакомым, словно эта близость была им обоим очень нужна.

— Нам здорово повезло, старина, что вы все-таки пришли!

Этот безбородый двадцатилетний мальчишка явно хотел выразить Скотту свое почтение.

Девушка была еще совсем подростком, но казалась куда взрослее своего юного мужа.

— Господи, когда все это кончится! — прошептала она Люси, взяв ее под руку.— Я чувствую себя ужасно.

— Ты прелестно выглядишь,— сказала ей Люси.

Она говорила правду. Девушка была счастлива. Скотт не слишком к ней приглядывался — он знал, что его снова рассматривают и поощряют. Улыбнувшись, Эйлин сказала мужу:

— Это Скотти.

— Налить вам шипучки? — спросил Бентинк Скотта. — Выпейте шипучки.— Ни на что больше у них не хватило времени. С мальчиком тут же поздоровался какой-то маршал авиации, и ему был оказан такой же почет, как и Скотту.

— Нам здорово повезло, сэр, что вы все-таки пришли!

Скотту предоставили возможность побродить одному среди роз, но потом Люси разыскала его — он стоял, заложив руки за спину. Она посмеялась над его неприкаянностью, а он ответил, что ему, пожалуй, пора домой.

— Вы стоите тут, среди этих роз, словно рыцарь, закованный в латы, — сказала она. — Побудьте еще немножко.

— Я тут лишний.

— Ничуть. Все они так хотели на вас поглядеть.

— Почему? — Скотт не поверил ей и даже возмутился.

— Потому, что вы тот самый чудак, который вечно пропадает невесть где. В песчаном океане. Для них всех вы загадка. Никто не ведет себя так, как вы.

Он вертел пустой бокал от шампанского в своих обгоревших на солнце пальцах.

— Непонятно,— сказал он.— Почему бы им тогда не пригласить сюда отряды дальнего действия, солдат Стерлинга и всех тех, кто постоянно бродит по пустыне?

— Да не в этом дело! Вы ведь не такой, как все, особенный. Это правда, Скотти, вы же знаете!

Скотт понимал, на что она намекает: Пикеринг был нечто большее, чем обычный трассировщик и минер. И он, Скотт, тоже. Тень, которую отбрасывал на него Пикеринг, делала и его необыкновенным. Для всех этих людей Пикеринг был своим, он жил среди них и все же существовал где-то сам по себе, вдали от них. У Пикеринга был такой же голос, и он вышел из того же класса, но он был независим, и это позволяло ему пренебрежительно к ним относиться. Своих мыслей он им не открывал, не давал к себе подступиться из того же самого пренебрежения. А они понимали и уважали пренебрежение, когда оно исходило от одного из «своих». Теперь Люси вручала Скотту наследство Пикеринга. Скотт подозревал, что она насаждала его в их обществе, как отзвук Пикеринга, как его эхо,— роль, от которой она сама отказалась.

— Да, вы никак не подходите к этому кругу, так же как не подходил к нему и Пикеринг,— сказала она.— Посмотрите на себя.

Он и в самом деле был другой, только не в том смысле, в каком она думала. Он, может, и казался ей закованным в железные доспехи, но сам Скотт понимал, что он плохо одет, что его форменные брюки топорно накрахмалены и слишком широки внизу, что могучие плечи делают его похожим на бизона, а эти люди вспоены и вскормлены няньками и мамками и созданы для той жизни, которая их окружает. Даже кровавый карлик Черч.

— По правде говоря,— сказал он ей,— я тут белая ворона, и вы это сами знаете.

— Конечно. В том-то и вся прелесть.

— Что мне здесь делать? Уж лучше я пойду.

— Тогда и я пойду с вами,— сказала она.— Мне просто хотелось, чтобы вы тут показались. Это нужно, Скотти. Полезно, и может пригодиться потом...

Он не очень хорошо понимал, что за всем этим кроется. Она пичкала его не только молоком и салатом, но и обществом, чтобы поправить здоровье, подорванное в пустыне. В этом ему снова послышался отзвук чудачеств покойного Пикеринга. Скотт предложил ей остаться.

— Нет, — сказала она. — Мне нужно на работу.

— Зачем? Весь каирский штаб здесь.

— Я не штабное начальство. Приходите сегодня обедать. У меня будет Пикок.

— Нет, я сегодня уеду.

— Знаю, но вы успеете пообедать. Я вас очень прошу! — И она нагнула голову, чтобы заглянуть в его смущенное лицо. Они шли по пешеходной дорожке моста Каср-эль-Нил, от которого по обеим сторонам реки растекались потоки и ручейки одетых в длинные рубахи людей. Люди эти толпились и сталкивали друг друга на проезжую дорогу, где их только чудом не давили английские военные грузовики. Люси едва было не оттеснили от Скотта, но она крепко вцепилась в его руку.

— Неужели Тим Пикок так вас раздражает? — спросила она.

— Я и сам не пойму,— признался он.— Но каждый раз, когда я приезжаю в Каир, вся эта история в Джало оживает снова. Наверно мне напоминает о ней Черч, а может, даже и Пикок. Но я ничего не имею против Пикока, если он вас не злит.

— Меня он не злит. Мне Тим нравится.— Она крепко сдавила его руку кончиками пальцев. Этим пожатием она отнюдь не выражала своих чувств к Пикоку — она противопоставляла Скотта Пикоку, поддерживала Скотта, приподнимала его, формировала его отношение к миру.

— Да господи, какое это сейчас имеет значение! — сказал он.— Вы правы. Пикеринг умер. Со всей этой историей покончено. Правда, Черч наверняка сотворит еще что-нибудь. Беда в том, что в пустыне вы острее чувствуете все промахи и всю бездарность тех, кого вы оставили тут, в тылу. И уж настоящая наша беда в том, что мы заранее знаем, какое безобразие они нам опять готовят. И опять все тот же Черч. Кому хочется впутывать своих людей в очередную затею Черча? Приехав в Каир, вы чувствуете, вы знаете, что вас ждет какое-то новое головотяпство.

— Это правда. Но сейчас за дело взялся сам Уоррен. У него операция должна пройти более гладко.

— Должна бы... Но мы-то по-прежнему в руках у Черча.

Она не стала продолжать разговор. Ей не хотелось глубоко вдаваться в это дело, она знала, как Скотт изменился после смерти Пикеринга.

— Мне кажется, что на днях вас ждет приятная неожиданность,— сказала она.— Уоррен очень вами заинтересовался. Посадите меня в такси и ступайте куда глаза глядят. Только ведите себя осторожнее. И приезжайте в Каир, когда выполните задание Черча. Не оставайтесь

в Сиве. Пожалуйста! — Она знала и об этом.— Мне нужны именно вы, Скотти, и я беспокоюсь, когда вас не вижу.

Он усадил ее в кишащий блохами старенький «крайслер», и она сама объяснила шоферу по-арабски, куда ехать. Когда шофер стал заводить машину, она вдруг спросила Скотта:

— В чем дело, Скотти? Что вас тревожит? Вы так угнетены.

— Да. Но это ерунда. До свидания, Люси.

— Непременно возвращайтесь в Каир,— приказала она, отъезжая.— Непременно!

Глава 4

Вечером, когда над Каиром как бы проносился ночной ветерок, Скотт отправился обедать к своему штурману, в его глинобитный домик. Он застал этого сына суданца и египтянки в обычном для него настроении. Атыя ругательски ругал пятерых из своих восьми сестер и братьев, крича, что они стащили его инструменты.

— Видите, что они со мной делают,— сказал он Скотту.— Просто жить не дают, да и только.

— Т-с-с! — сказал ему Скотт, взяв его за руку.

Крупная, покрытая тугими завитками голова Атыи дернулась от ярости. Но из уважения к Скотту он сдержал свое бешенство. Его мать-египтянка встретила гостя радушно. Два года назад Скотта принимали здесь в полном молчании; его молча встречал Атыя и угощал стаканом шербета; ни мать, ни отец, ни другие члены семьи не показывались. Теперь он, здороваясь, пожимал матери руку и обменивался пространными арабскими любезностями с *Йа ситт Розой* и *Йа Абду Эффенди** — прозрачным от старости отцом Атыи.

— У вашего сына характер лучше не стал,— сказал Скотт старику.

— Дети хватают его вещи, — пожаловался Абду Эффенди. — Они еще ничего не понимают.

— Должны понимать! — зарычал Атыя.

— Т-с-с! — ласково произнес его отец, и Скотт понял, у кого он научился произносить это гортанное «хос-с-с!», успокаивая вспыльчивого безумца Атыю.

Атыю в его собственной семье ласково звали полоумным.

— Атыя никогда не рассказывает нам, что он делает, — жалобно сетовал отец. Абду Эффенди, как всегда, сидел, сгорбившись на стуле с феской на голове, опираясь на толстую палку, и глядел прямо перед собой слезящимися глазами.

Скотт выпил поданный ему сладкий сироп.

— Видите! — воскликнул Атыя, подчеркивая, как его изводят.

Жалоба старика была не новой.

— Атыя показывает нам путь в пустыне,— объяснил Скотт. Так как говорил он это уже не в первый раз, не стоило изъясняться подробнее.

— Это очень опасно? — тонким голоском спросил Абду Эффенди.

— Как когда. Иногда очень опасно. Вы же сами знаете, Эффенди. Атыя был тяжело ранен. Но обычно куда менее опасно, чем перейти улицу в Каире.

— А как же будет теперь с его работой? Почему его забрали с государственной службы?

Атыя с трудом удержался от резкой вспышки. Скотт ему посочувствовал. Но Абду Эффенди надо было успокоить.

---

* Госпожа, господин *(араб.)*.

Покойный Пикеринг отыскал Атыю в Египетском топографическом управлении. Пикеринг открыл в Атые два примечательных качества: чувство пустыни и природные математические способности, которые хоть и не были развиты начальным обучением в арабской школе, но под руководством Пикеринга и Скотта стали для них внушительной подмогой.

Скотт так и не понял, как удалось Пикерингу перевести Атыю в английскую армию и знает ли английское командование о том, что один из ее лучших топографов в пустыне — нищий сын дряхлого и неимущего египетского чиновника. Абду Эффенди исполнилось шестьдесят восемь лет. Отставной служащий управления железных дорог Судана, он жил в Каире на пенсию в двенадцать фунтов в месяц. Жена его Роза, дочь суданки и египтянина, здоровая, тучная темнокожая женщина, была намного его моложе. Атыя был старшим из ее девяти детей, за ним шли все больше девочки.

— Когда Атыя вернется на работу в Топографическое управление,— сказал Скотт,— он наверняка будет лучшим топографом в Египте.

— Зачем вы им это говорите? — спросил Атыя.— Они ведь все равно ничего не понимают. К чему им это знать?

— Т-с-с! — произнесла мать, приглашая их к столу.

— Т-с-с! Т-с-с! Т-с-с! — передразнил ее Атыя. Мать засмеялась.

Они сели за стол, накрытый скатертью. Подавала Еррофа — мешок могучих костей, одетый в просторную черную рубаху. Этой уроженке одного из порабощенных племен Судана лет было не менее, чем Абду Эффенди. Она обносила овощными блюдами хозяина и его жену. Скотту и Атые подали по два голубя.

— А-а,— протянул Скотт с искренним удовольствием.

— Атыя — хороший сын,— похвалила мать.

Скотт понял, что голуби были знаком почета, который семья оказывала Атые. Отец его, давно уж ни на что не годный, кроме ухода за детьми, не мог прокормить семью на жалкую пенсию. И Атыя содержал пятерых детей на свое воинское жалованье.

Четверо из них наблюдали за трапезой из дальнего угла комнаты. Потом вышла и пятая девочка посмелее, неся в руках большую живую курицу, но мать приказала ей оставить птицу на дворе. Девочка выбросила кудахтающую курицу за дверь и, прислонившись к столу, встала на цыпочки, чтобы поглядеть, как Скотт и Атыя едят голубей.

Атыя проворчал, требуя, чтобы детей выгнали из комнаты:

— А-а, мать! Что же это такое!

Но детям придавало духу смелое, сияющее лицо их сестры, такое же отчаянное, как у Атыи, но чернее и жизнерадостнее. Она не сводила глаз с четырех голубей, которых собирались съесть эти двое мужчин.

— Смотри за твоими цыплятами, не то кошка их съест, — сказал Атыя.

В ответ на этот неуклюжий маневр девочка презрительно мотнула головой.

Атыя обсосал лапки. Он разломил грудку первого голубя и стал было обдирать с костей тонкие полоски коричневого мяса, но тут терпение его лопнуло.

— А-а-а! — завопил он с чисто арабской несдержанностью и заколотил кулаками по вискам, чуть не плача. — Ну, это уж слишком! На! Хочешь, чтобы я подавился? На! — он разорвал надвое птицу, к которой еще не притрагивался, разделил половинки на куски и роздал их пятерым детям.

— Цок, цок, Атыя! В присутствии гостя! — возмутилась мать.

— Ну, знаешь! — глаза и голос Атыи в отчаянии взывали к небесам.

— Они обедали. И ели больше, чем ты!

— А они ели голубя? Или им непременно нужно было смотреть, как я его ем?

— Т-с-с! — сказал отец.

— Цок, цок,— сказала мать.

Скотт знал, что ему полагается продолжать есть как ни в чем не бывало. Атыя — полоумный. Он нарушил основной закон уклада арабской семьи. Схватив голубя, дети скрылись во дворе.

Чернокожая суданка Еррофа, настоящая хозяйка этого дома, который она обслуживала, вышла из себя.

— Клянусь, Атыя, никогда больше не буду готовить тебе голубей. Чем хочешь поклянусь, что ни разу больше тебе их не зажарю. Вот увидишь! Слава богу, капитан знает, как надо есть и получать удовольствие от пищи.

Скотт был признателен ей за то, что она ввела его в круг семейной ссоры. На его английском лице зубы вдруг засверкали не хуже, чем у Еррофы. Зрелище было такое редкостное, вид у него был такой счастливый, что Еррофа приписала всю заслугу себе.

— Видишь! — сказала она Атые.

— Ах, оставь ты меня в покое! — жалобно проворчал Атыя, которому уже стало стыдно; он молча доел голубя.— Скорее бы от вас уехать и пожить спокойно!

— Т-с-с! — сказала мать, и все стали с удовольствием доедать свой обед.

Второй солдат, которого Скотт привез с собой в Каир, Сэм Гассун, тоже служил у покойного Пикеринга и тоже был живым примером того, что Пикеринг умел делать из человека.

Сэм был борцом, плавал матросом на греческих шаландах, возивших лук, работал механиком в греческих гаражах. Пикеринг, заметив, как он ловко чинит приемники в греческой мастерской, взял его в таком нетронутом виде с собой в пустыню и воспитал отличного механика-радиста, каким, по мнению Пикеринга, Сэм должен был стать. А тот не очень возражал. Сам он не больно-то хорошо в себе разбирался, не понимал, трус он или просто неудачник, беспутный или слишком общительный парень... Он знал, что приятели его любят, проигрывал свой заработок и восхищался Атыей, отдававшим все деньги семье.

Осенним вечером, часов в девять, Скотт позвонил в дверь квартиры над обувной лавчонкой, возле трамвайной линии, где Сэм жил со своими четырьмя незамужними сестрами. Мальчишка-прислужник впустил его в большую тускло освещенную гостиную, застланную вытертым ковром. Немного погодя к нему вышла сестра Сэма Алиса и невесело с ним поздоровалась. Она была рада его видеть, но к радости у нее всегда примешивалась печаль: счастье не было ее уделом, к тому же она давно поняла, что быть счастливой не так уж просто. Алиса была старшей в семье.

Скотт встал:

— Простите, что я так поздно.

— Почему вы так долго к нам не приходили? — спросила Алиса по-английски.

— Нам было очень некогда...

— Мы всегда так рады вас видеть.

— Я приду к вам в следующий раз, — пообещал Скотт, все еще ощущая неловкость. Он никогда не чувствовал себя непринужденно в этой комнате, в этом тихом, сумрачном доме, если здесь не было Сэма

или остальных сестер; они так весело щебетали по-французски, по-итальянски и по-еврейски, радостно его встречали и даже кокетничали с ним, чего конечно нельзя было принимать всерьез, хотя это и льстило Скотту. Он продолжал вежливо беседовать с Алисой о болезнях и семейных делах, пока наконец не отважился спросить:

— А Сэм уже готов?

— Сэм? Сэми в кино, — сообщила ему Алиса. — А разве он должен был куда-нибудь ехать?

— Да, но видно я забыл его предупредить. Вы знаете, в какое кино он пошел?

— Нет, но думаю, что в какой-нибудь из кинотеатров в саду, поблизости. Они еще не закрылись. Сэм любит ходить туда со своими греками. Они никогда не снимают кепок и страшно шумят в передних рядах. Поищите его в передних рядах...

Скотт откланялся.

Приказав шоферу остановиться у ближайшего кино на открытом воздухе, Скотт подошел к контролеру и заорал, стараясь перекричать голоса американцев с экрана:

— Сэм! Сэми Гассун!

Ему пришлось покричать Сэма у входа еще в два кинотеатра, пока он его не нашел. Всякий раз в ответ на его зов раздавались грубоватые шуточки: ему давали советы, как лучше всего поступить с Сэмом. В третьем кинотеатре, в двух первых рядах тростниковых стульев сразу же поднялась какая-то суматоха. Из темноты вынырнул Сэми; он шел по проходу в сопровождении трех своих друзей-греков, его бритая голова блеснула в луче проекционного аппарата.

— Вы меня? — крикнул он, еще не зная кто его зовет.

— Да,— сказал Скотт.— Идем, нам пора.

— Уже? О господи, и правда пора. Одну минуточку, капитан.

Он распрощался с тремя борцами-греками и взобрался на заднее сидение «виллиса», приговаривая:

— Как же это я мог забыть? Ну да, конечно, ведь я целый день боролся с приятелями. Вот оно что! И совсем забыл.

— Ты там поскорее,— сказал ему Скотт, когда «виллис» остановился у обувной лавочки.

— Тогда пойдемте со мной наверх.

Чтобы ускорить дело, Скотт поднялся наверх. Сэм окликнул сестру, и Алиса к ним вышла. Она пожурила брата со всегдашней своей невеселой безропотностью.

— Ты только посмотри на себя! Неужели тебе непременно надо одеваться, как эти греческие мастеровые?

Алиса призвала на помощь Скотта:

— Разве он не должен носить форму, когда приезжает в город? Почему вы ему позволяете шляться с этими греками, да еще в такой кепке?

— Что это ты тут ругаешь моих друзей? — спросил Сэм, входя в гостиную в накинутом поверх голубой рубашки кителе; под мышкой у него был сверток с форменными штанами, рубашкой и кепи. — А мы кто? Можно подумать, что мы не халибы*. Разве обо мне люди не говорят, что вот я-де еврей из Алеппо и что со мной стыдно показаться на улице? Твои же евреи говорят.

— Это совсем другое дело, — сказала Алиса.

Целуя ее на прощанье, Сэм сунул руку в карман.

* Евреи из Алеппо.

— Видишь! — он шлепнул пачкой денег об стол. — Не истратил ни пиастра! — Довольный своей выдержкой, он объяснил ее тем, что ушибся на ковре.— Вот так! — и стукнул себя со страшной силой кулаком по затылку. Скотт пожал Алисе руку и вышел вслед за Сэмом.

Глава 5

Впервые за два с половиной года, которые он провел в пустыне с дорожно-топографическим отрядом Пикеринга, Скотт не испытывал ни приятного возбуждения, ни острой радости, когда, свернув с Хамудского тракта, он направил свои два грузовика в пустыню, занятую немцами, для того, чтобы наметить двести миль военной трассы. Каменистые, усеянные галькой, продуваемые ветром просторы его не влекли. Изменчивые розовато-лимонные дали не радовали глаз.

— Еще полчаса,— сказал он Сэму Гассуну, сидевшему за рулем, — и на сегодня хватит.

— А разве мы не поедем дальше после обеда? — спросил Сэм.

— Сегодня нет тумана. Нельзя, чтобы нас так скоро обнаружили, особенно здесь.

Была и другая причина, но он не мог ее назвать. Страх за отряд стал преследовать его как наваждение: он не верил больше в предусмотрительность командования. И не только генералу Черчу, а им всем — его точила мысль о тех провалах, которые сводили на нет тяжкий труд солдата, его бесконечную игру с опасностью, но никак не волновали каирское начальство.

Отряд был второй день в пути. Сегодня они выехали за три часа до рассвета, но только теперь, свернув с широкой, разбитой колесами трассы со следами шин, начинали настоящий поход по вражеской земле.

Скотт оглянулся на второй грузовик.

Сэм тоже посмотрел назад и сказал:

— Опять взяли это ведро?

Скотт ведра не заметил.

Раньше, бывало, в тот самый миг, когда для них начиналось настоящее дело, его волновала каждая мелочь. Утренний час, горячее, отдающее ржавчиной дыхание грузовика — оно бьет им в лицо, смешиваясь с росой. Влага пропитала воздух, прибила песок и приглушила гулкие звуки пустыни; низко рокочут моторы «шевроле». Он то и дело поглядывает через борт грузовика на лейтенанта Куотермейна, проверяя все ли там в порядке...

Грузовик с походной рацией, который шел позади, ничем не отличался от его собственного, не считая того, что лейтенант Куотермейн управлял им очень аккуратно и бесшумно переводил скорости. Если надлежало что-нибудь сделать, вы могли не сомневаться, что Куотермейн это сделает. Потому-то Пикеринг и вытащил его в свое время с интендантского склада — этой армейской ссылки для неблагонадежных. Куотермейн жаловался, что военные власти относились к его политической деятельности куда серьезнее, чем он сам. Как бы там ни было, его сослали на интендантский склад, куда Пикеринг как-то раз устроил набег, и Куотермейн выдал ему всю месячную норму, не потребовав никакой писульки, ибо ему казалось разумным, чтобы Пикеринг эту норму получил. Такой поступок, по мнению Пикеринга, свидетельствовал о незаурядном уме, и он прихватил Куотермейна вместе с провиантом, потребовав его перевода задним числом. Переписка по этому поводу тянулась по сей день; Куотермейн собирался вести ее до конца войны, а если повезет, то и дольше. Внимание военных властей его просто обижало; он не жалел усилий для того, чтобы они начали относиться к нему менее серьезно.

— Он держится к нам слишком близко. Это еще что за штуки? — удивился Сэм.

— Я сказал ему, чтобы он поравнялся с нами на повороте. Не хочу, чтобы, когда начнутся пески, мы поднимались на дюны гуськом. На этом мы уже раз потеряли «виллис».

Скотт поглядел на грузовик Куотермейна и заметил ведро. Но на этот раз его не позабавили глубоко штатские замашки Куотермейна. Они-то, правда, и делали его таким умелым и ценным работником, хотя частенько и очень раздражали всех его товарищей.

Сэм щелкал дынные семечки, — их ему должно было хватить еще дня на два, — и лениво вел грузовик, будто катался по улицам Каира. Пустыня для него не была безлюдной. Он поглядывал по сторонам, словно рассчитывая встретить кого-нибудь из своих приятелей-греков.

Скотт услышал, как гремят на грузовике железные полосы, которые подкладывают под колеса, чтобы они не вязли в песке, но не обратил на это внимания. Он не думал ни о чем, даже о себе. И уж никак не думал о женихе, о молодом Бентинке, который ехал с ними, чтобы доставить назад «харрикейн».

— Ну как вы там? — крикнул он Бентинку, нехотя о нем вспомнив.

— Замерз, как черт, — сгорбившись и не поворачивая к нему головы, произнес юный лорд в новеньком меховом комбинезоне. — Неужели мне придется торчать здесь еще два дня?

— Да. Больше вас некуда посадить.

— А не могли бы мы время от времени меняться местами?

— Не возражаю. А вы можете показывать курс грузовику в пустыне?

— Единственное, что я способен вести по курсу,— это проклятый самолет,— признался Бентинк, мученически прижимаясь к ящикам с боеприпасами и поглядывая вдаль, где заря превратила летучие дымки облаков в розовые лепестки и приблизила угрозу появления самолетов.

— Вот оно и поднялось! — крикнул Бентинк, когда солнце показало над горизонтом свой желтый край. Он был еще так молод, что восход солнца в пустыне вселял в него радужные надежды.

Сэм, который умел готовить, как истый грек, поджарил им на завтрак жирную солонину в томате. Были розданы твердые морские галеты, пропитанные жиром, и апельсины, мелкие, сморщенные, но сладкие. Каждый получил по ложке клубничного варенья.

— Вас кормят лучше, чем нас в летной части, — сказал молодой Бентинк, поглядывая на еду голодными глазами.— Дайте мне еще одну поджаренную галету,— приказал он Сэму.

— У нас порядок, — сухо произнес Скотт и ткнул трофейной вилкой в сторону Куотермейна. — Он ничего не забывает.

— Вы, видно, молодчага, Куорти, — благосклонно заметил Бентинк.

— А вот вы чавкаете, — заявил ему лейтенант Куотермейн. — Пора бы научиться вести себя за столом.

Скотт поглядел на них обоих; его интересовало, знают ли они, что игра, в которую они превратили свое неравенство (у одного — преимущество в происхождении, у другого — в знаниях и опыте), породила настоящее товарищество.

Куотермейн играл роль наставника наследного принца и крепко взял мальчишку в руки.

— Вы намерены опять целый день пролежать под грузовиками? — спросил Бентинк Скотта. — Неужели у вас челюсти не сводит от скуки...

У Скотта вдруг проснулась к нему симпатия.

— А разве вас не предупреждали — Пикок или кто там вас посылал, — что вам будет скучно?

— Пикок тут ни при чем.

— А кто же вас посылал?

— Да я вроде как бы сам себя послал, — заявил Бентинк. Ему было и лестно, и досадно, что Скотт проявил, наконец, любопытство. Отсутствие всякого интереса к нему за прошедшие два дня казалось ему оскорбительным.

— Как же вы этого добились? Через генерала Черча?

— Косвенно. Кровавый Черч рассказывал о своей затее папаше моей жены, генералу Уоррену, в воскресенье за обедом. Тот любит приглашать по воскресеньям генералов. Я сказал, что раз я летаю на «харрикейне», почему бы мне не съездить за машиной, когда француз сделает посадку? Мне ведь никто не говорил, что ваш брат только и знает, что ползать по пустыне на брюхе, днем прятаться, а ночью трястись по песчаным дюнам...

— Кто вам мешает вернуться? — спросил Куотермейн, показав взмахом руки назад. — Ступайте обратно по нашему следу, шагать вам всего дней десять.

— А кто же это выдумал посылать вас в день вашей свадьбы? — спросил Скотт.

— Не знаю. Пришлось подчиниться. Дисциплина. Мы не могли отложить свадьбу. А генерал не мог из-за меня нарушить свои планы.

— Почему? — спросил Скотт. — Стоило вам или вашей жене хоть словом обмолвиться генералу Черчу, он бы нарушил все что угодно. Ему-то что!

Бентинк поглядел на него с изумлением.

— Ну, старина, это вы уж загнули. Нечего вымещать свою злость на мне.

— Всю свою злость Скотт вымещает на Черче, — поправил его со своего грузовика Куотермейн.

— Да? Ну, тут я его понимаю. Этот краснорожий Черч, и в самом деле, страшный болван, — протянул Бентинк своим тонким голоском.—Да, в общем свадьба и не имела такого большого значения. Должен сказать вам, сэр,— объяснил он почтительно, чопорность Скотта конфузила даже его,— если вас это беспокоит — наши отношения с Эйлин начались, так сказать, еще до женитьбы...

— Поговорили и хватит! — крикнул Куотермейн с грузовика.

— Да, хватит! — повторил про себя Скотт, потому что Атыя и Сэм не могли принять участия в подобном разговоре. Это вносило в их группу неравенство, которого не должно было быть. Уже самое присутствие Бентинка их раскололо, ибо у Атыи и Сэма не было с ним общего языка.

Атыя дождался, пока разговор смолк, и подошел к Скотту.

— Капитан, я хочу поискать цистерну Хойля. — Он ткнул пальцем в отметку на одной из своих карт. — Помните ее?

— Помню. Но вам нельзя ехать туда на машине.

— На что мне машина? Пойду пешком, — с раздражением ответил Атыя. — Это займет часа два с половиной, не больше. Я могу дойти до тракта и вернуться назад через проход Вильямса.

— Ладно. Только не заблудитесь. И не задерживайте нас. Смотрите, чтобы вас не сцапали.

— Э-э-э! — проворчал Атыя с брезгливостью.

— Возьми ружье, вдруг тебе попадется какая-нибудь дичь, — крикнул ему Сэм.

— Ах-х! — сказал Атыя. Он застегнул плащ, рассовал по карманам записные книжки, складные карты и зашагал прямо в пустыню. Ботинки его были слишком велики и плохо зашнурованы, они громко шлепали на ходу, и ему приходилось волочить утонувшие в них худые ноги.

— Куда это он отправился? — спросил Бентинк.

— Проверить ориентир, — сказал Куотермейн.

— Какой ориентир может найти этот полоумный в абсолютной пустоте?

Куотермейн терпеливо ему разъяснил:

— Атыя пошел искать черепки и цистерну, которые немец по имени Хойль будто бы видел здесь в 1890 году; кроме него их никто не видел — не могли точно установить, где они находятся.

— И вы надеетесь, что вашему сумасшедшему это удастся? — Мальчишка захохотал с тем бездумным бессердечием, которое так свойственно подросткам и обычно проходит с юностью, но не всегда — особенно если этому недугу способствует высокое социальное положение.

— Удастся, если ориентир вообще существует, — заверил его Куотермейн, заметив, что мальчишество летчика явно раздражает Скотта.

Скотт не слушал ни Бентинка, ни Куотермейна. Он думал о том, что в прежние времена он наверняка пошел бы вместе с Атыей, но теперь его никуда больше не тянет.

Бентинк поднялся.

— Пожалуй, я схожу с ним, если вы не возражаете.

Скотт лежал опершись на локоть — нетерпимый человек, когда дело касалось Бентинка. Потрескавшиеся губы еле-еле разжались.

— Вас интересуют черепки, Бентинк? — спросил он.

— Нет, сэр. Но я не могу сидеть день-деньской, как вы, и дожидаться вечера. Я к этому не привык. Можно мне пойти?

— Нет, нельзя. Вы ему только будете мешать. За вами нужен глаз, а он — плохая нянька.

Куотермейн смягчил его резкость:

— Атыя и за собой-то присмотреть не может. Если говорить начистоту, Бенти, я почти не надеюсь, что мы его снова увидим.

Закончив, наконец, необыкновенно сложную маскировку своего грузовика, Куотермейн подошел к ним с кружкой в руках.

Все участники похода, за исключением Бентинка, были примерно одного возраста, но Куотермейн казался старше своих лет, благодаря густым черным волосам и густым черным усам, чуть-чуть свисавшим от собственной тяжести. Зато Куотермейн был аккуратистом, что выгодно отличало его от товарищей и даже от Бентинка, который хоть и пытался подражать своим небритым, оборванным спутникам, но не очень удачно, ибо в нем говорила кровь множества хорошо одетых поколений. Если не считать густых черных усов, лицо Куотермейна было чисто выбрито, взгляд ясен, а нрав чрезвычайно уживчив. У него был такой легкий характер, что однажды Пикеринг в сердцах спросил его: «А есть на свете хоть что-нибудь, чего вы всерьез не любите? Есть хоть кто-нибудь, кого вы ненавидите?» И Куотермейн не задумываясь ответил:

— Нет, что-то не припоминаю.

Его темные волосы выглядели так, словно их только что подстригли и напомадили в каирской парикмахерской.

— Вы похожи на иностранца,— сказал ему молодой Бентинк, спросив, настоящий ли он англичанин. Куотермейн не обижался, когда его оскорбляли без умысла. Он легко переносил любую погоду, никогда не кутался, и лишь застегивал до самой шеи свою ладно пригнанную бумажную куртку.

— Ну и хлопотун же вы, — попрекнул его Скотт, видя, как тот суетится возле грузовика. — Успех маскировки зависит от общих очертаний, а не от деталей. Чего вы там возитесь?

Куотермейн использовал последнюю каплю своего чаю на то, чтобы вычистить песком кружку и натереть ее до блеска.

— Привычка, — сказал он, — люблю копошиться.

— Завтра вместо этого ведра поставьте наверх пулемет. — Скотта раздражало его благодушие.

— Пулеметы у меня наготове в особом чехле, я их сунул между запасными шинами. Не пачкаются и не бьются друг о друга, — спокойно ответил Куотермейн. У него всегда на все был ответ. Уж он-то за словом в карман не полезет!

Сэм Гассун забрался под маскировочную сетку радиорубки и стал настраиваться на волны других кочевых отрядов пустыни, проявляя то же чутье, что и за рулем автомобиля. Он различал каждый треск, каждый невнятный сигнал Морзе и знал, откуда они идут. Сигналы, которые передавал Сэм, всегда были немножко путаны, но полны живости, напоминая ту милую небрежность, с какой французы говорят по-английски. Их всегда можно было отличить, и к ним стоило прислушаться.

— На пятнадцати метрах я нашел Джелли, — объявил он Скотту с довольным видом. — Может, дать ему сегодняшнюю сводку?

— Не надо. Экономьте батареи.

— Вы не хотите, чтобы они знали, где мы находимся?

— Они и так знают. Берегите батареи.

Сэм выключил передатчик и уныло слез с грузовика; он тяжело опустился на землю недалеко от Скотта. Посмотрев на его расстроенное лицо, Скотт сказал:

— Ночью поставьте мачту и, если удастся, свяжитесь с Кашингом. Сообщите ему, где мы находимся.

— Если надо, я могу связаться и с Сивой, — Сэму было необходимо, чтобы друзья в него верили.

— Вы только на него посмотрите! — сказал Куотермейн, показывая на Бентинка, который улегся на спину и, похрапывая, спал под палящими лучами солнца; его пухлый, розовый ротик был полуоткрыт, из породистого носа вылетал свист, а свежие щеки раскраснелись. — Кого он вам напоминает, Скотти?

Скотт взглянул на мальчишку и заслонил глаза от солнца книгой, которую читал лежа.

— Он похож на одного из щенков, которых пытался разводить Пикок, — сказал он. — Порода хорошая, но хребет сломан от рождения. — Скотт выразительно щелкнул крышками переплета, как тогда ветеринар пальцами. — Вот так!

Черные глаза Куотермейна, которые никогда не выражали неприязни, смеялись.

— Беда, по-вашему, в его происхождении?

Скотт удивился.

— Я об этом и не думал.

— Нет, думали. И высказали невзначай.

Скотт поморщился.

— У нашего Бентинка только одна беда: он еще совсем щенок.

— Да, но какой щенок! Прошло двести или триста лет, а он все еще щенок! Подумайте о всем их отродье: о командующих, о губернаторах, канцлерах, о вице-королях, земельных магнатах, плохих генералах — все они были люди никчемные, ни на что не годные, и в завершение появляется вот такой Бентинк. Как ему быть? Что ему делать? Когда кончится война, молодому Бентинку не достанется ни шиша.

— Кто же у него все отнимет? — спросил Скотт.

— Сэм, — ответил Куотермейн.

Сэм храпел под брезентовым навесом, покрыв лицо сеткой от мух.

Скотт устал от разговора.

— Вы хоть предупредите об этом Сэма. Ручаюсь, он и не подозрева-

ет, что ему суждено выхватить из-под самого носа у Бентинка целую вселенную.

— Сэм об этом узнает. Да и вы узнаете, и я тоже. Миру Бенти пришел каюк, а мир Сэма грядет. Все уже решено и подписано, Скотти. Это история, капитан! История! Надо и вам делать выбор, не то вас захлестнет хаос.

— Если это история, хаос нас уже захлестнул. Что такое война — если не хаос истории?

Куотермейн прилег, собираясь заснуть.

— Ну, война долго не протянется. Ваша насущная задача — решить, какой вы видите в жизни смысл лично для себя. Что до меня, то я сделал свой выбор между правителями и угнетенными. Много лет назад. Но если не считать парочки политических заварушек в районе Клеркенуэлла и во всех офицерских столовых от Александрии до Багуша, пользы от меня было на грош. Да я и не в счет. Но когда вы станете на чью-нибудь сторону, то, зная вас, я уверен, вы пойдете до конца, и попробуй только вас кто-нибудь удержать! — При мысли об этом Куотермейн с легкой дрожью произнес: — Б-р-р!— и добавил: — Наверно мне бы следовало постараться обратить вас в правильную веру. Но Черч, ей-богу же, сделает это куда лучше меня.

— Черч? В какую веру может обратить меня Черч?

— Не притворяйтесь, будто не понимаете.

Скотту не хотелось шутя говорить о Черче.

— Я и не думаю притворяться, когда речь идет о Черче...

— Знаю. Но в вашем раздражении, которое копится против этого чертова ублюдка, есть нечто большее, чем неприязнь к нему лично. Признайтесь, вся эта компания в Каире вам кажется сборищем мерзопакостных черчей...

— Нет человека в пустыне, который думал бы о Каире иначе...

— Вот как? — спросил Куотермейн многозначительно.— Неплохо для начала, не так ли?

— Начала чего?

— О господи! Классовая борьба — это классовая борьба!

— Вот оно что! — протянул Скотт разочарованно.— Вы же знаете, что я думаю по поводу вашей теории. Все дело в человеке. Весь вопрос только в человеке. Если Сэм лучше Бентинка, он лучше как человек. Если Пикеринг был лучше Черча, он был лучше как человек...

— Вашими устами говорит Пикеринг.

— Разве Пикеринг не доказал своей правоты? Разве каждый, кто работал с Пикерингом, не был прежде всего человеком, а уж потом социальной особью?

— Да, но Пикеринг был чудаком. Вы правы, он любил людей и знал, как с ними обращаться. Но для своего класса он был выродком. И притом подсознательно его чаще всего влекло к людям из низших классов. И вы такой же. Вы предпочитаете Сэма Бентинку. Вы предпочитаете Атыю Черчу. Вы подсознательно делаете выбор, но при этом морочите себе голову теориями Пикеринга насчет человека вообще. Пожалуйста! Человек — конечно большая ценность. Но это только начало решения вопроса, а не конец. Люди делятся на имущих и неимущих, вот в чем суть!

— А я, например, кто я такой? — спросил Скотт.— Имущий или неимущий?

— Это зависит от вас,— ответил Куотермейн радостно, но не очень уверенно, ибо был удивлен, что ему удалось втянуть Скотта в разговор, которого тот всегда избегал.— Англичане утвердили себя на двух китах:

на лицемерии и на технике. А это — вы. Я хочу сказать, что вы — это техника. Инженер, прокладыватель путей, лоцман — это вы. Это ваш отец строил каналы в стране и оснащал ее техникой, чтобы выращивать дешевый хлопок. Это — ваш пьяница-дед, который, как вы сами рассказывали, еще дома, в Перте, старался так тонко раскатать стальные листы, чтобы они годились для обшивки китобойных судов. Такие вот пасынки, как вы, построили Британскую империю, но вы построили ее для Черча и компании... И они же уговорили вас хозяйничать в ней и зарабатывать для них деньги. Понятно?

— Нет, я...

— Разве вы не видите, что их сила убеждения куда опаснее для вас, чем прямое насилие, чем угроза вас уничтожить? Их чары куда страшнее для вас, чем все их преступления и глупости. Они отдают вам лишь то, что им не жалко, а остальное присваивают себе. Вы построили здание Британской империи, но владеете им не больше, чем владеет Букингемским дворцом рабочий, роющий рядом с ним котлован...

Скотт потянулся.

— Очень она мне нужна, эта империя. Посмотрите, на что она стала похожа! А вы бы хотели ею владеть?

— Это другой вопрос. Вы свое дело сделали. Но день уж на исходе и ночь близка. Вам надо решить, чьими все это сотворено руками. И тогда обнаружится, что вы — неимущий, нравится вам это или нет.

Скотт пожал плечами. Он рассеянно слушал своего собеседника. Ему хотелось спать.

Сняв ботинки и подложив себе под голову книгу и планшет, он стал дожидаться, придет ли к нему сон, придет ли к нему что бы то ни было.

Но пришла только бедуинская поговорка: «Пустыня превратит и тебя в пустыню, если ты вошел в нее непрошеный, вопреки желанию той, что живет в шатре и молит тебя никуда от нее не уходить». Никто не раскинул для Скотта шатра ни здесь, ни где бы то ни было; нет у него и той, кто молила бы его остаться. Единственный голос, который он мог бы услышать, больше не достигал его ушей.

Атыя нашел черепки и цистерну. Ему хотелось взять лопату и вернуться для небольших раскопок, но Скотт пообещал, что они сделают это на обратном пути. Сэм предупреждал об опасности. На вечерней заре, когда грязновато-розовое марево растеклось до самого края горизонта, он поставил мачту своей антенны.

— Капитан! Кашинг говорит, что южнее через пески идут два итальянских «дизеля». Они где-то там за барханами.

— По какой трассе они движутся? — издали спросил его Скотт.

— Он не сказал.

— Выясни, Сэм. Но не думаю, чтобы это нас касалось. Вот завтра нас наверняка будут беспокоить самолеты. На всякий случай снимемся в семь. Сегодня ночью начнем провешивать дорогу для Черча.

Пока Атыя ориентировался по звездам, Скотт ушел в темноту, чтобы наметить начало трассы, а остальные следовали за ним, делая отметины. Там, где встречались скалы, они выкладывали из камней пирамиды. На следующий день, когда они отъехали дальше на запад, скалы исчезли, потянулись отлогие известковые склоны, и они пропахивали по ним борозды, подвязав небольшой лодочный якорь к заднему мосту грузовика. Один Куотермейн знал, откуда взялся этот якорь, и шутки ради хранил его два года, пока всем не надоело спрашивать, как он к нему попал.

На третий день они обозначили откос эскарпа, насыпав на него белой извести, а внизу разбросали куски сгоревших танков, на которые вряд ли

могли позариться бедуины. Для посвященных все эти знаки служили вехами; для тех же, кто ничего не знал, отметины казались случайными и друг с другом не связанными.

В полдень четвертого дня, когда они лежали без всякого прикрытия среди невысоких каменистых холмиков, за которыми трудно было укрыться, их заметил самолет с акульей пастью, нарисованной на носу.

— «Мессершмитт 109», — сказал Бентинк. — Что-то он больно низко летит. Он нас может увидеть?

— Вам это лучше знать,— ответил ему Скотт.

— Во всяком случае, он возвращается.

Спасаясь от непрерывно дувшего холодного ветра, они лежали плашмя на этом жестком и открытом ложе. «Мессершмитт» сделал поворот, качнув тупо обрубленным крылом, и пошел на них.

— Если он хоть немножко опустит нос книзу, — закричал Бентинк, — тогда берегись!

Скотт приказал им лежать неподвижно.

— Не шевелитесь. Он нас видел и возьмет на прицел.— И когда самолет сделал круг и стал пикировать на их убежище, Скотт внезапно поднялся и хладнокровно направился к воткнутой в песок лопате. Он положил ее на плечо и спокойно, не торопясь, пошел прочь. Подняв голову, он поглядел на самолет, который пронесся мимо него на высоте двухсот футов, подрагивая крыльями на сильном ветру.

Когда шум мотора стих, Скотт заставил и других встать и расхаживать как ни в чем не бывало. У Скотта голова была непокрытой, как всегда в пустыне, а на Куотермейне теперь была надета мягкая островерхая пилотка итальянского образца, которую он хранил для подобных случаев, и когда «мессершмитт» вернулся, чтобы еще раз проверить, нет ли здесь чего-нибудь подозрительного, Куотермейн, не прячась, рыл яму. Он поглядел вверх и небрежно помахал самолету, широко улыбаясь своим белозубым ртом под черными усами.

— Они, наверное, приняли вас за итальяшку, — сказал Бентинк. — Вы на них похожи.

— Правильно,— сказал Куотермейн.— Когда самолет возвращается заподозрив неладное, мне всегда удается его обмануть. Но один только бог знает, за кого они приняли вас, Бентинк. Просто чудо, что из-за вас нас не перестреляли: вы-то выглядите именно тем, кто вы есть.

— А что нам делать теперь? — спросил Бентинк, когда немецкий самолет удалился.

— Выбираться отсюда,— сказал Куотермейн.

Скотт позвал Сэма и Атыю, которые сидели на грузовиках у пулеметов.

— Если ночью их самолеты заметят «харрикейн», когда машина пойдет на посадку, они поймут, что к чему. Завтра или, на худой конец, послезавтра вы, Бентинк, сможете заняться своим делом. Мы должны добраться до «харрикейна» завтра ночью .

— Надеюсь, француз посадит машину так, что я смогу взять разгон. Мне понадобятся двести ярдов. И почва нужна твердая.

— Ну и ветер,— сказал Скотт, подставляя спину под его холодные удары.— Вам он здорово помешает?

— Не очень. Скорее поможет при взлете, если не будет слишком порывистым.

— Он может поднять песчаную бурю,— сказал Скотт.— А это нас задержит. Поэтому давайте-ка лучше двигаться. Если удастся, ночью доберемся до эскарпа,— сказал он Куотермейну и стал убирать маскировочные сети с грузовиков. Сэм снял пулеметы со станин и засунул их, не разряжая, под веревки тента.

Глава 6

В темноте нельзя было различить очертаний эскарпа: по одну сторону его высилась какая-то тень — вот и все, что было заметно. А где-то впереди, в сухой долине вади* на изогнутых железных палках ржавели переплетенные ряды колючей проволоки.

— За проволоку не ходите,— предупредил Скотт Бентинка.— А лучше вообще не трогайтесь с места.

— Это почему? В чем дело?

— Да ни в чем. За колючей проволокой минное поле, и никто не знает его границ. А меньше всего тот, кто его минировал.

Скотт сказал это таким странным тоном, что Бентинк сразу заинтересовался. Он спросил, кто минировал это поле.

— Ваш приятель Черч,— разъяснил ему Куотермейн, так как Скотт ничего не ответил.— Любимое минное поле самого генерала Черча.

Скотт ждал, отзовется ли в двадцатилетней душе офицера его величества, летчика Бентинка, неясное эхо того, что здесь прозвучало.

— Это тут был убит муж Люси Пикеринг?

— Пикеринг и многие другие,— сказал ему Куотермейн.— Двадцать два человека, в пятистах метрах от вади.

— Правда, что Пикеринг разгуливал с флейтой за поясом?

— С флейтой? — переспросил Скотт, а потом рявкнул: — Ага, теперь это уже стало флейтой! Раньше говорили, что с губной гармошкой.

— Как же Пикеринг мог допустить такую ошибку?

— Какую ошибку?

— Разве он не сам забрел на это минное поле? — Бентинк с наслаждением жевал дымящееся жаркое, которое приготовил Сэм, и тут же добавил, чтобы сделать ему приятное: — Вы, греки, здорово умеете приготовить любую дрянь.

— Я еврей, а не грек,— поправил его Сэм, не желая получать незаслуженный комплимент.— И Пикеринг не сам забрел на минное поле, а его туда загнали.

— Хватит,— сказал Скотт.

— Пусть знает правду,— настаивал Сэм.

— Перестань, Сэм. Замолчи.

Они не думали больше о Пикеринге пока не попили чаю. Скотт сказал, что, когда стемнеет, он перейдет через проволочное заграждение. Остальные могут его сопровождать, но точно по его следам, не то угодят на мины. Атыя заявил, что он остается.

Миновав заграждения, Скотт повел их по твердой и скользкой дорожке вдоль откоса эскарпа.

Они вышли в горловину вади, перегороженную рядами колючей проволоки. Когда склоны долины расступились, Скотт со своими спутниками оказались над небольшим высохшим водоемом, поросшим душистыми кустиками тамариска и солончаковых трав, чуть отдающих приятной затхлостью во влажном ночном воздухе.

— Вон бочки со смолой,— сказал Скотт, показывая на темное пятно внизу.— Обождите здесь, я найду проходы. Впрочем, вы, Куорти, можете пойти со мной.

— Да нет, я лучше подожду,— сказал ему Куотермейн.— Зачем же идти дальше...

Скотт пошел вперед, и Сэм последовал за ним.

— А он знает дорогу? — спросил Бентинк.

— Пойдет по воронкам от взрывов.

---

* Сухие долины, встречающиеся в пустынях Аравии и Северной Африки, протяженностью порой в несколько сот километров.

— Зачем они туда пошли? — снова спросил Бентинк, уставший от темноты, от ожидания, уставший от тоски, которая охватила их всех.

— Да просто так. Хотят поглядеть на это место, вот и все.

— Почему?

— Ну вас, заткнитесь,— спокойно отрезал Куотермейн.

— Простите...— смешался Бентинк.

— Пожалуйста,— сказал Куотермейн, и хотя на него тоже напала тоска, она была не такой острой, как у других — скорее покорность судьбе, чем отчаяние.— Вы имеете хоть какое-нибудь представление о том, что здесь произошло?

— Знаю только, что Пикеринг тут попался.

— Черч одурел со страху в прошлом году, там у эскарпа,— рассказал ему Куотермейн.— А Пикеринг тут нарвался на мины. Бочки со смолой стали его могилой.

Бентинк молчал.

— Вы полетите домой завтра или послезавтра, — продолжал Куотермейн.

— Слава тебе господи, да,— сказал Бентинк.— Я не приспособлен к такой жизни — для меня она слишком неподвижна и опасна.

Куотермейн кивнул.

— Наверно так оно и есть. Но когда вы вернетесь, вы можете оказать Скотту услугу. Если, конечно, захотите.

— За что же это я должен оказывать ему услуги?

Куотермейн опустился на откос эскарпа и спросил:

— Как относится к Скотту генерал Уоррен? Да и что они все о нем думают, если на то пошло? Вы, наверняка, слышали, что о нем говорят.

— О Скотте?

— Да.

— Вы знаете, нет. Они просто называют его имя «Скотт» так же, как это делаете вы, словно одним его именем все уже сказано. Не знаю, как насчет Черча, но думаю, что генерал Уоррен разрешил мне участвовать в этой вылазке только потому, что верил, будто я у вашего Скотта как у Христа за пазухой. Он не отдал бы в руки дураку своего новенького с иголочки зятя!

— Понятно. А что вы слышали еще?

— Говорят, что у Люси Пикеринг с ним что-то есть. Люси, конечно, может завести роман с любым идиотом в Каире, это ее право, но единственный человек, с кем у нее есть какие-то отношения — это Скотт; так, по крайней мере, говорят. Моя жена, в частности. Они и на мою свадьбу явились вместе.

— Это никого не касается,— сказал Куотермейн с неожиданной завистью.— Я вам говорю совсем не о том: Скотту нужен друг, близкий к Уоррену, и вы для этого человек подходящий.— Теперь Куотермейн уже не поучал, он приказывал.

— Я? А какое, черт бы его подрал, Скотт имеет ко мне отношение?

— Зря вы так ершитесь. Это у него такая манера разговаривать.

— А я и не думаю ершиться.

— До этой самой истории в Джало Скотти не был таким бирюком. Не было у него и теперешней подозрительности. Он, правда, не говорун, но зато человек незаурядный, ему это простительно. Вы ведь не видели его в деле.

— Ай, какая жалость!

— Не говорите глупостей! Надо, чтобы там у вас наконец поняли: Скотт до сих пор не может забыть убийства Пикеринга и остальных своих товарищей. Мысль об этом толкает его бог знает на что.

— Ай, какая жалость! — повторил Бентинк.

— Не болтайте вы ерунду! Беда в том, что Скотт стал очень подозрительным, он все еще ломает голову над этой проклятой историей. А зная Скотти, могу вам сказать заранее: когда он додумается до самой сути, он сидеть сложа руки не будет. И самое неприятное, что он подходит к этому делу с точки зрения личной ответственности. Во всем винит Черча. Надо, чтобы они это поняли, пока не поздно.

— А что же тут понимать? Что он, по-вашему, может сделать?

— Почем я знаю? Бог его ведает, что у него на уме. Черч-то уж наверняка. Во всяком случае, Скотта ждут неприятности. Я просто чувствую, как он на них напрашивается. И тогда ему очень пригодятся друзья.

— Ладно. Чего вы от меня хотите? Сказать Уоррену, что он мой друг?

Куотермейн словно и не слышал его брезгливого тона.

— Вам наверно рассказывали о Пикеринге?

— Еще бы! Не человек, а какое-то чудо!

— А он и в самом деле был чудо. В том-то и беда. Но половина этого чуда — Скотт. Скотт — это реализация замысла и его успех. Сам Пикеринг был неудачником. Он был оригинал, бунтарь, чудак и джентльмен. И весь начинен всякими талантливейшими, но сумасбродными затеями. Но, как правило, осуществлял эти затеи Скотт. Когда Пикеринг договорился с французами о трассе через пустыню, от озера Чад прямо через расположения итальянцев, и когда он, первый, дважды пересек пустыню на юге, и когда он совершил свой знаменитый переход по триполитанской дороге, чуть ли не под немецким конвоем, — задумано все это было Пикерингом, но осуществлено, и при этом блестяще осуществлено, Скоттом. Разрабатывал планы, вел отряд, составлял карты и принимал решения Скотт. Пикеринг придумал первый дорожный патруль, действующий в трехстах милях от линии фронта, в тылу у итальянцев, но привел его туда Скотт и вывел оттуда незамеченным тоже он. Пикеринг изобретал, а Скотт претворял в жизнь. Они отлично дополняли друг друга. И обидно то, что Пикеринг стал героем легенды, а о Скотте, человеке слишком скромном, чтобы на это претендовать, и совсем лишенном тщеславия,— никто так и не знает. В общем, и это неважно. Он-то ведь сам никакого урона не ощущает. Но теперь, когда Скотти делает все, чтобы попасть в беду, надо кое-кому открыть глаза на то, что он собой представляет.

Бентинк был недоволен.

— Но я же ничто,— сказал он.— Тоже фигура — зять генерала. И все-таки я не понимаю, что вы нашли в этом Скотте такого необыкновенного? Кого он интересует?

— Меня и многих других. Скотти любят, потому что могут на него положиться. И человек он необыкновенный, потому что делает свое дело лучше других.

— Значит, по-вашему, выходит, что и он — чудо?

— Вопрос не в этом. А в том, что Черч безусловно его ненавидит, не зря ведь и Скотт так ненавидит Черча. И я стараюсь использовать вас, чтобы как-то смягчить отношение к Скотту Уоррена или тех, кто над Уорреном. Если им до него есть хоть какое-нибудь дело.

Бентинк пожал плечами.

— А кровавый Черч в самом деле пустил на воздух Пикеринга? Это правда?

Воспоминания были тяжелые, и Куотермейн нервно поглаживал губу под густым черным усом.

— Скорее всего, да,— сказал он,— Черч попал здесь в трудное положение. Роммель обманул его ложным маневром на севере. Он же бездарь, этот кровавый Черч. Двинул все, что у него было, на север, а потом понял, что его ввели в заблуждение и ему нечем задержать немцев,

а их моточасти прут через эту вади, грозя отрезать путь к отступлению и ему самому, и всем остальным. Поблизости не было никого, кроме дорожно-топографического отряда Пикеринга, который прибыл из Сивы, когда бои уже начались. Черч дал приказ Пикерингу удерживать головные укрепления любыми средствами, забыв предупредить, что эскарп заминирован. Первые два грузовика подорвались на минах. А потом вдруг ударила наша артиллерия, которую Черч в панике тоже забыл предупредить; она направила весь свой огонь на это место и разнесла на кусочки то, что осталось от Пикеринга и его отряда. После этого Роммель прошел через эскарп без всякой помехи.

— Но ведь Скотт остался в живых, и вы тоже,— заметил Бентинк.

— Сэм и я застряли из-за поломки грузовика в ста милях отсюда. Скотт и Атыя приехали из пустыни, чтобы присоединиться здесь к Пикерингу. Они подкатили на «виллисе», когда все уже было почти кончено— осталось кровавое месиво. Местность кругом была похожа на бойню. Наш отряд всегда был невелик и тесно спаян. Все мы были друзьями. И те из наших ребят, кого не разорвало в клочья возле бочек со смолой, лежали по краям траншеи с ужасными ранами, со смертельными ранами, а Скотт с Атыей ничем не могли им помочь, потому что Черч в это время уже отвел свои войска и бои шли в другом месте. У Скотта не было рации, поэтому он не мог надеяться на помощь с воздуха. Да в живых-то и осталось всего четверо. Они нашли тело Пикеринга или вернее то, во что оно превратилось, разбросанным по всем этим бочкам со смолою. От других, тех, что ехали в первом грузовике, не нашли даже следа; выжили Джек Тайги и поляк по фамилии Цизельский — им обоим оторвало ноги выше колен. Ближайший друг Скотта Мозес Броди — инженер с рыжей шевелюрой и рыжей бородой, выше вас на голову и вдвое вас толще, Сэм, бывало, боролся с ним, покуда они друг другу чуть все кости не переломают, — Мозес был еще жив, но ему снесло половину лица и сожгло на теле всю кожу. Он попросил Скотта, чтобы тот его пристрелил. Скотт так и сделал.

— Господи...

— Тогда Атыя пошел через минное поле, чтобы притащить одного из наших шоферов, Кэрри — молоденького шотландца ваших лет; тот так и сидел, пригнувшись к баранке: взрывной волной ему вогнало в живот руль. Атые посчастливилось: он отделался потерей двух или трех пальцев на ноге и половины одной ягодицы. Скотт остался с тремя ранеными,— они были еще живы,— и Атыей, который едва полз, заливая все кругом кровью. Скотти кое-как погрузил их всех в свой «виллис» и отправился на поиски переднего края — все равно чьего. Их обстреляли наши самолеты. Одному из раненых, лучшему нашему механику «Тик-так-Симпсону», прострелили голову. Второй тоже умер. Когда Скотту удалось, наконец, встретить свою часть, в живых оставались только Атыя и еще один солдат, новозеландец Понтинг. Но у Понтинга были повреждены мозг и глаза, и хотя он выжил — лежит до сих пор в каком-то госпитале,— лучше бы и ему умереть.

— А что Скотти сказал потом этому ублюдку Черчу? — спросил Бентинк.— Ну и чертов кретин!

Куотермейн растер пальцами стебель солончаковой травы и кинул горсть пыли на ветер.

— Скотти не сразу понял, что произошло. Дело пытались замять. Но Скотти не так-то легко сбить с толку, и постепенно он раскрыл всю подоплеку этой истории.

— И не поднял шума?

— Он наткнулся на Черча в пустыне некоторое время спустя; тот был у гусар и сидел на ступеньке командирской бронемашины. Он вежливо

поздоровался со Скоттом и даже изобразил на лице печаль. Скотт вышел из себя и обозвал его кровавым убийцей.

— Черч это слышал?

— Половина армии это слышала. А почему, по-вашему, его прозвали кровавым Черчем? Скотти прокричал ему это в лицо и ушел. Там был гусарский полковник, некий Сент-Джон,— вы его, наверно, знаете. Не сомневаюсь, что и он плясал на вашей свадьбе, вместе со всей этой сворой... Так вот, Сент-Джон был в это время в броневике; он вылез и хотел взять Скотти под стражу. Но Черч, несмотря на весь свой чертов идиотизм, не позволил. «Отставить!» — потребовал Черч и объяснил Сент-Джону, что арест Скотта не поможет им выиграть сражения. Он сказал, что у них со Скоттом свои счеты, и все уже улажено...

— Молодчина Черч! — воскликнул Бентинк: в нем заговорило уважение спортсмена к честной игре.

Почувствовав это, Куотермейн сказал:

— В школе вам вбивали в голову всякие благоглупости. Циники поговаривают, что Черч побоялся предать Скотта военно-полевому суду, не желая, чтобы тот выложил все, что думает об устроенной им бойне.

— А это правда?

— Возможно.

— А Скотт бы так и поступил?

— Может и нет, по крайней мере тогда. Скотт распаляется медленно. Но, как и все немногословные саксы, в конце концов доходит до кипения. Сейчас он уже почти доспел. Потому я и боюсь, не замышляет ли он какой-нибудь ход. Дело становится для него опасным, потому что, решившись, Скотт уже не отступит, а всю вину он возлагает на определенного человека, на одного идиота, хотя никакой разницы между Черчем и любым другим генералом во всей этой чертовой английской армии не было и нету...

— Но что он может сделать с Черчем сейчас? Ну, даст ему в морду, а дальше?..

— Понятия не имею. Знаю только одно: Скотти сделает то, что подскажет ему совесть...

— А вы не можете его убедить, что уже слишком поздно?

— Да я не очень-то склонен его уговаривать. Но я хочу знать наверняка, что ему не сломают шеи. И если вы ничего для него не сделаете, может, что-нибудь выйдет у вашей приятельницы Люси Пикеринг? Поговорите с ней насчет Скотти.

— С Люси? А почему бы вам не поговорить с ней самому? — удивился Бентинк.

Куотермейн покачал головой:

— Не буду.

— Почему? Вы ее не любите?

Куотермейн задумался; потом к нему вернулось чувство юмора, которое казалось, отняли у него печаль утраты, горький опыт и то место, где они сейчас находились. Он улыбнулся.

— Люси — хорошая,— сказал он задумчиво.— Прежде она пеклась о нас всех. Ей это нравилось. Когда отряд возвращался в Каир прямо из пустыни, Пикеринг сообщал ей заранее по радио и она встречала нас на дороге, возле Мены, в открытом «фордике» со своими двумя детьми и с большим ящиком лимонов и апельсинов. Нам это было очень приятно. Пикеринг с всклокоченными волосами, грязный, с седой щетиной, в самом невероятном костюме; мы все — как стадо голодных шакалов, а рядом эта молодая и какая-то солнечная женщина со своими красивыми детьми... Так бывало при Пикеринге...

Они услышали шаги Скотта и поднялись.

— Ну что? — спросил Куотермейн.

Скотт протянул ему две мины — круглые, покрытые землей и ржавчиной.

— Вот что мне было надо,— сказал он.— Как по-вашему, похожи они на немецкие «тарелки»?

Куотермейн ответил, что в темноте ему трудно определить, но он отлично видел, что мины английские.

— Для чего вам это знать? Мы ведь и не сомневались, что поле было заминировано англичанами.

— Мне нужны доказательства.

— Зачем?

Скотт стал вытряхивать песок из ботинок.

— Пикок пытался меня убедить, что Роммель заминировал это место задолго до того, как сюда пришел Черч. Сэм на всякий случай припас еще две штуки.

— А где Сэм? — спросил Куотермейн.

— Я здесь,— отозвался Сэм, с трудом передвигая свое грузное тело по откосу. Под мышкой он нес две плоские мины, и его небритое лицо казалось во тьме бескровным и осунувшимся. Воспоминания оставили на нем свой отпечаток: боль, бледность и слезы. Выкапывая мины, он перепачкал лицо землей, и от глазниц к большим, дрожащим губам тянулись мокрые следы.

— Я заметил в той стороне какой-то кол и пошел посмотреть, что это такое,— сказал он.— Итальянцы поставили там крест.

Когда они вернулись к грузовикам, Атыя не спал; он дожидался их, лежа с открытыми глазами на брезенте. Он развел в ямке костер из валежника и варил в медном котелке кофе по-турецки. Атыя поставил всем им по медному стаканчику, но когда Скотт предложил ему выпить тоже, он молча отвернулся.

Глава 7

Скотт думал о Люси Пикеринг; мысли о ней все еще его не оставили. Прежде он забывал о ней после нескольких дней, проведенных в пустыне. А теперь эти мысли начинали его тревожить.

И тревожило его не лицо с таким нежным овалом и продолговатыми, прозрачными глазами. Скотта волновал ее темперамент: ведь она никогда не давала себе воли. Как-то раз Пикеринг попросил Скотта подержать маленькую Эстер (Скотт унаследовал у Пикеринга и его порывистую, чудаковатую привязанность к ребенку), и он потянулся к девочке, как только она протянула к нему ручонки. Люси хотелось, чтобы отношения с детьми у нее были простые и ясные. Ей хотелось, чтобы и отношения со Скоттом у нее были такие же простые и ясные. Так свершалось столь типичное для англичан насилие над собственной душой. Ясность отношений с Пикерингом действительно была ей нужна, но со Скоттом такая ясность, пожалуй, была бы ей только во вред.

— Еще далеко? — прервал его мысли голос Бентинка.

Скотт вел Бентинка к плато, откуда они должны были увидеть «харрикейн». Еще не светало, и они шли в темноте. Шли уже целый час, молча, с трудом передвигая ноги. За этот час Скотт успел принять решение, а Бентинк выйти из себя.

— Еще один бархан — и мы его увидим,— сказал Скотт.— Если к тому времени чуть-чуть посветлеет.

Бентинк заявил, что ему дьявольски холодно, что ему осточертела пустыня, осточертело плестись и прятаться, и снова куда-то идти без всякой цели и без всякого смысла.

— Когда летишь в самолете,— говорил он,— всегда куда-нибудь прилетаешь, а потом возвращаешься обратно. А вы идете в никуда, никогда и ни до чего не доходите и видите кругом одну только пустоту. Даже если вы куда-то стремитесь, вы стремитесь в никуда.

— Привычка,— сказал Скотт. Мысли его были заняты совсем другим. Он вдруг разоткровенничался.— Вы вернетесь прямо в Каир? — спросил он.

— Да, когда доставлю в Багуш самолет. В Гелиополис — моя эскадра еще там. А что?

— Вы, наверно, увидите Люси Пикеринг?

— Ах, вот вы о чем, старина... Стало быть, дело уже на мази?

— Передайте ей от меня несколько слов,— сказал Скотт, как всегда жестко и без запинки, хотя ему явно было нелегко.

— А почему бы вам ей не написать? — услужливо предложил Бентинк.

Теперь Скотт сконфузился, ему трудно было договорить до конца.

— Дело не такое уж важное,— сказал он.— Передайте ей, что я вернусь в Каир недели через две-три. Вот и все.

— Она вас ждет, старина?

— Дело не такое уж срочное,— настойчиво повторил Скотт.— Если хотите, передайте ей, не хотите — не надо.

— Не беспокойтесь,— рассмеялся Бентинк,— я ей непременно передам.

Он запел, и Скотт понял, что розовые щеки, пухлые губы и детские замашки взяли свое. Куотермейн спросил его, почему он недолюбливает Бентинка, но он промолчал и только пожал плечами. Тогда Куотермейн рассмеялся:

— Подсознательно, Скотти, вы уже почти примкнули к определенному лагерю. Но Бентинк — симпатяга. Он просто никак не может повзрослеть. У него на это не было времени.

Бентинк стал что-то насвистывать, и Скотт сказал ему, чтобы он перестал.

— Ладно, старина! — добродушно согласился тот. — Не буду! — Они подошли к песчаному холму.

— Его тут нет, — сказал Скотт, думая о «харрикейне». Первые лучи зари — бледное, словно подернутое рябью облаков свечение утреннего неба — открыли их глазам плоскую поверхность плато, рыжую, голую от песка, гальки и кустарника. Плато начиналось где-то за их спиной и постепенно снижалось впереди, переходя в ниспадающую долину, за которой, казалось, раскинулось море, хотя до моря отсюда было чуть не сто миль. Снизу в лицо им дул ветерок.

— Где он должен был сесть? — спросил Бентинк.

— Где-нибудь на этом плато,— сказал Скотт.

Бентинк попросил у Скотта бинокль и осмотрел лежавшую перед ними долину.

— Вот это мило! — сказал юноша.— Столько пройти, и зря. Где же он может быть еще?

— Не знаю, и мы не станем терять время, гадая об этом.

— Проклятый французишка,— сказал Бентинк.

— Проклятый Черч,— возразил ему Скотт.— С самого начала это была глупая затея. Слишком сложна, слишком рискованна...— Он замолчал.

— Ну что ж, пойдем назад,— устало предложил Бентинк.

— Есть еще одна возможность,— сказал Скотт, стараясь выбросить из головы все обидное, что он думал о Черче.— На этом плато дует все-

гда сильнее, чем где бы то ни было в пустыне. Вчерашний ветер мог показаться французу слишком порывистым.

— И он вернулся назад?

— Нет, сел на защищенном от ветра склоне,— сказал Скотт, немножко поразмыслив.— Давайте посмотрим там.

До края плато, откуда видна была нижняя часть склона, пришлось пройти еще целую милю. Скотт нетерпеливо топал впереди, и хотя он мельком и оглянулся, заслышав отдаленный рокот моторов, — не в воздухе, а на земле, — все же, не останавливаясь, пошел дальше. В этот миг над ними на большой высоте пролетели в кильватерном строю самолеты. Внезапно Скотт со своим спутником оказались у края плато — оно круто пошло вниз, как накатанная детскими салазками снежная дорога.

— Вот он,— сказал Бентинк, показывая на самолет, который был отсюда виден.— Но французик посадил машину на крыло. Поглядите, Скотти.

Скотт, взяв у него бинокль, заметил, что самолет как-то странно завалился набок, слегка подняв в воздух колесо и сильно задрав крыло.

— Что это, по-вашему, значит? — спросил он у Бентинка.— Авария?

— Не знаю. Давайте подойдем и посмотрим.

— Вечером, — сказал Скотт. — Надо соблюдать осторожность.

— Но вокруг на пятьдесят миль нет ни души,— нетерпеливо возразил Бентинк.

— Нам некуда спешить,— стоял на своем Скотт.

Бентинк с трудом проглотил готовое вырваться у него ругательство, и они пошли назад к вади.

Издали взглянув на самолет, Куотермейн сразу же рассудил, что с ним делать.

— Они могли начинить его минами-сюрпризами или просто заминировать. Может, они его нашли и нарочно поставили на крыло, но в этом я сомневаюсь, — говорил он Скотту, когда они на грузовике подъезжали к самолету. — Сейчас поглядим.

Скотт разрешил ему поглядеть. Куотермейн сам отлично закладывал мины-сюрпризы и умел их находить. Он осмотрел местность в радиусе пятидесяти метров от самолета, а кое-где и покопался в песке и камешках. Дойдя до машины, он ощупал шов, соединяющий крылья с фюзеляжем, словно приласкал его кончиками пальцев.

— А это для чего? — спросил Бентинк.

— Сюда летчик обычно кладет свои собственные бомбы,— сказал Сэм.

Куотермейн, насвистывая, влез на задранное крыло, и самолет слегка качнулся, не изменив, однако, своего положения. Прозрачный козырек был откинут. Куотермейн заглянул в кабину и с изумлением повернул голову к своим спутникам:

— Француз еще здесь,— крикнул он.— Но он мертв.

— Тогда вы его не трогайте,— сказал Скотт.— Слезайте.

Скотт сошел с грузовика, приказав остальным подождать, и побежал к самолету; Куотермейн ждал его, сидя на тупом конце крыла.

— В чем дело? — удивился он.

— Труп могли заминировать,— сказал Скотт.

— Будто я не знаю! — ответил Куотермейн.— Сейчас погляжу.

— Я погляжу сам. Слезайте.

— Да что это с вами, Скотти?..

— Дайте мне ваши щипцы, — сказал Скотт, сам удивляясь тому, что с ним происходит: у него вдруг томительно заныло сердце от страстного

нежелания подвергать опасности Куотермейна и других своих людей, хотя он, не задумываясь, делал это уже тысячу раз.

Скотт вскарабкался наверх, чтобы заглянуть в кабину, и увидел одетое в кожу, тронутое разложением туловище. Непокрытая голова была вбита в щит управления. Темные курчавые волосы француза кишели серыми мушками. Мягкий кожаный шлем с большими наушниками болтался на тесемке вокруг шеи.

Скотт нагнулся над телом и пощупал, не подведены ли под одеждой провода к груди, потом, стараясь не дышать, просунул голову подальше, чтобы проверить, не заминировано ли сидение. Он чуть было не перекувырнулся прямо на мертвеца, но Куотермейн удержал его за ноги.

— К нему ничего не подведено,— сказал он, вернул Куотермейну щипцы и спрыгнул на песок, чтобы выплюнуть изо рта и ноздрей смрадный запах смерти.

— Удивительная вещь,— сказал Куотермейн.— Небольшой перекос, а голову расшибло вдребезги.

Скотт спросил у Бентинка, что могло случиться.

— Он, по-видимому, откинул козырек и снял шлем, чтобы сориентироваться при посадке, и слегка приподнялся, следя за тем, куда идет машина. Я и сам так поступаю в пустыне,— объяснил им Бентинк.— Ремни у него закреплены?

— Не знаю,— сказал Куотермейн.— Проверьте.

Бентинк покачал своей юной аристократической головой. Он уже мельком заглянул в кабину.

— Нет, спасибо. Мне ведь еще не раз придется торчать в этих душегубках. Проверяйте сами.

Куотермейн посмотрел.

— Ремни не закреплены.

— В том-то и вся штука,— сказал Бентинк.— Ему здорово не повезло. Заднее колесо ударилось о камень, когда самолет уже катился по земле. Если бы у француза был надет шлем, он бы вышел из самолета живой.

И тогда на ноги поднялся большой и грустный Сэм Гассун; он два раза поднатужился и вытащил скрюченный труп француза из люка. Сэм не бросил похолодевшее тело на землю, он отнес его на открытое место и положил лицом вниз, чтобы не было видно этой маски с разинутым от ужаса ртом. Один ботинок свалился, и сквозь дыру на пятке синего носка виднелась нога. Руки были тонки, как у балерины, но и они застыли навек; вдогонку за телом полетели мухи.

Самолет подперли шестами и мешками с песком, Сэм с Бентинком осмотрели поврежденное крыло и пробитую шину. Бентинк заявил, что сможет полететь, если они подрежут крыло и приведут в порядок шину. Сэм заверил его, что это дело нехитрое.

— Сломаете шею,— бесстрастно заметил Бентинку Скотт.

— А я не желаю еще целую неделю цепляться за борта вашего «шевроле»,— упорствовал Бентинк.— Я завтра же полечу на этом самолете.

— Игра не стоит свеч,— настаивал Скотт.— Лучше возвращайтесь с нами.

Бентинк только смеялся, не желая его слушать.

— Вы ничегошеньки не смыслите в самолетах, старина. Эти машины летают куда лучше без кончиков крыльев. В сущности говоря, Сэму лучше обрезать их оба.

Скотт спорил, Бентинк ругался. Разговор принял крутой оборот: Скотт приказал Бентинку делать то, что ему велено, а Бентинк — очень молодой и хрупкий, но весьма решительный, судя по тону,— послал Скотта к черту.

— Да не держите вы его,— сказал Куотермейн.— Пусть ломает голову, если хочет; видно, он здорово торопится к жене.

Скотт погрузился в упорное молчание, которое было так им знакомо. Товарищи знали: сколько бы они ни спорили, последнее слово останется за ним.

Сгоряча он сказал:

— Запрещаю!

Но стоило Скотту произнести это слово — решительно, в сердцах, с душевной болью, как тогда, когда Куотермейну грозила опасность подорваться на мине, — и он вдруг сдался, отвел от себя эту заботу, не захотел ничего решать.

— Делайте, как хотите. Сэм вам поможет.

Глава 8

Атыя и Скотт похоронили француза. Ночью, пока Сэм и молодой Бентинк обрезали крылья и чинили самолет, а Куотермейн светил им, прикрывая рукой фонарь, они расчистили взлетную дорожку — освободили от камней метров двести.

Когда Скотт и Атыя кончили свое дело, остальные трое что-то дружно мастерили и дружно смеялись. Они были очень высокого мнения о себе и в один голос кляли нехватку инструментов, пилу, которая сломалась, и дрели, нагревавшиеся во время работы.

Стоило им покорпеть вместе часок — и у них родилась дружба на всю жизнь; Скотт вдруг почувствовал себя одиноким. Сэм хорошо владел инструментами, Бентинк неплохо разбирался в аэродинамике, а Куотермейн суетился возле них, отпуская иногда забавные, а иногда и плоские шуточки, и был душой всего дела. Они отремонтировали машину, и Бентинк успел бы вылететь еще до рассвета, если бы удалось запустить мотор. Скотт не разрешил им его испытывать до самого отлета. Грузовикам нужно было дать возможность спокойно уйти, а шум мотора мог привлечь внимание ближних патрулей.

Скотт разбудил храпевшего Бентинка в четыре утра. Бентинк сложил вещевой мешок, Сэм приготовил еду, Атыя пометил ориентиры на карте. Он отдал Бентинку свою, с обозначенным на ней маршрутом. Сориентироваться Бентинку придется в воздухе.

Когда время отлета подошло, Скотт передал Бентинку все, что они нашли в карманах француза; юноша влез в кабину и стал запускать мотор. Аккумулятор рывками толкал пропеллер, но мотор не работал.

— Не знаю, как тут быть, Сэм,— крикнул сверху Бентинк.— Не хочу, чтобы сел аккумулятор. Он и так уже на исходе. Придется вам запустить мотор вручную — ему надо разогреться.

Бентинк, ставший неуклюжим в комбинезоне, вылез из кабины и показал Сэму, как толкать трехлопастный винт, чтобы не было перебоев.

Мотор два раза кашлянул.

— Теперь с подсосом в порядке,— крикнул Сэм, когда из глушителей вырвался черный дым.— Обождите немножко.

Бентинк подождал, а потом Сэм велел ему снова нажать на стартер.

Бентинк включил стартер. На этот раз мотор застрекотал, взревел, закашлялся, опять взревел — а потом заглох. Бентинк запустил его снова и крикнул Сэму, чтобы тот придержал хвост. Сэм обхватил руками хвост и крепко держал его, несмотря на воздушный поток. Бентинк снова и снова запускал мотор на максимальные обороты, а затем, прогрев его, довел до ровного гудения, дожидаясь, чтобы поднялись температура и давление. Уже почти рассвело, занималась заря.

— Прощайте, подонки! — закричал Бентинк. Он махал им рукой и смеялся.— До встречи в Каире! — Послав воздушный поцелуй, он крикнул:— Ну и миляга же вы, Сэм!

Они махали ему вслед, даже Атыя, который за пять дней не обмолвился с Бентинком ни словом — ни дурным, ни хорошим.

Бентинк дал для старта полное число оборотов. Он помахал Куотермейну, который, в свою очередь, помахал Сэму, чтобы тот отпустил хвост. Сэм отбежал, самолет ринулся вперед, ударяясь о землю хвостом, и взревел на расчищенной дорожке.

— Эх, если бы не крыло! — крикнул Куотермейн, перекрывая гул.

Правое крыло было опущено, но через миг Бентинк почувствовал, что у машины нарушено равновесие, и выровнял ее. Он повел самолет в пустыню, несмотря на то что машина беспокойно подрагивала на ходу. Бентинк оторвался от земли так мягко, что Скотт едва это заметил.

В воздухе обрезанное крыло снова опустилось, но Бентинк выпрямил самолет, набирая высоту. Он шел вверх, в самый рассвет, и начал медленно разворачиваться над стоящими внизу людьми.

— Что-то его вид мне не нравится, — сказал Скотт, наблюдая за тем, как болтает и сносит с курса самолет.

Медленно описывая над ними круг и набирая высоту, «харрикейн» качался и нырял. Потом Бентинк пронесся мимо, выровнялся и лег на курс.

А они, эти люди пустыни, хоть им и надо было торопиться в путь, все стояли, охидая, чтобы он скрылся из виду; и в это время взошло солнце.

— Сегодня к вечеру у него начнется медовый месяц,— сказал Куотермейн и вздохнул.— Что ж, больше будет Бентинков на этом дурно устроенном свете.

Скотт вспомнил девушку, милую, непосредственную девушку, жену Бентинка, его титулованную супругу,— от нее теперь зависит судьба всех Бентинков — и тех, кто уже умер и ушел в небытие, и последнего их отпрыска, который летит сейчас в подрагивающем самолете и скоро скроется из виду.

— Смотрите! — закричал Куотермейн.

Лицо Бентинка еще стояло перед глазами Скотта, а самолет внезапно сделал неловкий, противоестественный рывок. Он плавно кувыркнулся носом вниз, а потом ринулся в крутое пике, которое быстро, удивительно быстро кончилось яркой вспышкой и ударом о землю. Сначала была вспышка, потом удар, а через несколько мгновений — взрыв, положивший всему конец. Бледное, металлическое пламя загорелось на миг и погасло.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

В ЛЮБВИ...

Глава 9

Когда мысли Скотта обращались к Пикерингу, он вспоминал его с восхищением и острым чувством утраты. Не мог он представить себе Пикеринга мертвым; в его сознании Пикеринг был до дрожи живым — слишком много в нем было того, что не могло умереть и еще не получило ответа.

Пикеринг, и правда, носил за поясом дешевенькую губную гармошку, то и дело наигрывая на ней мотивы из опер. Для этого ему и нужна была гармошка. Пикеринг опустился и потерял в пустыне всю свою военную выправку — странный термин для такой деликатной вещи как человеческое тело. Седые волосы были спутаны, борода всклокочена. Он этим даже щеголял, предпочитая чувствовать себя неряхой, а не подлецом, ибо, по его уверению, физическая чистоплотность обычно прикрывает у анг-

личанина нечистоты души. Но, правду говоря, он был попросту человек неопрятный.

— Духом я — семит,— изрекал он с жаром,— и сторонник варварства. Рим я ненавижу, Грецию — ненавижу! Вам, Скотт, невдомек, что люди так и не сумели переварить технический прогресс. Вот за что я ненавижу Возрождение. В этом беда и англичан. Посмотрите на себя. Если бы вы смогли отбросить четыреста лет наследственного техницизма (а это ваша сущность, Скотт), вы были бы просто чудо!

У них шел нескончаемый спор о величии человека, человека-хозяина над своей техникой. Скотт знал, что Пикеринг его любит, поэтому он ни разу не попрекнул Пикеринга тем, что всю работу выполняет за него техника. Впрочем, он был согласен с Пикерингом. Англичане умудрились как-то незаметно потерять себя в своей технике.

Скотт защищал Пикеринга даже тогда, когда знал, что его обвиняют справедливо. Чудачество Пикеринга было непреложным фактом, но Скотт не желал об этом слышать, даже теперь. Он до сих пор отрицал историю с томатным соком, хотя сам был свидетелем того, как маршал авиации отказался выделить дорожно-топографическому отряду маленький самолет для их нужд. Пикеринг гостил у маршала и по-дружески с ним выпивал; он плеснул томатным соком не сразу, а лишь после того как сказал: «Ладно, сами купим самолет», а маршал засмеялся, говоря, что Военно-воздушные силы все равно не станут их обслуживать, так как частный самолет не может быть взят на военное снабжение. Из стакана, который держал Пикеринг, вылетела струя томатного сока, а сам он покинул прогулочную яхту, тяжело опираясь на руку Скотта, словно вдруг превратился в немощного и разбитого горем старца.

К концу его жизни многие (а может, и почти все солдаты в пустыне) верили, что Пикеринг — единственный человек, способный совладать с Роммелем. Все его знали или думали, что знают. И хотя Скотт понимал, что общее представление о Пикеринге в основном справедливо, где-то тут крылась серьезная ошибка.

Дело было, по-видимому, в чрезмерной героизации этого человека. Скотт не считал Пикеринга героем. Такое отношение было для него неприемлемо — может, потому, что он никогда как следует не знал Пикеринга и, в сущности, никогда как следует его не любил.

Только наполовину понятый, только наполовину мертвый... Скотт знал, что его собственные достоинства неразрывно слиты с достоинствами Пикеринга, видимо даже в представлении Люси. Он нуждался в ней для того, чтобы найти ответ на неясные для него вопросы, а она, быть может, нуждалась для того же самого в нем.

Люси не могла понять, как он разрешил Бентинку погибнуть, пилотируя неисправный самолет.

— Это так на вас не похоже. Почему вы позволили ему лететь, ведь было же ясно, что ему грозит опасность?

— Я и не собирался указывать Бентинку, что ему делать и чего не делать.

— Почему? Вы же его начальник.

— Бентинк не желал с этим считаться.— Скотт не злился, он только хотел, чтобы его поняли.— Бентинк был слишком молод, у него были свои понятия о том, как ему поступать. Но дело совсем не в этом. Он заверил меня, что самолет в порядке. Он понимал толк в самолетах. А я нет. Мне пришлось положиться на его мнение. Я не мог с ним спорить.

— Вам и не надо было спорить. Вы должны были сказать ему «нет», вот и все!

— Вы слишком многого от меня требуете, — вдруг распалился Скотт. — Он сам себя погубил. Сразу было видно, что он не жилец на этом свете. Не знаю почему — из-за его глупости, молодости или происхождения. Я и не стал с этим бороться. Примирился с неизбежным. Вот и все.

— Вам пора понять, что есть вещи, с которыми не мирятся,— настаивала она.— Бентинк привык своевольничать. Таким уж он уродился.

— Зато я уродился другим.

Он сказал это с презрением: она не понимала, почему умер Бентинк. Может, она не совсем понимала, почему таким же образом умер и ее собственный муж; может, до нее так и не дошла вся преступная глупость того, что произошло.

Вместо старого «форда» Пикеринга она купила «шевроле» и отвезла в нем Скотта на окраину пустыни к Гелиополису, чтобы обсудить смерть Бентинка, понять ее и снять камень с души, прежде чем им придется рассказать об этой гибели другим,— словно они могли ее объяснить только себе самим и никому другому.

— Все равно, вы не должны были его пускать, — твердила она снова и снова.

— Почему? — спросил Скотт, потеряв всякое терпение.— Я не мог его не пустить. Как я мог его не пустить? Если Бентинк стал летчиком, ему полагалось знать, что он делает. Ведь это же его профессия! В механике и аэродинамике нет правил безопасности специально для Бентинка.

— Вы должны были подумать о его безопасности.

— Он был летчик, Люси. Человек должен знать свое дело. Почему вы этого не хотите понять? Вам это, по-видимому, недоступно.

— Я не инженер...— начала она.

— А я инженер. Но вопрос ведь совсем не в этом. Основной закон для нас всех — знать, что ты делаешь. Особенно теперь, на войне, когда от этого зависит и твоя собственная жизнь, и множество других жизней. Такие люди, как Черч, претендуют на то, что им сам бог велел быть исключением из этого правила и, пользуясь своим положением, губят уйму своих же людей. Бентинк тоже пренебрег правилами, но погубил себя самого. Вот и вся между ними разница. Он погубил себя сам.

— Я не хочу с вами спорить. Мне обидно с вами ссориться. Но все равно я с вами не согласна.

Да и ему не хотелось с ней спорить; он понимал, что они смотрят на это дело по-разному. И чем сильнее она горевала о Бентинке, тем сильнее он горевал о Пикеринге, и тем больше был уверен в своей правоте, в том, что Черч и в самом деле виновен, чего ей, видно, никогда не понять.

Смерть Бентинка поразила ее так глубоко, что она теперь цеплялась за Скотта; снова опустили завесу над ее жизнью, завесу, которая вот-вот готова была приподняться. А ведь настоящая драма еще и не началась...

— Я понимаю одно: за бессмысленностью этой смерти кроется какая-то чудовищная закономерность. Когда смерть уносит таких людей, как Пикеринг или бедняжка Бентинк, кажется, что она преследует особую цель.

Ему хотелось сказать ей, что закономерность всех бессмысленных смертей — в войне, в Черче, но он этого не сказал. Однако злость не позволила ему смолчать.

— Бессмысленная смерть должна уносить таких людей, как Черч. Тогда у нее была бы разумная цель.

— Какой ужас! Разве можно так говорить? — упрекнула она его. — Даже о человеке, которого вы не любите!

— Помните,— сказал он,— Пикеринг вам рассказывал, что он чувствовал, когда Черч распорядился послать Сэма в Бенгази только пото-

му, что тот говорит по-итальянски и может услышать что-нибудь интересное? Ну, а если его поймают, тем хуже, ему тогда крышка... Я едва удержал Пикеринга, чтобы он не сел в «виллис», не помчался за пятьдесят миль на командный пункт к Черчу и не пустил ему пулю в лоб. Пикеринг был просто невменяем. И непременно пустил бы в Черча пулю, если бы я его не удержал силой.

— Но то был Пикеринг,— сказала она.— А то вы.

Скотт грустно кивнул:

— Верно. Иногда мне очень хочется быть Пикерингом. Кому-то надо ведь так разозлиться, чтобы сделать то, что необходимо...

Люси не пожелала больше об этом разговаривать. К тому же она, видно, предвкушала что-то совсем другое, куда более приятное, чем трагедия...

Пока Скотта не было, она сменила не только машину — она переехала в другой дом. Вместо беленькой квартиры Пикеринга в Гезире она жила теперь в старом доме в Гелиополисе. Тут не было той стерильной чистоты, которая встречала возвращавшегося из пустыни косматого и перепачканного Пикеринга: дом был старый, с высокими потолками, просторный, во французском стиле и совсем не похожий на белоснежную, как больница, квартиру в Гезире. Если там Люси пыталась организовать для Пикеринга образцово-гигиенический быт, которого ему не хватало в пустыне, — тут она постаралась все устроить в угоду Скотту.

Ей казалось, что Скотт нуждается в чем-то смягчающем его жесткую оболочку, его массивную, волевую мужественность, — в просторном, покойном жилье, с благородными линиями высоких потолков. Она решила, что Скотту нужно привить склонность к удобствам, к изяществу, лишенному практической пользы. Она ему эту склонность и прививала. Она уверяла, что дом ему должен понравиться. Она утверждала, что в том, другом доме больше нет надобности — не было смысла его сохранять. Тут будет лучше, у этого дома свои достоинства. Возмещать то, чего не хватает, — вот в чем, казалось, был ее талант в повседневной жизни.

Скотт уклонился от этого разговора и сказал:

— Наверно, и Джоанне здесь будет лучше. На острове сыро.

— И от детского сада далеко,— добавила она.

Но он и не пытался разгадать ее намерений. К тому же все было испорчено смертью Бентинка.

Он не жил у нее, да никто ему этого и не предлагал. Скотт поселился в пансионе, который держала полуслепая тетка Сэма Гассуна. В побуревшем от зноя саду у нее жила черепаха, и старуха вечно боялась ослепу на нее наступить. Черепаха пряталась в корнях пыльного мангового дерева и выходила оттуда только для того, чтобы попить и поесть хлебных крошек. Старуха купала ее каждый день в ведре с водой и рассказывала Скотту, что черепаха любит хлеб, бананы и всякие фрукты, но не ест ни шпината, ни латука.

— Она и слышать не хочет о латуке, — говорила тетя Клотильда, и ее желтое лицо, на котором светились большие очки с толстыми стеклами, было обращено в пустоту, где она пыталась найти Скотта. Старуха его не видела. Она познакомилась с ним по голосу; когда Сэм поцеловал ее и сказал, что Скотт — свой, близкий, как брат родной, она подала ему руку.

— Ты совсем еще ребенок, Сэм,— сказала она племяннику.— И тратишь слишком много денег. Но все равно, ты — хороший мальчик.

Сэм истратил часть своих денег на то, чтобы отблагодарить ее за попечение о Скотте, и купил ей длиннохвостого попугая, но, пожалев птицу,

выпустил ее на свободу, так и не дойдя до пансиона. Когда Скотт сказал ему (сразу же об этом пожалев), что ястреб, орел, а то и просто коршун заклюют попугая еще до захода солнца, Сэм очень огорчился, и Скотт долго корил себя: зачем он, не подумав, сказал ему эту незамысловатую правду.

Глава 10

Кровавый Черч заявил, что желает видеть Скотта и выслушать его объяснения по поводу смерти Бентинка, прежде чем Скотт увидится с генералом Уорреном и его дочерью.

— Разве я обязан давать Черчу какие-нибудь объяснения? — В голосе Скотта прозвучала угроза.

Он докладывал Пикоку, и Пикок только пожал плечами.

— Успокойтесь. Мне кажется, что генерал Черч чувствует и себя виноватым в смерти Бентинка. Он настаивает на том, чтобы вы увиделись с ним прежде, чем пойдете к Уоррену.

— К Уоррену и к его дочери — это я понимаю,— сказал Скотт.— Но при чем тут Черч? Бентинк погубил себя сам. Вот и все, что я могу сказать.

— А вы скажите это Черчу. Чего же проще?

— Не хочу! Во-первых, зачем его Черч посылал...

— Потише,— попросил Пикок.

Скотт вдруг почувствовал, что картонные стены кабинета превращаются в раковину, где эхом отдается его безмерное презрение к Черчу. Это эхо навязчиво звучало у него в ушах, мучило, как загадка. Почему его ум так неотступно занимали ошибки и глупости Черча? Почему он был так поглощен ими сейчас? Почему так долго томили его воспоминания о смерти Пикеринга и желание найти ее виновника?

Голос Скотта был по-прежнему невозмутим.

— Я привез две мины,— сказал он Пикоку.— Мины эти не из Германии. Это обычные «тарелки» с нашего старого склада в Джало.

— Зачем вы их привезли? — с изумлением спросил Пикок. — Бросьте вы, бога ради, этим заниматься, Скотти! Прошу вас. Это поле заминировал Роммель...

— Нет. Мины заложил Черч. И вы это знаете не хуже меня. Все это знают.

— А я говорю вам, что заминировал этот участок Роммель.

— Английскими минами?

— Почему бы и нет? Разве вы сами не откапывали немецкие мины и не укладывали их в другом месте?

— По несколько штук. А не целое поле.

Пикок хлопнул своим кожаным стеком по столу — там сидела муха.

— Я больше не желаю об этом слушать. Пикеринг давным-давно умер. Давайте-ка лучше сходим к Черчу, прежде чем он начнет звонить мне по телефону. Вы привели с собой Куотермейна?

— Нет. Он остался в лагере в Мене.

— Ах ты черт! А я-то надеялся, что Куорти тут, с вами.

Пикок весело щелкнул пальцами, подзывая Шейлу, которую он уже простил; выйдя из картонной обители дорожно-топографического отряда, они прошли по благоустроенным улицам Набитата и остановились возле одной из вилл неподалеку от мраморной ограды Генерального штаба.

— В связи с подготовкой нового наступления, — объяснил Пикок, — Черч переехал сюда, чтобы быть поближе к верховному командованию и заговорщикам из Генштаба.

Скотт шел по улицам города-сада за гибким, как пальма, Пикоком,— словно куст колючки, который несет ветром пустыни. Он ругал свою уступчивость и заранее чувствовал себя побежденным. Когда они вошли в кабинет Черча, Скотт обронил на пол аккуратную связку карт. Нагнувшись, чтобы их поднять, он почувствовал, как к лицу его приливает кровь. Он выпрямился, красный и униженный, поймал беглый взгляд голубых глаз Черча. Генерал с ним не поздоровался, подчеркивая военную субординацию. Черч жестом отпустил лукаво улыбающуюся секретаршу — она с любопытством разглядывала Скотта. Секретарша была подругой Люси Пикеринг, а некогда и любовницей Пикока. «Мы ведь с вами родня, верно?» — сказала она ему своей хитренькой, фамильярной улыбкой; на Пикока она даже не взглянула.

Скотт не отдал чести Черчу, и это выглядело, как вызов.

— Вот подробные карты,— сказал Скотт, стараясь быть как можно спокойнее, и, развернув коричневый сверток, протянул Черчу, поверх проволочных корзинок для бумаг, пять сизых карт. — Мы обозначили трассу очень подробно на карте масштабом 1 : 100 000, а потом указали на ней все опознавательные знаки.

— Мы еще вернемся к этому вопросу,— сказал Черч, не глядя на карты и не притрагиваясь к ним. Его розоватая шея казалась под подбородком красной — на ней отсвечивали генеральские петлицы; так желтеет шея у детей, когда они держат возле нее лютики. Дети любят масло — оно желтое и напоминает им лютики, а от них желтеет шея. Наверно, Черч больше всего любит власть — так ярко отсвечивали на его шее генеральские петлицы. — А где Куотермейн? — осведомился он.

— Виноват, генерал,— сказал Пикок, положив стек на колено и скромно улыбаясь.— Я надеялся, что Куорти приедет со Скоттом, а он, оказывается, остался в Мене.

— Генерал Уоррен, наверно, пожелает видеть не только вас, но и Куотермейна. Пока это не важно. Объясните мне, Скотт, и как можно яснее, что произошло с молодым Бентинком.

— Не могу вам сказать ничего, кроме того, что вы уже знаете, генерал.— Скотт держал себя в руках, стараясь не терять самообладания.— В докладной, которую я вам послал, все было точно изложено.

— Мне этого мало, Скотт. Почему вы позволили ему лететь на аварийной машине? Неужели вы не чувствовали никакой ответственности?

Скотт ничего не ответил.

— Вы должны это как-то объяснить, Скотт. Ну, что скажете?

— Ничего, генерал.

— Меня это не устраивает. Разве вы не видели, что самолет поврежден?

— Видел, генерал.

— И все же позволили ему лететь?

— Да, генерал.

— Почему?

Скотт изо всех сил старался сохранить спокойствие.

— Бентинк знал, что он делает.

— Вы и в самом деле в этом уверены? Такой мальчишка...

— Как же мне было в это не верить, генерал, раз вы дали ему такое важное поручение?

— Не старайтесь снять с себя ответственность, мой милый.

Скотта покоробило от слов: «мой милый».

— Вряд ли я стал бы этим заниматься, сэр.

Он подчеркнул обращение «сэр»,— его впервые в жизни назвали «мой милый» и ему стало очень противно.

Генерал продолжал настаивать на своем.

— Вы осмотрели обломки самолета?

Скотт почувствовал полнсе равнодушие к исходу этого разговора.

— Разумеется.

— И вы считаете, что нет надежды на то, что он прыгнул с парашютом и приземлился где-нибудь в пустыне? Пока что он значится в списке пропавших без вести.

— Он погиб, генерал.

— Вы в этом уверены?

— Да. Совершенно уверен,— с грустью сказал он.

В этот миг Скотт вдруг почувствовал не уверенность в смерти Бентинка, а искреннюю о нем печаль. Всякий человек — прежде всего человек; этот взгляд он унаследовал от Пикеринга. При всем своем мальчишестве Бентинк был человеком. Скотт жалел, что продержал его в кузове грузовика пять дней. Это было жестоко.

— По-моему, девушка все еще на что-то надеется. Она ведет себя очень мужественно. Когда вы с ней увидитесь, будьте как можно тактичнее.

— Слушаюсь, генерал.— Даже в иронии его звучала сталь.

Черч бросил на него быстрый, полный бешенства взгляд, но смолчал.

— Разрешите обратиться, генерал? — поспешил вмешаться Пикок.— По-моему, Люси Пикеринг подготовила ее к самому худшему.

Кровавый Черч проявил даже интуицию:

— Может быть. Но она поверит в самое худшее только тогда, когда ей скажет об этом Скотт. Поэтому будьте как можно тактичнее. Призовите на помощь весь свой такт.

В его словах слышалась тревога за девушку, дочь Уоррена, молодую вдову Бентинка. И забота, которую проявлял Черч, не могла не тронуть Скотта: Черч хотел облегчить девушке самое тяжкое испытание в ее жизни.

— Хорошо,— сказал Скотт, обезоруженный искренностью Черча.— Я постараюсь.

На секунду пелена ненависти и презрения, закрывавшая от него Черча, приподнялась, и он увидел проблеск чего-то человеческого. Это его смутило. Ему вдруг захотелось прекратить странную войну, которую он объявил Черчу. К чему он ее затеял? Зачем тянуть эти непонятные поминки по Пикерингу? Но не только смерть Пикеринга, а сомнения, желание все додумать до конца (как раз то, чего прежде всего требовал Пикеринг от мыслящего человека) толкали его на войну с Черчем. Куда важнее, чем смерть Пикеринга, была потеря самого себя и вкуса к своему делу. А из-за Черча и сам он и его работа утратили для него всякую цену. Кровавый Черч — плохой генерал, он снова потерпит поражение: такова уж эта война. Но ему, Скотту, придется и впредь делать то, что прикажет ему Черч. Такова война, но в этом-то и крылась загадка, отсюда рождались сомнения.

— Ну, а как насчет дороги? — тактично вставил Пикок, нарушив молчание.— Вы желаете, чтобы Скотт дал пояснения к картам?

— Нет. Чего стоят карты, к которым нужны пояснения? Приведете Скотта ко мне потом, когда я за ним пошлю.

— Слушаюсь, сэр,— сказал Пикок и щелкнул пальцами, подзывая Шейлу. Она пошла за ними из кабинета, облизывая на ходу руку Скотта.

Глава 11

Скотт развернул спальный мешок, вытащил оттуда минные тарелки и разложил их на полу своей комнаты в пансионе тети Клотильды. Сидя на кровати, он нажал большим пальцем на разряженный пружинный механизм одной из мин. Послышался скрежет, и на ветхом дощатом полу показались два желтых кружка песчаной пыли.

— Выбросьте вы эту чертовщину, — сказал ему Куотермейн в Сиве, когда он заворачивал мины в спальный мешок.— На что они вам сдались, Скотт? Вы ничего не сможете доказать при помощи парочки мин. С Черчем так легко не разделаешься.

— Может, вы и правы, — ответил Скотт. Но мин не выбросил.

Теперь он и сам задумался над тем, какой в них толк? Покончить с Черчем? Нанести прямой удар и побороть ту безнадежность, которой Черч и компания сумели его заразить, да и не только его, а половину армии, половину войны? Доказать, что Черч убил Пикеринга, хотя об этом и так все знают?

— Может быть,— твердил он себе.— Может быть.

Он с раздражением поглядел на мины, словно они таили разгадку в своем механизме; стоит только стукнуть их ногой — и они разорвутся на мельчайшие части и выдадут свой секрет.

— Не так-то это просто,— признался он.

Он понимал теперь только одно: остановиться он уже не в силах. Подобрать улики против Черча — вот в чем была задача. Но он не знал, как это сделать.

— Капитан Скотт!

В дверь скреблась тетя Клотильда.

— Что? — И он задвинул мины под кровать.

— Спуститесь вниз и поглядите, как черепаха выходит за хлебом.

Скотт отворил дверь, и в темноте его нащупала рука. Старуха тихонько посмеивалась, предвкушая забавное развлечение, которое она готовила для Скотта.

— Вот увидите,— сказала она.— Черепаха выходит на зов.

Скотт помог ей спуститься по кирпичным ступенькам наружной лестницы, а она уже на ходу звала черепаху:

— Фелу, Фелу, Фелу! — Потом крикнула по-итальянски:— Я дам тебе хлебушка, дочка!

Старуха остановилась возле крана, откуда вода капала в большую раковину, и попросила Скотта отойти подальше к глинобитной стене.

— Вот я здесь посижу, и она ко мне выйдет. Чужих она боится,— сказала старуха.

Скотт отошел к стене и увидел, что из соседнего сада за ними наблюдает, растянувшись на земляной крыше, рослый молодой египтянин в офицерской форме; это был темнокожий усатый человек с серьезным выражением лица. Глаза у него были молодые и встревоженные, но подбородок и нос казались слишком жестко очерченными для встревоженного человека.

— Здравствуйте, — сказал ему Скотт. — Вы уже видели это представление?

Египтянин кивнул.

— И не раз,— ответил он, с трудом произнося английские слова.

— Это Гамаль, — сказала тетя Клотильда и добавила по-арабски: — Гамаль видел, как кормят мою черепаху,— сколько лет ты это видишь, а, Гамаль? Всю свою жизнь. Я начала кормить ее до того, как ты родился. Маленькая Фелу старше тебя, Гамаль.

Гамаль кивнул, и его большое, застенчивое лицо расплылось в белозубой улыбке, слишком веселой, чтобы выражать мимолетное удовольствие.

Скотт не стал разговаривать с египтянином; он прислонился к глинобитной стене, греясь на солнце и молча поглядывая на незнакомца. А старуха с узкими глазками, в черном коленкоровом платье, кричала в пустоту:

— Фелу, Фелу, Фелу!

Медленно, с мучительным трудом и каким-то отрешенным упорством, древняя как мир зеленая черепашка выползла из норы под манговым деревом и начала свое неуклюжее шествие по пыльной дорожке, прямо к женщине, неподвижно сидевшей на низеньком садовом стуле.

— Поразительно! — не сводя с нее глаз, сказал Скотт.

— Т-с-с! — резко прервала его тетя Клотильда.

Волоча тяжелый хвост, черепаха дюйм за дюймом приближалась к протянутой руке. Разок она остановилась, чтобы оглядеться вокруг, оставив в пыли следы своих когтей, а потом поползла дальше. Не дойдя до руки, она испуганно замерла и втянула голову под панцирь. Белая, с набухшими венами, рука не шевельнулась. Она ждала, и голова черепахи высунулась снова. Преодолев последний дюйм, вопреки тысячелетней подозрительности, которая копилась у нее под панцирем, черепаха, наконец, опустила голову в истолченный хлеб, а потом медленно подняла ее, чтобы проглотить несколько крошек.

Скотт терпеливо наблюдал за тем, как эта процедура повторялась снова, снова и снова.

Тетя Клотильда подняла голову и улыбнулась в ту сторону, где он стоял.

Черепаха вдруг спряталась под панцирь.

— Ессо!* — сказала старуха. — Ну, пропало. Теперь она долго не выйдет.

Тетя Клотильда подняла черепаху, ласково почесала панцирь, погладила большим пальцем шейное отверстие и положила ее в ямку под манговым деревом. Хлеб она рассыпала в маленькой выемке между корней.

— Что ее испугало? — спросил Скотт.

— Гамаль — он спрыгнул с крыши. Вот непоседа!

Скотт поднял голову. Египтянина уже не было.

Куотермейн приехал из лагеря Мена, и они вдвоем отправились к генералу Уоррену — идеалу всех английских солдат. Он сказал им чопорно и устало:

— Здравствуйте, Скотт. Здравствуйте, Куотермейн.

Скотт неторопливо отдал честь, а Куотермейн ответил со своим непостижимым дружелюбием:

— Здравствуйте, сэр.

Генерал натянуто улыбнулся, словно радуясь, что приветливость Куотермейна избавляет его от необходимости первому начать беседу.

Скотта поразило, что генерал запомнил их имена.

— Садитесь,— пригласил он.

Они уселись на жесткие, складные стулья. Кабинет Уоррена состоял из некрашеного стола, стен, увешанных картами, и проволочных корзинок для бумаг, таких же, как во всех прочих кабинетах, с той только разницей, что здесь была вершина пирамиды проволочных корзин. На стене висели две старые, отделанные серебром уздечки, а рядом с ними — пара сильно потертых, позолоченных шпор — память о молодом гусаре или молодом улане с индийской границы, память о самом Уоррене.

— Как вы себя чувствуете?

— Отлично, сэр.

— Дал вам генерал Черч хоть несколько дней отпуска?

— Нет, сэр, — все с тем же дружелюбием ответил Куотермейн. — Мы переформировывались.

* Вот! *(итал.)*.

— А-а. Вы, топографы, кажется, последнее время не знаете, куда себя девать?

На этот раз смолчал и Куотермейн. Уоррен выбивался из сил. Скотт наблюдал за тем, как Уоррен выбивается из сил, чтобы сказать то, что ему нужно было сказать, а может, и добиться того, чего он должен был добиться: выиграть хоть какую-нибудь битву в пустыне. Хоть одну-единственную битву.

— Мне не хотелось надоедать вам личными делами, — сказал он и замолчал, чтобы не произносить всего остального.

— Не стесняйтесь, прошу вас,— сказал Скотт и почувствовал облегчение, видя, как генерал борется с идеальным солдатом в себе самом, стараясь хоть немножко оттаять.

— Я не имею никакого права вас допрашивать,— сказал Уоррен.— Ну, а остальные не имеют не только права, но и возможности...

Страх, владевший этим человеком, подумал Скотт, напоминает страх голодного, который ненавидит пищу и, вкусив ее, вынужден страдать. Каждый человек — пища для других и все люди — пища для одного (Скотт знал, что таков его собственный взгляд на человеческую природу), а Уоррен боялся притронуться к человеку и мучился, стараясь проникнуть в сущность людей, сидевших сейчас перед ним.

— Видно, такой конец был неизбежен? — сказал он.— Я говорю о смерти молодого Бентинка. Боюсь, что эти молодые летчики слишком часто подвергают себя опасности. Они идут на такой крайний риск...

Он не сводил глаз с крышки письменного стола, поглощенный своими мыслями о судьбе летчиков.

— Да, сэр. Им приходится рисковать,— сказал Скотт, вдруг пожалев Уоррена, как он никого еще не жалел, но не в силах помочь ему побороть свое горе.

— Несомненно, так оно и было. Ему захотелось рискнуть, и он полетел на этом самолете?

— Нет, сэр,— сказал Скотт со всей деликатностью.— Бентинк был уверен, что самолет в полном порядке.

— Он и нас в этом убедил,— благодушно пояснил Куотермейн.

— Да. Не сомневаюсь... А это наверняка? Не может быть, чтобы он...

— Никак нет, генерал. Не может. Он сгорел вместе с самолетом.

— Люси... то есть миссис Пикеринг мне сказала, что вы поговорите с моей дочерью. Вы ведь, Скотт, познакомились с ней на ее свадьбе?

— Так точно.

— Я вам очень признателен за то, что вы согласились с ней повидаться и...— Уоррен растопырил пальцы, а потом сжал их снова.

Они молчали. Слово было за Уорреном. Он встал — благообразный седой человек с восковым лицом и негнущейся левой рукой — и они поднялись тоже. Тогда Уоррен выдавил из себя:

— Уверен, что вы заботились о нем всю дорогу, Скотт. А уж то, что случилось в воздухе, вас не касалось.

— Нет, сэр, касалось! — голос Скотта прозвучал резче, чем он этого хотел, и он сделал шаг назад. — Беда в том, генерал, что я ничего не смыслю в самолетах. Мне пришлось довериться в этом деле Бентинку.

— Ну да. Ну да. Спасибо, что зашли. Вы действовали правильно, Скотт. Мы вообще довольны проделанной вами работой. Скоро мы надеемся дать вам поручение еще ответственнее. Но знаете, вам не мешало бы иметь более высокое звание...

Скотт медленно отдал честь, приложив пальцы к виску.

— Ну что ж, пока все, — сказал Уоррен и ушел в себя, как улитка, заперся один на один с самим собой.

Говорить и в самом деле было больше не о чем; они оставили его таким же отрезанным от мира, как и нашли. Его отделяла от них неприступная стена.

— Я не успел вам сказать, — вспомнил Куотермейн, когда они уселись в «виллис», взятый Куотермейном в лагере Мена. — Ходят слухи, что Черч решил придать нам часть отряда дальнего действия. Или влить нас туда — точно не знаю.

— Совсем?

— Господи! Вот об этом я и не подумал. Да нет. Впрочем, не знаю. Может, только на время нового наступления. А когда Уоррен заговорил о более ответственном задании, я понял, что слухи были правильны.

«Виллис» заносчиво подпрыгивал всеми своими четырьмя колесами. На ровной дороге эта машина напоминала ломовую лошадь, но в умелых, чутких руках Куотермейна она превращалась в тончайший и послушный механизм.

— Дьявол их возьми! Мне это совсем не нравится. Если Уоррен и Черч собираются влить нас в отряды дальнего действия — дело наше плохо.

— По-видимому, да, — сказал Скотт.

— Кровавый Черч давно хочет нас куда-нибудь спихнуть. С того дня, как погиб Пикеринг. А сейчас он взялся за нас всерьез. — Куотермейн волновался все больше и больше.

Скотт кивнул.

— Послушайте, Скотти. Займитесь-ка этим, не откладывая, — настаивал Куотермейн. — Не можете ли вы пробиться к кому-нибудь наверх, через Люси Пикеринг?

— К кому?

— Не знаю. К Уоррену или любому другому из них. Люси это устроит.

— Да мы ведь только что видели Уоррена...

— Но мне это раньше не приходило в голову. К тому же отряды дальнего действия вооружаются, их спешно снабжают боеприпасами. Временно нас туда влили или совсем — это все равно, потому что Черч, по-моему, явно готовит какую-то новую идиотскую операцию.

— Для нас она будет последней, — цинично утешил его Скотт.— А ну-ка, выпустите меня из машины.

Было уже темно — только что спустилась осенняя ночь, и синие стекла уличных фонарей излучали призрачный и обманный свет, оберегая город от бомбежки и разрушения. Но Каир был слишком грязен, чтобы его всерьез стоило разрушать.

— Заезжайте за мной завтра после обеда, — сказал он Куотермейну.

— Я вернусь в Каир утром. Нам с вами надо съездить в Абассию.

— Нет, — сказал Скотт. — Утром мне надо повидать девушку.

— Жену Бентинка?

— Да.

Куотермейн отъехал, а Скотт зашел в ближайший кинотеатр и просидел там до тех пор, пока под конец не исполнили египетский государственный гимн. Такой финал его не порадовал. Скотт прошагал домой в Матарию все пять миль, раздумывая о государственных гимнах. По сравнению с другими гимнами египетский звучал, как аккомпанемент к акробатическому номеру в цирке. Египетские мальчишки в передних рядах обычно распевали под его музыку непристойные куплеты, призывая небо ниспослать на землю нечистоты и обрушить ужасную месть на исполнительницу танца живота Тахию Кариоку. Однажды в пустыне Скотт слышал, как один валлиец пел такие же куплеты под звуки англий-

ского гимна, пел так громко, отчетливо и музыкально, что весь широко раскинувшийся лагерь притих, прислушиваясь в темноте к его пению. Потом, уже к концу, какой-то офицер сердито крикнул из своей палатки, чтобы виновник явился немедленно к нему. Тот не явился, за ним послали вестового. Певец затеял с вестовым, бродившим ощупью по темному лагерю, игру в прятки, и вестовой наконец заорал:

— Таффи! Заткнись и дай нам всем спать!

— Да уж ладно, Артур! Потерпи. Второй куплет еще лучше первого!

И он спел второй куплет под крики офицера, разносившиеся по пустыне.

— Молчать! Молчать!

Невидимый в темноте валлиец пропел всю песенку до конца, и лагерь устроил ему бурную овацию. Скотт рассмеялся, вспоминая об этом сейчас. На ходу он снял куртку — ему казалось, что от жары его плечи и туловище распухли и вот-вот лопнут.

Барьеры! Все в мире создано для того, чтобы разделять людей. На свете есть солдаты и есть офицеры. На свете написаны гимны, но для них почему-то придумывают новые слова. Однако смех, которым награждали Таффи, звучал как стройный хор множества людей. И слышалось в нем не только веселье, но и какая-то сила, которую офицер не смог подавить. Она прокатилась через голову офицера с его приказами, как волна по гальке.

— Молчать! Молчать!

Скотт слышал этот смех и здесь, на улицах Каира.

Было поздно, но все сверкало в лунном свете. Скотт был бы совсем счастлив, если бы его не тяготило то, что он не позвонил Люсиль Пикеринг. Но этот груз нельзя было скинуть походя.

Его влажную рубаху продувало прохладным ветерком. Чудесно! Ночь — это было одиночество, но в нем не было тоски. Вот и хорошо. За два дома от пансиона тети Клотильды, где на неопрятном тротуаре громоздилась куча земли, вынутая из какой-то давно заброшенной канавы, под синим фонарем стоял маленький «фиат-тополино» и его непропорционально большая дверца была открыта. Скотт, проходя, машинально поднял ногу, чтобы ее захлопнуть, но, толкнув дверцу, почувствовал, как она обо что-то ударилась.

Из машины высовывалось туловище молодого, рослого египтянина Гамаля. Можно было подумать, что он пьян, но и на его лице, и в выражении глаз не было следов опьянения; по-видимому, молодой человек был ранен.

— Что случилось? — спросил его Скотт по-арабски.

— Лучше не спрашивайте, — ответил египтянин, стараясь приподняться, но сразу же лишился сил.

— Авария? — нагнулся над ним Скотт.

— Лучше не спрашивайте, — тупо повторил Гамаль.

У него текла кровь из нижней части живота, заливая рубашку и штаны защитного цвета.

— Кто в вас стрелял? — спросил тогда Скотт. Он попытался вытащить из машины тяжелое тело Гамаля, но египтянин стал сопротивляться.

— Уйдите. Я сам.

Скотт выпрямился.

— Валяйте.

Египтянин силился просунуть свое тело через дверцу «тополино». Он свалился к подножью высохшего палисандрового дерева, которое ранней весной покрывается лиловыми цветами.

— Если вы сможете встать на колени, я вас подниму,— сказал Скотт.

— Вам меня не поднять. Я тяжелый.

— Встаньте на колени. — Скотт прилаживался то с одной, то с другой стороны, потом остановился, чтобы спросить. — Отнести вас домой?

— Да.

— А родных испугать не боитесь?

— Там никого нет.

— Который ваш дом?

— Прямо... — начал было тот с трудом, но тут же стал оседать, теряя сознание.

— Не падайте снова на землю, — мягко попросил раненого Скотт и подтянул его повыше за пояс, затем подставил спину, взвалил на нее Гамаля и, придерживая его под коленками, натужно кряхтя и чувствуя, что шея становится мокрой от крови, все же умудрился войти в ворота, а потом добраться по дорожке до порога дома.

Не разгибаясь, он опустил Гамаля на плетеный половичок.

— У меня нет ключа от этой двери, — сказал Гамаль, когда его слабость немножко прошла и он понял, где находится.

— Почему вы мне раньше этого не сказали?

— Бросьте меня тут.

— Ладно, — сказал Скотт, чтобы его успокоить. — Все будет в порядке.

— Дверь сбоку...

Скотт не взял ключа; он снова поднял Гамаля, дотащил до боковой двери под шпалерой из вьющихся растений и внес в комнату, где были только тахта, покрытая бумажным одеялом, стол, на котором стояла совсем сухая гулля*, и старый плетеный стул.

— Нескладно с вами получилось, — сказал Скотт, опустив Гамаля на тахту. — Что произошло? — спросил он снова, нащупав выключатель. Когда Скотт повернул его, он увидел, что молодой египтянин лежит без движения; его крупный подбородок обмяк, крупный нос блестит от пота, штаны пропитаны кровью, лицо побелело — и не столько от боли, сколько от страха, а сам он противится этому страху, как всякий раненый, который еще не знает, серьезно ли он ранен, и так встревожен этим, что даже не чувствует боли.

— Лучше не спрашивайте, — сказал Гамаль угрюмо.

— Как хотите. — Скотт осторожно заглянул ему под рубашку.— Вам нужен врач.

— Нет.

— Хотите вы этого или нет, но я его позову.

— Клянусь...

— Не валяйте дурака! — тихо сказал ему Скотт по-английски.

На этот раз Гамаль вынужден был смириться.

— Тогда я скажу вам, кого позвать. Но только его и никого другого.

— Ладно. Говорите.

Разговор шел наполовину по-арабски, наполовину по-английски. Гамаль назвал ему имя и номер телефона. Только одной фразой он выдал свой страх:

— Скажите, чтобы он взял такси: у него нет своей машины. Я слишком долго пролежал на улице, меня начинает знобить...

Скотт отыскал телефон в прихожей душного и, казалось, нежилого дома, набрал номер и подождал, пока на звонки не ответила сначала женщина, а после долгих уговоров — мужчина; его не пришлось упрашивать, чтобы он приехал к этому Гамалю аль-Мухтару, стоило Скотту сказать, что того ранили в живот.

---

* Глиняный кувшин с пористыми стенками; вода в нем, частично испаряясь, охлаждается *(араб.)*.

— Что вы с ним сделали?

— Ничего, — ответил Скотт.

— Хорошо. Не трогайте его, пока я не приеду, — распорядился врач.

Когда Скотт вернулся к Гамалю, юноша с трудом превозмогал боль; он попросил Скотта распустить ему пояс и чем-нибудь укрыть. Скотт обошел дом, отыскал спальню и стянул с кровати одеяло и накидку. На них был толстый слой пыли. Скотт прикрыл египтянина, а потом снял с себя промокшую от крови рубашку и сел, присматривая за раненым, который, в свою очередь, не сводил с него глаз.

Пришел врач, щуря близорукие глаза и спотыкаясь в темном саду,— осторожный и мало симпатичный молодой человек, не старше Гамаля и, очевидно, тоже военный. Врач был удивлен, обнаружив, что Скотт — англичанин, и явно этим раздосадован. Он был раздосадован и состоянием своего друга; стащив с него штаны, он его поспешно и не слишком деликатно перевязал. Раненому были сделаны уколы, его осмотрели и проверили, действуют ли ноги. Все это делалось молча...

Гамаль потерял сознание, и врач сказал Скотту:

— Теперь я сам с ним справлюсь. Где вы его нашли?

— В машине перед домом.

— И вы его привели сюда? — спросил врач с возмущением.

— Нет. Принес.

— Сколько времени он там пролежал?

— Не знаю. Как вы думаете, он выкарабкается?

— Надеюсь. Полагаю, что да. Будет здоров, но вряд ли во всех отношениях... Рана расположена слишком низко. Необходимая помощь будет оказана. А вам — спасибо.

Скотт взял свою окровавленную рубашку.

— Но кроме всего прочего... — выдавил из себя врач, — я, конечно, не могу просить вас никому ни о чем не рассказывать, вы ведь англичанин...— В тоне его звучала ненависть.— Однако вы все-таки солдат, и, может быть...

— Ну какой уж я солдат, — возразил Скотт, повышая голос и медленно наливаясь злостью.

— И все-таки... — начал снова врач.

Не ответив и не оглянувшись, Скотт вышел из комнаты. Он нашел свою куртку, брошенную на «тополино», тихонько взобрался по наружной лестнице в свою комнату, с отвращением сбросил одежду, пошел в ванную, чтобы ее намочить и втихомолку выстирать, но услышал, что шум, который он поднял, разбудил других обитателей дома. Тогда он лег на кровать и стал вспоминать встревоженные, жадные глаза человека с пулями в животе. Врач его разозлил. Он старался заглушить свое любопытство, зная, что ему не сразу удастся выяснить, в чем дело.

Позже — Скотт еще не спал — он услышал, как к соседнему дому подъехала машина и зазвучали чьи-то голоса. Потом наступило молчание. Тогда Скотт заснул: он слишком устал и не мог больше гадать о том, что произошло.

И лишь после того как на утро он повидался с вдовой молодого Бентинка — Эйлин Бентинк — Скотт прочел в дневном выпуске английской газеты, что в старейшего и самого проанглийского из египетских политических деятелей — Хусейна Амера пашу стрелял один из четырех покушавшихся на него злоумышленников. Паша был серьезно ранен, и жизнь его находилась в опасности.

Сам убийца тоже не остался невредим. Выстрелами из пистолета его ранил сын Амера паши, который находился рядом с отцом. Личность убийцы не установлена. Он скрылся.

Глава 12

Эйлин Бентинк облегчила ему тягостный долг, заявив напрямик:

— Вас, конечно, уверили, будто я надеюсь, что Бенти все-таки жив. Неправда. Я знаю, что он умер. И что вы, Скотти, были бессильны что-либо сделать.

— Боюсь, что да, — признался он с горечью.

Несчастье ее не надломило. Она была такой, как всегда, и казалась очень молодой в своем белом с цветочками платье. И вела себя просто, обыденно. Никакой трагедии не разыгрывала, никаких глупостей себе не позволяла. Скотту хорошо была знакома эта черта англичан — инстинкт самосохранения заставляет их глушить свои чувства, принижать их до обыденности. Он сказал себе: «Английские нравы никуда не годятся».

— Не знаю, право, почему мне хотелось вас повидать. Наверно потому, что, глядя на вас, ни в чем уже больше не сомневаешься. У вас такой вид, что и говорить ничего не надо.

Она была мягче, чем он ожидал.

За кустами роз, среди которых праздновали ее свадьбу, на лужайке еще виднелись вмятины от столов — на них так недавно стояли бокалы с греческим шампанским. И звучал мальчишеский голос Бентинка: «Нам здорово повезло, старина, что вы все-таки пришли!»

Люси Пикеринг привела его сюда, в белую виллу генерала Уоррена, привела и деликатно оставила наедине с молодой девушкой. Он снова почувствовал упрек в смерти Бентинка и новое посягательство на свою волю. Ему так долго втолковывали, что он должен быть тактичным,— только сама девушка избавила его от неприязни к ней и ее горю. Если бы она потребовала от него заверений в том, что Бентинк мертв, он дал бы их холодно и без всякого сочувствия. А тут он вторично пережил гибель этого человека, и не самую его смерть, а горе, которое он причинил тем, кого оставил.

— Мне очень жаль, что я доставила вам столько хлопот, — сказала она, чтобы лишить разговор всякого драматизма.

Но ему не хотелось этой нарочитой обыденности, теперь она его раздражала.

— Нам всем не мешало бы переживать побольше неприятностей. Я это понял, — ответил он, превозмогая смущение. — Мне кажется, что самая большая наша беда — в нашей сдержанности.

— Не пойму, что вы хотите этим сказать.

— Почему мы так стесняемся своего горя?

— Дело не в этом, — сказала она. — Конечно, если бы я распустилась, это выглядело бы не очень прилично. Но речь не обо мне. Я думала о вас. — Она не разрешала себе ни душевного трепета, ни душевной боли.

Прежде она казалась ему более ранимой, чем Люси Пикеринг. В ней было то, чем порой обладают английские девушки: какая-то мягкая доброта. А когда с этим соединяются чистота, застенчивость и любовь к спорту — девушка кажется очень привлекательной. Если ей повезет и она сумеет сберечь все эти качества и в более зрелые годы — очарование может сохраниться... Такой была Эйлин Уоррен в день своей свадьбы. Но теперь она изменилась. Родничок чувства, готовый выбиться наружу, был замурован у самого истока. Она прикрыла рукой покрытую веснушками шею, чтобы не забилась ни одна жилка, чтобы не вырвалось ни одной жалобы.

— Хотите, я расскажу вам о Бентинке? — спросил он ее, пытаясь выпустить родник на волю, зная, что, если он снова забьет, и ему самому станет легче открыться.

— Нет. Не стоит.

— Видите ли, я заставил его просидеть в кузове нашего грузовика пять дней подряд. Ему это очень не нравилось.

— Не нравилось?

— Нет. Теперь я жалею, что это сделал.

— Не огорчайтесь, — произнесла она мягко.

Ему хотелось сказать ей: «Бросьте вы себя насиловать! Не будьте такой, как другие. Это вопрос жизни и смерти, — посмотрите, какими сухими становятся англичанки из-за того, что душат в себе всякое чувство, как это делаете вы. У них заостряются носы и вытягиваются в ниточку губы. Бог с ним, с Бентинком. Он умер. И смерть его не должна задушить в вас все живое».

— Он носил такие нелепо длинные волосы,— сказала она, наконец не выдержав.

— Он еще только становился мужчиной, — живо откликнулся он.

— Да нет, просто у него была такая манера. Летчики вечно выкидывают какие-нибудь фокусы. А я-то думала, что и Люси с вами придет. — Она опять поспешила спрятаться, как улитка, пока дело не зашло слишком далеко.

Скотт смирился.

— Люси довела меня до ворот.

— Она очень за вас беспокоится, — сказала девушка, хмуря брови.

— Почему?

Они прошлись по усыпанным гравием дорожкам и теперь снова стояли у входа в дом. Он собрался откланяться. Желая переменить тему разговора, она спросила о том же, что и ее отец:

— Почему бы вам не получить повышения в чине, Скотти?

Он не хотел об этом слышать.

— Зачем? — спросил он.

— Чтобы проявить себя, показать, на что вы способны. Вот и Люси тоже огорчает, что вы держитесь в тени. Словно вы обязаны делать это ради Пикеринга.

— С чего это она взяла?

— Может, ей так только кажется, — сказала она поспешно, боясь быть назойливой. — Но вы совсем не заботитесь о себе. По-моему, отец только сейчас узнал вам настоящую цену, но не думаю, чтобы даже он смог вам помочь, если вы сами этого не захотите. Вы же могли бы делать то, что делал Пикеринг!

— Я — не Пикеринг, — сказал он. — И бессмысленно...

До сих пор она еще ни разу не улыбнулась — лицу своему она разрешала выказывать горе. Теперь, ради него, она улыбнулась краешком губ.

— Берегитесь, Скотти, не то Люси сделает вас Пикерингом Вторым. Вот будет мило, правда?

— Не в этом суть, — сказал он, понимая, что от смущения отвечает невпопад, и мечтая поскорее сбежать.

— Вы с Люси должны меня взять куда-нибудь с собой, — сказала она, глядя на него глазами, которые умели скрывать почти все — ведь они с детства были приучены все скрывать. Впрочем, не все... для этого она была слишком молода. — Вы пробудете здесь еще несколько недель?

— Да, похоже на то.

— Я уеду домой дней через десять-пятнадцать, — продолжала она, все еще не опуская глаз,— ведь она с ним откровенничала.— Мне придется повидать его родителей, вернее — отца и тетю. Мать сбежала в Америку, когда он был совсем мальчиком.

— Вот как?

— Это я обязана сделать.

Скотт вспомнил, что она все-таки была женой Бентинка, последней представительницей их рода. Над нею тяготел фамильный долг. Но в ней ничего не сохранится: ни память о Бентинке, ни глубоко скрытое горе, ни нежность и невинность юности (все еще нежной и невинной, подумал он). Не сохранится ничего, кроме умения свести все к обыденности. Он понял, что ему открылся секрет успеха всех этих людей. Они уничтожали в себе всякое чувство, прежде чем оно успевало окрепнуть. Он знал, что и сам поступал так же. Но ему это больше не нравилось. «Нет, — сказал он себе опять, — английские нравы никуда не годятся». Он ушел от Эйлин, раздумывая об этом,— пришла пора и ему поразмыслить над своим собственным нравом.

— Милый вы мой Скотти! — сказала она ему на прощание, чуть не плача.

Вот и Бентинк, прощаясь, тоже сказал: «Ну и миляга же вы, Сэм!»

А миляга Сэм обедал у своей тети Клотильды, нарядившись в греческую одежду и надвинув на ухо кепку механика. Был он тут пансионером или не был — он ел у своей родной тетки, и ел с аппетитом. Разговаривал Сэм только со Скоттом потому, что остальные этого не заслуживали. За столом сидели: кассир страхового общества, коммерсант и замученная старушка-учительница, как две капли воды похожая на тетю Клотильду и близкая ее подруга. Только зрение у нее было получше. Несмотря на то, что она была еврейкой (как и все остальные), старушка преподавала в миссионерской школе и звалась по старости madame. Кассира и коммерсанта Сэм очень раздражал, а Скотт приводил в смущение. Тетя Клотильда наблюдала за ними откуда-то очень издалека, из пустоты. Кормила она их хорошо и не обсчитывала. Сэм время от времени вспоминал, что надо быть вежливым, и бросал ей незначащие фразы по-итальянски, но разговаривал главным образом со Скоттом на тему о полуфинальных состязаниях по вольной борьбе в греческом стиле, которые начнутся в два часа дня. Чемпион египетской армии встретится с чемпионом Маккавеев*, который как-то раз согнул Сэма пополам.

— Вот как! — показал Сэм, сцепив пальцы и напрягая грудь, так что у него затрещали ребра.

— А когда-то Маккавеи были настоящими революционерами. Теперь же они — партерные борцы, — пожаловалась старая учительница.

— Синьора, ей-богу же это неважно! — сказал Сэм.

— Конечно, Сэм, — примирительно пробормотала тетя Клотильда.

— Я могу быть евреем, — сказал Сэм, словно оправдываясь, слегка обиженным тоном, — но я не сионист. Мы боремся не из-за политических убеждений, синьора!

— Ладно, Сэми, — сказала бледная старенькая учительница, глядя на Скотта и словно извиняясь за то, что они вечно спорят. — Вам этого никогда не понять. Вы этого понять не можете.

— Нет, понимаю, — сказал Сэм. — Вилли Нахум не борется за сионизм!

— Никто его не просит бороться за сионизм. Дело совсем не в этом.

Кассир нарушил сердитое молчание.

---

* Иудейский жреческий род. В 167 г. до н. э. один из Маккавеев возглавил восстание крестьян и ремесленников против правителей Сирии, владевших Иудеей. В настоящее время так называется одно из крупнейших спортивных обществ.

— Да она и сама-то не верит в сионизм, — сказал он об учительнице.

— Не верю! Сионизм пытается сделать нас не тем, что мы есть! Зачем евреям ехать в Палестину? Мы принадлежим всему миру. Сэми этого не понимает. Я — сторонница Маккавеев. Маккавеи — вот наши революционеры, они боролись с несправедливостью и угнетением.

— Вилли Нахум — очень хороший парень, синьора, — сказал Сэм.

— А он побьет египтянина? — спросил коммерсант тоном знатока.

— Может, и побьет, — сказал Сэм с тревогой. — Если ему удастся с самого начала применить свои лучшие приемы. Но мы боремся по-приятельски, понимаете?

— Вот и хорошо, — решительно заявила учительница. — Я только жалею, что мы больше не боремся с несправедливостью. Мы стали партерными борцами,— сказала она, и голос у нее был такой расслабленный, что тетя Клотильда с неожиданной ловкостью налила ей стакан воды.

— А вы как считаете, капитан Скотт? — спросила тетя Клотильда светским тоном.

— Я согласен с Сэмом, — сказал Скотт. — Все это не имеет значения, синьора.

— Ну да, но вы не еврей, — сказал кассир.

— И вы, дорогой мой, видно, тоже ничего не понимаете,— печально сказала учительница. Она снова посетовала на то, что традиции Маккавеев забыты, заявила, что нужен не сионизм, то есть национализм, а всемирное революционное братство в борьбе с несправедливостью и угнетением.— Где бы мы ни жили! — настаивала она.— При чем тут Палестина? Революционные традиции нужны всюду, всем людям! Мы — граждане всего мира.

— Матч начнется через двадцать минут, — сказал Сэм.

Он пригласил всех, но пойти смог только Скотт. Он оставил тете Клотильде записку для Куотермейна и просил его зайти за ним в спортивный зал Маккавеев.

На улице Сэм купил у уличного мальчишки вечернюю газету. Поглядев на его могучее телосложение, газетчик крикнул ему вдогонку: «Хабуб»*. Они со Скоттом взобрались на подножку зеленого автобуса с обвисшими рессорами, который совсем накренился набок, когда они в него влезли. Автобус отчаянно трясся по ужасающей дороге, а они стояли в битком набитом проходе, пропитанном запахом чеснока, и Сэм читал Скотту последние известия.

— Русские, — сообщил он, — выиграли большое сражение на своем центральном фронте и объявили, что уничтожили за один день боев сто вражеских танков.

— Наверно больше, чем у нас во всей пустыне, — сказал Скотт.— Значит, и русские сами потеряли не меньше ста танков. Что-то не верится. Если бы это было так, не понимаю, о чем нам тогда беспокоиться?

— Кто-то вчера ночью стрелял в Хусейна Амера пашу, — продолжал Сэм. — Ну и дела! У его же собственной двери. Она была вся забрызгана кровью, — ей-богу! Пишут, что Черчилль скоро поедет в Москву. Вчера ночью английские самолеты бомбили Тобрук. — Сэм засмеялся, подтолкнул Скотта и сказал ему на ухо: — Парни из отрядов дальнего действия, видно, в это время закладывали клейкие бомбы в ангарах итальянцев и получили весь огонь на свою же голову. Интересно, что сегодня делала английская авиация?

Скотт задумался, — он был так поглощен мыслью об египтянине Гамале, что шутка Сэма насчет отрядов дальнего действия его не развеселила.

---

* Душечка *(араб.)*.

Еврей и египтянин на ковре величали друг друга *йа сиди* *. Если бы они не были старыми знакомыми, им пришлось бы, хватая друг друга за бицепсы, обращаться к противнику еще более церемонно: *йа са'атель бей***. Они были люди воспитанные. Если кто-нибудь из них нечаянно нарушал правила борьбы, дав подножку или взяв с колена в тиски, они говорили друг другу *йа баша* ***, чтобы извинения звучали торжественнее. Их черные трико блестели от пота. Два часа дня в Египте, даже осенью, мало подходящее время для борьбы. Да и день выдался жаркий. Но еврей был кузнец, а египтянин — солдат, и временем своим они не располагали. Росту еврей был гигантского и сложением похож на экскаватор, а потому и действовал, как машина: в борьбе он предпочитал захватывать противника, а не просто бросать его на ковер. Египтянин был приземист, вроде Скотта, и словно рожден для вольной борьбы; он вел схватку уверенно и с изяществом. Пользуясь своими руками и ногами в качестве рычагов, он применял знаменитый прием souplesse в стиле прославленного балтийца Карла Поджелло. Нередко он едва не переступал границы дозволенного, и ему не раз указывали на нарушение правил, но Сэм понимал, что как борец египтянин превосходит своего противника.

— Ну нет, — возражал ему Скотт. — Я предпочитаю Маккавея. — Он подозревал, что Сэм поставил все свои деньги на египтянина.

— Техника у него хромает, — настаивал Сэм. — Ни колени, ни кисти рук у него не работают.

— Техника — это еще не все, Сэм.

— Она побеждает. Побеждает!

Скотту нравилась человечная и прямодушная манера, с какой Маккавей орудовал своими ручищами. Хоть неуклюже, да зато непосредственно. И в глазах у него появлялось детское недоумение, когда его прием или захват не имели успеха. Он удивился, когда египтянин швырнул его оземь, но ничуть не встревожился. Наблюдать за египтянином было одно удовольствие. Он и вправду владел техникой и отнюдь не примитивной. В его обдуманных и точных движениях было нечто от характера самого борца. Хуже владевший техникой еврей оставался самим собой, и Скотт радовался, наблюдая за этой энергией, не испорченной ни заученными приемами, ни техническими навыками.

Все, кто сидел в этом зале с деревянным помостом посредине и скамьями вокруг, где кисло воняло уборной, сами были борцами, если не считать четырех гречанок, которые пришли с четырьмя борцами-греками. Только женщины и позволяли себе громко высмеивать противников,— матч носил слишком семейный характер. Зрители называли борцов по именам и по-приятельски давали им советы: «Пониже, Хассан!» или «Дай ему подножку, Вилли!»

Египтянин победил. Решение судьи было справедливым. Приняв душ и переодевшись, Хассан Афифи и Вилли Нахум отправятся с греками выпить пива и закусить *мезе* **** в кафе «Парадиз», где греки останутся играть в домино и трик-трак после того, как Вилли и Хассан вернутся на работу. Сэм объяснил это Скотту, пригласил разделить их компанию и поглядеть, как он, Сэм, играет в домино, но Скотт показал ему на сидевшего по ту сторону арены Куотермейна, который дожидался его, чтобы отвезти в аббасийские бараки.

— *Таиб* *****,— сказал Сэм.— Ну что ж, тогда выходит — до завтра.

И он пошел к своим грекам и их дамам.

---

* О господин мой *(араб.)*.

** Ваше превосходительство, мой господин *(араб.)*.

*** О паша *(араб.)*.

**** Закуска к пиву из острых солений *(араб.)*.

***** Хорошо *(араб.)*.

По дороге в Аббасию, на взятом взаймы «виллисе», Куотермейн с негодованием спросил у Скотта:

— Вы знаете, зачем нас вызывают в первую мастерскую?

— Поглядеть на новый «шевроле»?

— Да, но они дают нам в придачу к нему 42-миллиметровую пушку. И ставят еще одну на второй грузовик. Понимаете, для чего они это делают?

— Конечно. Хотят, чтобы мы стреляли.

— Разумеется! Но, Скотти, это ведь глупость! Одно дело возить истребительные отряды в Тобрук и обратно или расставлять посты на дорогах. Никто лучше нас этого не делает. Вот для чего мы и существуем. Забираем людей в одном месте и возим их в другое. Ладно! Показываем дорогу, намечаем трассы... Это я понимаю. Но какое мы имеем отношение к 42-миллиметровым пушкам? Они ведь даются нам не для обороны, а против танков, да и то для стрельбы прямой наводкой. При чем тут мы, Скотти?

— Они, верно, не зря вливают нас в отряды дальнего действия...

— Тогда *валлахи, йа кэптэн*!* Что еще выдумал Черч?

— Мне не сказали. Слишком были заняты смертью молодого Бентинка.

— Вам нужно с кем-нибудь поговорить. Не то нас заставят заниматься тем, чего мы делать не можем. Возмутительная бесхозяйственность! Если этим болванам не напомнить, для чего существует отряд, они непременно об этом забудут.

— Что они болваны, это верно, — согласился Скотт. — И наверняка забудут.

— Ну так как же нам быть? — Куотермейн дал газ и сердито махнул какому-то такси, приказывая посторониться.

Скотт заупрямился.

— Ничего не выйдет, Куорти. Не могу я ни о чем просить этих ублюдков. Ни о чем.

— А вы их и не просите. Вы им скажите. Они валяют с нами дурака...

— Кому сказать? Заладил...

— Ладно, тогда сделайте это неофициально... С черного хода.

Черным ходом была Люсиль Пикеринг.

— Не хочу!

— Почему?

— Сам не знаю, почему!

— Но 42-миллиметровые пушки и вся эта ерунда нас погубят! И совершенно зря.

— Знаю. Не бубните. Сам знаю. Знаю!

Они молча въехали за глинобитную стену Аббасии. Площадь, на которой стояли бараки, их поглотила. После пустыни, после городского шума и уличной сутолоки им показалось, что они вошли из тьмы в светлую и покойную обитель. Из внешнего мира в мир внутренний.

Глава 13

— От вас несет чесноком, — сказала ему Люсиль.

— Это стряпня тети Клотильды, — ответил Скотт.

— Сколько она берет с вас за пансион?

— Понятия не имею. Она — тетка Сэма, вот и все, что мне известно.

— Видно, и мне придется съесть чесноку. Положу-ка я его в салат.

---

* Клянусь аллахом, капитан! *(араб.)*.

Она резала и крошила, сидя в модном платье на табурете. Кухня была старая, воздух в ней затхлый; рядом чернели примусы и оцинкованная раковина. Но ее нисколько не угнетало это большое, полутемное помещение. Она сияла и старалась выиграть время. Скотт расхаживал по кухне, сжимая за спиной широкие, жесткие ладони. Она допросила его, куда он уезжал и что делал в Аббасии, а потом разрешила поглядеть на Джоанну.

— Хорошо бы вам и в самом деле на нее взглянуть, — сказала она. — Ручаюсь, что девочка лежит не в кровати, а под ней. Кровати здесь такие высокие, что она предпочитает лечь на пол.

Он прошел через гостиную, обставленную, как во французских буржуазных домах, — чинно, но с изяществом. Из угловой комнаты Люси вынесла все, кроме металлической кровати и ночного столика, заваленного деталями «конструктора». Девочка, как и предсказывала мать, лежала на полу среди беспорядочно раскиданных деталей «конструктора» (совсем не похожая на свою аккуратную мать), запутавшись в своей пижаме (совсем как ее неаккуратный отец). Она сосала два пальца и нехотя приоткрыла глаза, чтобы посмотреть на Скотта.

— Я уже купалась, — сказала она очень твердо.

— Знаю. А почему ты слезла с кровати?

— Я не люблю стенку. Она такая холодная.

Скотт поднял Джоанну и уложил ее в кровать.

— Мы можем отодвинуть тебя от стенки, — предложил он и вытащил кровать на середину комнаты.

— Не сюда, — сказала девочка, не вынимая пальцев изо рта. — Поставь меня в угол.

Он поставил кроватку в угол комнаты, а столик с «конструктором» придвинул к изголовью так, чтобы Джоанна могла играть, просунув руку между прутьями.

— Когда Эстер вернется из школы? — спросила она.

— Скоро. На той неделе.

— До свиданья, — сказала Джоанна и горячей ручонкой обняла его за шею в знак сердечной привязанности.

Он не знал, как ему на это ответить, — ведь Джоанна жила в своем, обособленном мире, куда Скотта допускали как гостя и, наспех приласкав, столь же поспешно выпроваживали вон.

— Ты пахнешь, — сказала она ему спросонок, когда он от нее отодвинулся.

Скотт засмеялся: видно, она все же жила в одном с ним мире.

— Вот и мама мне это говорит, — ответил он, притворил за собой дверь и вернулся в кухню, к матери, которая, увидев его смеющееся лицо, крикнула:

— Подите сюда!

Она возилась с закопченным примусом, а когда он к ней подошел, обернулась к нему и нежно потерлась лбом о его щеку, потому что руки у нее были в керосине.

— Вы, по-моему, самый мужской из всех мужчин, каких я встречала, — сказала она.

Он не знал, как отнестись к ее словам.

— Почему? — спросил он.

— Как почему? Такой у вас вид. А иногда выглядите так, будто вас здорово потрепала непогода. А то от вас уж слишком пахнет мужчиной. И кажется, вы этого очень стесняетесь. Я люблю, когда люди стесняются,— заявила она ему вдруг.

Она опутывала его своей нежностью, не хотела его отпускать; но он вырвался и стал снова прохаживаться по кухне, наблюдая за ней, но не

предлагая помочь резать овощи и разжигать примус, потому что это нарушило бы его положение в доме. Его теснили здешние стены, внутреннее беспокойство усугубляло это ощущение. Люсиль же, как нарочно, приняла для него праздничный вид. Скотт разгуливал вокруг нее будто совсем непринужденно, он даже попробовал салат.

Они перешли в маленькую комнату, которую она отвела под свое прохладное, хорошо прибранное царство — не броское, с мягкой белизной стен,— там был приготовлен ужин.

— Меня лучше всего было бы писать в пастельных тонах, — сказала она однажды,— и фоном должна быть ясность, а не расплывчатость.

Вот она и добилась в этой комнате ясности: тахта, книги, маленький шведский обеденный стол, яркое освещение, хорошие картины, свежие занавески и никаких запахов, кроме ее собственного.

Но выглядела она тут не расплывчатой и не пастельной, а просто здоровой. В этом главное, говорил себе Скотт. Видно, что все у нее работает на славу! Она любила поесть, так же как он, но в еде ее привлекала чистота и свежесть. Скотту же нравилась пища острая, хорошо приправленная; к тому же все ему быстро приедалось: он любил *бамия**, которую готовила им тетя Клотильда, покупал в туземных лавках *фул*** и ел его горячим, положив на кусок сирийского хлеба, как в тот раз, когда они зашли с Атыей в *Муски****, разыскивая канистры, которые по размеру подошли бы к их «шевроле».

Ее волевое лицо, словно отполированные волосы, слегка нахмуренный лоб и умение мгновенно смягчить все это приковывали его внимание. Он следил за ней, а она знала, что за ней следят.

— Как тихо! — сказала она ему, радуясь и наполняясь теплом.

Выжидательный ответ Скотта, как всегда, был вопросом.

— Что? — спросил он.

— Вы. Как тихо вы на меня смотрите.

Он принялся за помидор. Разрезал его и старательно отправил в рот кусок за куском. Роли переменились. Теперь она следила за ним.

Раз они встретились взглядом.

— Пудинг! — сказала она, чтобы сломить наступившую неловкость.

Ей это было нетрудно — ведь она была женщиной. Встав, она подошла к холодильнику и принесла горшочек, в который плеснула густых сливок. Жизнь все еще была полна Пикерингом: сырая морковь, латук, молоко и вот теперь пудинг.

— Что бы вы сказали...— спросил Скотт, когда они пили кофе; он сидел, как всегда, немножко чопорный и задумчивый, опершись на стол и наблюдая за ней, — что бы вы сказали, если бы я поднял скандал по поводу минного поля Черча?

Она спросила не сразу:

— Потому, что там погиб Пикеринг?

— Да. Но не только поэтому.

— А почему еще?

— У нас все такие же плохие генералы. Это стало дурной привычкой — во всяком случае, здесь, в пустыне. Когда-то это должно кончиться. А может, что-то должно начаться. Черч — плохой генерал. Он нас втянет в новую катастрофу. Он ее уже готовит.

— И вы хотите вывести Джека Черча на чистую воду?

Он снял руки со стола.

---

* Стручковое растение *(араб.)*.

** Блюдо из сухих бобов, вроде грузинского лоби *(араб.)*.

*** Квартал, где расположен базар в Каире *(араб.)*.

— Почему бы и нет? Когда-нибудь это надо сделать.

— Не слишком ли поздно?

— Почему поздно? Если мы не сделаем чего-нибудь с нашими генералами, мы потеряем пустыню. Никто в пустыне больше ни во что не верит, потому что распоряжаются такие, как Черч.

— Но ведь беда не только в генералах, Скотти. — Она встала из-за стола, опустилась на тахту и сразу же снова поднялась, не находя себе места. — И не в одном Черче. Если вы опозорите Черча, что это вам даст? Другие от этого не изменятся.

Слова приходили к нему с трудом:

— Насчет других еще не знаю. А вот насчет Черча знаю. Мы слишком легко миримся с такими вещами. Когда Пикеринг подорвался, мне казалось, я ни за что этого не спущу. А мы спустили. Мы все спускаем.

— А что вы можете сделать?

— Не спускать. Вы подумайте, — сказал он с раздражением,— сейчас они готовят новое наступление и план разрабатывает Черч. У меня в пустыне осталось только трое моих людей. Но разве я могу позволить, чтобы очередная затея Черча погубила этих троих людей? Зная, как он бездарен и опасен?..— Теперь было видно, что он уже принял решение.— Нет, не могу.

Она молчала, не скрывая своего недовольства.

— Когда же всему этому наступит конец? — продолжал он с негодованием. — И что будет с армией? На этот раз, кажется, Черч намерен заставить нас провести крупное соединение в тыл противника. Могу я повести за собой в пустыню две или три сотни людей, зная заранее, что Черч посылает их на бойню?

— Вы уверены, что они задумали именно это?

— Нет, не уверен. Я ни в чем не уверен. Но похоже на то.

— Не думаю, Скотти. Тут что-то совсем другое.

— Что бы там ни было, заправляет делом Черч.

— Черч стал у вас навязчивой идеей, — мягко упрекнула его она.

Люси села с ним рядом, чтобы немножко его успокоить: в голосе у него зазвучали нотки обиды, а настроение портилось на глазах.

— Послушайте, Скотти. Ради Пикеринга мне не хотелось бы никаких разговоров об этом минном поле. Я не хочу, чтобы о Пикеринге вспоминали в связи с непристойной халатностью, которая его погубила. Пусть его знают таким, каким он был сам. Вот что мне важно. Бросьте вы думать о Черче...

— Я должен о нем думать. Не то мне больше ни о чем не захочется думать.

— Вы ничего не можете сделать с Черчем,— настаивала она.— Кто так поступает? Никто вас и слушать не будет. Вас просто выгонят. Выгонят вон! И притом, кто же не знает, что это поле заминировал Черч и что Черч послал туда Пикеринга? Все это знают. Все уже и так знают, что он никуда негодный генерал.

— И что Филлипс — плохой генерал, и Аллен, и даже Бодмин...

— Ну хорошо, хорошо. Предположим. Что же вы хотите — сразиться с ними со всеми?

— Нет. Только с Черчем.

— Не надо, я вам не позволю. И выкиньте, пожалуйста, эти злосчастные мины.

— Откуда вы о них знаете?

— Мне сказал Тим Пикок. Он меня предупредил.

— Он и сам ничего толком не знает.

— Не валяйте дурака. Мы все знаем, что вы замышляете. И за вас боимся. Неужели вы думаете, что до кого-нибудь дойдут все ваши жалобы и доказательства? Каким образом? Не смешите меня, Скотти.

— Вот увидите...

— Нет! — Она вскочила в испуге, поняв, что он пойдет до конца, выполнит то, что задумал, чего бы ему это ни стоило, что он вот-вот кинется очертя голову...— Нет!

— Почему нет?

— Потому, что вы куда нужнее Черча. Господи! Никогда не видала человека, который так мечтал бы расшибить себе голову!

— Не себе, а Черчу.

— Нет, себе! Вы можете поднять ужасный скандал. Не знаю, что вы там затеяли... Наверно, какую-то чепуху! Может, вам и удастся погубить Джека Черча. Но что это вам даст?

— Я же говорю, что с чего-то надо начать.

— Но не так. То, что вы задумали, — смешное донкихотство.

Он ничего не ответил.

Люси почувствовала, что теряет голову; чем больше они говорят, тем тверже он стоит на своем. Она чувствовала, что он уже встал на этот путь. Если она будет с ним препираться, он договорится до необходимости сделать последний непоправимый шаг.

— Давайте больше об этом не говорить, — сказала она.

— Извините меня.

Даже в том, как он извинился, она услышала, что ее дело проиграно. Он себя убедил.

Тогда на помощь пришли слезы.

— Видите, я совсем распустилась, — сказала она и вышла.

Он не пошел за ней. Его бы не удивили слезы Эйлин Бентинк — той полагалось плакать. Здесь же слезы были неуместны, и мало того, что он не понимал их причины (зная, что их проливали не в память о Пикеринге), — он чувствовал, что слезы эти могут поколебать его решимость. Не только в определенном деле, а всю его решимость целиком.

Слезы эти вдруг неприятно напомнили ему о другой женщине, плакавшей из-за него до войны, в Суэце: там он встретился и чуть было не женился на австрийской беженке, смелой и рассудительной девушке, иногда даже веселой. Когда он вернулся из Восточной пустыни, которую исследовал для строительства нефтепровода, она завладела им прочно и по-женски, читала ему, стирала его белье и расплетала для него длинные косы, сидя на коврике у его ног. А по цветущим ее щекам неиссякаемым потоком катились слезы. Сперва он думал, что это немецкое проявление тоски по родине, но позже понял, что это безудержная жажда его любви — не жалости, не сочувствия, а всепоглощающей физической близости. Это его совершенно подавляло. Она, по существу, требовала, чтобы и он отдавал себя ей таким же раскисшим от слез, как и она. Но Скотт на это не был способен. Ей, для того чтобы любить, нужно было взаимное, сознательное истребление. Он был не способен и на это. Может, на один раз его бы и хватило, особенно вначале, но для постоянного общения ему недоставало самого главного: ощущения приподнятости, восторга. Скотт никогда больше к ней не возвращался даже мысленно и до сегодняшнего дня почти ее не вспоминал.

Правда, с Люси ему это не угрожало. Однако он чувствовал себя виноватым в том, что вызвал у нее нечаянные слезы, хотя и не понимал, в чем его вина.

Она вернулась в комнату. Старательно умытое лицо было розовым и гладким. Она вытирала его полотенцем, кончики волос намокли и стали похожи на свежие стружки. Вид у нее был веселый и куда естественнее, чем прежде. Наклонив голову набок, чтобы просушить волосы снизу, она смеялась и подшучивала над ним.

— Ничего вы на свете не понимаете, Скотти. Ровным счетом ниче-

го! — говорила она, пряча под шуткой чуть-чуть обидную насмешку. — Не то мне бы с вами не совладать.

Она прижалась к нему и потерлась об него щекой, но когда он несмело протянул руку и положил ей на плечо, она тотчас же отошла.

— После, — сказала она, смеясь над ним.

Он был смущен и больше ни на что не отважился.

— Почему вас прозвали «трубопрокатчиком»? — спросила она, дразня его и спасаясь от охватившего их волнения.

Он отнесся к вопросу серьезно:

— Почему вы меня об этом спрашиваете?

— Просто хочу знать.

— Да так, шутят, — сказал он. — Перед войной я разведывал трассу для нефтепровода от промыслов в Гимсе до Каира, по Восточной пустыне. В моем проекте нефтепровод получался такой длинный, что люди поговаривали, будто я получаю комиссионные от продажи труб. Шутка тогда нам казалась очень смешной.

— И все? — разочарованно спросила она. — А зачем вам понадобился такой длинный провод?

— Через горы был только один верный путь. Я его и наметил — по долинам, в обход хребтов, потому что дешевле тянуть провод в обход, чем пробивать туннели сквозь эти дикие горы. Но у армии свои интересы: военным властям нравится прокладывать туннели, это любимое занятие военных инженеров. Им понадобилось бы пять лет, вчетверо больше средств, втрое или вчетверо больше денег на эксплуатацию.

— Я знала, что вы — человек, который впервые пересек ту часть пустыни и горы у Красного моря, но не понимала, для чего вам это было нужно. Однако там ведь и до сих пор нет нефтепровода?

— И никогда не будет. Запасы нефти в Гимсе слишком невелики, чтобы оправдать строительство. Я знал об этом за полгода до того, как кончил обследовать местность.

— Знали? И что же?

Он пожал плечами.

— Довел свое дело до конца.

— Зачем же было работать зря?

— Ну да, зря... Но я все равно должен был кончить.

— Почему?

— Что значит «почему»?

Она немножко насупилась, поддразнивая его снова. Разглядев его вблизи, она вдруг заметила, что под сожженным солнцем покровом прятались очень точно вылепленные черты — линии были прорезаны глубоко и отчетливо.

— Вот уж совсем на вас не похоже, Скотти! Зачем вы кончали разведку трассы, если знали, что работаете впустую?

— Мне хотелось ее закончить.

— И больше ничего?

— Да нет... Работа была исследовательская. Если на то пошло, единственные карты той части пустыни от Красного моря, какие вообще существуют, были сделаны нами.

— Вы хотите сказать — вами.

— Ну да. Мной.

— И только поэтому вы и довели дело до конца?

— Нет. Мне необходимо было его кончить, вот и все! Не мог бросить на полдороге. Слишком в него втянулся.

Она не дала ему отвлечься, снова перевела разговор на то, с чего они начали.

— Пожалуйста, Скотти, прошу вас, не делайте глупостей,— сказала она взволнованно. — Ради себя же самого!

Он встал.

— Ради себя самого мне и придется совершить какую-нибудь глупость. Другого выхода нет.

— Из-за Пикеринга? Но ведь я же вам сказала...

— Нет. Началось из-за Пикеринга, а пошло гораздо дальше. Но при этом разве не смешно, что и кровавый Черч, и все они куда больше расстроены смертью молодого Бентинка, чем гибелью Пикеринга и еще двадцати четырех людей?

Он ни на что не намекал и не думал упрекать ее. Но стоило ему произнести эти слова — и он сразу понял, как она к ним отнесется. Он и не подумал уточнять их смысл или оправдываться. Но между ними сразу же воцарилась неловкость. В девять часов она включила радио, чтобы послушать последние известия, и голос диктора с острова Мальты по-английски объявил, что раненый политический деятель проанглийской ориентации — Амер Хусейн паша — все еще находится между жизнью и смертью.

Глава 14

На другое утро, после завтрака, Скотт перелез через потрескавшуюся на солнце глинобитную стену из сада тети Клотильды в соседний сад. Там его встретил очень молодой, очень молчаливый, очень худой египетский лейтенант с очень холеными усиками и потребовал, чтобы он вернулся назад.

— Скажите вашему другу, что я хотел бы его повидать,— попросил Скотт по-английски.

— Его здесь нет.

— Нет? Какая жалость,— Скотт уселся на край ветхого курятника, невозмутимо поглядывая на молчаливого молодого человека, который выжидал, все еще не прибегая к крайним мерам. — Давно вы в армии? — спросил Скотт, понимая, что имеет дело с опасным молодым фанатиком.

Лейтенант счел его вопрос законным.

— Три года,— ответил он.

— Почти столько же, сколько я,— сообщил ему Скотт.— Кадровый военный? — Лейтенант невозмутимо кивнул в ответ.— А вы тоже убийца? — спросил его Скотт.

— Шли бы вы лучше к себе,— сказал лейтенант еще спокойно, но уже встревоженный упорным нежеланием Скотта двигаться с места.— Англичанин! — вдруг сказал он с удивлением, словно только что это сообразил.

— Давайте не ссориться, — настаивал Скотт, не обращая внимания на его тон.— Передайте ему, что пришел англичанин, и слушайте, что он на это скажет. Если он не захочет со мной разговаривать — я уйду.

Его просьба тоже показалась лейтенанту законной, он кивнул и вошел в дверь под цветущей шпалерой. Прошло довольно много времени, Скотт не мог слышать их пререканий, но в конце концов лейтенант неслышно отворил дверь и сказал:

— *Этфадаль**.

Раненый рослый египтянин Гамаль встретил Скотта белозубой улыбкой и крепким рукопожатием.

— *Этфадаль! Этфадаль*! — повторил он басом.

Он лежал на койке, которую поставили в комнате вместо тахты, в чистой гимнастерке с нашивками, но нижняя часть его тела была при-

* Пожалуйста *(араб.)*.

крыта простыней. Гамаль предложил Скотту лимонаду или чаю — он старался оказать ему знаки гостеприимства. Он дал почувствовать Скотту, что целиком и безраздельно посвящает себя этой встрече, раз уж он на нее решился.

Скотт отказался от угощения, что тоже было знаком вежливости. Потом спросил Гамаля, как он себя чувствует и серьезно ли он ранен. По-видимому, раны были не тяжелые, потому что выглядел египтянин совсем неплохо.

— Да,— рассеянно сказал Гамаль,— неплохо.. Совсем неплохо. Не беспокойтесь.

— Тот, другой, видно, не такой хороший стрелок, как вы, — заметил Скотт.— Я куда больше беспокоюсь о нем — об Амере паше.

Гамаль кивнул и сказал равнодушно, нахмурившись, но без всякой злобы:

— Он выживет.

— Гамаль! — тихонько предостерег его лейтенант.

Собеседники о нем совершенно забыли.

— Мой друг Хаким,— представил его Гамаль.— Он очень встревожен. Из-за вас. Но я ему говорю, что беспокоиться поздно и что скрывать от вас правду теперь все равно, что прятать солнце после того, как оно взошло...

Последняя фраза лучше звучала по-арабски; и они перешли на арабский язык.

— И все же, Гамаль...— снова предостерег его Хаким.

— Нет! Если хочешь сделать человека своим другом, так и поступай: делай его своим другом,— сказал Гамаль.— Делай человека либо другом, либо врагом. А он мне — друг, не то меня бы здесь не было. Мы совершаем ошибку, когда таимся от друзей.

— Я вам не друг и не враг,— поправил его Скотт, еще не привыкший к той убежденности, какую египтянин вкладывал во все, что говорил. — Мне просто интересно, вы уж меня извините...

— Вы имеете на это право.

— Спасибо,— поблагодарил его Скотт.

— Не стоит, — сказал Гамаль. Потом он пообещал ему все рассказать, выражаясь с арабской цветистостью. Он с радостью откроет свое сердце и помнит, в каком он перед ним долгу. Он чувствует, что встретил настоящего человека, и хотя должен покаяться в ненависти к англичанам, но человек — это прежде всего человек.

Когда беседа приняла такой оборот, Хаким — молчаливый сторонник крайних мер — оставил их наедине. Теперь уж Гамаль, со свойственной ему уверенностью в своей правоте, сам должен нести ответственность за шашни с англичанином.

— Почему они вас никуда не увезли? — спросил Скотт.

Гамаль взмахом руки показал на свой пах.

— Я тогда потерял бы вот это,— сказал он небрежно.

— Вам пришлось выбирать между этим и опасностью быть пойманным?

— Да...

— И вы предпочли, чтобы вас поймали?

— Нет. Предпочел положиться на вас. Я почувствовал в вас друга, который меня не предаст.

— Значит вы лежите здесь, оберегая свою мужскую силу, потому что поверили в мою дружбу? — повторил Скотт это вычурное арабское рассуждение, призвав на помощь всё свое знание языка.

— Да,— сказал Гамаль.— Сначала мужская сила, а уж потом жизнь. Разве я не прав? Но я чувствовал себя в безопасности.

— Вы напрасно чувствуете себя в безопасности,— сказал ему Скотт.— Я еще могу вас выдать.

— Нет! Зачем вам это? После всего, что вы для меня сделали?

Гамаль не мог знать, что для него сделал Скотт; он ничего не знал. Он не знал, что Скотт — человек медлительный и что он не сразу решился перелезть через стену и разузнать, в чем тут дело. Гамаль ничего не знал.

— Зачем вам нужно было убивать этого человека? — спросил Скотт.

Гамаль намеренно опустил руки на простыню, чтобы не жестикулировать и не подчеркивать того, что говорит.

— Он предает свой народ и — вы уж, ради бога, простите меня — предает англичанам. Он наш злейший враг! Народ наш предан такими, как он. Весь наш народ его презирает, но подняли руку на него мы.

— Этого мне мало,— сказал Скотт, сидя на плетеном стуле, который гнулся и трещал под ним; он глядел в полуприкрытое ставней окно сквозь пыльную москитную сетку.— В чем же его предательство? В дружбе с англичанами?

— Да.

— Кого вы предпочитаете англичанам?

— Никого.

— Вы работаете на немцев?

— Нет. Мы работаем только на арабов, на египтян.

— А немцы — ваши друзья?

— Нет! Нет! Я ни разу не видел ни одного немца. Но, простите, я понимаю, о чем вы спрашиваете. Для нас нет никакой разницы между англичанами и немцами. Вы должны это понять. Для Египта ничего не изменится — будет ли это немецкая или английская оккупация. Ничего! Вы считаете, что мы должны помогать вам против немцев?

— Нет, не считаю. Но вы хотите избавиться от англичан, и того же самого хотят немцы и итальянцы. Они сражаются, чтобы выгнать нас отсюда. И то же самое делаете вы.

Гамаль указательным пальцем коснулся своей груди.

— А вы воюете с немцами для того, чтобы спасти Египет или самих себя?

— Конечно себя. Но...

— Вы хотите, чтобы англичане оккупировали Египет, верно? А, капитан?

— В данное время, по необходимости, мы должны его оккупировать.

— Вот видите! — сказал египтянин и стиснул свои ослепительно белые зубы, словно для того, чтобы покрепче ухватить ими свою мысль.— Вот видите! Всякая оккупация бывает по необходимости! Точно так же, как всякое сопротивление, — его оказывают тоже по необходимости. И мы, и вы запутались в паутине необходимости. Тем не менее мы никогда не будем свободны, пока вы отсюда не уйдете. Нами правят растленные политики, которые губят нацию ради вашей выгоды. Вы должны это понять...

— Ну что ж, я это понимаю.

Он знал, что не может этого не понять, ибо ни один человек, проживший и проработавший здесь пять-шесть лет, не может не видеть правды. Да ему и не хотелось закрывать на нее глаза. Их ненависть к англичанам казалась ему естественной; в ней не было ни коварства, ни несправедливости, он понимал ее правоту. И сейчас он думал не об их ненависти, не о причине ее — нищете и страданиях народа, не о детях, которые мёрли, засиженные мухами, на деревенских улицах Гирги, по которым он проезжал на осле, разведывая трассу новых каналов, чтобы хлопок обходился еще дешевле. Он думал не о горе и не о смерти даже тогда, когда

понял все уродство феодального уклада — рабство и отчаянную нищету. Он думал о людях, чуждых ненависти, не способных к сопротивлению; о людях, которые не только погибали с голоду, но и медленно вымирали от болезней; о людях, веселых от природы, но больных, бедных и жалких. О мужчинах, которые бежали рядом со своими ослами; о кучке женщин, закутанных в черное, грызущих семечки, сидя на корточках у края пыльной деревенской дороги; о великом множестве детей от восьми до четырнадцати лет, которые, чудом выжив в первые пять лет, могут таким же чудом прожить еще несколько лет, а потом еще несколько, покуда, наконец, не достигнут зрелости, выиграв в лотерее естественного отбора. Достигнуть здесь зрелости можно только чудом; он мысленно видел эту страну — но не ее города, полные глухого брожения, а ее пустыню, ее поля. Он больше знал ее поля хлопка и белой фасоли, землисто-бурую ленту Нила — этот рассадник смерти.

Скотт не отдавал себе отчета в том, почему ему так легко понять Гамаля, он просто знал, что это понимание гнездится где-то у него в душе, как тень, отброшенная пережитым. И дело было не в продажных чиновниках и политических деятелях — он о них и не думал, они были так же привычны, как слюна во рту.

— Ну что ж,— сказал он.— Понимаю.

— Может, многие англичане тоже понимают наше положение?

— Да, возможно.

— Тогда почему ж они молчат?

— Война. Сначала надо решить главное,— сразу же ответил Скотт, потому что эта сторона дела — египетская сторона — сейчас его мало интересовала. У него к Гамалю были свои вопросы, на которые ему нужно было получить ответ.— Скажите,— спросил он,— на что вы надеялись, убивая одного человека?

Египтянин почувствовал, что для Скотта вопрос этот очень важен.

— Прежде всего, это не просто — «один человек». Он представляет множество людей.

— И тем не менее, на что вы надеялись, убивая одного человека?

Египтянин еще далеко не так окреп, как ему казалось. Он привалился к стене, лицо его стало бескровным, он тяжело дышал, полуоткрыв рот.

— Нам надо было действовать...— начал он.

— Может, мне лучше уйти? — спросил Скотт.

— Нет. Ничего.

Скотт обождал, пока тот соберется с силами.

— С чего-то ведь надо было начать,— сказал, наконец, египтянин.

— С какого-нибудь одного человека? — настаивал Скотт.

— Да. Так нам казалось. Лишь бы начать. Вы ведь не можете себе представить, каково видеть вокруг себя одну безнадежность: угнетение духа, всеобщую продажность... Вы видите все это воочию. Вот оно! И тогда вы решаете, что должны с этим покончить. Вырубить весь этот лес продажности и угнетения. С чего же вам начать, как не с самого ближнего и приметного дерева? Начало рождает надежду на будущее. Вот мы и начали...— Он снова задохнулся.

Но Скотт был нетерпелив.

— И что же?

— Убрав одного человека, мы надеялись предостеречь *других*, испугать *других*, помешать *другим* длить наш позор. Мы надеялись поднять дух нашего народа, заставить его бороться.

Они молчали в отгороженной ставнями комнате.

— Вам, видно, никогда не приходилось испытывать отчаяния,— печально сказал египтянин.

Вместо ответа Скотт только закинул назад голову.

— Англичанам не приходится наказывать предателей. Их никто не предает...

— Ах!.. — Скотт вздохнул и беззвучно рассмеялся.

— Нас вынудило действовать отчаяние, капитан... Англичанам этого тоже не понять.

Скотт обернулся, чтобы посмотреть на египтянина; ему показалось, что тот теряет свою убежденность, свою силу.

— А теперь у вас скверно на душе, потому что вы потерпели неудачу? — спросил его Скотт.

— Наоборот,— ответил Гамаль.— Когда я узнал, что Амер Хусейн паша не умрет, я был счастлив. Я ведь уже понял, что мы поступили неправильно.

— Неправильно было в него стрелять? — поразился Скотт.

— Да. Нам нельзя становиться на этот путь.

— А какой же вы изберете путь?

— Послушайте,— сказал Гамаль.— Когда я скрылся в ту ночь, меня преследовали крики, стоны и мольбы о помощи. Все равно, кто молит о помощи,— даже такой, как он. В ушах у меня звучали эти крики, больше я ничего не слышал. Когда я понял, что ранен и не могу выйти из машины, мне тоже захотелось закричать о помощи, и я сразу же почувствовал, что совершил ошибку. А потом пришли вы, и я возненавидел вас; да, я ненавидел вас за то, что вы мне помогли, но мне скоро открылась истина. Понимаете?

— Нет. Не понимаю.

— Минутку! Минутку! В ту самую ночь я был почти без сознания, но меня мучила боль от ран и душило негодование. Я лежал в темноте, снаружи меня стерег мой друг Хаким, а я спрашивал себя: «Прав ты, Гамаль?» И отвечал: «Тобой двигала вера истинного патриота, Гамаль». «Да, но разве убийство человека — единственный путь к нашему избавлению?» И отвечал: «А что ж нам оставалось делать?» И тут я задал себе главный вопрос: «К чему склоняется твой дух, Гамаль? Пусть уйдет в небытие тот, кого не должно быть, или пусть появится тот, кто должен прийти?»

Скотт смотрел в сад, на глинобитную стену, освещенную солнцем. Комнату наполняли полутьма и прохлада, а снаружи, в заросшем саду, слепило раскаленное солнце. Там было лучше. По сухой и твердой египетской земле пробегали легкие, ненадежные тени. Ползучая бугенвиллея на шпалере высохла, пропылилась и, казалось, сама чирикала — так много сидело на ней воробьев.

— В ту ночь я нашел только один ответ,— сказал Гамаль.— Мы мечтали о величии нашей родины. Вот то, что должно прийти.

— А как же насчет необходимости? — напомнил ему Скотт.— Убивали вы ведь тоже по необходимости?

— Нет. Нет! В ту ночь, полную муки и угрызений совести, я понял, что лучше создавать то, что должно прийти. Лучше начинать, чем кончать. Куда лучше творить заново, а не уничтожать. Лучше прокладывать пути, чем растрачивать свою душу, борясь со злом и тем самым приемля его.

— Все это верно,— сказал Скотт на более разговорном арабском языке.— Но вы когда-нибудь слышали, чтобы можно было сделать яичницу, не разбив яиц?

— Конечно нет! — торжествующим тоном воскликнул Гамаль, словно давно дожидался такого глубокого откровения.— Но о чем вы думаете, когда разбиваете яйца? Об уничтожении яиц? Или о приготовлении яичницы? Уничтожение яиц — действие второстепенное, случайное.

— И тем не менее необходимое, — настаивал Скотт.

Египтянин даже привстал:

— Это вы, англичанин, оправдываете убийство?

— Нет, убийство — это по вашей части, а не по нашей.

— Но вы на нем настаиваете!

— Нет. Есть другие способы уничтожить человека, не обязательно его убивать.

— Вот уж поистине английское рассуждение! — закричал Гамаль. Слово «английское» он сказал по-английски.

— Если вы кающийся убийца, — спросил его Скотт, — что же вы теперь намерены делать, чтобы спасти вашу страну от проклятых англичан?

— Мы решим, что нам делать. А вы патриот, капитан?

— Вряд ли.

— Почему же вы сражаетесь за родину?

— В войне важно то, кто из противников прав и кто виноват. Наша сторона права.

— Разве этого достаточно?

— А чего же вы еще хотите?

— Сердечного трепета, когда думаешь об отчизне.

— Я прожил большую часть моей жизни вдали от нее.

— Тем более!

— Это тюрьма, каменный мешок, воздух там черен от дыма. А народ...

— Ваш народ! Каков же он, ваш народ, капитан?

— Кто его знает...— ответил Скотт.— Я знаю бедуинов, четыре племени горцев с берегов Красного моря, феллахов Гирги и пастухов-сенуситов куда лучше, чем англичан.

— Но к кому же влечет вас чувство родства, капитан?

— Ни к кому. Это чувство ушло, оно мертво. Мы, англичане, все стали друг для друга чужаками, Гамаль. Чувство родства — умерло. Братство — исчезло бесследно.

— Тогда я все-таки не понимаю, почему вы воюете.

— Я же вам сказал. Потому, что мы правы, а они неправы.

— Но ведь и англичане неправы, разве вы этого не знаете?

— Неправы?

— Послушайте! Неужели я вам должен объяснять, что англичане бывают всякие — и плохие, и хорошие? Что у каждого из вас в душе тоже идет борьба, что правители ваши правят, а народ страдает...

Скотт развел руками.

— Человек не может ненавидеть свой народ, Гамаль.

— Не может. Но англичане должны понять, какое зло они приносят другим. Вы должны понять, что поступаете дурно, и решиться не причинять больше людям зла. Нация всегда делится на тех, кто прав, и тех, кто неправ. Обычно прав народ и неправы его властители. Но никто из англичан не понимает, какое они чинят зло.

— Так ненавидьте же их, Гамаль...

— Я мог бы сказать, что ненавижу англичан от всей души, что презираю их и желаю им всяких бед за то, что они эксплуатируют, развращают и истребляют нас; но в глубине души понимаю, что восхищался бы ими, если бы мог их понять — конечно, народ, а не правителей. Почему так трудно проникнуть в душу англичанина, капитан?..

Скотт встал, собираясь уйти: египтянин снова побледнел и говорил прерывисто, судорожно глотая воздух, и все-таки ему не хотелось отпускать Скотта от себя.

— Вы никогда нас по-человечески не поймете,— сказал ему Скотт.— В душу англичанина трудно проникнуть даже нам самим. Мы не разделены на правителей и угнетенных. Мы просто отгорожены друг от друга глухой стеной — каждый живет сам по себе.

— Что же вас разделяет, капитан?

— Если бы я это знал, я разрешил бы вопрос, который вас мучит. И меня самого тоже.

— Что же вас мучит, капитан?

— На вашем месте, Гамаль, я бы снова прибег к пуле из-за угла.

— Вы это говорите, чтобы я верил, что вы меня не выдадите?

— Я еще могу вас выдать,— сказал ему Скотт.— Вам бы следовало себя от этого обезопасить.

— Мы об этом думали,— сказал Гамаль, когда Скотт направился к двери. — Хаким хотел вас застрелить.

Скотт засмеялся и сказал, что он их понимает.

— Ага, теперь вы хотите запутать и меня в свою паутину необходимости?

— Я запретил ему убивать, капитан. Слишком долго я здесь пролежал, слушая голоса, взывавшие о помощи. Я никогда больше не погублю человека, не совершу акта уничтожения, даже по необходимости.

— А как насчет Хакима? Он все еще собирается меня застрелить?

— Да. Он до сих пор уверен в том, что если вы — настоящий англичанин, вы нас предадите. Но пока это от меня зависит, вы в безопасности. Я верю в людей, даже если эти люди — англичане.

Скотт опять засмеялся и ушел, обменявшись с ним утонченными арабскими любезностями и выслушав громкие заверения в братской любви, немыслимые по-английски.

Но по-арабски Скотт их отлично понимал.

Глава 15

Ночью Скотт услышал, что Гамаля увозят. Он стоял на маленькой площадке кирпичной лестницы, и до него доносились шарканье ног и тихая перебранка. Лунный свет был похож на мыльную воду. Скотт слышал, как вполголоса ругался лейтенант Хаким и как опекал своего пациента недовольный доктор. Остальных он не знал, но догадывался, что это люди неловкие — вчетвером они не могли поднять Гамаля, а Скотт поднимал его один. Стукнула дверца машины, и по звуку, с которым она отъехала, Скотт понял, что Гамаля увозят на полутонном «шевроле» египетской армии.

После завтрака Куотермейн заехал за ним на «виллисе», чтобы отвезти его к Пикоку (сегодня Скотту должны были дать новое назначение). Внизу он заметил, что двое каких-то людей внимательно разглядывают «тополино» Гамаля.

— Подождите,— сказал Скотт Куотермейну, который поставил свою машину позади «тополино».

— В чем дело?

— Я хочу посмотреть, что они делают,— негромко сказал Скотт.

— Кто?

Скотт кивнул в сторону незнакомых египтян. На них были чистые костюмы и аккуратно выглаженные рубашки. По виду это были чиновники, состоящие на государственной службе, скорее всего — в полиции. Заглянув в окно запертого «тополино», они отошли, но один из них старательно притворил ворота в сад Гамаля; они там явно успели побывать. Держали себя эти люди в высшей степени скромно.

— Поехали,— сказал Скотт Куотермейну, когда полицейские скрылись из виду.

— Что им тут нужно? — с раздражением спросил Куотермейн.

— Они искали египтянина, который стрелял в Амера пашу,— объяснил Скотт.— Убийца живет в этом доме.

— Откуда вы знаете?

— Я его туда внес; у него была рана в паху.

— Господи! Значит вот как они его нашли!

— Они его не нашли. Друзья увезли его отсюда ночью.

— А вы заявили в полицию, что он был здесь? — спросил Куотермейн, совсем забыв, что на улице большое движение, и замедлив ход, чтобы получше расслышать ответ.

— Господи, конечно нет! Зачем бы я стал это заявлять?

Куотермейн совсем остановил «виллис».

— Неужели вы скрывали убийцу?

— Нет, я его не скрывал. Я знал, где он находится, вот и все.

Куотермейн не верил своим ушам.

— Вы знакомы с этим человеком?

— Да. Вчера с ним разговаривал. Чего вы остановились? Мне надо поскорее попасть к Пикоку.

— Да ну его к черту, вашего Пикока. А почему вы не отдали этого человека в руки полиции?

— По-вашему, я должен был это сделать? — возмутился Скотт.

— Должны? Конечно нет. Я отнюдь не считаю, что вы должны были это сделать. Но то я, Скотти. А мы говорим о вас. Почему вы не выдали его полиции?

— Поезжайте,— бросил ему Скотт. — Мне надо к Пикоку.

Куотермейн нажал на педаль и кое-как развернулся, чуть не наехав на осла с тележкой, нагруженной сахарным тростником. Листья хлестнули по ветровому стеклу, и седокам пришлось пригнуться.

— Осторожно! — крикнул Скотт.

— Не пугайте меня! — ответил Куотермейн.— Что вас заставило взять под защиту убийцу, капитан Скотт? Не понимаю...

— И не надо,— заявил Скотт.— Все равно не поймете.

— Ладно. Вы хоть намекните.

— Опять чуть не наехали на осла! — сказал Скотт, когда они сделали отчаянный вираж вокруг еще одной тележки. — Стукните одного как следует, но кончайте с этой забавой! Никому ни слова, Куорти. Ладно?

Куотермейн с недоумением покачал головой.

— А вы знаете, куда его увезли?

— Нет.

Куотермейн поглядел на него недоверчиво: он подозревал, что Скотт чего-то не договаривает. Скотт упрямо смотрел вперед, низко надвинув на большой лоб фуражку. Не глядя на Куотермейна, он ткнул рукой и сказал:

— Смотрите, куда едете. Не то отправите нас на тот свет.

Скотт не знал, кто ему сообщит о новых планах Черча — Пикок, сам кровавый Черч, один из советников генерала Уоррена (какой-нибудь банкир или торговец виски) или младший лейтенант-гвардеец — связной, штабной или чей-нибудь адъютант. Словом — один из чиновников с беспроигрышным званием.

— Они всасывают свои звания с молоком матери,— жаловался как-то Пикеринг. За это он прозвал их «сосунками».

Скотт не ждал от этого свидания ничего хорошего, он не раз получал

инструкции от разных «сосунков». Как-то раз, светлой ночью в пустыне, гадая, нащупают ли их прожектором две патрульные машины с немецкого военного аэродрома, Пикеринг припомнил все хорошие слова, которые солдаты превратили в издевку. Самым двусмысленным и самым презренным из них стало слово «разведка».

Скотт вспомнил об этом, подумав, что наверно штабисту из разведки поручат сообщить ему о его роли в очередной затее кровавого Черча. Он пожаловался на это Куотермейну, но тот, почувствовав в словах Скотта горечь, обвинил его в несправедливости.

— Чем он виноват, этот разведчик? — ворчал Куотермейн. — Возьмите самого лучшего штабного работника — младшего офицера, капитана, майора, тупицу-генерала,— даже он не так уж плох на своем месте, в обычных условиях,— но пошлите его в Каир, дайте ему кожаный стек, специальные сапоги для пустыни, кучу приятелей, целый гараж автомашин, приучите его к постоянным провалам на фронте, поставьте над ним начальника, который хоть и несусветный дурак, но зато фамильярно зовет его по имени,— и что из этого получится? Постепенно ваш штабист начинает верить, что так и надо. Все они в это верят. В каирскую помойку попадают и недурные люди, но рано или поздно они тоже начинают в это верить. Должность, место — превращают их в ничто.

— Все равно — мне противно получать от них задания, — заявил Скотт.

— А знаете,— сказал ему Куотермейн,— ведь и Пикеринг тоже был «сосунком».

Скотт не стал спорить с ним о Пикеринге.

Пикок был счастлив его видеть. Пикок разговаривал с ним почтительно, словно Скотт стал персоной в военных кругах.

— Вас желает видеть сам старик Уоррен. — Пикок радовался за Скотта, считая это свидание крайне важным. Он уже знал, что оно предвещает.— Большой будете персоной, Скотти! — сказал он и провел его к Уоррену.

Генерал Уоррен сидел за столом, положив на него негнущуюся руку и слегка на нее навалившись, словно целился из пистолета; он нехотя поглядывал на Скотта и всем своим видом выражал смущение. Отпустив Пикока, Уоррен встал и приоткрыл окно ровно настолько, чтобы увеличить приток воздуха еще для одного человека, а потом прислонился к окну спиной, уронил левую руку вдоль тела, мельком заглянул Скотту в глаза и сразу же перевел взгляд вниз, ему на ноги.

— Вы когда-нибудь изучали Джеба Стюарта? — спросил он.

— Американца?

— Да. Его книгу о партизанских налетах.

— Нет, генерал. Специально не интересовался.

— Конечно, он для нас не такой уж убедительный пример. Мы никогда не проводили партизанских налетов в буквальном смысле этого слова. Думаю, что, строго говоря, партизанам нужно действовать на своей территории, только тогда они партизаны. Как у русских. Если вы читали Толстого, вы наверно помните Денисова. Вот — идеальный тип партизана. Великолепно написан! Простите, Скотт. Можете стоять вольно. Если желаете, садитесь.

Генерал снова на него посмотрел, теперь уже более пристально. Нагнувшись над столом, он перелистал бумаги в какой-то папке.

— Хорошо работаете, Скотт. У меня никогда раньше не было случая подвести итоги, а теперь я просмотрел ваше дело. Кое-что тут просто поражает. Я знал Пикеринга. Я, конечно, не специалист в вашей области,

хоть и служил на границе; правда, это больше смахивало на охоту за кабанами, чем на военные действия. Смешно сказать, но мы как раз и вели военную подготовку, охотясь за кабанами.

Скотту приходилось видеть американские фильмы, где показывали такую охоту, он знал, как охотятся на кабана с копьем. Перед ним сидел состарившийся бенгальский улан, невеселый человек, который что ни день становился все более застенчивым и усталым. Всю жизнь он что-то охранял. Посвятив себя с юности охране дальних границ, он сам со временем превратился в неприступную твердыню — в огромные серые плиты Вазиристана и узкие тропки мрачных ущелий Белуджистана, каменистых, голых, непроходимых. Но где-то за этой серой твердыней должны же были прятаться залитые лунным сиянием долины Кашмира или просторные тихие луга Пакистана? Может быть. Однако Уоррен дорожил лишь своей неприступностью, он держался за нее всеми силами, не мог от нее отказаться. Сейчас, может, и для него настало время запросить передышку — он так устал от одиночества на своем сторожевом посту.

— Вам нравится военная служба, Скотт? Как таковая.

Скотт прислонился к некрашеному столу, на котором была навалена недельная порция всех документов, выпущенных британской армией. Стол прогибался от тяжких усилий англичан приукрасить положение на фронте.

— До какой-то степени, генерал,— ответил Скотт. Он был в этом неуверен. — Хотя бы потому, что предпочитаю интересоваться тем, что делаю. Впрочем, как и все люди.

— Да. Это верно. Но вы, по-видимому, не считаете военную службу своим призванием?

Скотт ждал, что будет дальше. Генерал Уоррен тоже ждал, словно он уже переложил все тяготы ведения беседы на плечи Скотта. Теперь дело было за ним. Но Скотт не соглашался нести это бремя. Он еще не понимал, куда клонится беседа.

— Вы воюете в пустыне с самого начала?

— Да, генерал.

— По-видимому, Пикеринг во многом полагался на вас. Во многом!

— На всех нас, генерал. Так он всегда работал. Он давал нам задание. Мы всегда знали, что делаем, и выполняли свое задание. Такая постановка дела устраивала нас всех.

Уоррен сел, неловко откинулся на спинку стула и задумался, словно что-то вспоминая; однако он все еще избегал взгляда Скотта.

— Так и мы старались поступать вначале,— сказал он, с грустью качнув головой. — Первые дни войны в пустыне — это было время необыкновенное. Но уже и тогда мы страдали от негодной администрации в тылу и недостатка снаряжения. Да и полевых войск было маловато. Генерал и четыре штабных офицера. А когда мы сформировали мотомеханизированную группу — предшественницу нынешней 8-ой армии, у нас не было ни саперов, ни связи, ни интендантства, ни транспорта, ни санитарной службы, не было даже снарядов. Когда война началась, мы кое-что получили, но все наши бронесилы состояли из нескольких допотопных броневиков. Вам известно, что одно время у нас в Египте не было ни одного патрона для тяжелых пулеметов? Если бы в первые дни, когда Италия объявила войну, Грациани двинулся на Мерса-Матрух со всем, чем располагал, наша песенка была бы спета. Даже воюй мы против одних итальянцев. Спас нас Уэйвелл.

— Да, генерал! — Скотт почитал Уэйвелла. Впрочем, как и все в армии.

— Он был рожден для такой войны. Ведь Уэйвелл — человек нерешительный. Очень нерешительный. Но у него есть три замечательных

качества: наступательный дух, способность обмануть противника и умение маневрировать. Можно сказать, что он выгнал врага из Киренаики, наступая, маневрируя и водя его за нос. К большим сражениям он прибегал крайне редко. Вот это настоящее военное искусство. Сражений быть не должно. Если мы завязываем бой, значит,— увы! — мы вынуждены к этому крайней необходимостью. Значит, у нас нет другого выхода. Вы меня понимаете?

— Понимаю,— сказал Скотт непринужденно, потому что и сам Уоррен теперь не чувствовал стеснения. Он говорил путано, однако смущения больше не испытывал.— Но, по правде сказать, генерал, я не совсем понимаю, к чему вы клоните?

Их прервали звуки, доносившиеся со двора, гулкого, как колодец. Прошли две молодые женщины, их высокие голоса понеслись вверх, как сухие пушинки хлопка в знойное небо.

— И вы туда пошли? — спросила одна.

— Да, но это было ужасно!

— Не может быть!

— Правда. Они сделали все наоборот.

— Не может быть!

— Ей-богу! Они все перепутали!

— Ах, наверно, это было ужасно.

— Ну да, просто кошмар. Но пришлось сделать вид, будто мне смешно.

— А что они говорили?

— Что же они могли говорить?

— Но почему вы им ничего не сказали!

— А что же я могла им сказать?

Голоса стали глуше, и собеседники сообразили, что они молча прислушивались к чужому разговору, ожидая, пока он кончится. Так вот иногда бессознательно останавливаешься и ждешь, нагонит ли бегущий человек автобус. Но, вслушиваясь в чужой диалог, они потеряли нить собственного разговора.

— Простите, Скотт,— сказал Уоррен.— Мне хотелось хоть немножко коснуться предыстории... Но главное — я теперь знаю, как вы работаете. Вы, видно, чувствовали себя полным хозяином в пустыне, занятой противником, и ни разу не ввязывались в бой, если не считать мелких стычек. В сражениях вы не участвовали.

— Только раз, генерал.

— Вот как?

— В Джало, когда убили Пикеринга.

Скотт взглянул на Уоррена и с удивлением заметил, что генерал смотрит на него в упор, не отводит глаз три, четыре, пять секунд и слегка кивает головой.

— Случай в Джало, действительно, был трагической оплошностью. Может, один я знаю, какой трагедией он был,— с грустью пробормотал Уоррен.

— Мы все это знаем,— сказал Скотт.

— Да? Но сейчас речь идет о другом,— тихо произнес Уоррен.— Ответственность, а особенно ответственность офицера, предполагает право на ошибку в пятидесяти случаях из ста. Мы должны допускать возможность ошибки, Скотт.

— Так точно, сэр.

Скотт знал, что здесь ему не позволят предъявить обвинение кровавому Черчу, и цель, которую он себе поставил, от него ускользала. Он не мог ни уличить, ни убить; он не мог высказать свою ненависть и презрение — они вдруг показались ему ничтожными после разговора с челове-

ком, который действовал от имени целого народа. Скотт же, намереваясь изобличить кровавого Черча, оставался только самим собой. Гамаль испортил ему все дело.

— Вопрос вот в чем,— сказал Уоррен; он встал, прошелся по комнате и прислонился к столу рядом со Скоттом, хмурясь и вглядываясь в стену напротив,— есть у вас какие-нибудь правила, по которым вы действуете? Как вы себе их представляете? Как вы их применяете на деле?

— В пустыне?

— Да. Учитывая, что вы действуете в основном на территории противника, в глубоком тылу, какие цели вы себе ставите?

— Мы сознательно избегаем всяких осложнений,— сказал Скотт.

— Да, но вы сильно усложняете жизнь противнику.

— Еще бы! Правда, это редко является нашей целью. Мы либо разведываем новые маршруты, либо намечаем удобные трассы, либо патрулируем дороги, либо просто выясняем, насколько глубоко можно проникнуть в тыл, чтобы нащупать слабое звено... найти уязвимое место. В задачу топографов не входит вести бой с противником. Мы доставляем отряды на место и выводим их обратно. И цель у нас одна — нас не должны обнаружить.

— Да, но как вы этого достигаете?

— Используя профиль местности, зная пустыню лучше противника, хорошо маскируясь, полагаясь на опыт, предвидя все возможности.

— Ага! Предвидение! Наконец! Так я и думал! Читая отчеты о ваших операциях, я решил, что самое примечательное в них — это предвидение. Верно?

— Нет, сэр... Я бы сказал, что основное качество нашей работы — это технические навыки и сноровка, иными словами — понимание того, что мы делаем.

— А разве сноровка не предполагает предвидения?

— Конечно, и в большой степени. Но предвидение ничего не стоит без уверенности в том, что ты знаешь свое дело. Каждый должен уметь пользоваться своим предвидением на практике. В этом и был талант Пикеринга. Он умел подбирать людей и брать от них то, в чем они сильнее всего. Если человека можно было употребить на какое-нибудь дело, Пикеринг находил в нем эту способность, заставлял ее проявиться. Мы могли доверять друг другу...

— Отличная теория, Скотт. Но не универсальная. Годится, когда у вас двадцать или тридцать человек и вы знаете каждого из них. Но неприменима для армии в целом. К тому же она пригодна лишь тогда, когда у человека развязаны руки, а мы давали Пикерингу полную свободу рук. И непригодна, когда у вас нет этой свободы, как нет ее у командующего армией.

Скотт не стал напоминать ему, что Пикеринг сам отвоевал себе «свободу рук». В этом и была разница между ним и другими. Стань он командиром дивизии, он завоевал бы ее и тут. Поднимись он до самого верха, он и там исповедовал бы свою веру в то, что самое дорогое на свете — человек. Он доказывал бы свою правоту и тем, кто его окружал, и повсюду, куда бы ни привела его сумасбродная страсть воевать со всяким начальством.

— Сколько у вас осталось людей? — спросил Уоррен.

— Один офицер и два солдата.

— И все? Почему так мало?

— Нас так и не переформировали после смерти Пикеринга.

— Жаль! А что вы скажете, если вам дадут двести солдат?

— В дорожно-топографический отряд?

— Нет. Для выполнения особого задания, которое позволит вам

развить ваши взгляды на то, как важно знать свое дело и предвидеть все возможности.

— Этих людей надо будет куда-нибудь переправить, генерал?

— Нет. Они будут в вашем подчинении. Мне нравится, как вы работаете, и думаю, что тут вы сможете себя показать. Я пока еще не могу вам назвать задачу этой операции, но люди будут подчинены непосредственно вам. Вы должны будете провести их очень глубоко в тыл, так, чтобы вас не обнаружили; вам придется подвергнуть их серьезной опасности и привести их назад.

— Разрешите узнать, сэр, какой именно опасности?

— Пока еще не могу вам сказать. Но это будет важная отвлекающая операция, обман противника в тактических целях. Стоит вам появиться там, где мы хотим, чтобы вы появились, и вы окажетесь в опасности, в очень большой опасности. Но одновременно с этим должны будут произойти кое-какие события, и генерал Черч сможет отвести от вас удар.

— Генерал Черч?

— Да, генерал Черч...

— Позволено мне, генерал, решать, хочу ли я взять на себя это задание?

Уоррен молчал, не глядя на Скотта; он был удивлен.

— В общем, да. Я не стал бы поручать такую операцию человеку, который этого не хочет. Она чрезвычайно рискованна. Да. Я думаю, что мы должны предоставить вам право выбора, это будет только справедливо. Беда в том, что я больше ничего не могу вам сказать, операция еще до конца не разработана. Генерал Черч сейчас уточняет подробности. Вам придется кончать эту работу вместе с ним. Он будет руководить операцией. Но мне хотелось прежде самому с вами поговорить.

— Спасибо, генерал.

— А? Ну да, ну да... Во всяком случае попрошу вас зайти ко мне завтра и сказать, что вы об этом думаете: желаете вы принять назначение или нет. Я предоставляю вам право выбора.

Скотт выпрямился, готовясь уйти.

— Скажите, генерал, это какой-нибудь рейд? Я хотел бы знать, будем мы вынуждены вступать в бой с противником?

— Нет. В наши намерения это не входит. Наша основная цель: ввести противника в заблуждение. Но вы будете вооружены на тот случай, если все-таки придете с ним в столкновение. Говоря о вашей задаче в самых общих чертах, я лучше всего выразил бы то, что от вас требуется, вашими же собственными словами: отличное знание местности, хорошая маскировка, опыт ведения подобной войны, понимание того, что вы делаете, и, прежде всего,— предусмотрительность.

Скотт плотно надвинул на лоб фуражку.

— Вы уж простите, что я спрашиваю, генерал.. Не для этой ли операции мы намечали трассу, когда погиб Бентинк?

— А? Тогда? Нет! Боюсь, что от той операции нам пришлось отказаться.

— Понятно.

Скотт отдал честь. Но Уоррен задержал его еще на мгновение, и Скотт вдруг заметил, что Уоррен чуть-чуть улыбается, — он едва было не открыл перед ним своих границ — насколько, конечно, это было в его силах. Ему нравился Скотт, а тот в свою очередь чувствовал, что и ему нравится Уоррен. Но взаимную симпатию пересиливало смущение. Скотт отворил дверь. Уединение было нарушено, их могли увидеть, и Уоррен так и вернулся на свое место к столу, ничего больше не сказав. Скотт колебался: его разбирало желание взломать свои собственные границы,

открыть свое сердце этому застенчивому человеку. Но он услышал взволнованный голос Гамаля: «К кому же влечет вас чувство родства, капитан?» И свой ответ: «Ни к кому... Это чувство ушло, оно мертво, Гамаль».

Глава 16

Когда Куотермейн сказал ему, что Атыя так и не появился в Аббасии, чтобы пройти обязательное обучение в стрельбе из 42-миллиметровой пушки, Скотт отправился в кирпичный домик проверить, как там дела. В доме было темно, его обитатели плакали — дряхлый старик, который так самозабвенно воспитывал своих малолетних детей, был болен и, по-видимому, при смерти.

Ни один доктор в Каире не поедет в такой район и не станет лечить такую семью, но Скотт уговорил военного врача из госпиталя в Гелиополисе нарушить неписаный закон и осмотреть больного египтянина. Доктор был беженцем из Югославии, добровольно вступившим в английскую армию; он пошел со Скоттом потому, что на него этот закон не распространялся; он был чисто английским, этот закон, а доктора долго убеждали в том, что только англичанин способен уважать закон. Вот он и отправился со Скоттом печально и безропотно, чувствуя себя таким чужим в этом царстве сурового английского догматизма.

Он осмотрел лежавшего на койке Абду Эффенди и вышел с Атыей в гостиную, где их ждал Скотт.

— Они сами его погубили, — сказал Скотту врач.

— В каком смысле? — удивился Скотт. Атыя крепился, чтобы не выйти из себя.

— У него диабет. И на спине образовалась большая язва. Всякое лечение диабетика, даже простое вскрытие нарыва, должно производиться под наблюдением врача. А они мазали его какой-то мазью. Теперь болячка загноилась.

— Ни один врач не хотел сюда идти,— объяснил ему Скотт.

Югослав пожал плечами и прищелкнул языком — здешние нравы были ему непонятны.

— А что же теперь делать? — спросил его Скотт.

— Его надо отправить в больницу, чтобы выпустить гной,— сказал югослав.— И поскорее. Сегодня же, не то...

Скотт знал, что ни один армейский госпиталь не примет старика ни под каким видом, и даже не стал просить югослава его устроить; однако врач и сам сказал, что всякие попытки безнадежны.

— Его придется отправить в египетскую больницу. А я тут вам ничем помочь не могу.

— Мы поместим его в Каср-эль-Айни*, — сказал Атыя. — Мы можем отвезти его сами, или понадобится санитарная машина?

— Пока вы станете искать санитарную машину, будет уже поздно,— ответил югослав.

— Ну что ж,— сказал Скотт.— Мы отвезем его сами.

— Но сначала отправьте меня на работу,— попросил югослав.— Я на дежурстве.

Скотт попросил Атыю подождать и отвез врача в госпиталь на «виллисе» Куотермейна.

— Как вы думаете, есть у старика какая-нибудь надежда выкарабкаться? — спросил он врача по дороге. Тот снова пожал плечами.

— Это вам может сказать только хирург. Ему необходим инсулин. Родные понемножку давали ему сахар, видимо жалея его, вот отчего

* Каирская государственная больница.

образовалась болячка. Теперь у него сахар в крови. Может, дело и безнадежно. Не знаю. Старик-то ведь хилый...

Когда Скотт стал его благодарить, врач лишь беспомощно покачал головой: он проводил «виллис» взглядом, и ему стало грустно. На минуту югославу вдруг показалось, что он не совсем на чужбине.

Атыя ждал Скотта у двери.

— Я им сказал, что если они будут причитать, когда мы повезем его в больницу, я их поколочу.

Роза и суданка-прислужница Еррофа нарядили старика в самый лучший костюм, и хотя они встретили Скотта спокойно, поблагодарили его и напоили чаем, обычай требовал, чтобы они поплакали, когда старик покидал свой дом. Дети играли на дворе, а когда они попытались войти в дом, Атыя выгнал их вон.

Абду Эффенди лежал на тахте, опустив обвислый подбородок на раздутую водянкой грудь. Он подержал Скотта за руку и, не глядя, кивнул: старик не понимал, что с ним происходит. Скотт и Атыя погрузили его в «виллис»; Атыя поддерживал отца сзади, Скотт сел за руль, а женщины громко запричитали — видно, Атые не так легко было выиграть битву с исконными обычаями. Когда они подъехали к больнице и отыскали врача, Абду Эффенди был уже без сознания.

Пока Скотт разъезжал на «виллисе», Куотермейн одолжил мотоцикл и отыскал в шифровальном отделе Люсиль Пикеринг.

— Вот хорошо, что вы пришли, Куорти! — сказала она. — Я вас целый век не видала.

— Вы заняты? — спросил он.

— А что?

— Можете выйти на полчасика?

— Конечно могу, а что? Какие-нибудь неприятности?

— Да, вроде того. Мне надо с вами поговорить.

— Ой, как страшно! — Она предупредила сержанта шифровального отдела, который почтительно вытянулся перед ней: — Я уйду на полчаса по важному делу.

Поездка на мотоцикле показалась ей очень забавной.

Она настояла на том, чтобы ее усадили на седло, позади Куотермейна, и по дороге махала всем мало-мальски знакомым людям. Куотермейн привез ее в «Гроппи», где швейцарское искусство приготовления сладостей и мороженого достигло совершенства.

Каирские дамы умели по достоинству оценить мастерство швейцарского кондитера.

— Что вам заказать? — спросил Куотермейн, изучая две страницы меню, исписанного названиями различных frappé*, coupés**, bombes***, сандвичей, пива, кофе, чая, пирожных и закусок.

— Пиво.

— Это в угоду мне? — спросил он ее с ехидством.— Ну ладно. Я возьму кофе по-венски, миндальное мороженое и к нему отдельно закажу порцию взбитых сливок.

— Господи, Куорти!

*Сафраги***** ушел, взяв заказ, и они дожидались его, облокотясь на серый мраморный столик.

— Вы ведь лучший друг бедного человека,— сказала ему Люси кокетливо,— неплохое же вы нашли себе пристанище!

* Сладкое блюдо со взбитыми белками или сливками *(франц.)*.

** Мороженое с фруктами и взбитыми сливками *(франц.)*.

*** Пончики *(франц.)*.

**** Официант *(араб.)*.

— Лучший друг человека — собака.

— Зачем так искажать мои слова?

— Разве это не так? — спросил он, разглаживая пальцами густые усы.— Правда, мы знаем, что лучший друг человека — это вы. Помните, как вы поджидали нас в Мене с ящиком апельсинов?

— Ну хорошо. Не будем говорить друг другу колкости.

— Что ж, не будем.

— Почему вы не зовете меня Люси или хотя бы миссис Пикеринг? Вы никогда ко мне не обращаетесь прямо. Всегда проглатываете мое имя, словно оно становится у вас поперек горла.

— Это от смущения. Я и на самом деле не решаюсь произнести ваше имя.

— Перестаньте болтать ерунду, Куорти. Терпеть этого не могу.

— И я тоже. Противно, правда?

— Вы хотите меня разозлить?

— Вот вам ваше пиво,— сказал он с изысканной вежливостью.— Вы уверены, что вам не хочется со мной поменяться? Никогда не видел, чтобы вы пили пиво. Небось думали, что я из тех, кто его дует целыми днями? Верно. Я выпью пиво, а вы берите себе кофе по-венски.— И он пододвинул ей кофе.

— О чем вы хотели со мной поговорить? — спросила Люси. Она старалась держаться с ним как можно проще, чтобы преодолеть то чувство раздражения, какое они всегда вызывали друг у друга.

— О Скотте.

— Да? А почему со мной?

— Потому что вы теперь имеете на него влияние.

— Ну что ж, давайте. А что с ним происходит?

— Беда в том, что вы, конечно, можете ему помочь и повлиять на него в хорошую сторону, но с тем же успехом вы можете забрать его в лапы и погубить.

— Бедный Скотти. Такой уж он дуралей.

— К черту!! — взорвался вдруг Куотермейн.— Давайте считать, что мы квиты, и подумаем лучше, как нам быть. Неужели я должен вам рассказывать, в каком положении он находится? Да и все мы тоже. А вы лучше меня знаете, что он об этом думает.

Выиграв первую атаку, она как будто смягчилась и стала мило хитрить.

— Ей-богу, не знаю. Я давно вас хотела спросить, что собой представлял его друг Мозес? Я ведь никогда его порядком не знала, а Пикеринг мне рассказывал, что это очень душевный, хотя и вспыльчивый, парень. Вот уж не могу себе представить, кто отважится откровенничать со Скотти!

Куотермейн пожал плечами.

— У Мозеса для всех была душа нараспашку. А какое это имеет отношение к делу?

— Почему его прозвали Мозесом? Ведь его имя было Броди.

— Из-за кудрявой бороды *. Неужели вам Пикеринг ничего не рассказывал?

— Нет. Мы никогда ни о ком из вас не злословили.

— Странно. А я-то всегда себе представлял, как вы с Пикерингом усаживаетесь рядком и разбираете нас по косточкам.

— Боже упаси, никогда! Пикеринг всегда говорил, что не любит сплетничать о людях, которые ему нравятся. Он, как и Скотти, терпеть не мог болтать, только Скотти вообще не желает разговаривать о чем бы то ни было, даже о книге, которую прочел. Иногда у него это доходит до

* Намек на пророка Моисея.

смешного. А вот о Скотти Пикеринг рассказывал, тут он удержаться не мог. Его восхищало, как Скотти работает. Он ведь знал, что тот работает вместо него...

— Слава богу хоть за это,— сказал Куотермейн.

Положив взбитые сливки на мороженое, он стал есть, запивая пивом, и после каждого глотка отирал усы согнутым указательным пальцем. Люси Пикеринг скорчила гримасу и отвернулась.

— А чем наш Скотти так уж хорош в пустыне?

— Планиметрией и сферической тригонометрией, — ответил Куотермейн, с аппетитом доедая мороженое.

— Ну, это само собой. А еще чем?

— Методом вычисления расстояния по величине хорды и угла, проекциями, сеткой меридианов и параллелей. В этом деле он мастак.

— А чем он хорош, кроме своей топографии? — настаивала она, словно не замечая его попытки отделаться от нее шуткой.

— Абсолютной верой в то, что делает.

— А вы все разве не верите?

— Более или менее. Скотт — человек хоть и одержимый, но целеустремленный. Он ничего не делает сгоряча. Все, за что берется, он крепко держит в руках. Он — полный хозяин своего дела.

— Да, но для этого мало быть надежным исполнителем.

— Конечно, мало.

— Тогда что же он такое?

— Вот вы куда клоните... Теперь понятно, почему Пикеринг не хотел с вами разговаривать. Не суйтесь вы куда не следует.

— Пожалуйста... Чего вы боитесь?

— Боюсь, что вы и Скотта превратите в какого-то дурацкого героя. Вроде Пикеринга.

— А чем это плохо?

— Очень плохо. Скотт — не вашего поля ягода, имейте это в виду.

— Да ну? А чьего же?

— Не вашего. И не пытайтесь навязывать ему роль, которая ему не пристала. Скотти — не Пикеринг, не Гордон* и не Лоуренс**. Он мог бы стать таким, как они, в других обстоятельствах. Но не стал.

— Странные вещи вы говорите, Куорти.

Куотермейн доел миндальное мороженое со взбитыми сливками.

— Пожалуй, закажу еще порцию. С сиропом,— сказал он.— Хотите кафе-гляссе? — спросил он ее, улыбнулся и сразу стал похож на итальянца.— Ну как, выпьете?

— Нет. Меня стошнит. Как вы можете есть такую приторную дрянь?

— Что поделаешь — романская кровь!

— Вы и в самом деле наполовину итальянец?

— Да нет, если только норманны втихомолку не произошли от римлян.

— Видно, ваши предки и были Les Quatres Mains Вильгельма Завоевателя?

— Наоборот. Мои предки были гугенотами. Род мой совсем не такой древний. По нашей семье можно изучать историю часового мастерства. Предки мои сбежали от Екатерины Медичи и передали свое умение англичанам. Только в последние сто лет моя семья чуть было не унизилась до коммерции. Но все-таки удержалась при настоящем деле.

---

* Гордон, Чарльз-Джордж, или «Гордон паша» (1833—1885) — английский генерал, колонизатор. Участник Крымской войны, губернатор Судана, убит повстанцами при штурме Хартума.

**Лоуренс, Томас-Эдуард (1888—1935) — английский разведчик в странах Ближнего и Среднего Востока; одно время — советник по арабским делам при министре колоний Черчилле.

— И Скотт, вы думаете,— вашего поля ягода?

— Несомненно.

— Он тоже из тех, кто всегда держится за настоящее дело?

— Безусловно.

— А я, по-вашему, хочу перетянуть его к тем, кто никогда не работает?

— Совершенно верно,— сказал он, посасывая ложечку.— Вот не думал, что вы разбираетесь в политике!

Люси подозвала *сафраги* и заказала *масбут* — турецкий кофе без сахара и сухой бисквит.

— Не желаете ли пирожное, госпожа?

— Нет, подайте мне сухой бисквит, понимаете — английский бисквит.

— *Хадер, йа ситт**,— поспешно ответил *сафраги* с такой счастливой улыбкой, словно Люси помогла ему найти истинное призвание в жизни.— Один ан-глий-ский бис-квит.

— Почему бы вам не съесть санде с фруктами и толчеными фисташками — ассорти, чуть-чуть политый киршем? — спросил ее, заглянув в меню, Куотермейн.

— Потому что мне еще надо сегодня работать.

— Или бомбу по-венециански с толченым ананасом и клубничным желе в сладком миндальном соусе и мараскине?

— Замолчите. Мне от одного вашего чтения становится тошно.

— А вид у вас даже чересчур здоровый! Словно вы только и делаете, что играете в теннис! Но это совсем неплохо. Да вы и сами знаете, что вам идет, когда у вас здоровый вид.

— Подумать только! И вы умеете говорить комплименты... А почему бы нам не перетащить Скотта на свою сторону? Чем плохо, если он, наконец, займется своим делом? И будет делать его хорошо? И получит за это награду?

— Вот этого именно я и боюсь.

— Чего?

— Ваших наград. Признания. Его-то я больше всего ненавижу!

— Разве вы можете что-нибудь ненавидеть?

— Ненавижу самое слово «признание»,— сказал он, принимаясь за вторую порцию миндального мороженого со сливками.— Признание — самое растленное понятие в современной английской речи.

— Ну вот, опять новая теория...

— Но совсем не новая практика,— с трудом произнес он, так как рот у него был набит мороженым. Ел он аккуратно, потому что страшно боялся запачкать кончики усов. — Вы должны признавать возражения своих противников, признавать их самих, признавать чужую точку зрения... Бр-р-р! Как только эта зараза проникла в Англию, все погибло! Вы хотите забрать в свои лапы лучших наших людей? Стоит им додуматься до чего-нибудь невиданного, необычайного, для вас опасного, как вы сразу же — хлоп! — признаете их и перетаскиваете в свою среду.

— И вы предлагаете, чтобы я уберегла от этого Скотта?

— Да. Он нам нужен.

— Для чего?

— Не знаю. Настало время кому-то сказать нет! Вот и все.

— Пусть ваш Скотти попробует это сказать! Если сумеет...

— То-то и оно... Скотти не такой человек, чтобы вспыхнуть разом, как фейерверк. Он только еще начинает всерьез задавать себе вопросы. А вы пытаетесь им завладеть прежде, чем он нащупает на них ответ.

— Ай-ай-ай, как нехорошо!

---

* Хорошо, госпожа *(араб.)*.

— Бросьте! Вот вам ваш кофе и ваш английский бисквит. И не будем больше философствовать. Мне пора в Аббасию. Однако, не говоря о Скотте, у меня к вам только одна просьба: спасите остатки дорожно-топографического отряда, пока кровавый Черч не превратил нас в противотанковую роту, отряд противохимической обороны или еще что-нибудь, столь же бесполезное. Мне кажется, вам стоит поговорить с Уорреном. Или же заставить Скотти с ним поговорить. Вы ведь умеете к ним подойти, к этому генералу Уоррену и его компании?

— Разве Скотти не говорил вам, что они задумали?

— Он сказал, что они еще сами толком не знают.

— Да?

— А что они задумали?

— Почем я знаю?

— Наверно все это знают, кроме меня и Скотти.

— Может быть. Но мне кажется, что теперь все зависит от Скотти.

— Что именно?

— Ваша судьба. И судьба дорожно-топографического отряда. Думаю, что его прикончат. Скотти, конечно, мог бы дать ему новую жизнь после того как убили Пикеринга, но он забыл обо всем, кроме своей ненависти к Черчу. А теперь уже поздно.

— Вы могли бы еще что-нибудь сделать.

Она с раздражением помотала головой:

— Я ничего не могу сделать.

— А добиться у генерала Уоррена...

Она снова покачала головой.

— Почему?

— Потому что они, по-моему, хотят дать Скотти возможность отличиться, а я не желаю этому мешать. Генералу Уоррену кажется, что Скотти — человек стоящий. Вот и хорошо! И ему нужен сам Скотти, а не дорожно-топографический отряд. Уоррен знает, как я со всеми вами близка, и спрашивал меня, что вы об этом думаете. Я сказала, что никто из вас не обидится, если Скотт пойдет своей дорогой.

— Значит, они хотят нас разлучить?

Она попыталась было просто отмахнуться от ответа, но раздумала.

— Ну, зачем вы на меня наседаете? — прошептала она, перегнувшись через стол.— Я ничего не знаю. Оставьте Скотти в покое.

Куотермейн расплатился по счету; он допил последний глоток светлого пива и снова отер усы.

— Так вот какие дела...

— Да,— ответила она.

— Не надо забывать о его отношении к Черчу,— сказал он с надеждой .

— Скотти решил на все это дело махнуть рукой.

— Сомневаюсь...

— А я ручаюсь, что это так.

— Ну, тогда пиши пропало наш Скотти, — сказал он, пробираясь с ней между прилавками, заставленными сладостями. — Если только мне не удастся его уговорить, а я постараюсь это сделать...

— Попробуйте! — сказала она и взяла его под руку.

Абду Эффенди сразу же сделали операцию, потому что Скотт энергично взялся за дело и довел его до конца. Ласковый врач-египтянин заверил Скотта: «Хорошо! Хорошо! Мы сделаем все, что нужно!», вскрыл на спине старика болячку, выкачал оттуда целый кувшин засахаренной лимфы и вырезал куски водянистого мяса. Во время этой процедуры старик умер, так и не придя в сознание.

— Видите, до чего доводит невежество! — говорил Атыя, проливая слезы.— Видите, как все безотрадно.

— Он был старый человек,— утешал его Скотт.— Невежество тут ни при чем.

— Во всем виновата наша темнота! — плача, настаивал Атыя.

Скотт отправил его на «виллисе» домой сообщить матери и стал прохаживаться по тесным коридорам Каср-эль-Айни, дожидаясь, пока не приберут тело. Старика надо было немедленно похоронить, и Скотт договорился с больничным казначеем насчет деревянного гроба и катафалка с четырьмя черными помпонами на стеклянном ящике, запряженного четверкой лошадей. Абду Эффенди был коптом, и его надо было хоронить на коптском кладбище. Казначей заказал катафалк по телефону в бюро похоронных процессий с такими же бодрыми заверениями, какими потчевал Скотта врач.

Когда Атыя вернулся в больницу, было уже темно и Скотт ждал его на улице.

— Надо перевезти отца домой,— сказал Атыя.— Нельзя хоронить прямо из больницы.

— По-моему, брать тело домой запрещается, — сказал Скотт.

— Конечно. Но хоронить его прямо из больницы — это позор.

Глаза у Атыи были большие, даже больше, чем обычно, и совсем сухие. Скотт чувствовал, что они сейчас засверкают от бешенства. Ему очень хотелось избавить Атыю от унижения — от необходимости скандалить из-за тела старика отца. Скотт пошел к казначею, но тот ему отказал наотрез. Тогда он разыскал врача, делавшего операцию. Хирург хитро улыбнулся, дружески похлопал его по плечу и сказал, как истый спортсмен:

— Если сумеете его вынести, валяйте!

— А вы мне помогите,— попросил его Скотт.

Доктор покачал головой:

— Строжайше запрещено. Ну, вот что. Ступайте в мертвецкую и захватите с собой его одежду. Это я вам устрою. Потом оденьте его, вынесите, а я подпишу справку о том, что он выписывается по случаю полного выздоровления. Это все, что я могу сделать.

— А если нас задержат?

— Значит — вам не повезло.

Им не сразу удалось найти одежду, а потом получить ее. Атыя вырвал платье из рук санитара и бросился бежать. Скотт с помощью пятидесяти пиастров удержал санитара от погони и пошел следом за Атыей. Наконец они отыскали мертвецкую, где на мраморных скамьях лежали голые покойники, прикрытые простынями. Им выдали останки Абду Эффенди, — старик уже совершенно усох: не было больше ни лица, ни глаз, ни губ, ни носа — лежал один скелет. Он все еще был туго забинтован от шеи до пояса, и когда труп стали одевать, Скотту и Атые пришлось его посадить, разогнуть ему ноги, а потом — поставить на пол, чтобы натянуть брюки. Скотт держал мертвеца, а сын, едва не теряя сознание и стараясь не дышать, надевал на покойника пиджак.

— Воровать родного отца! —воскликнул он с негодованием.— Родного отца!

Они взяли его с двух сторон под руки, но покойник ничего не весил, и нести было, в сущности, нечего. У выхода санитар, карауливший мертвецкую, дал им белый талончик, и они пошли сначала по коридору, а потом по лестнице, мимо конторки, где Скотт вручил свой талончик, сквозь толпу нетерпеливых посетителей и деловитых санитаров в белых халатах и больших стоптанных сапогах; вытащили босого Абду Эффен-

ди за дверь, пронесли его по великолепным аллеям на улицу, где Атыя оставил «виллис».

— Надо его положить,— сказал Атыя, когда они втаскивали тело в машину.

— Нет,— возразил Скотт,— посади его на переднее сидение и придерживай за спину.

— Родного отца! — завопил Атыя и опять заплакал.

— Ничего, ничего,— успокаивал его Скотт,— держи-ка его лучше как следует.

Они усадили покойника на переднее сидение, застывшие руки торчали вперед. Скотт пригнул их книзу, но они сработали, как рычаги, и Абду Эффенди повалился вниз лицом. Атые пришлось ухватить его за полу пиджака и посадить обратно.

— Готово? — спросил Скотт, чувствуя, как внутри у него все дрожит.

— Да. Но, ради бога, потише на поворотах.

Скотт запустил машину и лихо тронулся в путь.

— *Хасиб!** — закричал Атыя.

Скотт пересек мост, объехал полицейского и двинулся по набережной. Было темно, и замаскированные на случай воздушных налетов фонари словно переносили их из одного озерка голубого огня в другое. Атыя крепко держал мертвеца, но Скотт ехал слишком быстро.

— Он выпадет! — кричал Атыя.

— Надо поскорее добраться до дому,— ответил Скотт.

Они поехали мимо солдатских баров, кафе, террасы отеля «Континенталь», где пили после обеда нарядные посетители, мимо вокзальной площади. Ночь была безлунная, и, вглядываясь в темноту улиц, Скотт внезапно заметил отряд полицейских, шагавших на ночное дежурство. Одеты они были в черное, лица у них были черные, и они совершенно сливались с мглой. Скотт задел хвост колонны, построенной по трое, и когда раздались крики, дал газ; полицейские бросились врассыпную, а «виллис» рванулся вперед, едва не задавив людей. Крики позади них стихли в темноте. Они проехали железнодорожный мост и понеслись по трамвайным путям, по разбитым мостовым мимо глинобитных домов, едва не пропустив нужного перекрестка.

— Сюда! Ради бога, сюда! — закричал Атыя по-арабски.

Они подъехали, и Атыя стал яростно проклинать Скотта.

— Т-с-с! — прошипел Скотт, чтобы его утихомирить.

— Господи, боже мой! Клянусь богом! Именем пророка! Клянусь богом! Я же вам говорил! О господи! Видит бог!..

— Т-с-с! Мать услышит, Атыя,— тихонько сказал ему Скотт.

— Клянусь богом, вы меня убили! Разве человек это может забыть?

— Ничего с тобой не случилось,— заверил его Скотт.— Все ведь уже кончено. Все позади.

— О господи! — приговаривал Атыя, когда они вытаскивали Абду Эффенди из машины.

Он так и закоченел в сидячем положении. Калитка, земляные ступени и дверь были слишком узки, чтобы Скотт и Атыя могли идти рядом. Скотт взял покойника, как ребенка, на руки и пошел вслед за Атыей. Постучав в дверь, тот закричал:

— Уберите детей! Мы идем.

Послышались громкие причитания служанки Еррофы.

— Перестань! — завопил Атыя.

Дверь отворилась, и только теперь, когда Скотт вошел в столовую,

---

* Осторожно! *(араб.)*.

держа на руках Абду Эффенди и не зная, куда его девать, только теперь он почувствовал, как мертв тот, кого он несет. *Ситт Роза* одной рукой вцепилась в безжизненную руку старика, а другой прикрыла свое лицо; Атыя поддерживал мать, и Скотт, по-прежнему в растерянности, стоял посреди комнаты. Черное лицо Еррофы, иссеченное шрамами, перекосилось в вопле ритуального отчаяния, за которым пряталось более древнее и более тихое горе. Она взяла Скотта за руку и отвела в маленькую комнату, где стояла железная кровать, покрытая белым одеяльцем, и Скотт положил на него свою ношу. Абду Эффенди лежал, свернувшись калачиком, подтянув к подбородку колени, как спящий ребенок.

Горе выплеснулось из берегов.

Жена покойного Роза мотала вверх и вниз головой и била себя в грудь сжатыми кулаками. Еррофа, закрыв лицо юбками, причитала с завываниями. Дети, которых поручили соседке, заглядывали в комнату, но Атыя, поддерживая мать, строил им страшные гримасы, угрожающе скалил зубы и выкатывал глаза; однако младшая девочка смотрела на него без всякого страха и корчила рожи в ответ, пока, наконец, ее не утащили за дверь.

Скотт грустно постоял, не пытаясь никого утешить, а потом ушел. «Виллис» он вернул Куотермейну, который пил пиво на открытой террасе армейского кафетерия под эвкалиптами Аббасии.

Глава 17

— Меня приучила к этому заморскому пиву ваша приятельница, Люси Пикеринг, — пожаловался Куотермейн, морщась. — Она думает, что такой человек, как я, непременно должен любить пиво. Вы тоже так считаете?

— Когда вы видели Люси?

— Днем. Хотел встать ей поперек дороги.

— Ну и как? Удалось?

Куотермейн покачал головой; опьяневший, он казался уже не таким подтянутым, волосы растрепались, усы обвисли.

— Нет,— сказал он.— Больно для меня хитра. Хищница. Садитесь. Я вас ждал. Люблю вас дожидаться. Беда в том, что я старался погубить ваше будущее...

Скотт сел.

— Что ж, я и так чувствую себя человеком почти что конченным,— признался он; заказал обоим пива и распорядился, чтобы бой вытер насухо столик.— Ладно. Губите меня дальше.

— Нет. Оказывается, не могу, — печально сказал Куотермейн, скорчив гримасу.— Да и пиво явно помешало моей разрушительной работе— ваша Люси, верно, затем и накачивала меня пивом, уверяя, будто я для него рожден. Жаль, что вас при этом не было.

Они долго молчали, потягивая пиво.

— Вы хотите сегодня вернуться в Мену? — спросил Скотт.

— Конечно. Почему вы спрашиваете? Что-нибудь случилось?

— Ничего. Прихватите и меня.

— Куда? — подозрительно взглянул на него Куотермейн. — А в общем — какое мне дело! Ступайте, куда хотите. Уж больно вы непокладистый, Скотти.

— В каком смысле?

— Мало ли в каком! Иногда за вас и ломаного гроша не дашь! Нельзя же так прожить весь век: вундеркиндом из специалистов. Вот увидите, что они с вами сделают! Она-то знает! Она все знает...

— Что вы мелете? О чем она знает?

— Знает, что они намерены вознести вас на недосягаемую высоту. И не за то, что вы умеете, а за то, чего вы не умеете. Они собираются вас признать. О господи!

Скотт не обращал на его воркотню никакого внимания. Он осматривался по сторонам, соображая, где бы ему вымыть руки, прежде чем он нальет себе еще пива. Ему вдруг показалось, что от него несет запахом смерти, а Куотермейн угнетал его своей мрачностью.

— Неужели тут нет рукомойника? — спросил он.

— Нет! — отрезал Куотермейн.— Лучше послушайте, что я вам скажу, и плюньте на вашу гигиену. Хотя вы-то, слава богу, чистоплюй, чего,— увы! — нельзя было сказать про Пикеринга. Давайте говорить откровенно: Пикеринг был грязный тип. Но дело не в этом.

— Давайте уйдем,— предложил Скотт.

— Нет. Послушайте, что вы собираетесь завтра ответить Уоррену?

— Почем я знаю — ведь он ничего еще мне не сказал.

— Какая разница, что он вам скажет. Важно другое: эти «сосунки» за вами охотятся.

— А что ж тут плохого?

— Но и не в этом суть,— Куотермейн вытянул палец, словно пытаясь нетвердой рукой нащупать эту суть.— У них есть нюх на хороших людей.— Он сморщил нос и стал крутить усы.— «Мы намерены сделать вам одно предложение, капитан Скотт!»

Скотту не хотелось признаться, что ему уже сделали предложение или, вернее, наполовину сделали.

— А если предложение будет стоящее, тогда что?

— Конечно, оно будет стоящее. Других они не делают. Беда в том, что вам и невдомек, как они умеют приворожить человека, когда они его признают. О господи! «Иметь иль не иметь, вот в чем вопрос!..» И вы будете предателем, если к ним переметнетесь...

— Вам непременно нужно вести этот разговор под пивными парами? — Скотт почувствовал, что устал.— Ради бога, Куорти, ешьте вы лучше мороженое!

— Ничего вы не понимаете. И не хотите понять. Послушайте, я вам открою секрет. Все эти ублюдки больны черной оспой. Держитесь от них подальше...

Скотт допил пиво, все время с брезгливостью чувствуя, что руки у него пахнут мертвечиной, и поднялся, чтобы уйти.

— Мне сегодня не до того, Куорти. Пойдем.

— Говорят вам, что они все заразные. Особенно Уоррен.

— Уоррен человек неплохой. Мне он нравится.

— Ну да, конечно, неплохой. Потому-то особенно заразный.

— Ш-ш-ш!

— Вы на меня не шикайте! Научились уже от них!

— Пойдете вы, или я уйду без вас?

— Пойду, пойду. Но она ошибается, старина, она не права. Что мне вам сказать, чтобы вас убедить?..

— Не надо меня убеждать. Не в чем. Я вот только иногда удивляюсь, почему бы англичанам не взять, да и не перестрелять друг друга? Все было бы раз навсегда решено. Вот в чем вам надо бы меня убедить.

— Вы, видно, выпили лишнего...

Он не ошибся. Всему виной было пиво, выпитое натощак после утомительного дня, и прикосновение смерти. Куотермейн все-таки заразил Скотта потребностью поговорить по душам.

— Ну, скажи мне, почему они не палят друг в друга, скажи! — допытывался Скотт.

— Потому, что ни один из них не стоит пули. Понимаешь, старина? Что, опять Черч на уме? Сладу с тобой нет. Кому он нужен, этот Черч, да и твой «человек» тоже? Всех их надо перестрелять, к чертям! Да разве тебе это понять? Отвези меня лучше домой.

Скотт отвез его на «виллисе» в лагерь, а потом снова попросил машину, чтобы поехать к Люси Пикеринг. Было уже очень поздно. Ночь его как будто успокоила, но, прикоснувшись к Абду Эффенди и к горю его близких, Скотт чувствовал себя мягким, как воск.

Глава 18

— Где вы были? Уже так поздно!

Ее цветущее лицо деревенской девушки было таким свежим, что Скотту снова почудилось, будто от него самого пахнет смертью.

— Вы какой-то серый,— сказала она, закрывая за ним дверь.— Что с вами?

— Хорошо бы принять ванну,— сказал он.— Очень это неудобно?

— Этого еще недоставало! Приходить ко мне среди ночи, чтобы принять ванну! — сказала она, вводя его в комнату.

— Разве уже так поздно? — Он отнял руку. Ему не хотелось, чтобы до него дотрагивались.

— Давно пробило одиннадцать.

Она привела его в свою комнату, где нежные краски выгодно оттеняли ее лицо. На ломберном столе, заваленном картами и записными книжками, ярко горела лампа.

— Вы собирались спать?

— Нет. Перечитывала заметки Пикеринга.

Он не задал ей вопроса, который сам собой напрашивался, но она на него ответила.

— Я подумала, что неплохо было бы привести его записи в какой-то порядок. Вы правда хотите принять ванну?

— Конечно, уже очень поздно...— сказал он.— Но мне не хотелось будить весь дом, где я живу...

— Тогда пойдемте.

— Если бы я мог еще переодеться во что-нибудь чистое...— Он уже снял куртку.

Отвернув тяжелые медные краны, она вышла, но сразу же вернулась и принесла полотенце, а потом ушла опять. Он разделся на черно-белом мраморном полу, сел в горячую ванну, натерся люфой и предался любимому занятию каждого англичанина — стал мокнуть в собственной грязи. Но потом поднялся и пустил холодную воду из ручного душа с гибким шлангом. Он ощущал, как вода сбивает с его кожи липкую испарину и словно возрождает покровы тела. Сначала он перестал ощущать отвращение к себе, потом почувствовал свежесть, а за ней и прилив новых сил.

— Скотти! — Люси подошла к двери, когда он вытирался.

— Я сейчас.

— Наденьте вот это.— Она открыла дверь и, решив, что ей нечего стесняться, вошла, неся ворох одежды из сурового полотна.— Я купила эту туземную одежду в Палестине, когда в прошлом году ездила в школу, где учится Эстер. Можете себе представить — ее ткут монашки и продают кочевникам,— кажется, друзам. Очень красивая вышивка на подоле...

— Когда мы с Пикерингом носили одежду бедуинов,— сказал ей Скотт,— несколько сенуситов * приняли нас за воров, которые таскали у них коз, и чуть было не убили. И убили бы. Если бы стреляли получше.

* Члены мусульманского религиозно-политического ордена, возникшего в Мекке в 1837 г.

— Представляю себе, как вы оба развлекались!

— Я-то нет. А вот Пикеринг непременно перестрелял бы их всех, если бы у него был пистолет.

Он надел на себя одежду друзов, которая слегка припахивала кедром — не то дымом кедровых поленьев, не то сундуком из кедрового дерева. На его жестком, обожженном лице лежали темные тени, а глаза совсем провалились. Но он еще не успел побледнеть от жизни в Каире; мокрые волосы были приглажены, крутые завитки развились.

— Вас можно принять за очень древнего римлянина или за очень русского русского, — сказала она. — Но вот уж за араба вас никак не примешь!

Он знал, что выглядит нескладно в любом романтическом наряде, и поэтому постарался сделать свой костюм хотя бы удобным, обмотав вокруг талии пояс и оставив в ванной пыльные башмаки.

— Вы слишком коренасты и слишком крепко сбиты для араба, — продолжала она, играя концами его пояса.

— В верхнем Египте мужчины куда крупнее меня.

— Да, но это *са'айда**, а не арабы в бурнусах, к тому же они жирные. А вы сплошной хрящ. Не убирайте ванну. Утром придет Абду.— Это был ее кухонный бой, который всегда приветствовал Скотта по-английски. Но Скотт нашел тряпку и подтер пол ногой. — Идите, — звала она. — Я сварила кофе.

— Как вы думаете, удобно мне пойти в таком виде домой?

Она собрала с пола его одежду, но он отнял ее, сказав: «Не трогайте!», и снова бросил на пол, ничего не объяснив. Она продела руку ему под локоть, подчеркнуто не стала его расспрашивать, довела до плетеного кресла у себя в комнате и насильно туда усадила. Сама она села с ним рядом.

— О господи, Скотти, как редко последнее время выпадает свободная минутка!

— Это верно.

— И как я рада вас видеть!

Она налила ему чашку кофе и, скинув туфли, подобрала ноги.

Он пил кофе, наслаждаясь тишиной. Но Люси не долго разрешила ему молчать.

— Я хочу с вами поговорить о ваших делах. Не возражаете?

— Наоборот. Буду очень рад.

— Мне пришло это в голову потому, что я только что читала записки Пикеринга. Он уверяет, что вы его надули.

— Как?

— Пикеринг пишет, что огнестойкий герой долгих маршей и безошибочных решений на поверку оказался просто романтиком.

— Пикеринг был романтиком, а не я.

— Ерунда. Вы только это скрываете. Что за спор был у вас по поводу де Виньи?

— Де Виньи?

— Ну да, Альфреда де Виньи. Вы спорили с Пикерингом по поводу «Servitude et grandeur militaires»**.

— Не помню.

— Нет, помните. Вы сказали, что вам нравится «Laurette» ***. Пикеринг пишет, что вы считаете эту вещь замечательной. Чем? Она такая поверхностная, романтическая...

---

* Жители верхнего Египта.

** «Неволя и величие солдата» (новелла Альфреда де Виньи).

*** «Лоретта» (поэма Альфреда де Виньи).

— Мне нравилась в ней тема самоотречения, — сказал Скотт.

— Но ведь это — романтическая чепуха, Скотти! Неужели вас и в самом деле это привлекает?

— Меня восхищал протест де Виньи против убийства, которое человек совершает хотя бы помимо своей воли. Он понимал, что стоит вам убить человека даже помимо своей воли, — и вы становитесь вечным должником, вы должны заплатить за свой поступок.

— Но ведь это христианская мораль!

— Ничуть. — Он напомнил ей о юноше, расстрелянном за свои убеждения, и о капитане корабля, который расстрелял его по приказу, а потом, горюя и раскаиваясь, посвятил всю жизнь невесте этого юноши: она сошла с ума, когда возлюбленный был казнен. — Де Виньи утверждает, что мы несем ответственность за свои поступки и должны расплачиваться за причиненное нами зло.

— Нас учат этому с пеленок, мой дорогой романтик.

— Ну да, нас учат этому религия и абстрактная мораль, а не практика, не жизнь, которая нас окружает. Мне нравится, как поступил этот капитан, а не мораль сама по себе...

— Но стоит ли восхищаться человеком только за то, что он поступает в соответствии со своими принципами?

— А разве этого мало?

— Вот что, оказывается, вас подкупало в Пикеринге!

Он запнулся и сказал не сразу:

— Может быть. Да, наверно, именно это.

— Так вот почему вы хотите, чтобы Черч заплатил за то, что он сделал с Пикерингом? Ну, уж никак не думала, что вы так рассудочно подходите к этому...— Ей не хотелось произносить слово «убийство».

— Мое отношение к этому делу очень ясное. Или, вернее сказать, оно казалось мне ясным. — Не желая разговаривать о Черче, он сказал, что де Виньи показывает и то, что память, наследие, которое оставляет после себя человек, может причинять куда больше страданий, нежели его смерть.— Разве вы не чувствуете этого в каждой трагедии? — спросил он.

— Нет, — сказала она просто. — Я этого никогда не чувствовала.

Он поглядел на нее, и она медленно покачала головой. Вдруг он увидел, что она плачет.

— Я постоянно вас огорчаю, — сказал он, не шевелясь.

— Неправда.

— А в чем же дело?

— Я вас дразню, — сказала она, встала, вытерла глаза и, смеясь, налила ему еще кофе. — А вы, милый мой, слишком хорошо вымуштрованы.

— Неужели Пикеринг писал обо мне и это? — спросил он осторожно.

— Нет, этого Пикеринг не писал. Это говорю я. Вы тут сидите так, словно...

Ему приятно было разговаривать, и он все еще не хотел ничего, кроме покоя.

— Мне хорошо, — сказал он. — Вот так сидеть и на вас смотреть... Так бы никогда и не вставал.

— Ну, тогда я заставлю вас встать!

Она подошла к нему, стала тянуть за уши, за волосы и так сильно тереть ему щеки, что он вынужден был запротестовать. Потом она попыталась поднять его тяжелое, как камень, тело, но он почувствовал лишь легкие вызывающие прикосновения ее быстрых пальцев.

— Ох, уж этот мне храбрый Скотт! — процедила она негодующе, нетерпеливо, сквозь зубы. Он откинул голову, а она тянула его настой-

чиво и уже не на шутку, требуя, чтобы он встал, а потом подошла с другой стороны и крикнула с отчаянием:

— Ну пожалуйста, встаньте! — словно от этого зависело что-то очень важное.

И вдруг он увидел всполыхнувшее жаром лицо и прикованные к нему прозрачные глаза, ее молодость, порозовевшую, распаленную, которая влекла его к себе так, как никогда еще.

— Сейчас, сейчас! — сказал он быстро, чтобы хоть как-нибудь захватить инициативу в этой потешной, будоражащей игре.

Она сказала: «Нет!» и продолжала тянуть его, пока он не понял, чего она требует. Тогда он встал, легко ее поднял, хотя она и продолжала его толкать, крепко прижал к себе и не отпускал до тех пор, пока эта раздражающая борьба не стихла, побежденная каким-то другим чувством, пока ее голова, ее волосы не упали ему на шею и она не стала повторять, задыхаясь:

— Скотти, да нет, я не то хотела, совсем не то...

— Ну и что ж,— сказал он тихонько и опустил ее на пол.

— Но это важно! — сказала она, не отпуская его. — Это очень важно.

Он не знал, как ему теперь быть.

Она отошла от него.

— Я ведь и не думала ничего у вас брать, — сказала она с грустью. — Я хотела сама отдать вам все, что у меня есть. Сама! Сама!

— Т-с-с!

— Вы меня не знаете, но я вам покажу, что мне ничего от вас не надо. — Она отошла от него в дальний конец комнаты и вся подобралась, словно ей надо было быстро окунуться в омут. Но женственное, надежное брало верх, а все, что было в ней жесткого, упорного, еще незрелого, смягчалось на глазах, поэтому страсть ее была такой щедрой и такой неистощимой, что он позабыл всю свою трезвость, всю свою неторопливость. И хотя он завоевал ее, а потом потерял и завоевал снова; и хотя его звали, отталкивали и звали опять, он понимал: то, что он ей давал, и было тем, чего она у него требовала. Он чувствовал ее удивительную щедрость, ее великолепную щедрость, ее нежнейшую щедрость, зрелую и всепоглощающую. Ее неповторимое, блаженное и всепоглощающее прикосновение.

Когда в дар было принесено все до конца, она спросила его лукаво:

— Вы ведь не ждали, правда?..

Он покачал головой.

— Вы не ждали, что я отдам вам все, что вы захотите? Все на свете. Вы ведь этого не подозревали?

— Нет.

— Я рада, что вы этого не знали. Я не хотела, чтобы вы знали. Поэтому я так счастлива. Ведь со мной никогда раньше ничего подобного не бывало. Понимаете? Потому что вы такой цельный, а не двадцать разных оттенков одного и того же человека. Я-то это всегда знала. Знала.

Она была права. Она смягчила его, обучила щедрости; он и сейчас чувствовал, как отдается в нем ее щедрость.

— А ведь это еще не все, я так богата, — сказала она, все никак не насытясь. — Вы могли бы поверить, что у меня еще хоть что-нибудь осталось? А, дорогой?

— Еще? — сказал он, захваченный ее чувством.— Нет, ни представить себе, ни захотеть...

— Не надо так говорить. Мне никогда так не хотелось отдать себя до конца, без остатка. А ты можешь взять все, Скотти. Не только в этом смысле, но и во всем, во всем! Понимаешь?

Он покачал головой.

— Тебе неприятно, что я так говорю?

Он снова покачал головой.

— Ну, скажи же мне что-нибудь. Что хочешь. Ну, хоть что-нибудь.

— Вы — щедрая женщина, но вы знаете это и сами...

— Нет, не знаю. Скажи мне.

Она была мягка и податлива, ничего не стыдилась и чувствовала себя свободно в своем женском естестве, но была им так полна, так поглощена, что он чувствовал, как ее неудовлетворенная щедрость просыпается снова.

— Но почему я? — спросил он ее. — Почему именно я?

— Почему ты? О господи, Скотти! А кто же еще? Почему ты — это ты, а я — это я? Разве так рассуждают? Что отдаешь, то и получаешь. Неужели ты не понимаешь? Только так ведь и бывает: ты получаешь и отдаешь, отдаешь и получаешь. Вот и мы тоже. И не только теперь, но и раньше, и потом. Так должно быть всегда. О господи, как я хочу отдать себя всю: до самого конца.

Ему жалко было ее прерывать, и он только тихо сказал:

— Да, это правда. Это правда!

— Что? Скажи мне!

— Разве я могу объяснить?

— Нет, скажи! Скажи хоть что-нибудь! Что хочешь! Мне все равно!

— Разве я могу? Все это отошло от меня теперь так далеко...

— Ну, повтори. Скажи еще раз.

— Говорят, — подсказало ему какое-то смутное воспоминание,— что любовь укрылась в дремучие леса...

— Как это прекрасно! Ну! Говори!

— В леса, и еще в ночь...

— Ах, милый. Ну да, помню. Как чудесно, что ты это сказал. Если бы ты сказал что-нибудь другое, я бы тебя убила. Ах, милый ты мой, как я была одинока.

Он не слушал.

— Если человек, который отдает себя целиком, не любит, то как же...

Он молчал.

— А ловко я тебя поймала? — она смеялась и прижималась к нему все крепче. — Ну, какой дурачок! Какой же ты дурачок! Непонятный, нескладный... Такой непонятный... Таинственный...

Молчание, полное глубочайшего смысла.

— Вот все и прошло! — сказала она наконец.— А ты у меня остался. Какая я счастливая! — твердила она сквозь слезы. — Какая счастливая. Я твоя целиком. Ничего ни для кого у меня больше нет. Только для тебя, а у тебя для меня. И я твоя, твоя, твоя! Какая же я счастливая!

Глава 19

Они долго следили за тем, как по краю каминной доски ползет таракан, срывается, снова карабкается вверх и наконец степенно разгуливает среди костяных слоников.

Как попал таракан в эту чистую комнату? Она возмутилась.

— Я его убью.

Но он удержал ее.

— Пусть живет. Не надо никого убивать.

Тогда она сказала с тревогой.

— Господи, пусть это будет к счастью! Ты веришь в удачу?

— Конечно! Я и здесь-то потому, что мне выпала удача! Счастливый случай!

— Знаешь, как нам с Пикерингом всегда везло? Ведь по-своему у нас была счастливая жизнь. Потому-то мне и хочется опять быть счастливой. Тебе неприятно, что я об этом говорю?

— Нет. Но помни только одно...

— Что, милый?

— Я ведь совсем на него не похож. Не ищи во мне повторения прошлого, ничего не выйдет.

— Не буду. Обещаю, что не буду. Ты ведь такой цельный.

Он знал, что ему надо сказать ей правду.

— Да я и не уверен, что мне нравился Пикеринг. Хотя, видит бог, он был мне ближе других, не считая, пожалуй, Джека Броди.

— Как ты можешь говорить, что он тебе не нравился?

— Может, это и не так. Но в наших отношениях всегда чего-то не хватало.

— Но он к тебе относился лучше, чем к кому бы то ни было. Правда — не с самого начала. Его безумно раздражала твоя молчаливость. Он говорил, что ты напоминаешь ему того француза — Бриса Парена,— тебе ведь тоже кажется, что если ты произнесешь хоть слово, кто-нибудь его непременно украдет, исказит или использует во вред.

— Это потому, что самому Пикерингу слова нужны были, как хлеб. Мы — люди разные.

— Да, но он знал, что только ты один среди них — настоящий человек. Нет, неправда. Все вы были настоящие люди. Знаешь, первое время я ему говорила, что у тебя не хватает воображения. Он приходил в ярость и кричал: «А что, по-твоему, выводит нас целыми и невредимыми из пустыни, как не его воображение?»

— Он имел в виду мою предусмотрительность.

— Это одно и то же, Скотти. Пикеринг знал тебя лучше, чем я. Но...

— Нет, он меня не знал. Мы с ним ладили потому, что могли друг друга уважать, но близости между нами не было. Да и я не очень хорошо его знал.

— Но ты ему во всем доверял. Ты ведь сам мне это говорил!

— Конечно, доверял.

— Ну, а этого достаточно. Он рассказывал, иногда даже не без ехидства, что стоило человеку на тебя хоть раз поглядеть, и он верил тебе после этого всю жизнь. А поработав с тобой, он признался, что и сам бы доверил тебе все что угодно — всю нашу армию и даже будущее человечества.

Скотт кивнул.

— Знаю! — сказал он.— «Человек прежде всего — человек!»

— Зачем этот цинизм по отношению к самому себе? Ты, по-моему, единственный человек на свете, которому и я могу довериться до конца.

— Давай лучше поговорим о де Виньи.

— Ладно. Пикеринг писал где-то в другом месте, что ты — страшный враг всякого умничанья и что, прочтя все его книги, ты никогда не хотел о них разговаривать.

— Верно.

— Почему? Почему ты немеешь даже тогда, когда речь идет о твоем мнении насчет какого-то глупого французского романа? Отчего? Отчего ты вечно молчишь?

— Потому что я трус,— сказал он сонным голосом.— Меня чуть не с пеленок воспитывали инженером, топографом, понимаешь? У меня в крови боязнь принимать решения, прежде чем я не буду до конца уверен в том, что делаю.

— При чем же тут трусость?

— Не знаю. Мне начинает казаться, что глупо всегда знать наперед, как ты поступишь. Я становлюсь нетерпеливым, таким, как был Пикеринг. Мне хочется сломать устоявшийся порядок, как это делал он, пробиться сквозь стену авторитетов и глупости, как это делал он. Странно, когда я наблюдал его причуды, мне казалось, что мой долг — сохранять спокойствие, проявлять методичность. Когда он приходил в ярость, я должен был рассуждать вместо него. А теперь никто больше не приходит в ярость, и мне этого недостает. Наверно, я потому и ненавижу Черча, что ни в ком другом он не вызывает ни презрения, ни ненависти.

— Но ты ведь теперь имеешь дело не с ним, а с Уорреном.

— Вряд ли я соглашусь и на то, что предлагает он. Ведь я знаю, что за Уорреном скрывается все тот же Черч.

— Ну, это уж неразумно, Скотти.

— Знаю, что неразумно. Но мне не хватает безрассудства Пикеринга. Ни у кого не осталось настоящего темперамента. Послушай, Люси: ведь и молодого Бентинка погубила идиотская затея Черча, но никто не пришел из-за этого в бешенство. Ты только пожала плечами. Да и я, пожалуй, тоже. В этом смысле его смерть не тронула даже его жену. Но ведь где-то, кто-то должен был взбеситься!

— Ради всего святого, Скотти, не будь хоть ты чудаком!

— О господи, если бы я мог им быть! Тогда я поступил бы так, как мне надо поступить. А пока я ищу выход. И не могу ничего делать, пока не пойму, что же именно я делаю.

— Может, на тебя влияет Куотермейн?

Он засмеялся.

— Неужели на меня так легко повлиять? Я, конечно, знаю, что классы существуют. Нельзя быть англичанином и не чувствовать классовых перегородок. Они и мне мешают. Но я не могу винить классовую систему во всех наших бедах, как это делает Куотермейн. Я не верю в исключительность, в превосходство одного класса над другим, не верю и в то, что права одного человека исключают права другого. Но я думаю, что именно из-за веры в свое превосходство и в свое исключительное право, которая царит там, в Набитате, мы проигрываем войну, хотя и смотрю на вещи иначе, чем Куотермейн. Я вижу, что такие люди, как Черч и ему подобные, превратили в пытку войну в пустыне. Своими оплошностями они обрекают нас на верную гибель. Заранее знаешь, как бессмысленно будут перебиты лучшие люди. И только из-за глупости тех, кто претендует на право делать промахи. Тут я согласен с Куотермейном и считаю, что это должно когда-нибудь кончиться.

— Как это может кончиться?

— Не знаю. Когда я думаю о Черче, мне кажется, что я могу положить этому какой-то конец. Но что я могу сделать по существу? Разве что застрелить его. А на это я едва ли решусь.

— Значит, ты сам признаешь, что положение безнадежно.

— По-видимому. Да. Признаю. Все безнадежно.

— Нет! Неправда!

Он пожал плечами.

— Хорошо, если у человека остается хоть что-нибудь взамен.

— Вот и слава богу! — сказала она весело, чувствуя, что он приходит в уныние.— А что именно? Ну, скорей, дорогой, скажи, что же это такое?

— Работа.

— А-а... Призвание.

— Нет. Просто работа. Самый ее процесс.

— Ну, милый, старо, как мир!

— А я вот только что это открыл, — сказал он, закинув руки за голову; его массивные локти торчали в разные стороны. — Беда в том, что понадобилась война, чтобы работа твоя получила цель и направление. Всякое усилие кажется более плодотворным, когда идет война. Вот что удивляет тех из нас, кто попадает в армию. Но и тут видишь, как все твои старания идут насмарку, потому что кто-то считает себя вправе руководить, а потом изгадить все, что тобой сделано.

— А кто же, по-твоему, может руководить, милый, простодушный Скотти? Мой Скотти, который всегда прав и постоянно во всем ошибается? — спросила она, прижавшись к его лицу щекой.

— Да любой из нас. Помнишь Джека Броди?

— Мозеса? Твоего друга Мозеса?

— Да, — сказал он, глубоко задумавшись и закрыв глаза. Теперь он был далеко от нее. — Моего друга Мозеса. — Она взмахнула рукой у него перед глазами, и он вернулся из забытья. — Зачем я ломаю себе над всем этим голову?

— Вот ты говорил о такой замечательной вещи, как исключительное право. Право владеть безраздельно. Помнишь?

— Оставь. Не будем больше об этом говорить.

— Нет! Я хочу об этом говорить. Милый! Разве ты стал бы меня с кем-нибудь делить? Разве ты не хочешь владеть мной безраздельно?

— Ты сама затеяла этот дурацкий разговор, — сказал он, откидывая у нее со лба волосы.

— Я затеяла разговор о тебе. И вдруг ты заговорил с такой страстью, какой я у тебя не подозревала. И о чем? Не обо мне. Ты бывал когда-нибудь так разговорчив в пустыне?

— Ночные часы в карауле иной раз тянутся бесконечно.

— А обо мне ты когда-нибудь думал?

— Часто.

— Как о чужой жене?

— Наверно.

— Я очень часто думала о тебе. Очень часто. Постоянно.

— Вот и нехорошо.

— Я ведь тайком была в тебя влюблена. Меня всегда к тебе тянуло.

— Не стоит над этим шутить.

— Ну, хорошо, дорогой, не сердись. А почему? Почему мне нельзя было о тебе думать?

— Нельзя.

— Ах, какой строгий!

— Да, строгий.

— И ты не захочешь меня ни с кем делить? Ты настаиваешь на своем исключительном праве?

— Настаиваю.

— Ну, скажи мне это еще раз.

— Я скажу, что ты самая нежная, самая добрая...

— Я буду очень доброй. Ты хочешь, чтобы я была доброй?

— Да, конечно. Хочу!

— Попроси.

— Не буду.

— Тогда хоть скажи! Пожалуйста. Ну, пожалуйста, Скотти.

— Твоя необыкновенная доброта...

— Ты правда так думаешь? Я добрая? Очень добрая?

— У меня нет слов...

— Видишь, что человеку нужно? Доброта. Безраздельность. Принадлежать безраздельно, понимаешь? Ах, как я в этом нуждаюсь. Если бы

ты только знал! Вот эта самая безраздельность. Ну, скажи же мне что-нибудь еще.

Что он ей мог сказать?

— Я тебя убью, если ты будешь молчать. Ну скажи мне хоть что-нибудь!

— О любви никто на свете
Верных слов не может выдумать...

— Да, да! Говори! Я не знала, что ты такой... Ты всегда от меня прятался. Ну, скажи еще что-нибудь. Ну, пожалуйста...

— О любви никто на свете
Верных слов не может выдумать...

— Какой ты необыкновенный! И как нам необыкновенно хорошо. Господи, я кажется умру, так мне хорошо. Видишь, я плачу. Видишь, как мы счастливы...

Немного погодя она успокоилась и даже заговорила о будущем.

— Если ты будешь хорошо себя вести... — сказала она шутливо.

— С кем, с тобой?

— Нет, не со мной. А с Черчем. Он ведь стал у тебя навязчивой идеей.

— Бедняга Черч, — сказал он. — Вот не думал, что он нуждается в твоей защите.

— Не будь таким злым. Какое мне дело до Черча?

— Тогда почему тебя огорчает, что мне до него есть дело?

— Меня это не огорчает. Это мне мешает. И тебе тоже. Неужели ты не можешь все это выкинуть из головы? Неужели я не могу тебя уговорить?

— Думаю, что нет.

— Но что ты собираешься делать?

— Еще не знаю.

— Послушай, Скотти! — Она села и наклонилась над ним.— Нам так с тобой может быть хорошо, мы будем счастливы. И у нас все пойдет чудесно, я знаю. Я ведь сама бросилась тебе на шею, но, клянусь, это потому, что мне не жалко отдать тебе всю мою жизнь! Ты и сам это чувствуешь.

— Зачем нам копаться во всем этом?

— Ладно. Но что же ты все-таки решил?

— А что, по-твоему, я должен решить? — сказал он уже с раздражением.

— Я хочу, чтобы ты делал то, на что ты способен. Ты должен согласиться на предложение Уоррена. Это будет правильно. Я знаю, что думает сам Уоррен; я знаю, что он тобой восхищается; он хочет открыть тебе просторную дорогу. Надо только, чтобы ты вел себя как следует. Я так боюсь, что эта глупая ненависть к Черчу помешает твоему будущему. Ведь я беспокоюсь только за тебя. Я хочу, чтобы тебя оценили по заслугам. Наконец-то к тебе пришла возможность чего-то добиться, проявить себя! Тогда мы будем счастливы. А все эти дурацкие фантазии насчет Черча надо бросить — они тебя только сломают, погубят, оставят ни с чем. С пустыми руками, Скотти!

— Ты думаешь, я могу позволить, чтобы преступная ошибка Черча исчезла из памяти людей, как дым?

— Да, думаю. Все это теперь не имеет значения.

— И это говоришь ты?

— Да, это говорю я. Я не могу простить Джеку Черчу того, что он

сделал, но я могу об этом забыть. И я должна об этом забыть. И ты тоже. Ты теперь для меня все. Неужели ты этого не понимаешь?

— Понимаю. Не волнуйся.

— Как же я могу не волноваться. Ты подумай, как все у нас может быть хорошо! Прости, что я так настойчиво об этом говорю, но я ничего не могу с собой поделать. Не могу. Ведь я отдаю тебе все, Скотти... Если бы ты только знал...

Он успокоил ее.

— Ладно, — сказал он вдруг. — Я все равно ничего не могу решить. Я тебе говорил: Черч для меня — это не просто головотяп, который угробил двадцать человек. Но я и сам не знаю, с чего мне начать. Ты права. О Черче я могу забыть. Кажется, я должен буду о нем забыть.

— Да, должен! И я знаю, что ты так и сделаешь.

— А кому-то ведь полагалось бы с ним расправиться, и уже давно,— сказал он с горечью. — Хотя бы с ним одним. Не то будешь чувствовать себя таким ничтожеством...

— Я тебя понимаю. Но ты должен все забыть. Все, с самого начала. И притом теперь ведь не Черч, а генерал Уоррен заботится о твоем будущем...

— Да. Надо завтра сходить к Уоррену.

— Тебе же он нравится. Я знаю, что он тебе нравится. Не думай о Черче. Он — ничто.

— Ладно. Ладно. С этим делом покончено.

— Вот видишь! Какой ты благородный, Скотти! Дорогой ты мой, родной... Вот видишь, как нам хорошо, как мы будем счастливы!

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

В СМЕРТИ?

Глава 20

Он знал, как они счастливы и как они могут быть счастливы.

Об этом он думал на заднем сидении старенького такси, которое вел полуслепой шофер в *галабии*. Шофер отчаянно пытался вовремя заметить невидимые ему препятствия, которые грозно двигались впереди или еще более грозно преграждали ему путь. Люси была права,— рассуждал Скотт,— когда говорила, что любовь — это щедрость. Если в любви есть хоть какой-то смысл, он — в душевной щедрости. Самый действенный из глаголов — одарять. Но кому нужны эти рассуждения? Он ведь и сам ей сказал, повторяя слова Вильяма Блейка (Скотт покраснел, вспоминая, что он произнес их вслух):

О любви никто на свете
Верных слов не может выдумать:
Тихо дует этот ветер,
Молчаливо и невидимо*.

Любовь щедра, невидима для глаз и нема. И Люси щедра. Он вдруг почувствовал, как его заливает горячей волной, как в нем поднимается дрожь. Странное состояние для визита к Уоррену!

Чтобы успокоиться, он нагнулся и стал смотреть вперед, туда, куда смотрел шофер. Но расстояние между ними в этом старомодном лимузине было так велико и напряжение, с каким шофер вглядывался в подстерегающую его на каждом шагу судьбу, было так страшно, что он снова откинулся назад. Хорошо бы поделиться своими мыслями с Уорреном. Он его поймет. Застенчиво отведет глаза и, с трудом разжимая губы, скажет: «Да, это верно. Любовь — только тогда любовь, когда ей ничего не жалко. Можно, конечно, найти и более приемлемую формулу...»

* Перевод Бориса Слуцкого.

Зря он морочит себе голову такими мыслями.

— *Йа оста!** — крикнул он шоферу. — Остановитесь где-нибудь здесь. Где хотите.

«Фиат» занесло направо, и он остановился. Скотт вышел, попросил шофера подождать и постоял немного, не двигаясь. Руки у него тряслись. Он ощущал такую дрожь, вспоминая ее близость, ее щедрость, что успокоить его могла только ходьба. Скотт пошел по улице, словно знал, куда ему идти. Но идти было некуда. Он купил газету у мальчика в феске, который, увидев его форму, машинально сплюнул.

Оказавшись рядом с закусочной «Братья Исаевич», где лучше всего в Каире готовили *фул* и *тамию***, он туда вошел. Вокруг был пожелтевший мрамор и ажурные решетки из старого железа. Скотт постоял возле громадного котла, который кипел над двумя ревущими примусами. Взяв с прилавка крутое яйцо, он его очистил и проглотил, почти не разжевывая. Отказался от миски с супом и хлеба с *фулом,* предложенных ему заботливым поваром. Съев второе крутое яйцо, он подошел к крану, где посетители закусочной, поев *молохию****, могли вымыть жирные губы. Он плеснул в лицо холодной воды, утерся носовым платком и вышел, чувствуя себя освеженным.

— *Ахлян ва сахлян, йа кэптэн*****, — сказал ему на прощание повар.

Странно было слушать это приветствие уходя — оно означало, что его, как старого друга, приглашали прийти снова.

— Mercі, Ибрагим.

Старый шофер сослепу не признал в нем своего пассажира, он долго и самоотверженно его не пускал, но когда услышал голос, дал полный газ под самым носом у лошади, запряженной в повозку. Возница закричал им вдогонку:

— Да разрушит господь твой дом, сын потаскухи! Из-за этих такси всем нам придет конец! Ты что, слепой?

«Да,— сказал себе Скотт.— Он слепой, бедняга. Совсем слепой».

Слепота не казалась такой уж бедой в стране, где два или три процента населения были слепы, где в деревнях пятьдесят процентов детей умирало, не достигнув и пятилетнего возраста, а те, кому удавалось выжить, едва дотягивали до двадцати лет.

Но и об этом бесполезно было разговаривать с Уорреном, и Скотт не мог понять, с чего ему это сейчас пришло в голову: может, в связи с Куотермейном или Гамалем.

О слепоте он подумал, глядя на слепого шофера, а от него мысль перекинулась на Джека Броди, у которого не должно было остаться в живых ни единого, самого тоненького нерва, когда его так обожгло на минном поле; особенно лицо и глаза — их выжгло совсем. Даже его внутренности, которые стали видны из-под обгоревшего мяса, и те обуглились и почернели. Мускулы висели, как горелые тряпки. Но больше всего ему запомнились пустые глазницы на выжженном до кости лице. С этого лица бесследно исчезли рыжая борода и рыжие волосы — им не на чем было больше держаться.

«Мозеса? Твоего друга Мозеса?»,— переспросила его Люси.

Волосы и борода у Мозеса были красными потому (как сказал однажды Пикеринг), что он жег свою жизнь с обоих концов. Не было такого напряжения, которое могло бы поглотить его жар, поэтому он растрачивал его на что попало, каждую секунду, каждую минуту, каждый час

---

* Хозяин *(араб.)*.

** Название блюда из бобов, вареных в масле *(араб.)*.

*** Овощная похлебка с чесноком *(араб.)*.

**** Добро пожаловать, капитан *(араб.)*.

своей жизни. Он сжигал на этом огне каждое мгновение, отпущенное ему судьбой.

— Пылающий Броди! — сказал о нем Пикеринг.

Если бы Пикеринг знал, что этими словами он предсказывает его кончину! Он предсказал и Скотту: «Вы так и умрете цельным человеком — правильной цилиндрической формы, а я вот умру человеком, раздираемым на множество частей». И это было трагическим пророчеством в устах того, кого разорвало на куски. Но Пикеринг хоть умер сразу. А у Джека осталась жить одна горящая ниточка в мозгу. Она позволила ему услышать голос Скотта и попросить доделать то, что не удалось огню.

В то время, в ту ужасную минуту застрелить Джека казалось актом милосердия. Но в памяти этот поступок не сохранился, как акт милосердия. Осталась страшная память о том, что он, Скотт, оборвал последний живой нерв Джека Броди. Этот последний нерв (который приводил в действие сердце, легкие и каким-то образом даже мозг) был перерезан пулей, выпущенной Скоттом из «смит-вессона». Воспоминание жестокое, тяжелое, ибо если где-то билась хоть одна живая жилка, она была слишком жизненно необходимой, чтобы ее обрывать. Скотт дорого заплатил за то, чтобы это понять. Джек все равно умер бы в страшных муках, но это не искупало его вины. Каждая песчинка жизни, каждый ее атом бесценны, особенно — этот последний, пылающий атом, который давал жизнь Джеку Броди. На свете нет ничего более ценного, чем последний нерв, привязывающий человека к жизни. Вот единственная достойная человека философия, когда речь идет о жизни и смерти.

— Остановитесь, *йа оста*,— сказал он снова шоферу.

Он не мог явиться к Уоррену в таком состоянии. Ему надо было пройтись.

— Сколько? — рассеянно спросил Скотт.

Шофер ответил ему беспомощным взглядом.

Скотт посмотрел на счетчик и положил ему в руку несколько монет, добавив чаевые, — правда, не слишком много, чтобы не унизить его человеческого достоинства.

— Да осветит господь путь ваш, — вежливо поблагодарил его шофер.

— И ваш также, и да хранит он вашу семью, — ответил Скотт и зашагал прочь.

Сохранить свою жизнь, как сохранил ее он, как сохранил ее Куотермейн, Сэм и полоумный Атыя, — есть ли что-нибудь дороже этого?

— Скотти! Идите сюда, я вас подвезу.

По противоположной стороне улицы в «виллисе» ехал Пикок со своими двумя сеттерами — Шейлой и Питером — на заднем сидении. Заметив Скотта, он остановил машину возле моста Каср-эль-Нил.

— Я, пожалуй, прогуляюсь пешком, — крикнул ему Скотт. — Большое спасибо.

— Вы к старику?

— Да.

— «Да здравствуют скотты!» * — крикнул Пикок, отъезжая. Скотт обогнул мост и пошел прочь от Набитата.

Что в жизни важно?

Сейчас, например, важно вовремя попасть к Уоррену. Он повернул назад и пошел в штаб.

Явился он вовремя, но ему пришлось подождать в приемной. И эта секретарша была подругой Люси, но ее Скотт не интересовал. Она была самой нелюбознательной из всех англичанок в Набитате, и ему стало жалко Уоррена. Об этой женщине Скотту рассказывал Куотермейн. До

* Скотты — группа кельтских племен, по имени которых названа Шотландия (древнее название Скотландия).

войны она была известной художницей по костюму, работала в журнале мод. Жизнь у нее была явно нелегкая — она лишила секретаршу всякой женственности. Не осталось ни мягких очертаний лица, ни малейших признаков щедрости... Мысли его снова вошли в опасное русло. Скотт развернул газету, чтобы отвлечься.

Он прочел на первой странице, что за покушение на Амера Хусейна пашу арестован египетский офицер Гамаль аль-Мухтар.

— Входите, Скотт,— прервал его чтение невеселый голос Уоррена.— Подождите минутку, я сейчас освобожусь.

Скотт вошел в кабинет генерала, а Уоррен вышел в приемную, прикрыв за собой дверь, и оставил Скотта одного. Скотт снова взялся за газету, думая о Гамале, хотя и понимал, что сейчас ему лучше о нем не думать. По крайней мере сейчас.

С трудом напрягая внимание, он прочел на той же первой странице, что Россия цинично высказывается по вопросу о втором фронте, утверждая, будто он так никогда и не откроется. Геббельс же заявил, что англичане готовят новое наступление в Западной пустыне, открывая для Германии весьма отрадную перспективу, ибо всякое наступление британской армии всегда кончается провалом, и новая очередная их попытка сулит англичанам новый и, может быть, самый жестокий разгром. На этот раз Роммель погонит их до самого Каира, а что они будут делать тогда? Египтяне поднимут восстание и разделаются со своими английскими хозяевами...

— Вы меня извините, Скотт,— сказал озабоченный Уоррен. Он закрыл за собой дверь, подошел к трофейной вешалке, взятой у итальянцев в форте Капуццо, и снял оттуда свою полотняную куртку.— Мне надо спешно ехать в зону канала. Должен вас покинуть. О вашем новом назначении вам придется поговорить с генералом Черчем. Не возражаете?

Скотт помог ему натянуть куртку на искалеченную левую руку.

— Конечно, сэр.

Вошел адъютант, высокий, с хорошей выправкой, еще очень молодой и неопытный.

— Простите, сэр,— обратился он к Уоррену.— Я все-таки не понимаю: полагаются мне в Замалеке конюшни для пони? Мне казалось, будто вы говорили, что полагаются.

— Да, говорил.

— В таком случае, они вас явно не поняли.

— Обратитесь к полковнику Брэдмену. Это все, Филпотс. Можете идти.

— Слушаюсь, сэр,— сказал адъютант и вышел.

— Это мой новый помощник. Игрок в поло. Ничего не поделаешь. Я хотел вас просить пока что выполнить для меня одно поручение.

— Да, генерал?

Уоррен взял кожаный стек и коробку с пилюлями.

— Наметьте мне на карте с десяток пунктов для размещения складов горючего; начните где-нибудь юго-западнее Триг-Капуццо и расположите их на отрезке миль в сто к западу. Не слишком близко к трассе, но и не слишком от нее отдаляйтесь. К этим складам должны иметь доступ грузовики и даже танки. Вы знаете, какие трудности у нас были с горючим. Стоило двинуться в глубь пустыни, и у нас кончался бензин, а из-за канистр мы, бывало, теряли его больше, чем в любом сражении. Какой же толк в танках, если их нечем заправить? Так было в Сиди-Резег. Ни горючего, ни ремонтных мастерских. Нельзя было отремонтировать танки! А это еще хуже, чем нехватка бензина. Вот чем я сейчас и собираюсь заняться. Для танков нам нужны аварийные машины.

Ведь при Соллуме в бою участвовало не больше пяти танков из пятидесяти, остальные мы не могли пустить в ход. Не хватало ремонтно-восстановительных средств. Поэтому наметьте подходящие пункты: если удастся, мы заранее забросим туда горючее. Я не намерен больше посылать в бой хорошие машины и хороших солдат, если у них не будет горючего и нельзя будет вовремя вывести их из-под удара. Мы несем слишком много напрасных потерь. А наши друзья в Лондоне не желают с этим считаться. Вы мне поможете?

Уоррен придерживал рукой дверь.

— Слушаюсь, сэр, мы с Куотермейном сделаем все, что нужно.

— Хорошо. Окажите мне такую любезность. Ведь это не входит в ваши прямые обязанности. А насчет нового назначения поговорите с генералом Черчем. Надеюсь, оно вам будет по душе, хотя задача отнюдь не из легких.

У старого солдата были свои заботы, свои огорчения из-за чудовищных потерь в технике и личном составе. Он был этим целиком поглощен. Сейчас он отправлялся в Абу-Сувейр для того, чтобы осмотреть новые ремонтные мастерские. Его друзья в Лондоне были забывчивы, их нелегко в чем-нибудь убедить, они так требовательны. Если бы Уоррен позволил себе высказаться начистоту, он бы сказал, что его друзья в Лондоне — дурачье и головотяпы, которые мешают выиграть войну. Ему тоже приходилось отправлять людей на убой, понимая, что его постоянно сторожит неудача и возможность совершить роковую ошибку.

Оба они все еще стояли у двери.

— Ах да, Скотт, вот что. Люси Пикеринг собирается к нам в пятницу обедать. Может, и вы придете? К тому времени генерал Черч введет вас в курс дела, и мы сможем поговорить.

— Большое спасибо, сэр. Буду непременно.

Дверь отворилась. Тревога, напряженные поиски выхода — все было снова спрятано: граница закрылась, и Уоррен пробежал через комнату своей секретарши, как робкая девушка, которая спасается от назойливого кавалера.

— Всего хорошего, сэр,— сказала секретарша поспешно.

Но генерал уже успел скрыться.

— Послушайте, капитан! — сказала она, когда Скотт, выждав для приличия какое-то время, вышел из кабинета Уоррена.

— Да? — Скотт понял, что он попался.

— Вы идете к генералу Черчу?

— Возможно. А что?

— Я должна это знать, мне нужно договориться, чтобы вас приняли. Дело ведь срочное.

— Я сам договорюсь.

— Вам лучше сделать это сейчас.

— Вот как?

— Да, именно так, капитан Скотт. Генерал Черч вас ждет. Дело не терпит отлагательства.

— Знаю.

— Ну, так как же? Вы пойдете туда сейчас?

— К сожалению, у меня есть еще одно дело.

— Да? А какое именно, капитан Скотт?

— Боюсь, что это дело личного характера.

— И оно не может подождать?

— Никоим образом.

— Понятно. Тогда я позвоню генералу Черчу. Прошу вас остаться.

— Я зайду напротив, к полковнику Пикоку,— поспешил объяснить ей Скотт.— Он сам свяжется с Черчем. Не возражаете?

— Что ж... Да, не возражаю.

— Благодарю вас. Всего хорошего.

Она была слишком занята, чтобы с ним попрощаться. Скотт снова пожалел Уоррена.

Скотт знал, куда ему хотелось бы обратиться за помощью,— за спиной у Набитата, за спиной у посольства, в небольшую виллу из песчаника, где она работала. Но он не станет просить помощи у Люси, хотя эта помощь ему очень нужна. Пикок — человек порядочный и сделает то, что у него просят. Надо только поскорее его попросить.

— Ну? — добродушно осведомился Пикок.

— Уоррена вызвали в Абу-Сувейр. Мне придется разговаривать с Черчем.

— Да. Мне уже сказали. Эх, не повезло... Уоррен все уже подготовил. Все...

— Да мне, в сущности, хотелось попросить вас кое о чем другом,— сказал Скотт, сел, снял фуражку и почувствовал, что просить Пикока ему совсем нетрудно.— Сегодня утром арестовали одного человека, который стрелял в здешнего политического деятеля. Вы читали?

— Боюсь газет, как чумы, старина. Но краем уха что-то слышал. Вот потеха! Неужели они его и в самом деле поймали?

— Поймали. Вы можете договориться с начальником военной полиции, чтобы мне дали с ним свидание? Надо будет, по-видимому, получить разрешение египетских властей...

— Зачем вам, прости господи, это нужно?

— Он мой друг.

— Вот тебе раз! Не может быть!

Пикок, поглядев на Скотта, подумал: «Здорово же он прячет свои глаза — как глубоко они провалились, как низко прикрыты веками и как укромно спрятаны от света...»

— Да,— сказал Скотт.— Если бы вы смогли мне это устроить... Мне необходимо с ним поговорить. Как вы думаете, есть какая-нибудь возможность вытащить его из тюрьмы?

— Вы что, с ума сошли?

— Нет, почему же? Не думаю.

— Ведь он стрелял в одного из наших! Вернее говоря, в одного из тех самых ручных египтян, кого наше посольство кормит из рук.

— Да, кажется. Наверно стрелял.

— Военные власти в такие дела не вмешиваются. И потом...

— Вы можете попросить начальника военной полиции?

— Ладно. Но вы не слишком уж на это надейтесь.

— Я хочу с ним поговорить.

Пикок колебался.

— Они несомненно спросят, о чем может беседовать английский офицер с субъектом, который стрелял в одного из наших. А вдруг он немецкий агент?..

— Нет. Тут совсем другое... А почему бы вам не сказать, что дело связано с разведкой?

— С разведкой?

— Ну да, черт бы ее побрал, с разведкой.

— Верно. Это уже куда лучше. Я бы даже сказал — благородно с вашей стороны. Вы не будете возражать, если я пойду с вами?

— Я предпочел бы увидеться с ним с глазу на глаз...

— Пожалуйста. Но имейте в виду, времени у вас мало. Сэндерс!

— Что прикажете, сэр?

— Соедините меня с полковником Риверс-Шоу из управления военной полиции.

Сэндерс соединил Пикока с Риверс-Шоу, который заявил, что он и пальцем не притронется к этому делу. «Попробуйте связаться с советниками посольства»,— рекомендовал он Пикоку. «Хорошо, Дики»,— ответил Пикок и попросил Сэндерса соединить его с Майком Сейерсом из посольства. Тот заявил, что дело вовсе не такое уж простое, арестованным заинтересовались в весьма высоких кругах и посольство ни в коем случае не захочет впутывать в эту историю военное командование — тут и так замешано слишком много народу.

Скотт увидел, как перед ним вырастает стена. Может быть, первый раз в жизни он увидел воочию, как перед человеком вырастает стена.

— Бог с ними,— сказал он Пикоку.— Бросьте. Не стоит.

— Нельзя так легко сдаваться,— ответил Пикок. Могущество его личных связей было поставлено под сомнение. Он позвонил Пенденису, который сказал, что тут замешана политика, а в политику лучше не ввязываться, вся эта гнусная шайка действительно черт знает на что похожа; если парень и укокошил какого-то жирного интригана, это только делает ему честь; однако покушение приоткрыло неприглядные стороны здешней жизни, оно близко затрагивает всю дворцовую клику, которую наше посольство хочет держать на привязи; нет, он не может вступать в эту игру, он человек слишком маленький, а тут участвуют люди крупные, да еще какие крупные!

— А он в самом деле ваш друг, этот человек? — снова попытался хоть что-нибудь выведать Пикок.

— Говорю вам, это не имеет значения.

— Садитесь,— сказал Пикок.

Он позвонил еще одному знакомому, на этот раз — из разведки; тот тоже заявил, что сделать ничего нельзя; подобными делами ведает особый отдел разведывательной службы. Посторонних не подпускают на пушечный выстрел. В таких случаях нужна тонкая политика и уж поистине азиатская изворотливость!

— Есть у меня на примете один человек — о нем я должен был подумать с самого начала,— сказал Пикок.— Самый тайный из всех тайных агентов.

Но Скотту уже хотелось, чтобы Пикок и тут потерпел неудачу.

— Питер, вы слушаете? — вызывал кого-то Пикок.— Знаете, дорогой, а вы ведь до сих пор не расплатились. Нет. Я-то не обиделся, но все-таки, согласитесь, неудобно, что я плачу, а вы нет. Да. Мы же, в конце концов, компаньоны. И я чувствую себя ответственным за это дело. Заплатите? Молодчина! Теперь слушайте. Ладно, ладно! Слушайте. У меня тут Скотт. Да вы его знаете, помните тот, что был у Пикеринга? Ну вот, он хочет перемолвиться парой слов с тем сумасшедшим, который стрелял в Амера пашу и был вчера арестован. Да, я все это знаю. Знаю! Верно... Но тут у нас тоже есть свои маленькие секреты... Слышал, слышал! Но разве нельзя подступиться с заднего хода? Очень важно для одного дельца, которое мы тут затеяли... Нет, мы не хотим путаться со всеми этими формальностями. А вы не можете сделать сами? Знаю, что тут замешана политика, но нас интересует совсем другое. Ну, какая вам разница? Десять минут. Будьте другом, устройте нам это. Но только быстро, пока они его не прикончили. Завтра увидимся. Да, у Эндрю. Я заплачу, а вы мне потом отдадите. Да, позвоните мне. Жду.

— Вот не думал, что это будет так сложно,— сказал ему Скотт.

— Ничего не попишешь, политика. А с нею всегда масса возни.

— Неужели они и в самом деле могут его расстрелять? — спросил Скотт с деланным равнодушием.

— Думаю, что да. А по-вашему, он этого не заслуживает?

— Может, и заслуживает.

— Я бы не стал винить его в том, что ему захотелось пустить пулю в одного из мерзопакостных типов, которых мы водим на поводке. Но все-таки он переборщил! Дело приняло слишком серьезный оборот. Ха-ха! Даже наша контрразведка, и та всполошилась. А с ними это редко бывает.

— Ах да, контрразведка...

— Он действительно ваш близкий друг, этот субъект?

— Пожалуй, да.

— Тогда я, на вашем месте, был бы очень осторожен.

Скотт кивнул.

— А вам когда-нибудь приходило в голову, что он может выкинуть что-нибудь подобное?

— Да как вам сказать...

— А какого черта ему было нужно, как вы думаете?

— Он, видимо, ненавидит англичан. И, наверно, думал, что человек, в которого он стрелял, предает Египет англичанам. По-моему, он жалеет о том, что сделал.

— Хорошенькое дело! Красивый вид был бы у этих египтяшек без нас, англичан!

Зазвонил телефон; Питер сказал, чтобы они шли немедленно. Скотту повезло, он все устроил, но надо прийти сейчас же. Пикок довез Скотта на «виллисе» до какого-то здания в центре Каира, похожего на контору комиссионера по скупке хлопка. В тихой, прохладной обители (комната с приспущенными шторами, чистые полы и пустой письменный стол; никакой суеты) англичанин в белой рубашке и белых брюках сообщил им, что по счастливому стечению обстоятельств этот самый террорист сейчас находится в министерстве внутренних дел, куда его привезли на допрос. Если Скотт туда поедет, он его там застанет. Но пусть не задерживается и, главное, пусть не говорит, откуда он и чем занимается. Ждать его никто не будет. И свидание должно продолжаться пять минут, не больше. Сам Питер ничего не желает об этом знать; если его спросят, он предпочел бы быть в полном неведении. Дело деликатное. Против этого субъекта имеют зуб не только посольство и двор, но и все здешние политики, которые сами боятся пули. От него требуют показаний относительно целей и состава его организации.

— Вашего молодчика все тут боятся как огня,— сказал Питер.— Когда от политики переходят к стрельбе — дело принимает опасный оборот.

Шофер Питера — суданец с надрезами на лице, как у Еррофы, только глубже и шире,— молча довез их в старом черном «остине» до четырехугольного здания министерства внутренних дел. Лифтер был придурковат, однако он с первого взгляда определил, куда им надо, и проводил их по пыльным коридорам со скрипучими половицами в комнату, где со Скоттом поздоровался розовый полицейский в штатском и феске. Он кинул на Скотта проницательный взгляд и улыбнулся ему, словно признав собрата по профессии. После цветистых приветствий и упоминаний шепотом об их общем друге (по-видимому, Питере), Скотта провели в маленькую комнату, где даже поцарапанные стены были забрызганы чернилами, словно здешние делопроизводители устраивали веселые побоища. На скамейке у окна с решеткой, против старика-полицейского с отталкивающим лицом, сидел Гамаль, закованный по рукам и по ногам. Его здорово потрепали на допросе, взгляд у него был какой-то отсутствующий, но, глядя на его лицо, Скотту по-прежнему казалось, что это

самый волевой и самый здравомыслящий человек из всех, кого он когда-либо видел.

— Гамаль! — окликнул его Скотт.

На застывшем лице арестанта появилось выражение недоверия.

Скотт медленно покачал головой, словно возражая против невысказанного Гамалем подозрения.

— А-а-а! Как вы сюда попали? — У Гамаля был такой вид, будто он долго обливался потом. Одежда его промокла насквозь и была запачкана, а крупный, давно небритый подбородок заострился. Он сидел ссутулившись, и его неудобная поза показывала, что он очень устал, а рана сильно его мучает. Он явно ослабел. В душе, думал Скотт, он сейчас борется с сомнением. Чудовищное подозрение в предательстве, казалось, пугало его, колебало самую основу его нетронутой веры.

— Как вы сюда попали, капитан?

— Я прочел о вас тут,— в руках у Скотта все еще была газета. К сердцу его прилила горячая волна, но он знал, что это не жалость.

— Зачем вы пришли?

— Сначала я понадеялся, что смогу вам помочь,— сказал Скотт, присев на краешек конторского стола,— но задолго до того, как я сюда попал, мне стало ясно, что это безнадежно. Я ничем не могу вам помочь.

— Неважно,— сказал с облегчением Гамаль по-английски.— Теперь уж это неважно. А я было подумал...

Скотт поспешно кивнул головой, не позволяя ему высказать то, что он подумал.

— Как они вас нашли? — спросил он Гамаля.

— Не знаю. Они почти сразу пришли в ту комнату, куда меня положили. Недалеко от дома доктора. Кто-то, наверно, донес.— Он пожал плечами.— У нас ведь есть и враги, а не только друзья. И политическая борьба, капитан, никогда не ведется втихомолку. Мои друзья могут подумать, что это донесли вы...— Гамаль сам почувствовал чудовищность того, что он произнес.— Понимаете, капитан, Хаким непременно подумает, что вы меня предали. Вам грозит большая опасность.

— А с какой стати Хакиму так думать? Он ведь знает...

— Он знает только одно: англичане вероломны. Сам он человек скрытный. И умеет ненавидеть дольше и беспощаднее, чем люди вспыльчивые. Он решит, что это сделали вы. И поклянется вам отомстить.

Скотт пропустил его слова мимо ушей.

Гамаль схватил собеседника за колено:

— Вы должны их переубедить, капитан, понимаете? Позвоните в контору его отца и попросите, чтобы Хаким с вами встретился.— Гамаль и вообще-то говорил тихо, чтобы его не слышал *шавиш* *, но имя отца Хакима он произнес шепотом.

— Ей-богу, все это не имеет никакого значения,— сказал Скотт.

— Нет, имеет! Они до сих пор верят, что все решает пуля,— нервно перебил его Гамаль.—Вы в опасности, ведь я не могу с ними увидеться. Вы должны сами им сказать...

Старый полицейский смотрел на них с беспокойством: Гамаль наклонился к Скотту и что-то ему шептал. *Шавиш* сам любил действовать исподтишка, а потому и других подозревал в недобрых замыслах.

— Еще кто-нибудь арестован? — спросил Скотт, чтобы перевести разговор на другую тему.

— Они говорят, что арестованы все, но это ложь,— Гамаль отер с лица пот, его лихорадило, глаза у него были воспалены.— Они хотели, чтобы я назвал своих друзей, но я заявил, что действовал один, по своей воле, и это, кстати говоря, чистая правда.

* Унтер-офицер *(араб.)*.

— Вы им сказали, что жалеете о своем поступке?

— Нет. Я о нем не жалею. Я ведь вам говорил. Я чувствую, что поступил неправильно. Но ни о чем не жалею. Я рад, что он остался жив. Рад, что понял свою ошибку. Об этом я им сказал.

— Они вас по головке не погладят.— Скотт знал: ему надо сказать Гамалю, что это еще не конец, что худшее еще впереди. Но Гамаль все понимал сам.

— Меня повесят? — спросил он. И сам ответил: — Что ж! Может быть.

— Зачем вы признавались в чем бы то ни было?

— Я сам себя об этом спрашиваю. Не со страха. И не потому, что хотел искупить какую-то вину. Признался потому, что думал: «Гамаль, нельзя начинать со лжи». Что бы там ни было, я должен говорить правду, не то они отнимут у меня мою силу.

— Это может вам дорого обойтись. Они вас не пощадят.

— Знаю. И готов к самому худшему. Я хотел вам сказать только одну вещь, капитан...

Тон у него был неуверенный, и Скотт ждал, что Гамаль вот-вот у него что-нибудь попросит. Оказалось, что Гамаль обращается с просьбой к самому себе.

— Я не могу позволить, чтобы меня опозорили. Понимаете, это у них против меня самое сильное оружие! Покрыть меня позором. Раньше я этого не знал. Они говорят: сдайся, откажись от своей правды и от своих убеждений. Все мы знаем, что нашему народу живется плохо, но живи, как мы. Живи, как мы, говорят они. Брось свое дело, говорят они, и стань таким, как мы все. Иногда они говорят это даже ласково. Но и тогда хотят растлить мою душу: чувствуй свой позор, Гамаль! Или: ну что тебе за дело, Гамаль? Или: пойдем с нами, Гамаль! Но если они хотя бы на миг заставят меня испытать стыд или если я решу, что мое дело — сторона, тогда я пропал и все пропало, и народ мой пропал. Видите, как они меня загоняют в угол! В самый угол! И нужно им не мое тело, а моя душа.

— Если им не удастся погубить вашу душу, они расправятся с вашим телом,— предостерег его Скотт.— Будьте осторожны. Ни в чем не признавайтесь! Ни в чем!

— Поздно, капитан. Но хорошо, что вы мне это говорите! — Гамаль положил свою темную, горячую, дрожащую руку на руку Скотта.— Зачем вы сюда пришли? Вам это не повредит?

— Я вам сказал: надеялся, что смогу вам помочь. Но послушайте, Гамаль, вы понимали, что вы восстали против всех?

Гамаль засмеялся:

— Вы опасаетесь за мою жизнь, капитан?

— Боюсь, что да. Вы вот все говорите о ваших целях, о спасении народа, об истине. А вы знаете, что на себя взяли, когда выпустили эту пулю?

— Как же я могу этого не знать? Ведь только об этом мы и мечтали всю жизнь.

— Но один человек, горсточка людей, пистолет...

— Неужели и вы хотите убедить меня, что все безнадежно? Что игра не стоит свеч, потому что она безнадежна?

— Нет. Не хочу.

— Значит, вы верите, что мое дело достойно того, чтобы я за него постоял? Скажите, капитан!

— Да. Если вы понимаете его масштабы. Да.

— Вам ведь не раз грозила смерть, капитан?

— В общем, конечно...

— А как по-вашему, стоит мое дело того, чтобы за него умереть?

— Что я могу вам сказать?

— Ну вот,— сказал добродушно Гамаль, разминая закованные ноги.— Вы меня ободрили.

Скотт почувствовал себя еще более беспомощным, чем раньше.

— Мне жалко, что я ничем не могу вам помочь. Вот что меня мучит.

— Ах, капитан! — сказал Гамаль. — Вам надо решать свою собственную судьбу.

— Мою или Англии? Видите ли, Гамаль, я понимаю, что вы совершили. Я понимаю ваш поступок куда лучше, чем наши английские дела. Я думаю о вас, а не об англичанах и их судьбе.

— И у англичан есть выбор между правдой и неправдой. Подумайте об этом.

— Понимаю,— сказал Скотт.— И может быть — впервые.

— Тогда, капитан, не огорчайтесь. Вы мне уже помогли.

— Нет. Вы не знаете... Вы смотрите на вещи слишком просто,— настаивал Скотт.

— Только так и надо на них смотреть.

— Но вы не понимаете, кому вы бросили вызов, Гамаль.

— Угнетателям.

— Угнетателям? А кто они такие? Вы бросили вызов посольству Великобритании, английской контрразведке, египетской полиции, разведке (да поможет вам бог!), здешним политическим заправилам, дворцовой клике, правительству и черт знает еще кому. Все это совсем не так просто, как вам кажется.

— Для нас это очень просто, капитан. Мой народ...

— О господи, ваш народ темен и подавлен. Он ничего не знает.

— Он знает, что он темен и подавлен.

— А что они знают о вас и о деле, которому вы служите?

— Почти ничего.

— Ну и что же?

— Зато я знаю. А я всегда с ними, капитан. Вот в чем суть. Вот почему полицейские наверху говорят мне: «Откажись, Гамаль. Дело твое безнадежно. Откажись, Гамаль!» Но я не могу отказаться.

Полицейский в феске, стоявший за дверью, открыл ее и подмигнул Скотту с видом заговорщика. Он чуть-чуть поднял бровь, игриво намекая на то, что свидание окончено.

— Мне пора,— сказал Скотт, с отчаянием разводя руками.

— Знаете что, капитан? — Гамаль попытался встать, но сразу же снова сел, скорчившись от боли.— Мне жалко англичан.

— Не тратьте на них свою жалость, Гамаль.

— Они никогда не поймут, за что мы их презираем, потому что не видят бедствий нашего народа. Все они рождены слепыми, дорогой мой друг, кроме тех, кто видит, как видите вы. Но вы мне сказали, что у вас не знают, что такое братство...

— Так уж мы устроены,— с сожалением сказал Скотт.

— Есть такая арабская поговорка,— и Гамаль произнес по-арабски: — «Когда говоришь о братстве, хочется кричать о нем на всех перекрестках».

— Какое же братство может быть в войне? — возразил Скотт.

— Ищите его и обрящете,— сказал Гамаль, и слова его не прозвучали религиозной заповедью. Для арабов понятия братства, души, служения делу, веры, народа, преувеличенные похвалы, горячие заверения, выспренние мольбы, клятвы в любви и в родстве — не только естественны в обиходной речи, но и необходимы.

— Я ничем не могу вам помочь, ничего не могу поделать, Гамаль,— печально повторил Скотт, сам не понимая, на что он надеялся.

— Да. Все сгорает в один миг,— грустно ответил Гамаль, вставая.— И я вот надеялся, что успею сделать куда больше. А поглядите, как быстро и неприметно все кончилось. Я должен был добиться большего.

— Не надо так думать.

Египтянин кивнул:

— Но ведь это правда. Ошибка, которую я совершил, была совершена зря.

— Это была достойная ошибка. Вам надо было сделать выбор. И начать действовать. Мне тоже кажется, что я должен совершить какой-то поступок, только по другой причине, а может, и по той же самой причине... Не знаю. Мне хотелось бы застрелить английского генерала, чтобы доказать...

— Ах, друг мой, не надо меня утешать,— белые зубы Гамаля сверкнули чуть-чуть звериным оскалом.

Египтянин не понял, а Скотт не стал ничего объяснять.

— Скорее,— заторопил их *шавиш.*— Прошу вас,— добавил он.

— Ну что ж, прощайте,— сказал Скотт, отвечая на крепкое до боли рукопожатие.

— И не забудьте,— горячо напомнил ему Гамаль.— Вам надо сходить к Хакиму. Я вас прошу, скажите ему!

Скотт кивнул, и полицейский закрыл за ним дверь.

В коридоре Скотту многозначительно улыбнулся розовощекий агент в феске.

— Сегодня ночью,— посулил он, как женщина,— он скажет нам все. Все! Все! Все!

«Сегодня ночью,— сказал себе Скотт, надвигая на лоб фуражку, крепко надвигая ее на свою крепкую голову,— сегодня там наверху египетские полицейские выколотят ногами из Гамаля ту мужскую силу, которую он так старательно оберегал, доверившись англичанину».

Глава 21

— Все в порядке? — спросил Пикок, когда он вернулся.— Я схожу с вами. И постараюсь, чтобы все прошло гладко. Но Черч хочет провести этот разговор в присутствии своих акционеров, то есть внести в него особую деловитость. А вы готовы проявить деловитость?

«Акционерами» называли оперативный отдел Черча.

— Мне все равно.

— Правильно, старина. Давайте сохранять во всем этом деле чуть-чуть ироническую интонацию,— ободрял его Пикок, пристально на него поглядывая.— Вам-то ведь вовсе нечего терять.

— А что тут они выдумали, скажите мне, наконец!

— Я же говорил. Они и в самом деле хотят поручить вам ответственное дело. Куда более ответственное, чем когда-либо поручали Пикерингу. Но — молчу, не надо предвосхищать событий. Пусть это будет для вас сюрпризом.

— Правильно. Не будем предвосхищать событий, — согласился Скотт.— Пусть все идет, как идет.

— Шейла! Убирайся! Оставь Скотти в покое.— Пикок столкнул стеком Шейлу с сидения «виллиса».— Она к вам неравнодушна. Если бы у нее выжил хоть один щенок, я бы вам его подарил. Какая сука!

Шейла тыкалась мордой Скотту в затылок и вылизывала ему уши.

Когда они отъехали, Пикок, беспокоясь за Скотта, его предупредил:

— На этот раз бросьте вашу знаменитую игру в молчанку и хотя бы намекните насчет того, как вы теперь относитесь к Черчу.

Они круто завернули за угол, Скотт ухватился за борт машины.

— У меня только одно желание: застрелить Черча,— сказал он.— Покончить с этим делом раз и навсегда.

Пикок даже шлепнул по кузову машины. Его радость была слышна на весь Набитат.

— Наконец-то! За весь год первый раз сострил. Вот молодец! Давно пора!

— Конечно, пора,— сказал Скотт.— Давно пора англичанам стрелять в англичан.

— Вот здорово! Я и сам не понимаю, почему мы этого не делаем. И что только нам мешает? Ей-богу, я никогда об этом не задумывался. А ведь кто-то, по-моему, стрелял в Бонара Лоу, или в Кэмпбелла Баннермана, или в Бернарда Шоу; словом, в кого-то из этих типов? Ну да наверно ирландец. Тогда это не в счет. Дайте немножко подумать. Я вам завтра скажу, почему англичане не стреляют в англичан. Но, ей-богу, это замечательная идея!

— Не стоит к ней относиться очень уж всерьез,— сказал ему Скотт.— Вы только не вздумайте подходить к этому вопросу научно.

— Наука тут бесполезна, старина. Все решает инстинкт.

— Инстинкт? — переспросил Скотт с подозрением.— Какой инстинкт?

— Надо внушить себе желание кого-нибудь застрелить. Это наверно совсем не так трудно.

— Ладно, только, пожалуйста, не приплетайте сюда науку,— настаивал Скотт.— Она заведет нас в тупик.

— Правильно, Скотти! Правильно. С шуткой жить веселее.

Пикок повернул свой «виллис» к стоянке штабных машин и остановился рядом с большим закрытым «фордом».

— Можно подумать, что тут не штаб, а шикарный отель,— сказал он, махнув стеком в сторону сборища самых разнообразных частных машин, которые офицеры оставляли на этой ведомственной стоянке.— Скоро с нас будут требовать плату за постой.

Он показал Скотту на проходившего мимо военного:

— Посмотрите на старого Баркера-Дендерсона, вон тот растрепа с грязной бородой, — разве он не похож на землекопа? Сейчас влезет в свой древний «хилмен», опустит забрызганное грязью желтое стекло, раскурит вонючую трубку (он все утро набивал ее у себя в кабинете), выпустит струю черного дыма в окно машины, заведет ее... видите, он как раз ее заводит, еще струя дыма из окна — пока включает скорость. Смотрите! Еще затяжка, и он уехал. Старый олух! Но кудесник во всем, что касается электричества. Идем. Я провожу вас на этот матч.

Скотт шел за ним, чувствуя такой же прилив симпатии к этому человеку, какой он однажды почувствовал к Гамалю.

Никакого совещания не было, и Черч сразу же отпустил Пикока.

— Садитесь поближе, Скотт, и снимите свою амуницию.— Даже вежливость Черч умел выражать в форме приказа.— Мне странно видеть на вас походный ремень.

Скотт сел на ближайший стул, не потрудившись объяснить, что портупея нужна ему для того, чтобы поддерживать брюки.

— В эту войну портупею носят только пижоны,— сказал Черч, и его запавший рот чуть-чуть растянулся в подобие улыбки.— Вы этого, конечно, помнить не можете, но портупея была нам очень нужна в первую войну; мы тогда носили куда более тяжелые пистолеты и гранаты. Приходилось ее надевать, чтобы облегчить нагрузку на поясной ремень. Но теперь оружие и гранаты носят редко: в такой войне, как сейчас, они не

так уж нужны офицеру. В окопной войне, в рукопашном бою, когда вы кидаетесь вперед очертя голову, вам нужно что-то держать в руках, не то чувствуешь себя совсем беззащитным. И все равно у тебя идиотский вид.

Черч предался красочным и дорогим ему воспоминаниям; нанизывая друг на друга слова, он пытался проникнуть за непроницаемую оболочку Скотта.

Скотт слушал, не поднимая глаз. Он расстегнул медную застежку портупеи, вытащил ремень из-под погона, снял кожаный пояс с кобурой, аккуратно свернул все это и положил возле себя на полированный стол.

— Нам с вами надо обсудить ряд вопросов,— заявил Черч, нащупывая путь к главной теме разговора.— Но мне кажется, что раньше всего вам следует узнать, чего мы от вас хотим.— Черч поднял свои покрытые мелкими веснушками руки. Он нуждался в помощи.

Но Скотт и не думал оказывать ему эту помощь.

— Я ведь не знаю: вы можете и не захотеть взять на себя это поручение. Генерал Уоррен считает, что вам должно быть предоставлено право выбора. Ему кажется, что в данном случае вы имеете это право потому, что дело крайне опасное. Лично я думаю,— резко произнес Черч,— что чем больше опасность, тем больше требует ваш долг...

— Так точно, сэр,— перебил его Скотт.

Он ждал, но, видя перед собой напыщенную физиономию кровавого Черча, вдруг почувствовал, что вся его долголетняя привычка выжидать куда-то исчезла. Ожидание растлевает душу, и вот, наконец, он избавлен от этой самой закоренелой и вредной черты своего характера: от привычки выжидать, молча приглядываться, пока будущее не определится, пока в уме не блеснет луч света. Наконец-то он распрощался с этой привычкой.

Черч словно что-то почувствовал:

— Вы долго ждали своего часа, Скотт. Теперь пришло время для настоящего испытания всего, что вы успели накопить,— опыта, умения работать в пустыне — всего, к чему у вас врожденная склонность. Вы, кажется, что-то сказали?

— Нет, сэр, ничего.

— Пикеринг много бы дал за такое поручение, но мы теперь знаем, что фактически выполнять его все равно пришлось бы не Пикерингу, а вам.

Черч шел к своей цели, и Скотт почувствовал, что удар попал в цель. Генерал взывал к нерушимой его вере — вере в умение, в наследственное умение множества поколений Скоттов.

— Одним словом,— сказал Черч,— мы хотим, чтобы вы незаметно провели двести человек и не менее пятидесяти грузовиков к дороге на Агейлу, то есть на двести пятьдесят миль в тыл противника. Я подчеркиваю «незаметно», и, если вас не обнаружат, это само по себе будет выдающимся достижением. В этом весь смысл операции, так как в случае неудачи все дальнейшее может быть сведено на нет.

Черч смотрел на него в упор, словно ища у него поддержки; Скотт кивнул.

— Но подойти с отрядом к дороге — только половина дела. Достигнув намеченного пункта, вам придется себя обнаружить; противник должен сразу же узнать, что вы там находитесь. Ваши грузовики будут снабжены макетами брони и пушек. Вы расставите ваши «орудия» и людей таким образом, чтобы Роммель поверил, будто против него сосредоточен ударный кулак. Он должен принять вас за хорошо вооруженный отряд с артиллерией и бронемашинами — серьезную угрозу своим тылам. Куда более серьезную, чем какой-то бродячий отряд в несколько сот солдат. Ну как, Скотт, говорит это что-нибудь вашему воображению?

Его воображению это говорило многое, но он хотел дослушать до конца.

— Прежде чем Роммель сможет двинуть свои силы, вы действительно совершите нападение на дорогу, ведя себя так, словно вы и в самом деле представляете собой мощный ударный кулак и реальную угрозу. Да у вас на несколько часов, пожалуй, и хватит сил. Задача заключается в том, чтобы непременно — понимаете, непременно — заставить Роммеля оттянуть из района Агейлы итальянскую «Ariete» *, а если возможно, то и значительную часть всего четвертого бронетанкового корпуса, который стоит там в резерве.

Если вы сумеете оттянуть на себя эти соединения хотя бы частично на один-два дня, наш план обхода Тобрука и захвата дороги на Бенгази увенчается успехом. Нам позарез нужны эти один или два дня, чтобы прорвать передний край Роммеля и продвинуться вперед, прежде чем он сможет ввести в бой свои резервы. Вам понятен смысл операции? Надо, чтобы он был вам абсолютно ясен.

— Да, генерал, смысл операции мне понятен.

— Когда вы зайдете так глубоко в тыл, вам будут угрожать две серьезнейшие опасности. Во-первых, непосредственная опасность нападения с воздуха, хотя наши воздушные силы обещают послать в этот район все, что смогут, и в течение двух дней прикрывать вас от вражеских самолетов. И во-вторых, вам грозит полнейший разгром, если «Ariete» или немецкие танки действительно врежутся в ваше расположение или обойдут вас, прежде чем вы сумеете отступить. Что ж, мне не надо вам объяснять, какая кровавая бойня вам тогда угрожает.

Тут кроется самая большая опасность. Пока Роммель не поймет, что его обманули, он будет бросать на вас все свои силы, чтобы разгромить вас быстро и беспощадно. Вы лично, Скотт, должны будете провести его за нос, если можно так выразиться,— провести за нос по пустыне.

На исходе второго дня, и не позже чем на утро третьего, я ударю по левому флангу его переднего края у Тобрука, поверну на дорогу к Бенгази, заставлю его бросить вас и сконцентрировать силы для отпора мне. Это позволит вам, если все пойдет хорошо, вовремя отойти.

Кровавый Черч откинулся назад, опустил пониже стенную карту и провел по ней своим прозрачным пальцем, показывая, какой сокрушительный удар он намерен нанести в районе Тобрука. Но на карте, на этой карте большого масштаба, Скотт видел только Джало — кружочек, черный крестик, тонкую красную полоску.

— План несложный, и обстоятельства требуют, чтобы вы, один из немногих, знали наши тактические и стратегические намерения. Конечно, вам придется разработать общие положения с генералом Уорреном и со мной, получив соответствующее звание и все прочее, необходимое для проведения этой операции. В этом смысле ваше будущее, так сказать, обеспечено... Прежде чем вы мне ответите, я хотел бы добавить еще кое-что, для вашей же собственной пользы...

Скотт почти совсем перестал вслушиваться в то, что говорит Черч. На мгновение вся его жизнь словно слилась с этой большой картой, на которой были обозначены памятные для него места — не только Джало, но и Агейла, и Тобрук, и Сива, и Джарабуб, и сотни других названий, которые так много говорили ему одному. Трассы, триангуляционные пункты, цистерны, груды камней, гробницы, горные проходы. А под красной отметиной с цифрами 22/31 — белое пространство с надписью *«не разведано»*. Он так живо почувствовал всю уединенность, всю тоскли-

* «Таран» *(итал.)* — название дивизии.

вую пустоту этих мест, что пришел в себя только тогда, когда услышал слова Черча.

— Не обращайте пока внимания на карту,— сказал кровавый Черч и, резко дернув шнурок, с треском свернул карту в рулон.— Мне лично не хотелось бы поручать эту операцию никому другому. На вас я могу положиться. И разговариваю с вами пока что частным образом, хотя вы знаете, что в армии не принято, особенно в военное время, предоставлять офицеру право выбора и считаться с его вкусами, давая ему задание.— Черч пожал плечами, отвечая собственным мыслям.— Не знаю, право, как вам объяснить... Время от времени тебе попадается дельный человек, и важно оценить его по достоинству. Может, вы и рождены для геройских дел. Не знаю. Во всяком случае, вы унаследовали часть легендарной славы Пикеринга. Но мне лично кажется, что при желании вы можете пойти куда дальше, чем он.

Мы даем вам эту возможность. Но если мы признаем ваши способности, если мы согласны с ними считаться, вы, со своей стороны, должны помнить о вашей новой, теперь уже значительно возросшей ответственности. Со всем, что осталось от дорожно-топографического отряда, должно быть покончено. И, как я уже говорил, вам придется работать в тесном контакте с генералом Уорреном и со мной. Другими словами, Скотт, из кочевника пустыни вы превратитесь в командира регулярной армии с соответственным положением, званием и властью.

Черч повернулся к нему и наградил его улыбкой — странная награда!

— Я лично хотел бы выразить надежду на то, что наша... наше взаимопонимание будет расти и укрепляться.— Тон у генерала был все-таки суховат.— В том случае, конечно,— поспешно добавил он,— если вы примете это назначение. Мне вряд ли стоит подчеркивать, что ваше «да» или «нет» распространяется не только на данное поручение. От вашего решения зависит очень многое для вас лично.

Последние слова были произнесены даже с некоторым жаром.

— Ну? — сказал генерал. Улыбка уже не скрывала его раздражения.

Скотт сидел неподвижно, более неподвижно, чем когда бы то ни было в своей жизни; тело его напряглось словно для прыжка, но с душевной медлительностью было покончено, покончено раз и навсегда.

— Я не думаю, генерал, что смогу взять на себя это поручение.

— Как вы сказали? — генерал даже слегка рявкнул от неожиданности.— Не можете или не хотите?

— Предполагалось ведь, что мне предоставляется право выбора?

— Генерал Уоррен предоставил вам это право.

— Ну вот я и отказываюсь.

— Вы считаете, что это задание невозможно выполнить?

— Нет, почему же? Думаю, что оно выполнимо.

— Тогда, может быть, у вас нет доверия ко мне лично? — желчно спросил Черч.

— Дело и не в этом,— осторожно ответил Скотт, а потом сухо добавил: — Может быть. Не знаю.

— Вы понимаете, от чего вы отказываетесь?

— Да, сэр. Понимаю.

— Тогда вам следовало бы подумать о вашем долге!

— Все зависит от того, генерал, как понимать свой долг,— ответил Скотт циничнее, чем бы ему хотелось. Он предпочел бы окончить беседу без скандала.

Но генерал заулыбался и потер руки, словно шутка зашла слишком далеко:

— Ну что ж, Скотт, я могу вам разъяснить, в чем состоит ваш долг. Ваш долг — делать то, чего мы от вас требуем. Служить так, как вам

надлежит служить. Тут ведь у вас, по сути дела, нет выбора. Пока вы находитесь у меня в подчинении, вы будете выполнять то, что, по моему разумению, вы сумеете выполнить; то, чего мы от вас потребуем. Я только жалею, что вы предпочли служить не как равный, а как человек случайный и подневольный. Но раз так, извольте явиться ко мне завтра утром, в десять ноль-ноль.— На миг Черча прорвало.— Вы дурак! — сказал он злобно.— Мы предоставили вам возможность стать человеком! Досадно, что теперь вам придется только подчиняться приказу, стать простым исполнителем, рядовым солдатом вместо того, чтобы пользоваться властью и привилегиями. Все! Можете идти.

Скотт встал. Он протянул руку за своим поясом. В него был завернут пистолет, он лежал на столе. Скотт стал застегивать пояс.

Теперь он мог себе ответить на мучившие его вопросы: и относительно Гамаля, и относительно Куотермейна, и себя самого, и бессмысленной гибели людей. Он даже знал теперь, почему одни англичане не стреляют в других англичан.

Перед ним сидел генерал. Генерал по-отечески увещевал его, шел на уступки и воздавал ему должное. Он хотел поручить Скотту опасное и героическое дело, требующее величайшей сноровки, лестное для любого человека, отвечающее его глубочайшей потребности проявить себя до конца. Беритесь за него, все в ваших руках, сказал генерал, если вы захотите изменить свое положение в жизни, изменить своему будущему, своим надеждам, своим воззрениям, друзьям, вере, склонностям, классу.

«Придите к нам!» — сказал Гамалю полицейский. «Придите к нам»,— сказал генерал Скотту. Ответ был один и тот же, только тут не было нужды стрелять. Все, что от вас требовалось,— это отклонить великодушное предложение.

Скотт отдал честь и предоставил генерала его очередным делам.

Глава 22

Скотт провел остаток дня с Сэмом; сначала они боролись в клубе Маккавеев, а потом пили пиво и ели *мезе* в баре «Гелио». Сэм чуть было не положил его на обе лопатки старомодным приемом, но Скотт сделал бросок с полунельсоном и быстро подтянул Сэму ноги кверху. В баре «Гелио» они сыграли в домино, прикрывая большими ладонями свои кости, Сэм каждый раз выигрывал, и Скотт заплатил за прокат домино и за пиво. Оставив Сэма в баре, он вернулся к Пикоку.

— Зачем вы это сделали? — спросил его Пикок.— Почему вы отказались?

— О чем теперь говорить? Дело сделано.

— Вы знаете, кто получил назначение?

— Нет.

— Я,— сказал Пикок.— Вы думаете, я смогу с ним справиться?

— Безусловно.

— Какая чепуха, Скотти! Я буду командовать, но дело все равно придется делать вам. Вы будете моим заместителем. Какой от меня толк?

— А почему вы согласились?

— И сам не знаю. Мне понравилась идея взять с собой в пустыню Шейлу и Питера, пусть побегают на заднем дворе у Роммеля. Правда, здорово?

— Что ж, у вас был стимул не хуже других. Не расстраивайтесь, все будет в порядке.

— Знаю. Но назначение должны были принять вы. Всегда лучше

играть первую скрипку. Разве вы не понимали, что вам все равно придется все тащить на себе?

Скотт кивнул.

— Война — это война. Да я отказывался-то в общем не от самого назначения...

— А от чего же, черт бы вас побрал?

— Совсем от другого. Но теперь уже не о чем говорить.

Он много раз бывал в кабинете у Пикока, но сегодня впервые удобно уселся на походный стул и почувствовал удовольствие от того, что здесь находится. Прежней натянутости как не бывало.

— Вы уверены, что поступили правильно, Скотти?

Скотт лениво кивнул головой, поиграл кожаным стеком Пикока и понял: он поступил правильно.

У него вдруг стало так легко на сердце, что он отсюда же позвонил Люси Пикеринг. Она сказала, что заедет за ним к тете Клотильде, и попросила ее там подождать. Ничего больше она говорить не стала, и он сразу же отправился к себе в пансион.

В его отсутствие к нему заходил Куотермейн и, взяв у тети Клотильды перо и бумагу, оставил Скотту записку.

«Дорогой генерал Скотт!

Если вы этого еще не знаете, сообщаю, что нас с Атыей уже сцапали и препровождают в Сиву; мы летим на «вако» *. Это — очередная проделка Черча. Он объявил, что мы должны участвовать в большом рейде (до самой Агейлы) вместе с ребятами из отряда дальнего действия. Это еще что за фокус? Вот чертов дурак! У меня есть все основания предполагать, что операции планирует теперь ваша подружка м-сс Пикеринг. Роммелю будет не до смеха!

Если это означает кончину дорожно-топографического отряда, я прекращаю переписку с начальством и возвращаюсь к себе на склад в Фуке, сделав вид, будто я оттуда и не уходил. Надеюсь, что склад стоит на месте.

Атыя в бешенстве — он, по-моему, горюет, что приходится бросать семью в таком положении. Надеюсь, вы за ними присмотрите или же повидаете Пикока и попросите, чтобы Атыю отправили назад в Каир. Если дорожно-топографического отряда больше не будет, Сэма и Атыю надо бы вернуть туда, откуда их взяли. В армии им больше делать нечего.

Не сердитесь за то, что я написал о Люси Пикеринг. Если она кому-нибудь и замолвила словечко о том, чтобы нас разлучили, то наверно заботилась только о нашем благе или о чьем-нибудь еще благе, может — и о своем. Я же говорю вам это для вашего блага — вот мы с ней и квиты. И благо ей. Мне никогда не нравилась ее хищность, и я не стыжусь вести себя, как хищник, по отношению к ней.

Внизу отчаянно гудит сержант, стараясь поскорее меня отсюда вытащить. Беда ваша в том, что вам никогда не понять моей теории насчет черной оспы. Читал, что поймали вашего террориста. Вы явно предпочитаете египтян англичанам. Мне это понятно. Может, тут и кроется ответ на все наши сомнения.

Увидимся в Агейле или в каком-нибудь другом месте, где кровавому идиоту Черчу захочется нас укокошить. Но вызволите хотя бы Сэма и Атыю.

Ваш покорный слуга

С. Куотермейн».

---

* Американский самолет.

Скотт ждал. Он ждал и с восторгом, и с гневом, и с печалью, с нетерпением и душевной яростью — все эти чувства поселились в нем навсегда. Но ему было жаль, что Куотермейн поверил, будто он все-таки пойдет с Черчем.

Было уже поздно ловить Пикока, но утром через Уоррена или через Пикока он вытащит из лап Черча Атыю и Сэма. Пикок уже произвел Атыю и Сэма в сержанты,— «не ради звания, а ради жалования»,— сказал он извиняющимся тоном, и это показало Скотту (не говоря уже о его собственной судьбе), что кончина дорожно-топографического отряда — дело решенное. Кочевникам пустыни не нужны были звания и чины.

Он слышал, как в предвечерней мгле тетя Клотильда зовет: «Фелу! Фелу!». Скотт вышел на лестницу и перегнулся через перила, чтобы получше разглядеть сад в полутьме. Ему была смутно видна стена, с которой однажды так неожиданно спрыгнул Гамаль. Скотту казалось, что он все еще там, в саду, такой же горячий и стремительный, еще не раненный и не покрытый тюремным потом. Скотт закрыл глаза: лучше его не видеть. Все равно, он ничем не может помочь египтянину. А тот объяснил ему вещи, недоступные англичанам, доказал, что нельзя молчать, что братство людей существует. Куорти прав. Наверно, он, Скотт, не очень-то чувствует себя англичанином. Может, это и решает в его жизни все.

— Вы еще ждете? — крикнула ему снизу тетя Клотильда.

Он удивился, что она его увидела.

— Да.

— Осторожнее, не прислоняйтесь к перилам. Это опасно.

Стоя на своем ненадежном балкончике, Скотт знал, что в его жизни это не конец чего-то, а только начало. Он еще не понимал как следует, что начиналось, но у него было покойно на сердце. Ему казалось, что так и должно быть после часа, проведенного с Сэмом на ковре, и холодного душа. Ощущение было чисто физическое. Он чувствовал себя свободным, но на это нельзя было слишком полагаться. О многом еще не договорено с этой англичанкой, словно вчера приехавшей из родной деревни, а молчать с нею нельзя, ей он должен объяснить все. Она уже знала о том, что он сделал; наверно услышала об этом сразу, в тот же час. Скотт понял это по ее голосу, когда разговаривал с ней по телефону: «Я еще не решила, как с вами поступить!»

В ее словах была угроза, а может быть, сомнение — он не знал. Но он сумеет с этим справиться. Ему казалось, что теперь он преодолеет любое препятствие. Они были слишком щедры, они так не жалели себя, что едва ли споткнутся на каком-нибудь маленьком разногласии.

Скотт услышал гудок ее «шевроле».

— Скотти! — позвала она негромко, зная, что он все равно ее услышит.

Он надвинул фуражку, надвинул ее по своей всегдашней манере низко, как средневековый шлем, спустился по лестнице, прошел по дорожкам сада под молодыми манговыми деревьями. У ворот он уже мог разглядеть очертания фигуры в машине, но еще не видел лица. Да ему и не нужно было его видеть; он издали чувствовал ее уверенность в своей правоте.

Скотт вышел из ворот и на широком тротуаре перед собой увидел какую-то тень. Он почувствовал, что кто-то его ждет, и повернул голову. И сразу, в темноте, понял, что сейчас в него выстрелят. Это был молчаливый лейтенант Хаким, который еще верил, что все решает пуля.

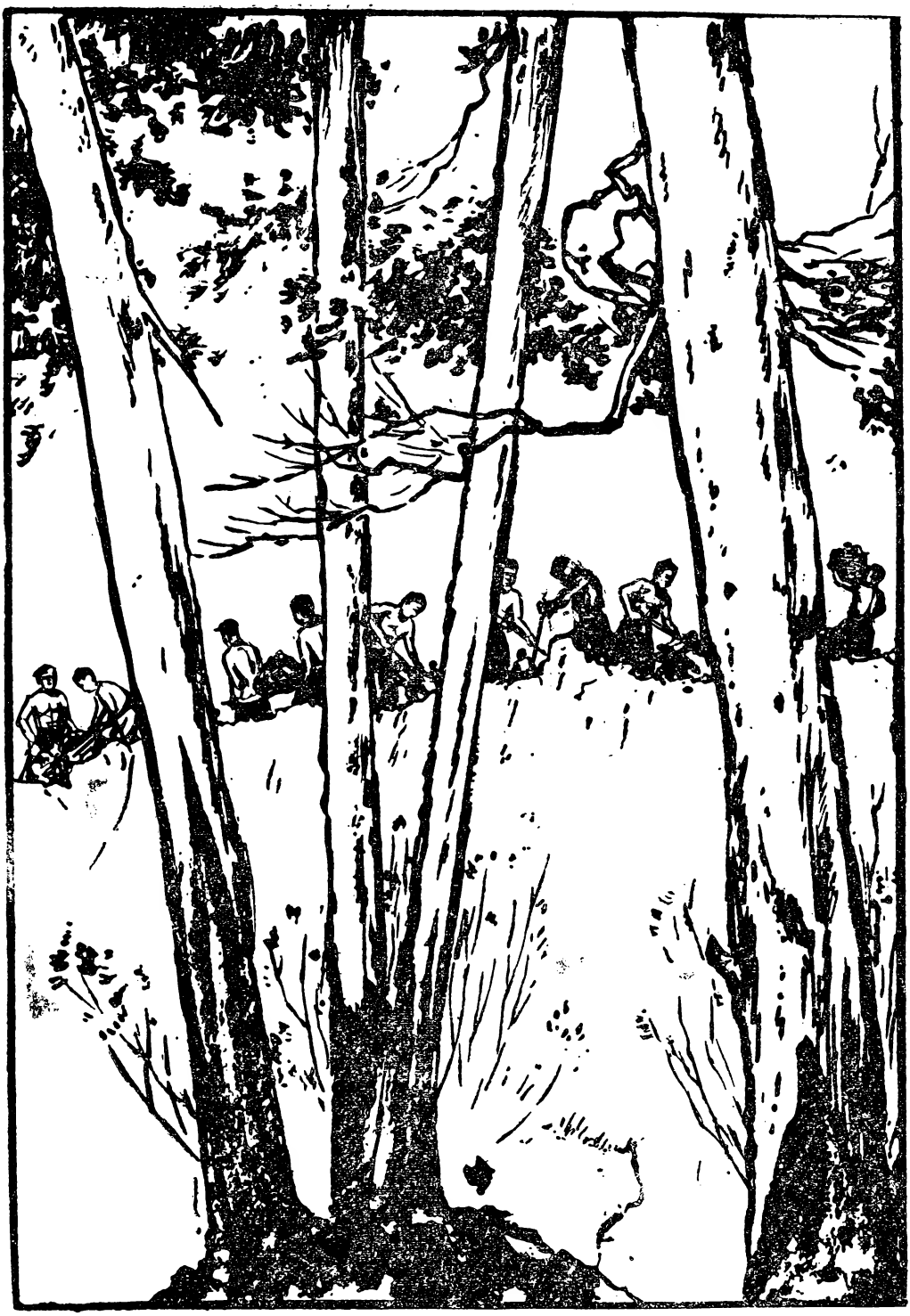
— Ах ты, полицейское отродье! — с ненавистью прошипел Хаким по-английски и выстрелил, держа тяжелый «люгер» в правой руке и поддерживая ее тонкой кистью левой.— Вот тебе, англичанин! Вот вам всем! Всем англичанам! Всем англичанам!

Все пули вошли Скотту в грудь, и только последняя — в руку, которой он хотел заслониться, приговаривая:

— Нет, Хаким! Не я! Не я!

Но сказал он это слишком поздно.

Скотт не слышал, как гулко отдается звук выстрелов во тьме; не видел промелькнувшей тени человека, которого едва знал, не разобрал, что кричит женщина; не понял, отчего такая боль во всем его большом теле,— он ничего больше не видел, не чувствовал и не понимал. Все, что ему осталось,— было молчание, долгое, слепое молчание, такое долгое, что в этом молчании, казалось, прошла вся его жизнь. А в тот самый миг, когда он прервал это молчание, оно решало: жить ему или умереть.



«НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ДОРОГИ В ГОРАХ».

Рис. китайских художников Тун Сян-тяня и Коу Хун-ле.

Сюй Хуай-чжун

Мы сеем любовь

РОМАН

Перевод с китайского А. Клышко, Ю. Луговского, А. Файнгара.

8

К празднику первого октября приурочили начало посева озимой пшеницы и в связи с этим устроили торжественный вечер на агростанции.

Пришли тибетские девушки; обняв друг друга за плечи, они дули в тоненькие листочки, которые издавали приятные протяжные звуки. Позади каждой девушки, по обычаю, становился юноша, повторявший все ее движения. Выражения лиц юношей были очень разные: у одних — суровость воина, оберегающего женщину на опасном пути, другие не могли стоять спокойно и, полные озорства, поддразнивали девушек.

Повсюду шныряли дети. На этом шумном празднике без них, конечно, нельзя было обойтись.

Все делалось по местным обычаям — гости сидели, подобрав под себя ноги и образуя огромный круг. Внутри этого круга был второй, поменьше, из десяти больших костров, пламя которых, казалось, подымалось до неба. В огонь все время летели кусочки дзамбы вместе с сосновыми и кипарисовыми ветками. Вспыхивая, они отбрасывали причудливые блики на лица людей.

Точно в центре внутреннего круга, очерченного пылающими кострами, стоял грубый деревянный бочонок с вином, которое походило на молоко, но было очень крепким и сладким. Несколько десятков деревянных чашек были приготовлены для тех смельчаков, которые перепрыгивали через пламя костра, чтобы наполнить одну из чашек огненным напитком из бочонка. Устроители праздника зорко следили, чтобы бочонок не пустовал ни одной минуты.

Запоздавшие гости приходили издалека в самый разгар веселья на дамбе. Бараньи и лисьи шапки мужчин, расшитые золотом тюбетейки женщин беспрестанно мелькали в кругу сидящих гостей. Начались танцы. Яркие цветные рукава и юбки развевались в воздухе, как павлиньи хвосты. Трудно сказать, сколько пар ног одновременно ударяло по земле. Пыль поднималась вверх, смешиваясь с пеплом костров, и вместе с песнями устремлялась в ночное небо.

Окончание. Начало см. в №№ 9 и 10.

Такие торжества — роскошные, по представлениям горцев, — устраивались раньше ежегодно в праздник «Ванго»*. Так же жгли костры на дамбе, чтобы вымолить у духов богатый урожай, так же без сожалений кидали в огонь дзамбу, так же смеялись, так же пели и танцевали. Но в этом году всем почему-то казалось, что никогда еще не встречали этот праздник так радостно и весело, как нынче.

Водоворот танцев увлекал за собою всех подряд. Тут уж ничего нельзя было поделать — едва нетанцующий появлялся в круге, к нему тянулось несколько пар рук и его заставляли танцевать. Заведующая складом Юэ-сян степенно пристроилась в группе пожилых женщин, но и ее втянули в гущу танцоров. Не только Юэ-сян, но и остальные работники агростанции попали в затруднительное положение. Некоторые работники агростанции, впрочем, притворялись опытными плясунами. А метеоролога Линь Юань просто нельзя было отличить от тибетки. Ей удалось соединить пластичность и изящество современных танцев с силой и первобытным духом народной пляски. Естественно, Линь Юань была в центре внимания.

Цзы-хуан не танцевал. Он старался поспеть повсюду и только начал пробираться к Сылавэньдую, который с увлечением рассказывал что-то окружавшим его детям, как его остановил человек из бригады возчиков:

— Начальник станции, прикажи ему! Он не хочет никого слушать!

— Что приказать? О ком это ты?

— Наш бригадир. Он состязается в выпивке, а завтра с утра работать... Пойди, прикажи ему!

Около бочонка с вином бригадир возчиков Ми Фу-шен с победоносным видом опрокидывал двенадцатую чашку. Рекорд, установленный привычными к этому вину горцами, составлял всего десять чашек; противникам Ми Фу-шена ничего не оставалось, как протянуть ему палец и громко приветствовать победителя.

Цзы-хуан перепрыгнул через костер, намереваясь немедленно прекратить это состязание. Но Ми Фу-шен, поднявший уже четырнадцатую чашку, внезапно сам остановился. Не то чтобы он больше не мог пить. Нет. Дело заключалось совсем в другом: Ми Фу-шен увидел Чжуму.

Не он один заметил ее. Молодые горцы узнали «женщину-черта», когда-то поразившую их своим искусством, и наперебой просили ее повторить свое выступление.

Чжума спокойно вступила в образовавшийся тут же круг. Она не кокетничала, не отказывалась. Просто обвела взглядом зрителей и начала танец. Все было так же, как в первый раз, только теперь отсутствовала пугающая маска.

Ми Фу-шен с трудом протиснулся в толпу, не сводя глаз с танцующей Чжумы. Казалось, он боится пропустить малейшее ее движение. Чашка в его руке наклонилась, вино вылилось на землю.

Только глубокой ночью было объявлено о закрытии праздника, но для влюбленных он только начинался. Из укромных уголков зазвучали тихие песни.

Маленький желтый цветок на равнине,
Если хочешь расцвести, то уж раскройся до конца!
Завтра я ухожу в дальние края.
Я поневоле задержусь около тебя.

Если ты искренна,
То я хотел бы взять тебя с собой.
В чистом свете луны
Можешь ли ты дать мне клятву?

* Праздник урожая.

ИСМАИЛ НАИМ (Сирия).
Девушка с голубем

ЗАРУБЕЖНЫЕ ХУДОЖНИКИ В БОРЬБЕ ЗА МИР И ЛУЧШЕЕ БУДУЩЕЕ

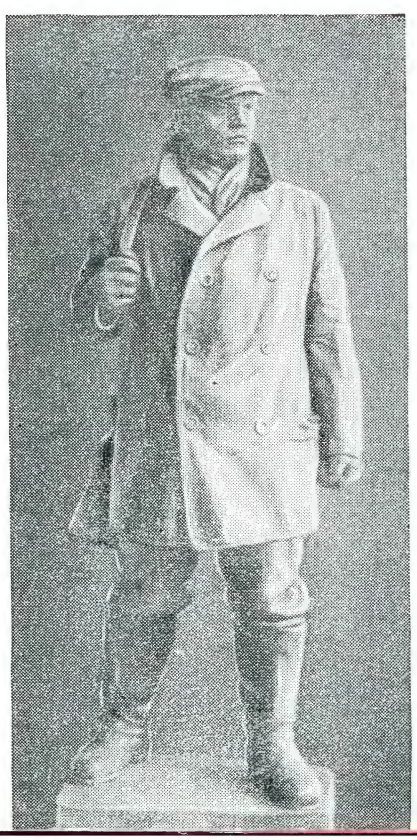
Воспроизводимые здесь работы экспонировались на Международной выставке изобразительного искусства в Москве

АНГЕЛИН ДОДМАСЕЙ (Албания).
Возвращение партизан

МИТХАТ ФАГУ
(Албания).
Непокоренный

РИНА ЛАСО (Мексика).
Пейзаж с фигурами

ЧЖАН ЦЗЯНЬ-ЦЗЮНЬ (Китай). **Начало новой жизни**



Слева —

ПАК ЫН ГЫН
(КНДР).
Строитель

Справа —

МИЛОСЛАВ ГЕЙНЫЙ
(Чехословакия).
Участник февральских событий

Слева —

КИРИЛЛ ТОДОРОВ СИВИЛОВ
(Болгария).
Повстанец Владая

Справа —

ЧО ВОН СОК
(КНДР).
Южнокорейский мальчик, разбрасывающий листовки

тий

ВАФИ (Египет).
Воин, защищающий свободу

ВАНИГАРАТНА НОТАГЕДАРА (Цейлон).
Свобода

СОН ЕН БЭК
(КНДР).
Литейщики

ПЕДРО ЛОБОС (Чили).
Демонстрация

ШАЙГИ (Судан).
Железнодорожные рабочие

Ты, как спелый плод,
Высоко висишь на ветке,
Хотя я не очень ловок,
Но все же могу сорвать плод с дерева.

Не говори неприятных слов,
Прошу тебя: купи на базаре замок,
Запри вместе наши сердца
И этот ключ не давай никому.

У горцев есть такой обычай: в песне спросить и песней ответить.

В лесу, на корне дерева, выступившем на поверхность земли, рядом сидят Цючжи и Е Хай. Так как он не умел петь, как обычно поступают в таких случаях горцы, то Цючжи первая начала этот тихий разговор, который могли слышать лишь птицы, укрывшиеся в своих гнездах.

— Ты видел нашего маленького теленка? — спросила Цючжи.—Отец и мать говорят, что дадут мне его в приданое,— тихо и застенчиво добавила она.

Сылавэньдуй и его жена считали приданое делом первостепенной важности, от которого зависит престиж их дома. Они и Цючжи внушили такое представление, что без приданого замуж выходить невозможно. Однако Е Хай считал это устаревшим обычаем. Он так прямо и сказал это Цючжи, посоветовав оставить бычка родителям. Ему пришлось долго убеждать Цючжи. Наконец она согласилась, что в их торжественный день она придет к нему без всякого приданого, не считая шапки и платья.

— А как моя прическа? Придется менять? И обязательно снять вот это? — Цючжи показала на свои черные стеклянные бусы и блестящий серебряный медальон с выгравированным орнаментом.

Цючжи слышала от деревенских старух, что при замужестве с китайцем девушке приходится изменять прическу и снимать все украшения. И очень огорчилась: не то чтобы она считала китайскую прическу некрасивой. Можно постричься, как зоотехник Ни, или причесываться, как учительница Линь Юань — заплетать две короткие, до плеч косички. Но отказаться от всех украшений? От ярких красных лент? От звенящих серебряных монет? А отказ от медальона был, по мнению Цючжи, даже не безопасен. Медальон и четки, висящие на груди, тибетцы считали единственным спасительным талисманом человека. Мать уверяла, что и похитили-то Цючжи бандиты из-за отсутствия талисманов, которые она забыла надеть.

Е Хай выслушал ее сомнения и рассмеялся:

— Вот чепуха! Как тебе нравится, так и причесывайся, лишь бы было к лицу. А что касается этого,— он показал на медальон,— носи на здоровье, не обращай внимания на сплетни.

Слова Е Хая успокоили Цючжи. Они посидели молча, мысленно заглядывая в будущее.

— Ох,— через некоторое время вздохнула Цючжи,— отец и мать будут бояться!

— Чего бояться?

— Что ты уйдешь!

— Уйду? Куда я уйду?!

— Они боятся, что ты уйдешь. Ведь твой дом не здесь. Рано или поздно ты захочешь домой. Ведь так?

Цючжи пристально смотрела на Е Хая. В ее глазах он увидел мольбу и беспокойство. Он спросил:

— А ты боишься?

— Я...— Цючжи низко наклонила голову,— боюсь и не боюсь!

Она действительно никак не могла решить, надо ли ей бояться. Нечего и говорить, он захочет домой. Но тогда она, его жена, должна уйти вместе с ним. Уйти отсюда, из своего дома, из мест, где она выросла? Эта мысль пугала ее, и в то же время Цючжи чувствовала, что она желает этого. Уйти в тот большой мир, где своими глазами можно увидеть множество диковинных вещей, о которых рассказывают столько интересного — да ведь это же ее заветная мечта! И разве не знает Цючжи, что если она пойдет с Е Хаем вместе,— все будет хорошо.

А родители боялись этого. Хоть они и собирали приданое, но втайне мечтали, чтобы,— как полагалось по местным обычаям,— зять пришел жить к ним в дом, если в семье только одна дочь. Не для того лишь, чтоб сама дочь осталась в доме, но и для того, чтобы в семье появился сын, который будет кормить стариков. Конечно, старик Сылавэньдуй и его жена понимали, что такой зять, как Е Хай, вряд ли согласится перейти к ним жить. Зачем ему вдруг уходить с агростанции? Да и агростанция — еще полбеды. Гораздо страшнее, что он рано или поздно вернется на родину и увезет с собой жену. Вот это — настоящая беда, в которой никто не сможет помочь!

— Не бойся, Цючжи, я никуда не уйду.— Е Хай говорил очень тихо.— Куда мне идти? Мой дом здесь!

— Но ты же рассказывал о доме, где живет твоя мать?

— Да, но я хочу перевезти ее сюда. Мой дом теперь здесь,— Е Хай показал на землю под ногами и серьезно сказал: — Тибет стал моим домом.

— Правда? — Цючжи подняла голову.— А когда приедет твоя мать? Ты уже написал ей? Она захочет приехать?

— Она хочет. Но пока еще нельзя. Ты ведь знаешь, даже начальник станции живет в землянке! Пройдет год или два, мы все приведем в порядок, вместо маленькой агростанции здесь будет кооператив, сельскохозяйственный кооператив! Понимаешь, Цючжи? Настоящий кооператив! Вот тогда я и перевезу сюда мать. Она у меня крепкая, будет ходить за яками, или кормить свиней, или сушить табачные листья. В общем, дело найдется...

Цючжи внимательно слушала, пытаясь представить себе, как будет выглядеть сельскохозяйственный кооператив. Очевидно, эта картина показалась ей прекрасной; глаза ее заблестели, и, по-детски порывисто прервав Е Хая, она спросила:

— А что я буду делать? В кооперативе?

— Ты?! Разве ты раздумала управлять «львом»?

— Ой, что ты! Я так хочу водить «льва»! — Цючжи крепко сжала сильные руки Е Хая.— Но говорят, что в кооперативах женщинам не позволят водить «льва»...

— Кто сказал, что не позволят?! Конечно, позволят! — заявил Е Хай авторитетно.— Ты только учись, и все будет в порядке. Зимой пойди в школу! Чжу тебя всему научит. А дома я буду тебе помогать. Неважно, что сейчас у нас только один трактор. Будет кооператив, достанем еще. А за два года ты станешь помощником. Ну, например, моим помощником! — Е Хай говорил с такой уверенностью, словно сам уже был по меньшей мере бригадиром трактористов.— Ты подумай, Цючжи, как это будет здорово! Станем работать на одном тракторе, сменять друг друга, помогать друг другу. А зимой будем пасти стада. Я ведь с самого детства пас скот, только не свой...

Цючжи сидела, подперев лицо руками, и задумчиво смотрела в ночное небо. Слова Е Хая рисовали перед нею такую жизнь, о которой совсем недавно она и мечтать не посмела бы.

С гор подул резкий ночной ветер. Цючжи поежилась — она была

в легком праздничном платье, без обычной меховой бараньей курточки. Е Хай, увлекшись своим рассказом, не сразу заметил, что у Цючжи зуб на зуб не попадает.

— Ты замерзла, Цючжи?

— Немножко.

— Хочешь домой? — он слегка приподнялся.

— Нет, нет! — Цючжи потянула его за рукав.— Еще рано!

Е Хай помедлил, затем своими крепкими руками обнял Цючжи за плечи. Обнял легонько, как игрушку, сделанную из тонких бамбуковых палочек, которую можно сломать или погнуть. А Цючжи вся подалась к нему. Ее шапка из цветов легла ему на грудь, ее щека крепко прижалась к его полинялой, старой гимнастерке. Теперь она отчетливо слышала, как учащенно бьется его сердце, и тихонько засмеялась: «А еще кавалерист! Так робеет перед девушкой!»

Ей захотелось подбодрить его, и она лукаво шепнула:

— Обними меня крепче! По-настоящему. Еще сильней! Вот — теперь мне совсем не холодно...

Ночь была тихой. В лесу и в поле не раздавалось ни звука.

Они долго сидели в полном молчании. Потом, оторвавшись от груди Е Хая, Цючжи позвала его, заглянув ему в глаза.

— Е Хай!

— А?! — откликнулся он, как во сне.

— Ты правда женишься на мне?

Вопрос был настолько странным, что Е Хай удивленно молчал. Но Цючжи настаивала:

— Скажи! Ты правда женишься на мне?

— К чему эти слова? Конечно, правда! — в голосе Е Хая послышалась обида.

— Ты обманываешь меня. Я все равно тебе не верю!

— Почему? — забеспокоился Е Хай. — Разве когда-нибудь я тебя обманывал?

— Ты член Союза молодежи? — серьезно спросила Цючжи.

— Да.

— А я нет! — сконфуженно и даже с отчаянием сказала девушка.

Цючжи знала, что на агростанции есть организация Союза молодежи. Именно Е Хай первый рассказывал ей о Союзе. Но только побывав на собрании, она начала смутно понимать, что такое Союз молодежи. Во всяком случае, она сделала тогда один вывод: члены Союза молодежи очень честные люди. Они ничего не скрывают друг от друга. А на ветеринара Мяо Кана все сердились оттого, что он был неискренен и работал недобросовестно.

После собрания Цючжи спросила Ни, сможет ли она тоже вступить в Союз. Ни очень обрадовалась и долго с ней говорила, рассказывала о комсомоле, о том, кто может стать его членом. Цючжи поняла: надо стать передовым человеком. Но как?!

Хотя она и думала о замужестве, хотя и торопила родителей со свадьбой, однако мысль о том, что Е Хай — член Союза, а она нет, приводила ее в отчаяние. Ей казалось, что член Союза молодежи не может да, наверно, и не захочет жениться на такой отсталой девушке, как она!

Оказалось, однако, что Е Хай вовсе не считает ее отсталой. Во всяком случае, он спокойно сказал:

— Но ты же можешь тоже вступить в Союз молодежи!

У Цючжи отлегло от сердца.

— Правда?!

— Конечно, правда. Ты знаешь, что нужно для этого?

— Знаю.

— Знаешь? Ну расскажи мне.

— Надо быть передовой, как... как сестра Ни! — твердо ответила Цючжи.

— Правильно! Надо быть такой. Только не надо называть ее сестрой. Она — твой товарищ! — наставительно сказал Е Хай.

— Называть сестрой нехорошо? — Цючжи опечалилась, ей казалось, что словечко «сестра» звучит так ласково. — Ну что же, я постараюсь говорить «товарищ».

Е Хаю и самому вдруг показалось, что обращение «товарищ» чересчур официально.

— В общем, можно и просто по имени, — смущенно пробормотал он.

Цючжи откинула за спину косу, свалившуюся на плечо, и снова прижалась к Е Хаю.

— Ты подожди немного! Я скоро обязательно стану членом Союза молодежи. Тогда ты и женишься на мне. Ты подождешь, да?

— Хорошо, — Е Хай обнял ее. — Я подожду, сколько ты захочешь. Только давай поскорее...

9

Люди целый день работали в поле, потом до поздней ночи веселились на празднике и, конечно, очень устали. Все разбрелись по своим землянкам и погрузились в глубокий сон.

Только бригадиру возчиков Ми Фу-шену не спалось. Выпитое вино горячило его. Ему хотелось поговорить с кем-нибудь, безразлично с кем — лишь бы вдоволь и весело поболтать. Но с кем же? Неясная, назойливая мысль овладела им. Ему показалось вдруг, что кто-то связал ему руки и ноги и бросил его в маленькую, душную тюремную камеру. Потолок землянки, казалось, тяжело давил ему на грудь. Он скинул с себя одеяло. Но все равно что-то мучило его, как будто в сердце горело жаркое пламя, подступало к горлу, затрудняло дыхание. Он встал, ему пришлось держаться за стенки, чтобы сохранить равновесие, и вышел на улицу. Куда же идти? Идти было решительно некуда.

И в эту минуту кто-то позвал его по имени. Голос был слабым, еле слышным — как во сне. Напрягшись, он понял, что зовет его женщина: Чжума! Он не ответил, смутно пугаясь чего-то. Но Чжума не умолкала.

— Ми Фу-шен! — она высунулась из своей землянки и настойчиво повторяла: — Ми Фу-шен! Бригадир Ми!

— Чего ты хочешь? — наконец с тоской спросил Ми Фу-шен.

— А с чего это ты ночью бродишь по улицам? Такой ветер!— В голосе Чжумы слышалось сочувствие.— Заходи лучше ко мне, в мою хибарку!

Собрав последние остатки благоразумия, Ми Фу-шен отказался:

— Мне и здесь хорошо!

Но Чжума не обиделась:

— Чудак, у меня же твое белье. Я все выстирала. Иди сюда и возьми его.

Ми Фу-шен отлично помнил, что у Чжумы не было никакого его белья. Вчера вечером она все ему вернула. Но он больше не хотел сопротивляться и, покачиваясь, вошел в землянку Чжумы. У входа он забыл наклонить голову и сильно стукнулся лбом, но боли не почувствовал.

— Подожди, я сейчас найду! — Чжума наклонилась над кроватью, где лежала груда выстиранного белья, и стала ее перебирать. На подставке у кровати стояла масляная лампа, освещавшая ее миловидное лицо, красивую белую шею, видневшуюся в отворотах расстегнутого халата. Распущенные волосы падали до самой кровати.

Белье Чжума перебирала медленно, видимо ничего и не собираясь отыскивать. Какая-то мысль мучила ее, мысль, которую она должна была

и все-таки боялась высказать. Наконец, словно решившись, но не поднимая головы, Чжума спросила:

— Бригадир Ми, где ты выучился так стрелять?.. Мне тоже хотелось бы... Мне очень нужно, бригадир Ми. Выучи меня, а?

Она посмотрела на Ми Фу-шена и в ужасе отшатнулась. Он стоял возле самой кровати, высокий, весь собранный, как кошка для прыжка, и смотрел на нее голодным, страшным взглядом. Она вскрикнула, и этот крик словно пробудил его. Мгновенным ударом ноги Ми Фу-шен опрокинул и погасил лампу, и тотчас страшная тяжесть навалилась на Чжуму...

Ми Фу-шен вышел из землянки Чжумы, не соображая, куда идти. Затем он вспомнил, что надо идти домой. Еле передвигая ноги от смертельной усталости, он пошел к помещению бригады возчиков и почти у самой двери увидел Чжу.

— Старина Ми! Ты не видел Е Хая? — спросил Чжу.

— Кого? А, твоего помощничка? — Ми Фу-шен повернул голову и с неожиданным смешком сказал: — Видел! Видел!

— Где? Я хочу найти его. Пусть идет отдыхать. Ведь завтра с утра на работу.

— В лесу! — Ми Фу-шен показал рукой вдаль и глубокомысленно добавил: — Только ты отдыхай сам! Нечего его искать. Я думаю, если у него еще осталась хоть капля сил, он не пойдет отдыхать.

— Что? — Чжу действительно ничего не понял.

— Дурак! Он не один в лесу! Не видел? Когда вечер кончился, Цючжи схватила его за рукав и они побежали в лес...

— А! — Чжу добродушно засмеялся. — Ладно. Пойду спать!

— Так ты решил его не искать? — вдруг спросил Ми Фу-шен.

— Нет, пусть себе гуляет. Сегодня праздник. Завтра утром я сам запущу трактор, он отоспится!

— А ты бы все-таки пошел! Он в лесу, его не трудно найти.— Ми Фу-шен подошел к Чжу вплотную и пьяным шепотом пояснил: — Говоря по-правде, как бы он не попортил девочку старика Сылавэньдуя!

— Ты что болтаешь, пьяная рожа? — рассвирепел Чжу.

— Как это что? — развязно продолжал Ми Фу-шен. — А Цючжи может не только с Е Хаем, но и с тобой. Пойди! Получишь свою долю!

Он захохотал и хотел еще что-то сказать, но получил сильный удар по лицу.

— Ах, ты дерешься! — Ми Фу-шен схватился рукой за горевшую щеку. — А еще член партии! Не видал я таких членов партии, которые ругаются и дерутся!

— Не видал? Сейчас увидишь! — Вне себя от гнева, Чжу подбежал к телеге и схватил палку.

Но затрещина уже протрезвила Ми Фу-шена. Он понял, что наболтал лишнего. Отступая и бормоча: «Драться? Ну, ладно, завтра встретимся!», он быстро юркнул в землянку и захлопнул за собой дверь.

Глава восьмая

1

Первый снег выпал позже обычного. В прошлые годы к этому времени дороги и тропинки Гэнды уже были скованы льдом или укрыты толстым снеговым покровом. А нынче по дорогам ежеминутно проносились грузовики, поднимая лишь легкую снеговую пыль.

Ранним утром зоотехнику Ни предстояло выйти на дорогу, чтобы поймать попутную машину. На автобусы дальнего следования достать билет было очень трудно, поэтому люди, направляв-

шиеся в Китай, выходили к обочинам шоссе и ждали порожних машин, совершающих обратный рейс. Ни вызвали в Управление лесоводства и сельского хозяйства с докладом об «экспериментальном плане степных работ». Кроме того, надо было согласовать и план выращивания новых кормовых культур.

Она еще вчера вечером распрощалась со всеми и просила не провожать ее, чтобы не отрывать товарищей от работы. Но сейчас она загрустила; и особенно захотелось ей повидать Лэя, с которым она распростилась, как и со всеми, накануне.

Агротехник работал в парнике, тихонько насвистывая какой-то мотив. Возясь с молодыми всходами, выращенными собственными руками, Лэй неизменно испытывал тайную и радостную гордость. Скоро-скоро докажет он всем специалистам, что их мрачные выводы о тибетской земле, построенные, кстати, только на одних предположениях, совершенно ошибочны. Земля эта на редкость плодородна, и на ней можно выращивать самые разнообразные растения и плоды.

— Ты занят, Лэй? — Ни прильнула к стеклянной двери парника.

— Это ты? Уезжаешь? Подожди минутку — я провожу тебя!

— Не надо, право, не надо! — не слишком искренне уверяла Ни. Но Лэй уже вышел; второпях он забыл надеть ватную куртку, и ледяной ветер сразу охватил его, однако он продолжал идти вслед за Ни.

Молча двигались они по направлению к дороге; прощальные слова уже были сказаны вчера вечером, повторять их было нелепо, а говорить о чем-нибудь другом не хотелось.

— Хоть ты и скоро вернешься, Ни, — с трудом нарушая молчание, сказал Лэй, — я хочу подарить тебе кое-что на память... Пустяк, но этот пустяк давно предназначен тебе...

— Давно? — удивилась Ни. — Я не понимаю...

— Слушай, Ни, — Лэй изо всех сил старался побороть свою нерешительность, — помнишь, несколько месяцев назад, когда ты была ранена и лежала в больнице, я пришел тебя проведать, а ты велела сестре не пускать меня...

— Я велела сестре тебя не пускать?! Ты что-то путаешь! — возмутилась Ни.

Лэй грустно покачал головой.

— Нет, я не путаю. Я просил передать тебе хотя бы мой подарок, но сестра и подарка не взяла: не велено, говорит.

Ни вдруг вспомнила: после посещения Мяо Кана она строго-настрого запретила сестрам пускать к ней молодых людей и принимать от них подарки. Она думала, что Мяо Кан будет пытаться еще раз прорваться к ней, и не хотела этого. Теперь вся кровь бросилась ей в лицо.

— Ох, Лэй, это... Это запрещение относилось вовсе не к тебе! У меня просто очень болела рана и было плохое настроение. Прости меня, милый товарищ Лэй!

Лэй не сразу ответил, и трудно сказать, удовлетворило ли его это сбивчивое объяснение.

— Ну, — наконец выговорил он, — мне казалось, что тебе необходимы были те подарки — сахар, молочный порошок, но, в общем, ведь больница всем обеспечена. Тогда я решил, что тебе будет приятно... Я отправился в ту горную долину, где тебе так понравились эти бордово-зеленые цветы. И набрал их целый букет. Но сестра сказала: «Вот странный человек, не хочет она ваших подарков. Никаких подарков. Ясно?»

Лэй умолк и, не глядя на смущенную Ни, вытащил блокнот; между страницами его лежал засушенный полевой цветок. Лэй осторожно вынул его и торжественно преподнес Ни.

Она была глубоко растрогана этим, так долго хранившимся подарком и, бережно держа цветок в руке, смотрела на него, не произнося ни слова.

Она почувствовала, что Лэй хочет ей еще что-то сказать. Взволнованная, она как бы хотела заранее защититься от его слов. Но помешал Су И, догнавший их как раз в это мгновенье.

— Товарищ Ни! Такая еще молодая, а уже ничего не слышишь? — Су И, как всегда, начинал разговор шуткой. — Кричу, кричу, а ты не откликаешься.

— Честное слово, не слышала! — смущенно оправдывалась Ни.

— Ладно,— махнул рукой секретарь.— У меня есть поручение к тебе. Возьмешься?!

— Пожалуйста! — ответила Ни, недоумевая, какое поручение может так волновать Су И.

— Во-первых, ты должна обязательно пойти в Педагогический институт навестить Линь Юань...

— Ну, это вы мне могли и не поручать! — она засмеялась. — Конечно, пойду! Как только сделаю доклад, сразу пойду. Я везу ей десять писем от товарищей!

— Отлично. Но это не все. Во-вторых, потрудись, пожалуйста, разузнай о ее здоровье и напиши мне, — голос секретаря стал серьезным, — она, видишь ли, пишет, что здоровье ее прекрасно, но я боюсь, что это не так. Я же знаю, что занятия в институте даются ей не легко.

— Обязательно узнаю, — пообещала Ни.

— И еще третье. Я составил список, а вот — денежный чек. Купи ей все, что здесь написано. Она ведь только на вид большая, а позаботиться о себе не умеет...

Слушая Су И, можно было подумать, что его дочь, по крайней мере, вдвое моложе Ни. На самом деле, подружек разделяли только два года. Но Су И считал, что теперь, когда дочка живет одна, все у нее идет вверх дном.

Едва он успел закончить свои наставления, как на дороге показалась машина. «Зис» мчался подобно ветру, и Ни едва успела выскочить на дорогу, чтоб помахать рукой. Машина резко затормозила. Из кабины высунулся молодой шофер:

— Передать письмо? Или подвезти?

— Подвезти!

— Прекрасно! — шофер держался очень любезно. — Залезайте в кабину.

Лэй сразу узнал шофера. Это был тот самый паренек, который несколько месяцев назад привез его и Ни из Китая. Лэй, изображая бывалого человека, сказал ему:

— Ха! Вы, шоферы, всегда так. Попросится мужчина, вы даете газ и пролетаете мимо. А стоит только женщине поднять руку, сразу: «Пожалуйста, в кабину!»

Шофер, однако, тоже узнал их. Сдвинув шапку на затылок, он спрыгнул с машины и протянул своим недавним пассажирам руку.

Пока Лэй уже в который раз прощался с Ни и усаживал ее в машину, Су И разговаривал с шофером:

— Ну как? Намучились с этой дорогой?

— Почему намучились?! — шофер обиделся.— Дорога первый класс! А вот дальше... где шоссе еще не проложено, там действительно только успевай крутить баранку! Каждую неделю сдают новый участок готовой дороги, и главная задача сейчас не пассажиров возить, а продовольствие и материалы на стройку.

— Так что же? Наш участок уже неинтересен? — спросил Су И.

— Конечно! — шофер резко взмахнул рукой. — Что интересного — возить какую-то ерунду! Вот, например, на этот раз привез бумагу в торговую компанию. Целую машину бумаги!

— Бумагу? — оживился Су И. — Уже привез? Какую бумагу?

— Бумагу для печатания. Кому нужно, скажите, столько бумаги?

— Ну, вообще-то бумага — вещь очень нужная! — возразил Су И.

— Я разве спорю «вообще»? — раздраженно сказал шофер. — Я говорю, что сейчас ее здесь некому продавать. Сами посудите, машина бумаги! Это чистая бесплановость перевозок. Прямой абсурд. А в торговой компании еще уверяют, что это заказ секретаря комитета! Не знаю, кто здесь секретарь комитета, но то ли он спятил, то ли был в нетрезвом виде...

2

Ниба Эмадэндэн две недели провел в Дунгу и вернулся только вчера. Едва он прибыл домой, как ему доложили, что бумага, которую он заказал, уже доставлена торговой компанией и сложена в одной из комнат. Кроме того, нибе передали счет на две тысячи юаней, представленный компанией.

Эту сделку с компанией Эмадэндэн совершил еще три с половиной месяца назад, и совершил вопреки своим намерениям. К сожалению, был заключен письменный договор, как это принято в Тибете, и отступать Эмадэндэну было некуда.

Сначала Эмадэндэн от имени правительницы Гэсанламы согнал в леса для производства бумаги чаба со всех деревень цзуна. А чаба как раз начинали пахоту; и многие горцы, под влиянием и при помощи агростанции, как раз собирались поднимать для себя целинную землю. Но приказ родоправительницы — закон, неизбежная повинность, и сев в Гэнде должен был неминуемо сорваться.

Однако секретарь Су И не согласился с этим. Он поставил вопрос перед Гэсанламой. В ту пору Гэсанлама сторонилась всех дел. Она велела передать Су И, что об этом надо поговорить с Эмадэндэном. Тогда Су И пригласил Эмадэндэна, и Эмадэндэн даже заметить не успел, как его втянули в коммерческую сделку.

— Сколько же нужно времени на производство бумаги? — вежливо, но настойчиво допытывался секретарь Су И у нибы Эмадэндэна.

— Примерно, думаю, нужно...— ниба перебирал рукой четки. — Нужно около трех месяцев!

— Охо-хо! — вздыхал Су И. — Три месяца. Так через три месяца земля совершенно замерзнет. Уж не говорю о целине, но и обрабатываемую землю будет невозможно вспахать... Нельзя ли отложить производство бумаги?

Эмадэндэн тоже вздыхал и закатывал свои, заплывшие жиром, глазки:

— Боюсь, что нет! Бэньбу секретарь, разве вы сами не видели? Каноны в монастырях совершенно истлели. Воплощенный Будда Сяса приказал их перепечатать. Кто смеет противоречить Сяса? Я уже просил приготовить доски!

— Да, я видел. Священные книги староваты,— соглашался Су И, придвигая Эмадэндэну чашечку чая.— Но перепечатать можно ведь и зимой, а пахота, сами знаете, дело неотложное. Выпадет снег, и все пропало.

— Эх! Святое дело — первое дело. Пахоту придется отложить... — Эмадэндэн, растирая большим пальцем нюхательный табак, качал головой и безнадежно разводил руками: — Что поделаешь, Гэнда — не

Китай, людей у нас промышляет немало, а бумагу купить негде. Было бы где купить, мы бы дали денег, все равно ведь придется потратиться на производство бумаги...

— Вот как! — Су И встал. — Но в таком случае мы должны помочь вам...

Ниба искоса посмотрел на Су И и принялся нюхать табак. Поднеся пальцы к носу, он невозмутимо сказал:

— Было бы прекрасно! Но в Гэнде много монастырей, тут одного-двух цзиней недостаточно.

Су И также не терял спокойствия.

— Сколько же нужно? — поинтересовался он.

— Три тысячи пятьсот цзиней, — тихо произнес Эмадэндэн, отчеканивая каждое слово. По одному его тону можно было судить, как огромна эта цифра.

Но ошеломить Су И было невозможно. Он спросил с дружеской заботливостью:

— А достаточно этого?

— Думаю, что достаточно,— ответил пораженный ниба.

Су И действовал по тому принципу, что ковать железо надо, пока оно горячо. Не дав Эмадэндэну опомниться, он решительно объявил:

— Хорошо, значит, три тысячи пятьсот цзиней! Вы говорили, что на производство бумаги потребуется три месяца. Итак, через три с половиной месяца вы получите три тысячи пятьсот цзиней бумаги. Отлично. По рукам?

— По рукам! — упавшим голосом ответил Эмадэндэн.

Су И немедленно передал заявку в торговую компанию, и компания, как это полагалось при торговых сделках, заключила договор с заказчиком. Все произошло в каких-нибудь полчаса, и Эмадэндэну не оставалось ничего иного, как приостановить производство бумаги.

Распуская чаба по домам, Эмадэндэн с трудом мог вспомнить, как его довели до этого соглашения. Ведь, собственно, вся история с бумагой и была задумана, чтоб помешать агростанции в ее планах. Но получилось как-то так, что агростанция или этот спокойный секретарь Су И (все они — одна компания!) сорвал расчеты хитроумного нибы. Это секретарь Су И вынудил его сказать, что он купил бы бумагу; секретарь заставил назвать конкретную цифру. Если бы секретарь не согласился, то все эти слова не имели бы значения. Но он согласился и тотчас заключил договор. Договор! Теперь уже ничего нельзя изменить.

Однако поразмыслив немного, Эмадэндэн почти успокоился. Во-первых, где это они достанут столько бумаги? Три тысячи пятьсот цзиней! Ну, предположим даже, что достанут. А как ее привезти? На спинах людей? На яках? Но горы уже покрыты снегом. Сюда можно будет пробраться только весной будущего года. Тогда он сошлется на последний пункт договора — бумага не доставлена в срок. И пусть компания возмещает убытки, понесенные Эмадэндэном...

Но в прошлом месяце с таким трудом обретенное спокойствие Эмадэндэна было нарушено. После истории с закупкой чая и соли он горько раскаивался в том, что подписал с компанией договор на три тысячи пятьсот цзиней бумаги. Похоже, что они выполнят этот дурацкий договор в срок! Ох, опоздали бы хоть на один день — тогда все в порядке!

Но вот прошло ровно три с половиной месяца, и бумага доставлена точно в срок и точно столько, сколько было заказано.

Эмадэндэн уже в который раз смотрел на накладную, как будто именно в ней заключалось главное зло. Он решил поговорить с Чакэдоцзи — в трудную минуту Эмадэндэн всегда обращался к сянцзы за советом.

Дочь ниби Цыдуньичжэн в это время переделывала юбку, которая была ей широка на целый вершок, и, не поднимая головы, спросила:

— В чем дело?

— Я ищу сянцзы.

— Так пойди к нему домой! Зачем прибежал ко мне?

Цыдуньичжэн никогда не упускала случая нагрубить отцу. На этот раз повод был самый подходящий: отец ищет мужчину в комнате незамужней дочери! Но отец, опираясь на многолетний опыт, всегда искал и находил Чакэдоцзи по этому надежному адресу. Сегодня же Цыдуньичжэн была в великом гневе на Чакэдоцзи. Как рассказывали люди, он зачем-то вчера вечером был на агростанции. И будто кто-то видел, как он вместе с той прачкой снова отправился в лес. Это был уже третий случай, о котором знала Цыдуньичжэн.

Дверь Чакэдоцзи оказалась запертой изнутри. Эмадэндэн несколько раз постучал.

— Кто? А, это ты, ниба. Подожди минутку, я переодеваюсь.

Сянцзы неторопливо спрятал недописанное письмо — это письмо было написано по-арабски, без знаков препинания. Затем сложил постельное белье и отворил дверь.

Эмадэндэн, не говоря ни слова, показал сянцзы счет. Чакэдоцзи даже не взял бумажки в руки. Зажигая сигарету, он недовольно сказал:

— Я же предупреждал тебя — они строят дорогу. Дорогу, по которой можно привезти все что угодно. А ты, черт тебя знает зачем, полез со своими заказами! Ну и радуйся: все выполнено точно по договору.

Действительно, Чакэдоцзи предупреждал об этом. Но Эмадэндэн думал: духи они, что ли? Ведь чтобы проложить дорогу в горах Тибета — надо не меньше десяти лет!.. И вот...

— Предупреждал, не предупреждал, какая разница? — ниба рассерженно потряс счетом. — Я пришел к тебе спросить, что делать с этим?

— Получил товар — выкладывай деньги.— Сказал равнодушно сянцзы.

— Легко сказать — выкладывай! — Эмадэндэн снова как бы взвесил на руке счет. Жест показывал, как тяжела эта маленькая тоненькая бумажка.

— Две тысячи юаней, конечно, немало,— сянцзы сделал гримасу,— но ведь каноны в монастырях надо заменять? Боюсь, что если пришлось бы изготовлять бумагу, денег ушло бы в два-три раза больше...

— А к чему их заменять! — невежливо прервал Чакэдоцзи ниба.— Это ведь ты советовал согнать чаба в лес, чтобы утереть нос агростанции. А каноны могли бы служить, по крайней мере, еще пятьдесят лет. Подумаешь, потрепаны! Так их же знают наизусть! Воплощенный Будда Сяса вовсе не говорил, что без новых канонов нельзя обойтись. И вообще, почему я должен нести убытки? Разве мне нужны были каноны? Разве я нуждался в бумаге?

— Но ты заключал договор! — злорадно ответил Чакэдоцзи.— И, кажется, этого (он многозначительно подчеркнул голосом слово «этого») тебе никто не советовал!

Спорили долго, но бесполезно. Наконец сянцзы Чакэдоцзи задумчиво сказал:

— Сделаем так! Бумагу придется взять. И спрятать. А через некоторое время обратимся к торговой компании — попросим сбыть наш запас. Скажем: печатанье святых книг отложено — помогайте. Удастся — так удастся, а нет — останется у нас...

— Надо попробовать! — Эмадэндэн говорил неуверенно. — Но как же мне идти к ним с этим? Ты подумай, я договаривался...

Сянцзы пожал плечами.

— А зачем тебе самому идти? Поговори с Гэсанламой, пусть скажет она — это, по-моему, самое удобное. Она теперь так много общается с ними... Кстати, ты знаешь? Завтра она едет на съезд народных представителей!

Эмадэндэн нахмурился:

— Едет все-таки?

Настроение его, и без того неважное, совсем испортилось: все шло не так, как хотелось бы старому нибе.

3

Жизнь правительницы Гэсанламы круто переменилась за последние несколько месяцев. Покинув свое ложе, на котором она проводила целые дни и ночи, Гэсанлама как бы заново увидела и сумрачные, уединенные внутренние покои, и свою угрюмую четырехэтажную крепость. Все это вдруг сразу опротивело ей. Теперь она часто выезжала верхом в степь, на дорогу, в торговую компанию, в комитет, а чаще всего — в правительство цзуна. Многие работники местной администрации впервые знакомились со своей непосредственной начальницей и видели ее теперь чуть ли не каждый день. Своим разумным участием в делах цзуна она быстро завоевала уважение тех, кто еще совсем недавно считал ее надменной аристократкой, способной интересоваться лишь собственным благополучием. Оказалось, что Гэсанлама умна, справедлива, быстро схватывает новое. Она усердно выполняла общественные обязанности, возложенные на нее как на правительницу цзуна; без проволочек и колебаний разбиралась в жалобах горцев, умела принимать разумные решения.

Собрание народных представителей, назначенное на завтра, было для этих мест событием историческим. Еще с начала прошлого месяца секретарь Су И вместе со своими работниками начал готовить это собрание. Не только Гэсанлама, но и тусы *, вожди племени, Воплощенные Будды монастырей, гэси **, ламы, все известные люди района, представители крестьян, скотоводов, торговцев были его делегатами. Воплощенный Будда монастыря Гэнды, старый Сяса, тоже собирался быть в их числе — состояние здоровья уже позволяло ему выходить из монастыря.

Воплощенный Будда должен присутствовать на собрании представителей! Значит, верхом на коне он проедет через весь цзун Гэнда. По мнению лам, это событие во много раз важнее самого собрания. Поэтому, еще не забрезжил рассвет, когда гэси, бонзы и выделенные для сопровождения Будды ламы засуетились.

В классических старинных театральных представлениях каждый раз, когда на сцене появляется император, поднимается переполох. Сейчас, когда Воплощенный Будда вышел из монастыря, все вокруг выглядело, как в театре, только атмосфера была куда более серьезной и торжественной.

Трудно сказать, сколько барабанов загремело в эту минуту, сколько труб, сделанных из морских раковин, загудело. Под звуки этой священной музыки ворота храма раскрылись; из них вышли десять лам в панцирях, вооруженные железными пиками, и сразу построились в два ряда, причем каждый принял позу либо атакующего, либо защищающегося. Позади них стояли ученые гэси и бонзы, правители монастырей и наконец — сам Воплощенный Будда Сяса. Он казался закованным в свою золотую атласную рясу; с левого плеча Будды свисал широкий черный хада, на голове красовалась тяжеленная круглая медная каска, прикрепленная шнурками к воротнику рясы. Статный конь Будды был

* Правители рода.

** Ученые монахи.

разукрашен с головы до ног красными и зелеными лентами. Старый Сяса тяжело сидел на коне; лицо его было неподвижно, глаза полузакрыты. Кроме человека, который вел коня за уздечку, с обеих сторон Сяса стояли ламы, несущие охрану. Сзади находился один лама, державший огромный зонт над головой Воплощенного Будды. И наконец, снова следовали ламы, вооруженные пиками.

Так Воплощенный Будда Сяса, охраняемый со всех сторон, выехал из монастыря и направился по склону горы в степь.

Если бы об этом заранее знали в горных селениях, то тысячные толпы еще ночью собрались бы у дороги, где должен был проехать Воплощенный Будда. Но на этот раз монастырь хранил молчание, и горцы, встречавшие процессию в пути, принимали эту неожиданную встречу как дар неба. Все они сначала застывали, потрясенные выпавшим на их долю счастьем, а затем начинали проталкиваться вперед, стремясь приблизиться к Сяса. Каждый хотел, чтобы Воплощенный Будда коснулся рукой его головы хотя бы один раз. Прикосновение это обещало избавление от всех горестей и счастливую жизнь.

Старик Сылавэньдуй увидел приближающуюся процессию, когда возвращался домой с заготовительного пункта, куда носил продавать лекарственные травы. Вид процессии поразил его. Не разбирая дороги, не обращая ни на кого внимания, он побежал навстречу процессии и стал проталкиваться вперед. Мечта всей его жизни могла, наконец, осуществиться! Как же ему было не стремиться вперед?

Но ламы с железными пиками не дремали. При выездах Воплощенного Будды они были обязаны не допускать чересчур близко простолюдинов к святому старцу. И сейчас, обороняя Сяса от наседавших горцев, они пустили в ход свои пики.

Тот, кто не выдерживал «испытания пики», уходил. Однако Сылавэньдуя ничто не останавливало. Закрыв своими грубыми руками голову, Сылавэньдуй буквально таранил толпу. Он не считал доставшихся ему ударов и не замечал ничего, пока, в конце концов, не приблизился к Воплощенному Будде. Склонившись почти до земли, не осмеливаясь поднять глаз, он трепетно ждал прикосновения благодетельной руки.

А Сяса? О нет, он никогда не скупился на прикосновения, которые могут принести счастье. Обуреваемый чувством жалости ко всем этим людям, Сяса слегка коснулся затылка Сылавэньдуя.

Охваченный фанатическим восторгом, Сылавэньдуй замер на месте. Счастливые слезы ручьями текли по его старому, обветренному лицу.

Процессия уже давно прошла, когда Сылавэньдуй, очнувшись, увидел возле себя ламу, управляющего монастырским хозяйством. Он вспомнил, что еще не внес положенного дара. По традиции, каждый, кто ищет прикосновения Воплощенного Будды, заранее вносит свой дар. Размеры этого дара подсказывало религиозное чувство. Но Сылавэньдуй не ждал этой встречи, он ничего не приготовил. Просто возвращался домой, продав лекарственные травы. Вспомнив о травах, он вспомнил и о вырученных за них деньгах. В ту же секунду белые серебряные монеты очутились в руках ламы. Все тридцать юаней! Впрочем, Сылавэньдуй со стыдом думал: «Только тридцать юаней, так мало!..»

Как во сне Сылавэньдуй брел к дому. Жена и дочь ждали его к обеду.

— Почему тебя так долго не было? — заворчала жена.

— Да-да, едва успел вернуться,— рассеянно ответил старик и сел к огню.

— Отец, ты продал лекарственные травы? — спросила Цючжи.

— Продал! Почему же нет? Их берут, сколько принесешь, пожалуйста.

— А деньги дали? — обеспокоенно спросила жена.

— Тридцать юаней.

— Тридцать? — поразилась Цючжи.— Тридцать серебряных юаней?

Сумма показалась ей неслыханной: у местных торговцев за эти травы можно было получить самое большое десять юаней.

— Не думай о деньгах, Цючжи,— странным голосом сказал Сылавэньдуй. — Налей-ка лучше чашку рисовой водки, отец хочет выпить!

— Выпить, выпить! — снова заворчала жена.— Съел бы скорее чашку дзамбы и шел в монастырь!

— Зачем в монастырь?

— Как это — зачем?! Кажется, пора вернуть им долг?

Весной прошлого года, когда Цючжи была ранена, Сылавэньдуй заказал в монастыре три камня для пирамиды Мани с выгравированными священными письменами. За это он должен был уплатить пятнадцать юаней, но денег у него не было, и ему поверили в долг. Он надеялся заплатить в конце года, но не сумел тогда продать лекарственные травы. За зиму его долг возрос до тридцати юаней.

Конечно, не повстречай Сылавэньдуй Воплощенного Будды, он вернул бы сегодня монастырю тридцать юаней без всяких колебаний. Но разве небо не послало ему сегодня такой случай, какой выпадает лишь одному из тысячи? И разве значительность происшедшего мыслимо измерить деньгами?

Выслушав рассказ мужа, жена была потрясена, и то опьянение счастьем, которое испытал Сылавэньдуй, блеснуло в ее старых глазах. Но вскоре она снова пригорюнилась. Все надежды на погашение долга были связаны именно с этим мешком лекарственных трав. И вот — надежды снова рухнули. Как странно, что прикосновение руки Воплощенного Будды не сняло еще повседневных горьких забот с семьи Сылавэньдуя!..

Чай уже давно закипел на плите, но никто из троих не вставал, чтобы разлить его по чашкам.

— Налей мне водки! — Сылавэньдуй вдруг рассердился на дочь.— Разве я сказал недостаточно ясно? Я хочу выпить!

Цючжи молча налила ему чашку водки. Старик осушил ее залпом и со злостью бросил чашку на стол.

Неожиданно появился кассир агростанции. Он начал с извинений: ему пришлось работать и на дороге, и в поле, и на плотине. Конечно, он числится кассиром, но работает там, где он нужнее. А в результате — задержки в оплате... Цючжи, например, причитается 56 юаней за работу на пастбище. Вот они, эти деньги... И кассир снова принялся извиняться за задержку.

Цючжи совсем этого не ожидала и отчаянно смутилась. Она — работник агростанции, почему же ей должны платить, как поденщику? Рассердившись, она совала деньги обратно, но кассир положил их на стол и ушел.

Когда Цючжи, схватив деньги, бросилась догонять кассира, мать остановила ее.

— Цючжи, возьми деньги,— сказала она тихо.

— Взять?! Как я могу это сделать! — крикнула дочь.

— Почему ты не хочешь их взять? Ты же пасла коней для агростанции?

— Пасла, но при чем тут деньги? Агростанция столько для нас сделала, а мы ей вернули хотя бы медный грош?

— Вот характер! — возмутилась мать. — Давай возьмем эти деньги временно, чтобы заплатить монастырю. А когда сможем, ты вернешь их агростанции.

— Зачем всегда брать у других? — непримиримо сказала Цючжи и направилась к выходу.

— Но ты же знаешь,— крикнула мать,— что когда ты болела...

— Мне нет до этого дела! — Цючжи сердито отвернулась и, помолчав, сказала: — Я сама захотела пасти лошадей, я их товарищ и не могу за это брать деньги!

Мать и дочь одновременно взглянули на отца, как бы ища у него поддержки.

— Иди, Цючжи! — отец, наконец, поднял голову. — Ты права, за дружбу денег не берут.

Цючжи выбежала на улицу.

— А как же с монастырем? — спросила жена плачущим голосом.

— Я попрошу подождать до будущего года,— неуверенно ответил Сылавэньдуй.

4

Собрание народных представителей открылось докладом секретаря Су И. Обсуждение доклада было бурным и вызвало много споров.

В конце концов достигли единодушия, но решено было немедленно же послать полномочную делегацию в автономный тибетский район Кандин. Практический опыт Кандина мог очень пригодиться гражданам цзуна Гэнды.

Делегатов, прибывших издалека, разместили в специально приготовленных помещениях, но Сяса и Гэсанлама как жители этих мест собирались возвратиться домой; секретарь Су И, соблюдая ритуал, медленно провожал их к выходу.

У ворот толпилось множество народа. Это был первый за двадцать с лишним лет публичный выезд Воплощенного Будды из монастыря. Многие жаждали такого же счастья, какого удостоился Сылавэньдуй. Другие хотели просто поглазеть на церемонию разъезда. Третьи интересовались Гэсанламой.

Примерно в двадцати-тридцати шагах от ворот правительственного цзуна шла полукругом старая крепостная полуразрушенная стена. Сейчас прачка Чжума и бригадир возчиков агростанции Ми Фу-шен стояли за этой стеной, глазея на все происходящее.

Собственно говоря, Ми Фу-шен совершенно не собирался сюда, но Чжума почти насильно притащила его, уверяя, что надо использовать такой редкий случай и обязательно взглянуть на Воплощенного Будду — иначе будешь раскаиваться всю жизнь. Ми Фу-шен пошел, но чувствовал себя неспокойно: рабочее время, упряжь не починена и вообще он уже не раз получал взыскания от начальника агростанции.

— Хватит! Ты оставайся, а я пойду! — пробурчал Ми Фу-шен.

— Да перестань ты волноваться, начальник на собрании, а Будда сейчас выйдет, — уговаривала Чжума, — подумай, Воплощенный Будда!

— Я ходил в монастырь Гэнды, видел его, — сказал Ми Фу-шен.

— Погоди же! — Чжума взяла его за рукав. — Я должна поговорить с тобой кое о чем.

— Поговорить-поговорить! А я должен возвращаться, что толку торчать здесь?

— Ты слышишь, я хочу попросить тебя. Есть одно дело...

Лицо Чжумы вдруг раскраснелось, дыхание стало прерывистым, и она в упор так посмотрела на Ми Фу-шена, что у того даже похолодело внутри.

— Какое еще дело?

— Ты знаешь! Ты должен знать, о чем я хочу просить...

Ми Фу-шен искренне удивился:

— Ничего не разберу! Говори толком.

— Ты действительно не знаешь? Я же рассказывала... Наша семья правила в течение многих поколений... У нас было пять поместий... Нет, ты знаешь, я тебе говорила...— Чжума приходила все в большее возбужде-

ние. — Но все убиты! Вся наша семья убита Гэсанламой, ее мужем... его подручными...

Чжума обеими руками рванула свой воротник, словно он душил ее, и вдруг, прижавшись всем телом к Ми Фу-шену, с отчаянной мольбой заглянула ему в глаза:

— Я прошу тебя, умоляю тебя только об одном. Я все отдала тебе. Теперь мне нужно только одно...

— Что? Что тебе нужно? — в страхе прошептал Ми Фу-шен, отступая назад.— Чего ты от меня хочешь?

Цепляясь за него, Чжума лихорадочно заговорила:

— Ничего, ничего, это так легко для тебя, ты это умеешь... — она на секунду умолкла, но тотчас хрипло шепнула: — Смотри! Видишь? Гэсанлама вышла из ворот! Один только выстрел, только один!

Из рукава Чжумы выскользнул маленький блестящий «баинь» — восьмизарядный пистолет.

Ми Фу-шен, окаменев от ужаса, глядел на Чжуму. Растерянность его была так велика, что он потерял дар речи.

На дворе между тем зашумели, и толпа подалась вперед. Чжума быстрым, решительным движением вложила пистолет в руку Ми Фу-шена, но сейчас его рука не способна была удержать оружие: пистолет с коротким стуком упал на землю.

Гэсанлама первой показалась в воротах. За ней шел Воплощенный Будда, дальше — Су И и другие делегаты. Они, видимо, не ожидали такого наплыва народа. Гэсанлама и все, кто следовал за ней, приостановились на ступеньках.

Чжума бросила взгляд на ворота, и в глазах ее мелькнули хищные огоньки. Она обернулась. Ми Фу-шен, объятый ужасом, по-прежнему стоял неподвижно. Тогда, не говоря больше ни слова, Чжума оттолкнула его и, изогнувшись, как кошка, подняла с земли «баинь».

Сухо, словно удар бича, щелкнул выстрел. И тотчас одна из фигур в воротах несколько раз покачнулась, падая навзничь.

Паника моментально охватила толпу. Люди кричали, толкаясь, почти никто не понял, что произошло, но кричали все, и все хотели протиснуться вперед...

Ми Фу-шен внезапно пришел в себя: уходить, бежать, скорее бежать! Он хотел перескочить через стену, но было поздно. Чья-то рука намертво схватила его сзади и бросила на землю. Ми Фу-шен успел увидеть холеное лицо сянцзы Чакэдоцзи.

— Бежать хотел?! — Сянцзы с силой ткнул ногой Ми Фу-шена. На его крик стали сбегаться люди, и очень быстро вокруг Ми Фу-шена выросла сплошная человеческая стена.

— Он! Это он выстрелил! — Чакэдоцзи поднял руку и громко закричал: — Смотрите! Вот!

Восьмизарядный «баинь» валялся у ног Ми Фу-шена, а рядом с пистолетом желтая гильза.

Гневный, страшный крик, нарастая, несся со всех сторон:

— Это он! Он! Вот его пистолет!

— Кто он? Кто?

— Китаец! Он — китаец!

— Так вот зачем они сюда приходят?

— Смерть ему! Убить его!

— Бейте его! Пустите меня вперед!

Трудно сказать, кто первый бросил в лежащего на земле Ми Фу-шена камень. Затем последовал второй, третий... Крики его не были слышны в реве толпы.

Все произошло очень быстро. Через десять минут на тело, лежавшее в груде щебня у стены, было страшно смотреть.

5

Отец Ма Инь-шань, как обычно, сначала поднял за собой лестницу и только тогда занялся гостем.

— Воды! — Чакэдоцзи сказал это таким тоном, как будто имел право приказывать.

Ма Инь-шань немедленно выполнил его просьбу. Чакэдоцзи выпил залпом один за другим два стакана. Всю дорогу ему казалось, что он умрет от жажды. Он пришпоривал коня там, где можно было ехать верхом, и тащил его за собой там, где проехать было невозможно. Он настолько устал, что весь свет был ему не мил. Немножко отдышавшись и выпив третий стакан воды, Чакэдоцзи растянулся на кровати Ма Инь-шаня. Святой отец осторожно приступил к расспросам.

— Ну, как дела? Так, как мы предполагали?

— Значительно лучше! Можно сказать — великолепно! — Чакэдоцзи посмотрел на бесстрастное лицо святого отца: — Не веришь?

— Я просто боюсь поверить, — подчеркнуто ответил Ма Инь-шань.

Чакэдоцзи криво усмехнулся:

— Не удивительно. Если бы я сидел здесь, под крышей, в полной безопасности, возможно, я тоже боялся бы верить. Однако могу доложить официально: твой пистолет выстрелил, но попал не в правительницу, а в Воплощенного Будду. У него, кстати, есть еще одно звание: директор школы, народный представитель!

Святой отец обнажил свои крысиные зубы, на лице промелькнуло нечто, напоминающее улыбку, и тут же его лицо снова стало бесстрастным. Радости Ма Инь-шань никогда не выказывал; но результат действительно превзошел его ожидания.

Расчет, впрочем, был довольно прост: правительница Гэсанлама будет убита, убита китайцем, да еще китайцем, близким к администрации. Это — отличный повод, чтобы взбудоражить всех чаба Гэнды, вооружить их и поднять на кровавую месть. Затем, при умелом руководстве восстанием, инцидент расширится, а это может принести такой «урожай», который трудно предугадать заранее.

Но пуля поразила не Гэсанламу, а Воплощенного Будду, того, кто давал жизнь и счастье народу Гэнды. Ошибка оборачивалась крупной удачей: гибель Сяса должна вызвать неукротимый гнев каждого тибетца.

Потирая руки, Чакэдоцзи твердил:

— Тибетцы этого так легко не простят!

— А тот бригадир возчиков, по-видимому, был сильно пьян? — спросил святой отец.— Такой искусный стрелок, и вдруг... ай-ай-ай! Хотя я понимаю: уважающий себя стрелок не станет стрелять в женщину.

Сянцзы махнул рукой.

— Да это не он! Он в последнюю минуту сплоховал... Ну, в общем, не стал стрелять. Пришлось девице действовать самой...

— А где же он? — встревожился Ма Инь-шань.

— Не волнуйся,— Чакэдоцзи затянулся сигаретой — бригадиру возчиков больше не придется гонять телеги!

— Ну, а девица? Все устроилось так, как ты рассчитывал?

— Не совсем. Видишь ли, она после... Ну, после этого спектакля в землянку свою не вернулась, хотя мы условились совершенно точно.

Действительно, встречаясь в лесу, они условились обо всем, и в том числе о том, что после выстрела Чжума должна незаметно проникнуть в свою землянку, как будто она и не отлучалась с агростанции. О дальнейшем Чакэдоцзи говорил туманно, про себя же рассудил, что такой ветхой землянке давно пора обвалиться и что никого не удивит, если это произойдет сегодня, а не завтра. Ну, а погребенная под обломками Чжу-

ма уже не заговорит. И это — главное. Но Чжума в землянку не вернулась.

— Ай-ай-ай! Как же так вышло? — святой отец покачал головой.— Надо немедленно найти ее! Такая оплошность! Разыщи ее, и поскорее! Ты догадываешься хотя бы, куда она пошла?

Чакэдоцзи снова затянулся сигаретой. Дым попал ему в глаза, и он зажмурился.

— А я смотрю — нервы у тебя никуда! Я же сказал, что все в полном порядке.

— Ты припрятал ее?

— Не все ли равно?

Ма Инь-шань рассердился.

— Слушай, это не шутки! Если кому-нибудь удастся ее схватить...

— Если удастся схватить? — задумчиво переспросил Чакэдоцзи.— Это будет бесполезно. Она была эпилептичка. А эпилептики часто гибнут во время припадков...

...Чжума не помнила себя, когда раздался выстрел. Но именно этот звук отрезвил ее. Она мгновенно бросила пистолет под ноги Ми Фушена, перепрыгнула через развалины стены и, воспользовавшись общим замешательством, скрылась. Однако она не пошла, как это было условлено, в свою землянку, а по тайной тропинке устремилась в лес, расположенный за домом Чакэдоцзи. Спрятавшись под деревом, она ждала, надеясь, что Чакэдоцзи выйдет из дома. Она ждала очень долго, но никто не появлялся. Да и кто мог появиться, если сам Чакэдоцзи стоял в это время над трупом Ми Фу-шена, снова и снова рассказывая всем, как этот негодяй — китаец целился в Воплощенного Будду. Прождав очень долго, Чжума не выдержала и постучала в заднюю дверь дома сянцзы.

Дочь нибы Эмадэндэна, Цыдуньичжэн, в этот момент как раз находилась в доме Чакэдоцзи. Она тоже ждала его, правда, с менее серьезным делом. Просто ей хотелось показать ожерелье, которое она только что купила. Услышав, как кто-то стучит в заднюю дверь, Цыдуньичжэн быстро открыла ее и пришла в ярость: это была та самая женщина. Только посмотрите! Мало того, что они встречаются в лесу, она теперь прямо является сюда!

Ей хотелось отхлестать прачку по щекам и палкой прогнать на улицу. Пусть запомнит, что здесь ей делать нечего! Но она сдержалась. И вдруг ей в голову пришло мгновенное решение — она покажет сянцзы эту соблазнившую его прачку в его же комнате!

Цыдуньичжэн усадила гостью, сказала, что сянцзы скоро вернется, а затем даже сбегала к себе и принесла густого чаю с молоком.

Чжума не произнесла ни слова. Чашку она взяла механически и осушила ее залпом. Это как бы избавило ее от оцепенения.

— Не попала! Не попала! — прошептала она.— Ну, подожди, это еще не все. Подожди!

Лицо ее исказила судорога, она двумя руками схватилась за воротник, глаза закатились, на губах выступила пена.

Что она говорит? Цыдуньичжэн ничего не поняла. Но вид прачки напугал ее настолько, что она выскочила из дома, трясущимися руками навесила снаружи тяжелый замок, прислонилась спиной к двери и, напуганная, стала прислушиваться. Сначала все было тихо, потом ей показалось, что хлопнула парадная дверь. Ушла? Цыдуньичжэн обежала дом, чтобы посмотреть. У главного входа никого не было. Она вернулась к черному ходу и вдруг услышала какие-то странные звуки. Сначала ей

показалось, что в доме говорят двое, потом раздался стон, причиной которого, видимо, была нестерпимая боль. Затем донесся стук падающей на пол лампы и разбитой фарфоровой посуды. Как будто в комнате боролись два человека, боролись горячо, неистово. Но это продолжалось недолго, шум возни стал постепенно стихать и, наконец, прекратился вовсе. Потом где-то, с другой стороны дома, раздалось удаляющееся цоканье копыт.

Когда Цыдуньичжэн осмелилась снова войти в дом, там никого не было. Чакэдоцзи не возвращался, и ей было не с кем даже поделиться всем происшедшим.

А Чакэдоцзи и Ма Инь-шань тем временем подводили итог всему, что мог принести выстрел Чжумы, и строили радужные планы.

Они считали, что в правительственных учреждениях людей маловато, войска безопасности не слишком сильны, регулярная армия далеко, тибетцев же в Гэнде очень много и почти у каждого есть ружье или, на худой конец,— кинжал. Значит, все должно получиться как нельзя лучше, даже без особых усилий самого святого отца.

Сейчас становилось просто необходимым пустить в ход «князя» и его молодцов; любой ценой надо разжечь огонь — когда появится пламя, то вспыхнут и сухие, и мокрые ветки. А если огня не будет, то к чему вся эта груда дров?

И вот Ма Инь-шань снова и снова подливает водку в чашку «князя».

— Я слышал, что пришел человек из Гэнды. Говорят, Цимэйцзина...

— Где она? — при упоминании этого имени «князь» побледнел.

Все эти месяцы он неотступно думал о племяннице. Он верил и не верил, что она в Гэнде. Он двадцать раз решался пуститься на ее поиски, и его неизменно останавливал голос Всемогущего господа. Теперь Ма Инь-шань сам заговорил о ней.

— Скажи мне, где она?!

— Подожди еще немного! — неуверенно сказал святой отец.

Бандацюедо передернуло. Он грохнул чашку, которую собирался выпить, об стол и бешено уставился на Ма Инь-шаня.

— Я требую, чтоб ты сказал все...

Ма Инь-шань сделал вид, что уступает:

— Говорят, ее схватили. Это, конечно, дело рук правительства. Гэсанлама — ты знаешь — председатель. Да еще этот «бэньбу»...

Бандацюедо молчал, но в глазах его засверкали искры. Святой отец вдруг поднялся.

— Теперь, — сказал он, — надо немедленно спускаться с гор. Ты должен действовать! Что с того, что Гэсанлама — председатель правительства цзуна? Пугаться нечего. Людей у тебя много, все как на подбор.

«Князь» молча слушал, словно не веря Ма Инь-шаню.

— Подумай,— продолжал тот,— если уж сейчас не выступить, то когда же? Они могут ее убить, содрать кожу, изрубить на куски. Если опоздаешь...

Ма Инь-шань не успел договорить. Бандацюедо вскочил, бросил шапку на землю и дико крикнул:

— Спускаемся с гор!

Втайне очень довольный тем, что все обошлось так просто, Ма Инь-шань одобрительно кивнул. Но он совсем не ждал того, что произошло дальше.

— Я немедленно пошлю письмо! — направляясь к двери, решительно сказал «князь».

— Кому письмо? — не понял Ма Инь-шань.

— Гэсанламе. Я обязан сообщить день.

Таков был древний обычай в Тибете. Независимо от того, большое или маленькое сражение готовилось, нападающая сторона посылала уведомление о начале военных действий. Полагалось назначить точный час начала боя и договориться об изучении позиции и сил друг друга. Если кто-нибудь без объявления войны совершал тайное нападение, он покрывал себя навеки позором, смыть этого позора не могла даже победа. Бандацюедо и не помышлял отступать от древнего обычая.

Что делать, если он был настоящий «князь»!

6

Положение было сложное. Горцы толпами стекались на площадь перед зданием правительства цзуна. Сзади тоже скоплялась толпа, следившая за зданием. У каждого в руках была либо винтовка, либо нож.

Когда старый Сяса упал, Су И сам помог внести его в здание и тотчас послал за врачом в больницу. Затем, вместе с товарищами по комитету, он попытался оценить обстановку.

Решили временно приостановить работу учреждений и разослать всех, кого только можно, для разъяснительной работы в горы. Вместе с тем работу собрания народных представителей постановили не прерывать.

Обсуждался вопрос о помощи строителям дороги. Ведя взрывные работы, они очутились в районе голых скал, где не было никаких дорог и куда не могли пройти грузовики с продовольствием. Нужно было срочно организовать караван яков и отправить его в горы. Горцы, конечно, хорошо понимали, для кого строится эта дорога и кто с невероятными трудностями возводит мосты в горах. Поэтому в ответ на призыв правительства они немедленно же составили такой караван. Но сейчас, после злополучного выстрела, все изменилось. Секретарь Су И не без оснований ожидал скрытого противодействия. Все могло решить слово Гэсанламы. Но было неясно, скажет ли она это слово?

В полдень собрание оказалось вынужденным прекратить свою работу: крики толпы на улице становились все сильнее и сильнее, затем во двор здания правительства полетели комья земли.

Работники правительственных учреждений, окруженные плотным кольцом вооруженных горцев, пытались тут же на площади разъяснять происшедшее. Начальник агростанции Цзы-хуан, в повседневной работе тесно связанный с местными жителями, уже давно завоевал уважение горцев. Его словам верили в каждом горном селении, на каждом пастбище, и потому сейчас вокруг него теснилось особенно много людей.

Цзы-хуан старался говорить толково и ясно. Но он сам знал недостаточно и, когда горцы кричали ему: «А почему ваш бригадир возчиков стрелял в Воплощенного Будду?» — ничего ответить не мог. Оставалось только вновь и вновь повторять, что это будет расследовано и выяснено до конца. Тогда горцы принимались задавать вопросы о том, насколько серьезна рана Воплощенного Будды, и опять толпа угрожающе гудела.

Наконец Цзы-хуан напряг всю силу своих легких, чтобы перекричать огромную, возбужденную толпу.

— Не волнуйтесь! — оглушительно рявкнул он.— Пуля прошла здесь...— он правой рукой показал чуть пониже плеча.— Кость не задета, потеря крови незначительная. «Мынба» говорит, что Воплощенный Будда скоро поправится!

— А ты правду рассказываешь? Ты сам видел?

— Конечно, сам видел!

Наступившее на мгновенье затишье снова взорвалось.

— Мы тоже хотим посмотреть!

— Да, да, идемте, мы тоже должны посмотреть!

— Пошли все!

Подбадривая друг друга криками, горцы двинулись к ступенькам у входа, на которых стоял Цзы-хуан. Вероятно, сделай он хоть шаг назад, плохо бы ему пришлось. Но он не отступил.

— Конечно, пойдите! — спокойно сказал он.— Только подождите минуту! Разве можно идти всем сразу? Это вредно для больного! Выберите нескольких человек, пусть они посмотрят и расскажут всем!

Его спокойный тон образумил многих.

Выбрали двух почтенных старцев и двух лам. Но Цзы-хуан считал, что четырех человек мало — могут не поверить.

— Кто хочет еще? — крикнул он.

— Я! — тотчас откликнулся сзади чей-то знакомый голос.

И Цзы-хуан с удивлением узнал Сылавэньдуя.

Сылавэньдуй пришел уже давно, но опасался, как бы его не увидел кто-нибудь из работников агростанции среди воинственно настроенных горцев. Поэтому он прятался за чужими спинами. Вместе с тем он искренно волновался за Воплощенного Будду Сяса. Ему не терпелось узнать, что произошло с Сяса, он, позабыв обо всем на свете, отозвался на приглашение Цзы-хуана. Люди расступились, давая ему дорогу. Цзы-хуан внимательно посмотрел на него: ни винтовки, ни ножа у Сылавэньдуя не было.

Пять делегатов с Цзы-хуаном во главе направились к воротам. На площади все замерло в ожидании, и это напряженное молчание было, пожалуй, страшнее крика.

Когда делегаты вышли, наконец, обратно, напряжение достигло наивысшего предела. Но лица всех пятерых говорили совершенно ясно: «За судьбу Сяса нечего беспокоиться!»

Сложив руки трубой, это именно и произнес Сылавэньдуй, остановившись на ступеньках.

Сразу вслед за делегатами на площади появился секретарь Су И. Он спокойно и быстро оглядел толпу, слегка улыбнулся по привычке и громко сказал, словно все это множество людей просто пожаловало к нему в гости:

— Вы пришли, товарищи! И вы — маленькие друзья, тоже пришли? — Су И посмотрел на замерзших, шмыгающих носами ребятишек.— Ребята, вы хотите проведать директора Сяса? Правильно! Если бы вы не пришли, то и Сяса и я обиделись бы на вас. Но вы пришли не вовремя, директор Сяса спит. Если я впущу вас, вы разбудите его! Однако я могу сказать вам, что рана его очень скоро заживет: врач — вы ведь знаете того «мынба» в очках? — очень опытный «мынба». Он заботится о директоре Сяса, лечит его рану. Он сказал, что директор скоро поправится.

Затем повернувшись к горцам, Су И снова заговорил:

— Это хорошо, что вы пришли, товарищи! С вами желает говорить председатель правительства Гэсанлама!

Су И сделал два шага назад, освобождая место. На ступеньках появилась Гэсанлама.

Все сразу смолкло; стало так тихо, как бывает в лесу, в безветренную погоду. Горцы с острым интересом рассматривали Гэсанламу. Широкий и яркий атласный шарф, приковавший сразу всеобщее внимание, развевался вокруг ее шеи. Близко стоявшие могли прочесть надпись, сделанную на этом шарфе по-тибетски: «Президиум собрания народных представителей». Гэсанлама держалась со спокойным достоинством, лицо ее было серьезно и красиво.

— Возвращайтесь! Все возвращайтесь! — сказала она уверенно и властно, как истая глава цзуна.— Что вы здесь делаете с утра до ночи? Как только правительство все выяснит, вам будет об этом сообщено. А теперь — возвращайтесь!

Жителям Гэнды этих нескольких слов оказалось совершенно достаточно. Их произнесла Гэсанлама, глава цзуна. Никто не подсказал ей, никто не заставлял ее. Это было видно каждому. Она уже хотела уходить, но, вспомнив что-то, повернулась к площади и тем же властным тоном добавила:

— Я пользуюсь случаем, что все вы собрались здесь. Дело в том, что строители дороги ушли далеко вперед, в горы. Нужно немедленно послать им караван с продовольствием. Каждый, у кого больше двух яков, должен быстро приготовиться. Цзун Гэнда пошлет строителям караван с продовольствием из шестисот яков. Все меня поняли?

7

После выступления Гэсанламы горцы разошлись по домам. Однако обстановка еще не совсем разрядилась, и хотя днем работники агростанции ходили безоружными, но, как только спустились сумерки, у всех появились винтовки и пистолеты. Было создано и несколько подвижных патрулей.

Старик Лочжу старался трудиться наравне со всеми, хотя никто не думал, что этот дряхлый человек может всерьез принести пользу. Уже давно Лочжу сам назначил себя ночным сторожем агростанции, и теперь, в такой трудный, напряженный момент, строго требовал с самого себя выполнения своих обязанностей. Как только стемнело, он начал обход, вооружившись длинной пикой, к концу которой был припаян сломанный тибетский кинжал.

В лесу Лочжу неожиданно обнаружил всадника, который по узенькой тропинке направлялся к агростанции.

— Кто? Кто идет? — крикнул старик.

Всадник, не откликаясь, продолжал двигаться вперед. При свете луны можно было разглядеть его широкие плечи, за спиной висела винтовка.

— Стой! — напрягая все силы, крикнул Лочжу и замахал пикой.

Всадник был уже близко. Он равнодушно взглянул на Лочжу, но, видимо разглядев его китайскую одежду, надменно спросил:

— Ты работник администрации?

— Я-то работник... А вот ты кто такой?

— У меня письмо, возьми! Передай его своему главному бэньбу. Собственно, надо бы мне самому отдать в руки, да поздно, не успею назад!

Всадник торопился, но все-таки не утерпел и доверительно сообщил:

— Я скажу тебе! Мы идем на вас войной. Мой князь послал меня с этим письмом. Святой отец не велел предупреждать, но князь все-таки послал меня. Наш князь не такой человек, чтобы открывать огонь без предупреждения!

Лочжу ничего не понял, но все-таки подошел ближе, чтобы взять письмо. Заглянув в лицо молодому человеку, он выронил пику и, пятясь, охрипшим внезапно голосом закричал:

— Ланцзя! Ланцзя!..

Всадник замер в седле.

— Ланцзя! Ланцзя! — упорно кричал сторож.— Ланцзя, сын, ты не хочешь узнать меня?

Молодой человек хотел соскочить с коня, но запутался в стремени и грохнулся на землю. Старый Лочжу бросился поднимать его.

— Вставай, вставай, сынок! Дай мне взглянуть на тебя, дай мне хорошенько рассмотреть тебя!

Сын поднялся, не зная, что сказать или сделать, и молча глядел на отца.

— Почему ты молчишь, Ланцзя? Почему не скажешь слово «отец»? Скажи, скажи! — молил старик.

— Отец! — глуховато крикнул Ланцзя.

— Правильно, это так правильно...— две слезинки прокатились по лицу старика.

— Отец, как ты?..

— Как я жил эти два года? — Лочжу прервал сына. — Лучше расскажи о себе. Где ты сейчас? Что делаешь? Говори! Говори все. Нет, не торопись, мы сейчас пойдем домой.

— Куда пойдем? — переспросил сын.

— Домой!

Лочжу было за семьдесят; чего он только не делал на своем веку! Был солдатом, ламой, торговцем, водил верблюдов. Он исходил весь Тибет, был в Индии, но настоящего своего дома, собственно, никогда не имел. Потому-то он теперь и повторял так настойчиво:

— Слушай меня, Ланцзя! Не удивляйся, теперь у нас есть дом. Идем домой!

Вернуться домой, к отцу — как об этом мечтал Ланцзя! Но он стоял неподвижно и, казалось, ничего не слышал. Мысли его обратились к князю: покинуть князя как раз в минуту военных испытаний? Какая черная неблагодарность!

— Идем! — повторял отец.— Зайдем сначала к начальнику нашей агростанции, к бэньбу начальнику...

Ланцзя вздрогнул: бэньбу — начальник? Агростанция? А, так вот куда он попал! Это здесь пытался он с ножом в руках «украсть счастье» у бэньбу с агростанции. Это отсюда он бежал несколько месяцев назад.

— Нет, нет, надо ехать!

— Что ты говоришь? Куда ехать? Идем домой! — убеждал Лочжу.

Схватив лошадь под уздцы, он хотел повернуть ее к дому, но в эту минуту Ланцзя увидел вдали двух людей. Это был патруль. Тогда, резким движением схватившись за гриву лошади, Ланцзя вскочил в седло. Отец крепко сжимал рукой поводок. Но разве мог он сдержать рванувшуюся лошадь? Его протащило несколько метров и бросило со всего размаху на землю. Несколько мгновений старый Лочжу пролежал, не двигаясь. Он не сразу сообразил, что с ним произошло. Но вдруг вспомнились ему слова сына: «Мы идем на вас войной! Мой князь послал меня с этим письмом». Лочжу неистово закричал и, сжав кулаки, стал бить себя в грудь. Боль окончательно отрезвила его. Опершись на свое длинное копье, он поднялся во весь рост.

— Остановись! Остановись! — заревел отец.— Остановись, негодяй!

Но всадник продолжал мчаться. Лочжу, прихрамывая и задыхаясь, бежал вслед за ним. Поняв всю бессмысленность этой погони, он, тяжело дыша, остановился, перехватил прямой рукой копье и швырнул его далеко вперед. Но всадник исчез. Копье со свистом вонзилось в ствол дерева...

8

Послание, полученное через «непокорного сына», Лочжу передал Цзы-хуану. Тот, в свою очередь, спешно передал его в комитет. Однако оно не вызвало никакого волнения у секретаря Су И. Он быстро его просмотрел, положил на стол и сказал, слегка улыбаясь:

— Опоздали!

После того как бригада агростанции, посланная на пастбище, подверглась неожиданному нападению, соответствующие организации провели глубокое расследование. Было установлено, кто такой «князь» Бандацюедо, находящийся под защитой непроходимых гор и самого «Всемогущего господа». Решено было так или иначе заставить эту шайку спуститься в долину и встретить ее силами армии, занятой на строительстве дороги.

Су И знал, что около пятисот бывших кавалеристов уже вызваны со стройки и из них вновь организовали отряд регулярной армии. Ему отнюдь не казалось странным, что против банды бродяг намереваются выставить вчетверо больше людей, чем сама шайка. Он умел ценить ловкость и силу противника.

Отряд примчался в район Гэнда в тот самый вечер, когда Чжума посягнула на священную жизнь Воплощенного Будды.

Появление отряда было как нельзя более кстати. Правда, люди и кони падали от усталости, проделав тяжелый и длинный путь в очень короткое время. Но обстановка сложилась так, что отдыхать было некогда. По мнению специалистов из органов безопасности, выстрел на площади цзуна и действия шайки Бандацюедо координировались из одного источника. Поэтому отряду вменялось в обязанность опередить «князя» и немедленно двинуться в горы по трем направлениям.

Группа, наступавшая по фронту, двигалась по горной долине. Дорога здесь была лучше. Но для того чтобы скрыть свои действия, группе предстояло обходить селения и пастбища. К счастью, в группе был отличный проводник, знавший район, как собственное жилище.

Проводником была женщина, тибетка. Она ехала впереди отряда: в черной бараньей шапке военного образца, которую для спасения от сильного ветра ей дали бойцы, и с карабином за спиной она выглядела как заправский кавалерист.

В хвосте колонны, на повозке с боеприпасами, сидел высокий молодой человек — помощник тракториста Е Хай. Начальник агростанции ни за что не хотел его отпускать — ведь Е Хай ничего не видит ночью. Но парень убедил его: ночь лунная, снег тоже светится, нет ничего страшного. В доказательство того, что он все видит, Е Хай швырнул на несколько шагов медную пуговицу и тут же нашел ее. Пришлось его отпустить. Но луна как нарочно скрылась за облаками. Е Хай рассердился, он видел или, скорее, чувствовал лишь, за кем идет его лошадь. Но зато у отряда была замечательная проводница! И это было его, Е Хая, заслугой!

Когда выяснилось, что отряду требуется проводник, Е Хай немедленно подумал о Цючжи. Конечно, никто не знал так этих мест, как она. Во-первых, Цючжи постоянно ходила с отцом в горы собирать лекарственные травы, а во-вторых, именно ее захватили здесь в плен. Кто же лучше Цючжи мог показать дорогу отряду? Е Хай пошел к Цючжи.

Через дверную щель в доме виднелся свет. Но как только Е Хай постучал, свет погас. И сколько он ни кричал, никто не откликался, словно все семейство Сылавэньдуя спало мертвым сном. Сейчас, когда Е Хай уже мог считать себя членом этой семьи, его очень удивил и даже обидел такой прием.

А все дело было в старике Сылавэньдуе.

Хотя Сылавэньдуй сам видел раненого Воплощенного Будду (и убедился в том, что рана легкая), хотя сам слышал слова правительницы Гэсанламы, однако сомнения и гнев не покидали его. Ведь что ни говори, стрелял китаец! Китаец!

Он не хотел встречаться с людьми с агростанции, не хотел, чтобы кто-нибудь приходил к нему. Что он им скажет? Агростанция столько

сделала для горцев Гэнды! А теперь горцы, вооружившись винтовками и ножами, окружили здание уездного правительства... Сылавэньдуй не хотел быть ни с теми, ни с другими. Мысли его все время путались. Лучше всего переждать в сторонке. Лучше всего!

Е Хай, не дождавшись ответа на стук, обежал дом и, прислонившись к ограде двора, тихонько свистнул.

Этот свист донесся до Цючжи, задумчиво сидевшей возле огня; так мог свистеть только Е Хай. Она встала, взяла охапку сена и спокойно вышла: пусть все видят, что она идет кормить теленка. За дверью Цючжи выбросила сено и, бесшумно взобравшись на окружавшую дом стену, посмотрела вниз. Во тьме никого не было видно, но она уверенно спросила:

— Ты зачем пришел, негодник?

— Цючжи! — фигура Е Хая вынырнула из темноты.— Чего сидишь взаперти? Наши войска пришли! Кавалерия.

Он особенно подчеркнул последнее слово.

— Правда?! Где они? Почему я ничего не слышала?

— Пришли и ушли. Бить бандитов. Тех, что тогда схватили тебя!

— Ушли? — Цючжи забыла понизить голос: — Уже ушли?

— Немножечко тише! Ушли, но недалеко. Цючжи, ты хочешь пойти проводником? Указывать войскам дорогу?

— А я подойду? — взволнованно спросила девушка.

— Как же не подойдешь! Иначе я не звал бы тебя!

— Ну, хорошо, я только скажу матери,— Цючжи хотела уходить.

— Погоди! — Е Хай остановил ее.— Не говори, она не пустит тебя.

— Что же делать? Пойти без спроса?

— Конечно! Ты же пойдешь со мной! Слезай!

— Ладно. Подойди поближе. Прислонись к стене.

Е Хай подошел к стене. Наступив ногами на его плечи, Цючжи легко спрыгнула вниз. Затем они подбежали к дереву, к которому был привязан конь. Вот несчастье! В суматохе Е Хай забыл приготовить для нее лошадь.

— Не бойся, в отряде есть вьючные лошади. Скорее! Только бы успеть!

Он потрепал коня по гриве, вскочил в седло, а затем помог Цючжи сесть сзади. Цючжи подобрала юбку, увязала свои длинные волосы.

— Держись за меня крепче! Будь осторожна!

Он потянул уздечку, и конь ровной рысью помчался вслед за уходившим в горы отрядом.

Эпилог

1

Стояла ранняя осень. Впрочем, времена года почти не различаются на тибетском плоскогорье — горы всегда покрыты толстым слоем снега. А у подножия гор осень была в самом разгаре.

Озимая и яровая пшеница созрели одновременно. Бескрайняя степь окрасилась в желтый цвет, как будто на землю лег золотистый туман.

Уборка урожая шла полным ходом. Несколько косилок, выстроившись в ряд, продвигались вперед по полю, оставляя позади оголенные полосы рыжей земли. Девушки шли за косилками, связывая скошенные колосья в снопы.

Косьба шла очень быстро, грузовиков еще не было, и пшеницу вывозили на телегах. Цзы-хуан отстранил от работы возчика, который, по его мнению, работал слишком медленно, и сам встал на его место. Он уже в третий раз порожняком возвращался с тока в поле, когда ему повстречался Су И.

— Секретарь Су, вы пришли посмотреть? — Цзы-хуан придержал лошадь.

— Почему посмотреть?! — Су И широко улыбался.— Я хочу поработать на косилке, можно? Ты помнишь, как в прошлом году я работал на сеялке?

— Прекрасно! Садитесь!

Цзы-хуан натянул вожжи, и лошади пошли рысью.

— У меня есть для тебя новости, — сказал Су И, удобно устроившись в телеге,— наверно, кое-что ты уже слышал? Вопрос решался довольно долго, но теперь все утверждено. Хотим послать тебя в Китай учиться.

Слухи об этом действительно уже дошли до Цзы-хуана, но он никогда не верил слухам. Мало ли что болтают люди! Однако теперь поневоле приходилось верить — секретарь сам официально сообщал ему эту новость. Он долго молчал, как молчат люди, услышав неожиданное и неприятное известие. Затем, с обидой в голосе, спросил:

— Что, сочли меня слишком упрямым?

Су И усмехнулся:

— Боюсь, что действительно на свете нет такого педагога, который одолел бы твое упрямство!

— Да что говорить,— с прежней обидой продолжал Цзы-хуан,— все ясно: не подхожу больше!

— Как раз подходишь! — спокойно возразил Су И.— Потому и посылаем тебя учиться, что ты и в работе человек упорный. Конечно, не будем скрывать,— добродушно добавил секретарь,— что у тебя есть небольшие недостатки. Впрочем, нет, даже большие! Но все это поправимо. И поскольку ты теперь уже не начальник маленькой агростанции, а директор крупного сельскохозяйственного кооператива «Цимин-син», постольку тебе необходимо приобрести новые знания...

Цзы-хуан молчал, смотря прямо перед собой на дорогу, как будто не к нему относились слова собеседника.

Су И искоса взглянул на него и продолжал:

— Несколько дней назад я просмотрел ваш десятилетний план... Громадные посевные площади, много новых культур, плодовые деревья, чай, пастбища... Я уж не говорю о пунктах механизации, о фабрике для переработки сельскохозяйственных продуктов, об электростанции. Не просто составить такой план, но куда сложнее его осуществить. Конечно, могут прислать на помощь специалистов, но ты первый должен быть в курсе всех дел, во всем разбираться и все знать. Первый, понимаешь?

У Цзы-хуана уже прошло неясное ощущение обиды. Он чувствовал, что решение комитета было правильным и своевременным. Но, боже! — сколькому надо научиться! Да и выйдет ли?

Он взволнованно спросил:

— Когда ехать?

2

Сдача дел не отняла много времени. Но перед отъездом Цзы-хуану захотелось еще раз посмотреть, как идут работы в поле. Секретарь Су И угадал: тяжелее всего было уезжать сейчас, в самый разгар жатвы.

На лесной тропинке какой-то человек внезапно вынырнул из тени

дерева и преградил Цзы-хуану дорогу; Цзы-хуан испуганно отпрянул в сторону. Год назад на этом же месте он увидел направленный на него длинный сверкающий нож. Впрочем, мало ли что было год назад? Теперь перед Цзы-хуаном стоял крепкий, опрятно одетый молодой тибетец. И хотя это был все тот же Ланцзя, но от прежнего худого, грязного бандита в нем ничего не осталось. Да и не удивительно. Еще зимой, когда улеглись бурные события, Ланцзя пришел к отцу на агростанцию. Его ждали. Ждали не затем, чтобы взыскивать за былые провинности. Ждали, чтоб помочь стать человеком. Теперь Ланцзя работал в основной производственной бригаде, и трудно было найти более добросовестного, более дисциплинированного работника. Но этому превращению предшествовали многие бурные события...

...В утро после той ночи, когда Ланцзя ускакал от своего обезумевшего от горя отца, Бандацюедо отдал приказ: выступать! Но едва его шайка тронулась с места, чтоб начать свой грабительский поход, как обнаружилось, что идти некуда: бандиты со всех сторон были окружены войсками. Бандацюедо получил ультиматум, в котором ему предлагалось, не открывая военных действий, приступить к переговорам. «Князь» разорвал письмо в клочья, не дочитав его до конца. Вытащив маузер, он выстрелил в воздух. Бандиты с криками рванулись вперед и очутились под сосредоточенным прицельным огнем артиллерии. Две трети их полегло в первые же минуты. Потрясенный «князь» впервые увидел орудия и минометы в действии. Над теплыми трупами своих молодцов он вынужден был написать несколько слов о капитуляции. Вместе со стрелой это письмо было пущено на позицию противника.

Переговоры происходили в открытом поле.

Из кавалерийского отряда для переговоров выделили двух делегатов, в совершенстве владевших тибетским языком. Едва они вышли из укрытия, как святой отец Ма Инь-шань, находившийся рядом с «князем», вытащил из-под рясы револьвер. Сам Бандацюедо не мог этого предвидеть. Но стоявший за его спиной Ланцзя успел заметить предательский маневр старого негодяя. Почти инстинктивно он взмахнул кинжалом и ударил святого отца в руку. Ма Инь-шань закричал, выронил пистолет и упал, обливаясь кровью.

Весть о Ланцзя, спасшем жизнь двум парламентерам из кавалерийского отряда, разнеслась по всему цзуну Гэнда. Историю эту тибетцы и китайцы пересказывали друг другу, не скупясь на похвалы Ланцзя за находчивость. И когда Ланцзя пришел на агростанцию, здесь его ждали с распростертыми объятиями.

Выйдя из леса на первое поле агростанции, Цзы-хуан увидел вдалеке людей, которые вручную перетаскивали что-то тяжелое. Он приглядел ся и замер от ужаса, а затем стремительно кинулся к ним.

Несколько горцев камень за камнем переносили пирамиду Мани с поля к подножью горы. Группа ребятишек с восторженными криками помогала взрослым. Все это напоминало разгрузку большого корабля, но Цзы-хуану было не до сравнений. Он несколько успокоился лишь тогда, когда убедился, что среди «грузчиков» нет работников агростанции. И все-таки прерывающимся от волнения голосом он спросил:

— Что случилось? Что вы делаете?

— Переносим пирамиду Мани,— ответил один из горцев,— переносим на новое место.

— Да разве можно трогать пирамиду Мани? — с сомнением спросил Цзы-хуан.

— Воплощенный Будда Сяса объяснил, что можно! — гордо выпрямляясь, сказал самый старый горец. — Какая разница, там или здесь? Сяса объяснил: духи, как люди, они не любят сидеть на одном месте!

Горец проговорил все это совершенно серьезно, и, когда снова поднимал испещренный священными письменами камень, губы его беззвучно повторяли слова молитвы.

К Цзы-хуану подошел Сылавэньдуй.

— Начальник, я искал тебя. Говорят, на агростанции есть карта посевов?

— Конечно, есть.

— И там, говорят, нарисована пирамида Мани?

— Да.

— Эту карту придется переделать. Пирамида Мани теперь на новом месте. Мы решили помочь «львам». Когда они будут поднимать эту землю, им больше не придется делать крюк и попусту тратить бензин и время...

— Правильно! — кивнул Цзы-хуан, вспоминая, как всего лишь год назад этот самый Сылавэньдуй встретил в штыки предложение механизаторов Чжу и Е Хая о пирамиде Мани.

«Год! Всего год!..» — подумал Цзы-хуан.

А Сылавэньдуй, покашливая от смущения, продолжал:

— И вот еще что, начальник. Нельзя ли мою землю в излучине реки включить в план агростанции?

У Цзы-хуана даже дыхание перехватило.

— О, товарищ Сылавэньдуй, это было бы здорово! И мы отблагодарим тебя. Мы выделим тебе отличный участок в другом месте.

— Да я вовсе не думал менять участок...

— А как же?

— Я вот что думал...— Сылавэньдуй, по-видимому, подготовился к этому разговору,— только не знаю, можно ли это? Если нельзя, то ты так и скажи. Давай сядем, поговорим.

Цзы-хуан сел на землю; старик присел рядом на корточки и продолжал:

— Ты знаешь, скоро год, как Цючжи пасет ваш табун. Я думаю, она теперь уже может называться работником агростанции? Ну, а я хочу всей семьей вступить в сельскохозяйственный кооператив. Конечно, я не очень молод, но умею делать все не хуже молодых, разве что не вожу «льва». Как ты думаешь? — договорил старик и, по-ребячьи склонив голову, стал ждать ответа.

Цзы-хуан не успел ответить. Горцы, окружившие их со всех сторон, заговорили хором. Он хорошо знал их. Это они в прошлом году во время посева озимой пшеницы незаконно расширили свои поля за счет земли агростанции, вырыли вокруг них рвы и обложили камнями.

— Если бы агростанция согласилась,— сказал один из горцев, — мы бы тоже разобрали камни и засыпали ров.

— Это будет очень удобно, — сказал другой, — засыплем рвы, и во время пахоты и сева не надо будет делать никаких объездов.

— Ну как, начальник? — спросил Сылавэньдуй.

— Отлично! — Цзы-хуану от волнения было трудно говорить.

Итак, Сылавэньдуй вместе с этими горцами войдет в кооператив. Цзы-хуан сразу представил себе всю важность и серьезность этого события. Это совсем не то, что молодые люди, вступавшие в кооператив без тяжких размышлений и колебаний. Может быть, для пущей важности следовало бы посоветоваться с кем-нибудь, отложить решение до завтра? Но он уезжает. И он должен поручить это неотложное дело серьезному человеку. Кому же?.. Ах, да — Лэю! Агротехнику Лэю! Какое дело ему ни поручи, всегда можно быть спокойным.

Цзы-хуан крикнул ребятишкам, помогавшим перетаскивать камни:

— Эй, ребята! Кто хочет помочь мне? Кто сбегает за агротехником?

— Я пойду, я! — одна из девочек тотчас подбежала к начальнику агростанции.

— Прекрасно, Чжаси. Дядя Лэй на поле у реки. Попроси его прийти сюда, скажи — я жду!

— Ага,— крикнула Чжаси и со всех ног помчалась через поле; красный платочек на ее шее, как маленький флажок, развевался на ветру.

3

На поле в излучине реки агротехник Лэй отбирал лучшие колосья пшеницы на семена и мечтал: «Если бы устраивали сельскохозяйственную выставку, мы бы выставили там эти колосья...»

Зоотехник Ни, идя по берегу, еще издали увидела Лэя. Стараясь ступать бесшумно, она подошла почти вплотную к Лэю и только тут окликнула его:

— Товарищ Лэй! Чем это ты занят? Собираешь образцы?

— Это ты, Ни? — Лэй поднялся и пожал ей руку.— До образцов еще далеко! Пока надо отбирать семена...

Ему хотелось сказать девушке что-нибудь приятное, но, как всегда, он не решался перейти от деловых тем к личным.

— Скажи, — дрогнувшим голосом наконец спросил он,— скажи, Ни...

Услышав непривычный тон Лэя, Ни притворилась озабоченной.

— В чем дело, товарищ Лэй? — деловито осведомилась она.

— Я... я хотел знать, как твои ягнята?

— О, великолепно! Они даже просили передать тебе привет,— Ни снисходительно улыбнулась.— Ах, чуть не забыла. Я встретила почтальона и взяла письма, адресованные на агростанцию. Есть и тебе...

Лэй торопливо взял письмо.

— Ты знаешь, от кого оно? От профессора Ляо! — он разорвал конверт и подошел к девушке, явно приглашая ее прочитать письмо вместе с ним. Профессор писал:

«...Ваш «семилетний план севооборота» я просмотрел. Вы объясняете все довольно подробно, но я все-таки недостаточно знаком с тибетскими условиями и поэтому затрудняюсь сразу высказать свое мнение; по всем разделам отвечу позже, когда тщательно разберусь и обдумаю. Но в основном у меня возражений нет.

Вы каждый раз пишете, что надеетесь на мой приезд. Я тоже все время об этом думаю. Вскоре, кажется, представится подходящий случай: в Тибет отправляется делегация научных работников, и я постараюсь добиться, чтобы в нее были включены специалисты-почвоведы и агротехники. Вы уже довольно долго живете в Тибете и, наверное, потеряли ощущение новизны. А здесь одно название Тибет вызывает необычайный интерес. Вам, вероятно, кажется, что вокруг вас нет ничего удивительного, особенно по сравнению с теми огромными переменами, которые происходят в Китае. Но не думаете ли вы, что тибетское плоскогорье — огромный великан, разбуженный утренним гонгом? Проснувшись, он поднимается на ноги и в мощном прыжке перескакивает через несколько столетий... А на прощанье я хочу сказать, что думаю о ваших личных делах, раз вы поделились со мной своими сомненьями...»

Дочитав до этого места, Лэй испуганно опустил письмо. Ни, стоявшая рядом, тоже вдруг почувствовала, что ей неудобно читать чужие письма, и, наклонив голову, быстро пошла вдоль самой воды. Она успела отойти довольно далеко, когда Лэй неожиданно снова позвал ее:

— Дочитай, пожалуйста! — голос его прозвучал решительно и твердо.— Прошу тебя, прочти.

Он почти грубо сунул ей письмо в руки, и она стала читать про себя с того места, на котором остановилась:

«...своими сомненьями, я не могу не ответить вам. Конечно, я совсем не знаю вашего зоотехника, не знаю, какое место вы занимаете в ее сердце, но одно мне ясно: вы слишком робеете и этим очень, — как, впрочем, всегда! — сами вредите себе. Чего вы, собственно, боитесь? Того, что в случае отказа не останется надежды? Но пока мы живы — мы всегда надеемся. А потом — почему ждать отказа? Может быть, и она волнуется, не понимая вашего молчания?»

Ни вдруг резко отвернулась. Они не произнесли ни слова. Лэй внезапно обнял Ни за плечи и поцеловал в заалевшую щеку.

Казалось, она даже не поняла, что случилось. Когда же он отпустил ее плечи, она сделала два шага назад и сказала испуганно:

— Что ты делаешь?

Но так как он не догадался поцеловать ее снова, она повернулась и медленно пошла, не то недоумевающая, не то немножко обиженная.

Беспомощно потирая лоб, Лэй решил смочить лицо холодной водой. Дойдя до реки, он снял шапку, стал на колени и окунул голову в ледяную воду.

Вдруг кто-то бросил в реку камень — Лэй услышал рядом с собой легкий всплеск. Отфыркиваясь, он оглянулся. За его спиной стояла маленькая школьница Чжаси.

— Что вы здесь делаете, дядя Лэй?

— Я... ты не видела? Ополаскиваю лицо!

— А я думала, вы там ищете что-то! Дядя Лэй, начальник станции послал меня за вами.

— Где он? — спросил Лэй, вытирая волосы.

— У пирамиды Мани, идем! Он просил вас прийти поскорее.

Лэй протянул Чжаси руку, и они пошли вместе. Когда они проходили через бескрайнее поле пшеницы, над их головами закричали птицы. Это были дикие гуси.

Гуси летели очень низко, но не в правильном строю, как обычно, а, подобно ястребам, описывали большие круги...

— Дядя Лэй, почему они не садятся на землю, а все время кружат в воздухе? — Чжаси потянула его за рукав.— Они, наверное, увидели нас и испугались?

— Нет, они не боятся людей,— Лэй стал объяснять девочке: — дело в том, что они не узнают этих мест.

— Правда? — удивилась Чжаси.

— Правда! Ты покричи им, Чжаси. Скажи им, пусть садятся!

Чжаси замахала руками в воздухе и громко крикнула:

— Гуси, садитесь, садитесь на землю!

Роман печатался с сокращениями.

И. Анисимов

Жизнь, отданная будущему

1

Передовая литература в США имеет прочные традиции. У нее большая история. Не случайно, что такой большой размах приобрели литературные явления, в которых отражены социальные потрясения, произведенные первой мировой войной, а также те литературные явления, которые были американским откликом на Великую Октябрьскую социалистическую революцию в России, до глубин всколыхнувшую народные массы во всем мире.

О глубине совершавшихся в американской литературе сдвигов можно судить по публицистике Драйзера, составившей книгу «Бей, барабан!» (1920). Впервые автор «Гения» вступает в такую ожесточенную схватку. Все написанное им ранее, бесспорно, подводило к выводам, которые он теперь делает, но сделать эти смелые выводы ему помогли великие события. Они озарили новым светом творчество Драйзера, и его внимание приковано теперь к той «революции в умах», которая совершалась в Америке. Он открывает такие образы, как Джон Парадизо в книге «Бей, барабан!»,— образ человека, который уже «не может мириться с окружающей действительностью», которого «покидает спокойствие». Мы помним, как высоко оценивал Ленин открытия Барбюса, гораздо более крупные по масштабу, но делавшиеся в этом же направлении.

Вторая половина десятых годов, когда происходят эти решающие изменения в творчестве Драйзера, — замечательно плодотворное время для американской литературы. Достаточно сказать, что это время Джона Рида. Жизнь этого писателя, трагически оборвавшаяся так рано, с ее неповторимым богатством и сложными перипетиями, была отдана будущему. Джон Рид указал передовой американской литературе предстоящий ей путь. Пример его жизни и творчества имеет столь важное всеобъемлющее значение, что об этом будут написаны горы книг. Если до сих пор это еще не сделано, то причина здесь в относительной слабости передовой литературы в Америке. Но время придет и для бурного расцвета социалистической литературы в этой стране и для самого внимательного изучения наследства Джона Рида как предшественника и учителя, как классика этой новой литературы.

За свою короткую жизнь Джон Рид создал очень много. Он был удивительно разносторонним — поэт, драматург, мастер короткого рассказа, автор произведений нового жанра — своеобразных социальных эпопей, в которых были запечатлены такие события современности, как революция в Мексике, первая мировая война и, наконец, Великая Октябрьская социалистическая революция. Эти произведения, убедительно выражающие то новое, что внес Джон Рид в литературу, составляют своеобразную трилогию, две части которой несхожи, но вместе они подготавливают грандиозную заключительную часть, которая является в полном смысле этих слов «делающим эпоху» произведением.

Внутреннее развитие трилогии, — которая не была задумана автором как цельное произведение, но так сложилась в силу определенных исторических обстоятельств,— отчетливо обозначает основную линию развития Джона Рида; все другие произведения находятся если не в прямой связи, то в зависимости от этой главной магистрали. Поэтому важно прочертить именно это решающее направление.

Коренной американец, выходец из состоятельной буржуазной семьи, воспитанник привилегированного Гарвардского университета, Джон Рид блестяще начал свою литературную карьеру, осыпаемый восторженными похвалами критики. Он быстро достиг славы и больших гонораров. Появление Рида в Нью-Йорке, где он вел жизнь литературной богемы, успех, которым он пользовался в знаменитом тогда литературном салоне Мэбель Додж, производили впечатление бесшабашности, и старший друг его и наставник Линкольн Стеффенс вспоминал, что ему иногда приходилось испытывать тревогу за будущее молодого таланта.

Впрочем, даже самое раннее творчество Джона Рида, например его рассказ «К чему лежит сердце» (1913), опубликованный на страницах незадолго до того возникшего радикального журнала «Мэссиз», свидетельствует о резко критическом отношении писателя к капиталистической действительности. Мишурный блеск американской цивилизации не обманывал молодого писателя, и то пристальное, напряженное внимание, с которым он присматривается к еще далекому от него миру трудящихся, свидетельствует о том, что Рида рано начали интересовать основные социальные противоречия буржуазного общества.

В «Мэссиз» Рид встретился с литераторами социалистической ориентации; правда, это был туманный и очень абстрактный социализм. Зато наглядные примеры борьбы рабочего класса, подобные знаменитой стачке в Патерсоне, как магнит притягивали к себе внимание Джона Рида. Он едет на место действия и в своей великолепной корреспонденции «Война в Патерсоне» (1913) не прикрывается объективностью стороннего наблюдателя: он за тех, кто бастует, защищая свои права, он против тех, кому принадлежат фабрики, охваченные забастовкой.

Больше того, у Джона Рида возникает идея агитационного театрального представления, в котором были бы запечатлены события в Патерсоне, оставившие такой глубокий след в народной памяти. Ему удается осуществить свое намерение и поставить один-единственный спектакль, который, однако, история народного театра в Америке внесет в свои анналы, как исключительно важное событие. Сохранилось интереснейшее свидетельство об этом народном представлении, записанное в «Книге Билля Хейвуда»* — автобиографии выдающегося деятеля американского рабочего движения, знакомство с которым оказало огромное влияние на духовное развитие Джона Рида. Вот что там говорится:

«В день представления тысяча двести стачечников перешли через Гудзон. С пристани мы отправились в зал Мэдиссон-сквера, в котором уже целую неделю зажигались по вечерам красные лампочки, составлявшие гигантскую надпись: «Индустриальные рабочие мира». Мы пригласили принять участие в представлении восемьдесят или девяносто человек нью-йоркцев, известных своими радикальными взглядами. Бобби Джонс, теперь знаменитый театральный художник, вместе с Джоном Ридом нарисовали плакат — героическую фигуру рабочего на фоне фабрики и дымовых труб. В Мэдиссон-сквере была построена громадная сцена, на которой была установлена декорация, изображающая шелковые фабрики. Режиссером был Джон Рид.

Когда открыли ворота, перед ними образовались огромные очереди. В эту ночь стачечники собирались показать свою жизнь в Патерсоне многолюдной заинтересованной аудитории под аккомпанемент новых песен, написанных стачечниками.

Первая сцена показывала заводы на полном ходу. Рабочие гуляли по улицам — центр аудитории — группами и поодиночке: одни читали газеты, другие напевали песенки. У всех в руках или под мышкой были корзинки и пакеты с завтраком. Вдруг раздался гудок. Послышался стук, шум, грохот машин. Потом широкое пространство — улица — опустело. Все ушли на работу. Вдруг раздались голоса: «Стачка! Стачка!». Рабочие выбегали толпами, крича, смеясь, толкая друг друга. И все торжественным хором запели «Интернационал», подхваченный аудиторией.

Во втором действии заводы были мертвы: ни огня, ни звука. Они стояли, как чудовищные привидения. Это было утро после объявления стачки. Появились рабочие пикеты. Они пели песню стачки. Жизнерадостный итальянец весело перебирал струны гитары. Несколько полисменов смешалось со смеющейся, поющей толпой, расхаживавшей перед заводами. Вдруг без всякого предупреждения полиция набросилась на стачечников. Началась битва. Раздались выстрелы. Один из стачечников упал. Его убила полиция. Другой, раненый, вырвался из толпы. Убитого унесли. Стачечники проводили его до дому. День был закончен.

Третья сцена представляла похороны убитого рабочего. По сцене пронесли гроб, за которым следовали стачечники с пением похоронного марша. Гроб опустили посередине сцены. Стачечники выстроились по обе стороны его, и каждый опустил на гроб зеленую ветвь и красную гвоздику. Элизабет Герли Флинн, Карло Треска и я произнесли речи, так же как если бы это было в действительности, над гробом убитого стачечника в Патерсоне. Мы призывали стачечников бороться до тех пор, пока не будет свергнуто проклятое иго эксплуатации, пока рабочие не вступят во владение тем, что им принадлежит по праву.

В четвертом действии стачечники отправляли своих детей в другие города на время стачки. Эти дети также объявили забастовку в школе, потому что учителя называют бастующих рабочих и их организаторов «анархистами и тунеядцами из разных стран». Дети прощались с родителями и уезжали под пение «Красного флага». Они должны были остаться у своих новых друзей, «стачечных родителей», на все время стачки.

Последняя сцена изображала митинг в Терн-холле в Патерсоне. У задней стены сцены была устроена платформа, вокруг которой столпились рабочие. Я обратился к ним с речью и говорил так серьезно и так сильно, как только может говорить человек, вложивший в дело душу и вдохновленный тысячами сочувствующих слушателей.

Представление закончилось общим пением «Интернационала».

В этой записи пьесы Билля Хейвуда не-

* Издана в Москве в 1932 году.

обходимо исправить только одну неточность: Джон Рид был не только режиссером, но и автором сценария и всего замысла патерсоновского «Карнавала».

Трудно переоценить значение этого выступления Джона Рида, смелого поиска драматургической формы, в которую могла быть облечена «борьба между рабочим классом и классом капиталистов, ...столкновение между двумя социальными силами», как гласила программа, напечатанная для зрителей «Карнавала». Оно свидетельствовало о том, что между писателем и рабочим классом уже существовали прочные связи.

Вот почему Рид начинает вызывать раздражение Гертруды Стейн, которая была непререкаемым авторитетом в кругах американских декадентов. И вот почему сам Рид испытывает чувство глубокого удовлетворения. «Я никогда не был так счастлив», — пишет он своему другу Эдварду Хенту. С растущей симпатией он отзывается о Хейвуде, Элизабет Флинн и других вожаках масс, с которыми он сблизился во время «Карнавала». «Мне нравится, что их всегда понимают рабочие, — писал он, — нравится их революционная мысль, смелость их мечты, нравится то, как воспламеняются необъятные толпы народа, воодушевленные их руководством. Это была подлинная драма, делавшая наглядной демократию в движении».

Если обратиться к рассказам Джона Рида этой поры, напечатанным в журнале «Мэссиз» (в 1913 году он становится одним из редакторов этого издания), то они дают основание говорить о нарастающей остроте социальной критики. «Еще один случай неблагодарности», «Игра правосудия», «Верь тому, что видишь» — все эти рассказы 1913 года сдирают позолоту с капиталистического фасада, все они посвящены отверженным большого города и все проникнуты возмущением против двуличия, ханжества и цинизма буржуазного общества. Его более поздние рассказы и в том числе потрясающая «Ночь на Бродвее», где показана с такой трагической силой судьба маленького человека в Америке, представляют только дальнейшее развитие и углубление одного отчетливо наметившегося направления.

И так как самые главные произведения Джона Рида не изображали американскую действительность, то значение рассказов, преимущественно рисующих американскую жизнь, особенно велико: эти небольшие реалистические произведения отличаются социальной насыщенностью и духом гуманизма, что было воспринято молодым писателем от демократической литературной традиции его родины и что наложило отпечаток на все его творчество. Из рассказов Рида надо сделать не только тот вывод, что реализм их, часто приобретающий сатирический характер, служит обличению американского капитализма, но и тот, что у автора их — глубокие корни, уходящие в американскую почву, в демократическую литературную традицию. Его поэзия проникнута духом Уитмена, а его проза остается американской прозой, независимо от того, что́ описывается в книгах Рида.

2

В конце 1913 года Джон Рид отправляется как корреспондент газеты «Уорлд» в Мексику, где тогда шла ожесточенная гражданская война. Из его корреспонденций в журнал «Метрополитен», получивший к тому времени социалистическое направление, а также в «Мэссиз» составилась книга «Восставшая Мексика» (1914). Это была первая книга Джона Рида, и она привлекла к себе широкое внимание. В этой книге отчетливо проявляются такие особенности литературного метода Джона Рида, без которых уже не обходится ни одно его произведение. Он идет здесь дальше своих рассказов, где встречались лишь жертвы капиталистического строя, и смело вступает в бурный поток народной жизни, где его окружают люди нового склада, люди, защищающие свою свободу.

То, что именно здесь Рид искал своих героев, резко противопоставляло его современной американской литературе. Это отражается, например, на той оценке, которую дал «Восставшей Мексике» Уолтер Липпман (мы теперь знаем его как первостатейного мракобеса, и трудно поверить, что было время, когда он отдавал дань социалистическим симпатиям, а именно так и было). «Он не выступает как судья,— писал Липпман, — он отождествляет себя с борьбой, и все, что он видит, связано с тем, на что он надеется, и когда симпатии его соответствуют фактам, Рид гордится этим».

Как видим, это — двойственная, противоречивая оценка, стремящаяся противопоставить правду фактов симпатиям автора. Липпману не нравилось, что Рид открыто становится на сторону восставшего народа, а это и было самым замечательным и самым новым в книге. Мы еще вернемся к статье Липпмана, из которой взяты эти фразы, но даже сквозь брюзжание здесь чувствуется, что книга Рида воспринималась как произведение крупного масштаба. Этого никто не мог отрицать.

Самым большим и многозначительным открытием, которое делает Джон Рид в книге «Восставшая Мексика», было открытие народа. Для того чтобы представить себе все значение этого открытия, достаточно сопоставить отношение к мексиканской революции Линкольна Стеффенса, который несколько позже Рида был в Мексике и писал о тех же событиях, и позицию Джона Рида. Стеффенс рассказывает, что, собираясь в Мексику, он пытался предварительно выяснить в деловых кругах, на кого ему ориентироваться в Мексике. И хотя он исходил из предположения, что ему придется во всяком случае держаться той стороны, которая не пользуется поддержкой Уолл-стрита, и понимал, что

капиталистические инстанции не могли правильно ориентировать его по причине своей колонизаторской заинтересованности в определенном исходе мексиканских событий, — он все же не счел возможным игнорировать эти инстанции, для разоблачения которых знаменитый «разгребатель грязи» так много потрудился. В этом проявилась все же неистребимая наивность честного американского демократа.

Джон Рид никого не спрашивал о том, как ему ориентироваться в Мексике. Он верил в массы. И он старался слиться с восставшей Мексикой, с ее неграмотными крестьянами, с ее малообразованными вожаками и понять, что́ приносит победу этим оборванным, но беззаветно преданным своей цели простым людям. Он очень быстро понял, что мексиканская революция — это не схватка тех или иных претендентов на власть, а народная революция.

Он понял, какую силу в этой народной революции имеет голос обезземеленной крестьянской бедноты, которая никогда не примирится со своими угнетателями — помещиками. Он понял, что восставшая беднота изо всех сил борется за жизнь, землю и хлеб. Он увидел, что мужицкая армия располагает неисчерпаемыми резервами. Вот что он говорит о встрече с одним из «пасификос» (так называли крестьян, не принимавших участия в вооруженной борьбе):

«Я никогда не забуду оборванного босого старика с лицом святого, на которое голод наложил свою печать.

— Революция — это хорошо! — сказал он. — Когда она победит, мы больше никогда не будем голодать. Да, никогда, никогда! Но это будет не скоро, а нам нечего есть, мы нищи и голы. Хозяин бросил имение и бежал, у нас нет ни инвентаря, ни рабочего скота, а солдаты забирают последний хлеб и угоняют скотину...

— А почему же пасификос не идут на войну?

Он пожал плечами.

— Мы им пока не нужны. У них для нас нет ни оружия, ни лошадей. Они сами справляются. Да и кто будет кормить их, если мы перестанем сеять хлеб и кукурузу? Нет, сеньор, так нельзя. Но если мы увидим, что революция слабеет, тогда больше не будет пасификос. Тогда мы все встанем, как один... Революция должна победить!..»

А вот что думает о происходящем «грязный маленький человечек, которого все называли доктором» и который «раньше был аптекарем в Паррале, а теперь состоял в чине майора»:

«— Наша революция... Вы должны правильно судить о ней. Это борьба бедных против богатых...»

«— Вот это и есть мексиканская революция!» — восклицает подружившийся с автором храбрый воин Мартинес после того, как было прочитано перед отрядом кавалеристов на отдыхе «воззвание губернатора штата Дуранго, в котором определенно было сказано, что земли крупных гасиенд будут поделены между бедняками».

Постепенно развертывающаяся перед нами картина событий состоит из множества частиц, иногда очень мелких, но всегда целеустремленных, как бы намагниченных, что и делает книгу цельной. Стремясь проникнуть в глубины народного движения, автор возлагает все надежды на правду, и это вполне соответствует духу народной революции.

«— Пишите обо всем, но только правду»,— говорит автору крестьянский генерал Урбина.

Идя путем правды, Джон Рид показывает без всяких искусственных приемов величие, грандиозность борьбы народа за свободу и счастье. Ему так глубоко удалось ощутить бурную пульсацию действительности, с такой увлекательной естественностью передать в своих описаниях пафос мексиканской революции только потому, что он был полностью с нею, с ее простыми героями, с ее идеалами.

Прекрасную убедительность, покоряющую силу приобрел в этой книге образ Панчо Вильи. Человек, находившийся «вне закона» в течение двадцати двух лет, стремительно поднялся в годы народной революции. Джон Рид показал в образе Панчо, как характернейшие черты революции могут воплотиться в определенной личности, превращая ее в настоящего народного вождя.

«Пеон в политике» и «несомненно величайший полководец, которого когда-либо видела Мексика», Панчо Вилья привлек к себе пристальное внимание Рида. Наблюдая его деятельность, Рид нащупывает очень важный узел своего кажущегося разбросанным повествования: в поступках Панчо во всем его существе проявляется «мексиканская революция — революция народная» —это и есть сердцевина событий. Джон Рид стремится особенно приблизить к нам образ Панчо со свойственной ему пеонской «прямотой», стремительностью, чтобы мы получили возможность повнимательнее рассмотреть характерные черты вожака мексиканской революции. Эти черты встречаются и в других действующих лицах народной драмы, но в Панчо они выступают особенно резко. И хотя композиция книги так свободна, что можно предположить намерение автора подчеркнуть этим бурную изменчивость действительности, образ Панчо несомненно является центром всей книги.

Небольшая, очень трогательно написанная глава «Мечты Панчо Вильи» заканчивается таким признанием «необразованного рубаки»: «Как был бы я счастлив помочь нашей бедной стране — нашей Мексике — выйти на широкую, свободную дорогу».

Разве это не мечта всех героев «Восставшей Мексики» до единого?

И если какими-то своими чертами Панчо Вилья напоминает нашего Чапаева, то это свидетельствует о том, что и в первой книге Джона Рида и в первой книге Дмитрия

Фурманова проявляла себя сложная и многообразная действительность народной революции, в которой перерастание стихийного начала в организованную революционную борьбу является столь острой и столь важной проблемой.

Многим читателям «Восставшей Мексики» импонировала изумительная цветистость прозы Джона Рида, запечатлевшая необыкновенные краски мексиканской природы. Очень чуткое, изощренное зрение Джона Рида проявилось и в том, что большое число выведенных в книге лиц, очерченных лишь немногими чертами, отличалось удивительной жизненностью.

В этом характерная особенность ридовской литературной манеры того времени. С цветистостью он впоследствии расстается, а редкостная способность делать каждый характер живым — совершенствуется. Впрочем, значение книги «Восставшая Мексика» заключено не в тех или иных особенностях формы, а в том, что здесь с глубокой убедительностью была раскрыта народность бурного, пестрого и многоликого движения, свидетелем и другом которого стал Джон Рид. Как драма народа, который взялся за оружие, чтобы добыть себе свободу и землю, обрело силу это произведение. В этом секрет его поразительного единства и того глубокого впечатления, которое оно оставляет. Джон Рид отдавал себе отчет в том, что встреча с революционной Мексикой духовно обогатила его: «Я снова нашел себя и пишу лучше, чем когда-либо».

Характерно, что книга кончается главой «Los pastores», в которой описан спектакль народного театра в Эль Оро, причем действие средневековой пасторали обогащается вполне современными репликами зрителей, и это придает традиционному зрелищу совершенно новый смысл: давным-давно окостеневшие образы и несложный сюжет пасторали причудливо переплетаются с темами сегодняшнего дня, интересующими революционно настроенную аудиторию. Джон Рид заканчивает свою книгу о крестьянской революции словами: «Мексика кончает период золотого века драмы и быстрыми шагами движется вперед», желая этим сказать, что революционная Мексика прямо из средневековья бросается в бушующие «волны современной жизни».

Мы назвали эту концовку характерной потому, что она напоминает о патерсоновском «Карнавале» и о том, какое огромное значение придавал Джон Рид литературе и театру, их неразрывной связи с народной жизнью, их способности выразить народные чаяния. Всякая народная революция втягивает в свой бурный водоворот литературу и театр — это излюбленная мысль Рида.

Как известно, Эйзенштейн и Александров в своем фильме о Мексике исходили из книги Джона Рида, и тот, кому удалось познакомиться хотя бы с фрагментами этого, так и не увидевшего свет, фильма, обязательно должен был заметить, что великий советский кинематографист Эйзенштейн воспринял в книге Джона Рида отнюдь не ее экзотическую сторону, а ее народную природу, ее подлинную сущность, что и позволило с такой силой раскрыть в фильме образ Панчо Вильи и показать всесокрушающую силу народного движения. Как мы увидим, это совпадение творческих стремлений Рида и Эйзенштейна повторится еще раз.

3

Находясь в Мексике, Джон Рид не мог забыть об Америке. Она постоянно напоминала о себе той ненавистью, которую питал восставший народ к американским трестам, грабившим и разорявшим страну. Эта тема проходит сквозь всю книгу. Она возникает и в рассказе «Мак американец» (1914), в котором показано, как прочна броня предрассудков, прикрывающая заносчивого американского обывателя, презрительно третирующего мексиканское простонародье. Рассказ показывает пустоту и аморальность спесивого янки.

Вскоре после возвращения из Мексики Джон Рид становится свидетелем нового преступления Уолл-стрита — зверской расправы над горняками Ледлоу в Колорадо. Его восхищает мужественное сопротивление, которое оказали горняки полиции и войскам, направленным для подавления стачки. «Война в Колорадо» (1914) так называется корреспонденция Джона Рида, напечатанная в «Метрополитене».

Начало войны в Европе Джон Рид встречает без всяких колебаний, заявляя, что это «не наша война». С этим убеждением он и отправляется на фронт. В рассказе «Англичанин. Наблюдения специального военного корреспондента» (1914), описывающем интересную встречу во время морского путешествия в Европу, Рид с сарказмом изображает человека, который принимает войну, послушный морали своего класса. Это удивительно глубокий этюд социальной психологии.

Несколько позже появляется в журнале «Мэссиз» один из лучших рассказов Рида «Дочь революции» (1915), навеянный парижскими впечатлениями и повторяющий обычную для Рида тему капиталистического варварства в тонах трагического гротеска. Это грозный рассказ. И то, что свободой Марселлы остается только свобода проституции, и то, что эта дочь французского рабочего решилась растоптать благородные традиции своей семьи (дед ее был расстрелян у стены Пер-Лашез), не только обличает человеконенавистнический строй жизни, порождающий подобные уродства, но и требует возмездия.

Американец, слушающий в кафе «Ротонда» горькую нервическую исповедь Марселлы, не скрывает своих революционных симпатий.

«— Послушайте, Марселла! Разве вы счастливы в этом мире, каков он есть? Что он дает вам, кроме того, что выгоняет вас на улицу, чтобы вы продавали себя?—

Фред поплыл по кипящему потоку пропаганды. — Когда придет великий день, я знаю, на какой стороне баррикад я буду...»

Введение в рассказ такого противопоставления (оно имеет, по-видимому, автобиографический характер) дает возможность показать значение и несокрушимость боевых традиций рабочего класса, от которых отреклась сбившаяся с дороги женщина, подчеркнуть накаленность социальных противоречий. Рид любит резкие тона.

После того как Рид побывал во Франции, в Италии, в Германии, побывал в столицах воюющих государств, в штабах воюющих армий, в траншеях, где умирали солдаты, он возвращается в США, и уже высказанное им отрицательное отношение к войне крепнет: «это не моя война», — повторяет он.

В то время, когда Джон Рид находился еще в Европе, Уолтер Липпман, доктринерство которого Рид высмеивал, выступает в одном из первых номеров журнала «Нью рипаблик» со статьей «Легендарный Джон Рид», в которой пытается уличить смело идущего вперед писателя в поверхностности и легкомыслии.

«Он утверждает, что все капиталисты жирны, лысы и скупы, что Виктор Берджер и социалистическая партия, Самуэль Гомперс и профсоюзы обманывают трудящихся. Он старается уверить нас, что рабочий класс это не горняки, водопроводчики и представители других видов труда, а величественный гигант, который, подобно статуе, возвышается на высокой горе, лицом к солнцу. Он сочиняет рассказы о ночных приключениях и забавах, о женщинах в кимоно. Он разглагольствует с интеллигентской терпимостью о динамите, и кажется, что он может объяснить истинную связь между кубистами и И.Р.М. Он даже прочел несколько страниц Бергсона»*.

Хотя этот выпад и очень огорчил Джона Рида, теперь, в перспективе времени, он свидетельствует лишь о том, что стремительный рост таланта и революционного сознания в творчестве Рида очень напугал «социалистов», подобных Липпману, и что пропасть между Ридом и такими людьми уже образовалась.

Отметим, что к этому времени относится интереснейший замысел Рида написать комедию в духе Шоу, которая должна была бы сатирически изобразить находящихся в тупике американских интеллигентов, не способных определить свое отношение к войне, к бурным событиям современности.

По предложению журнала «Метрополитен» Джон Рид снова отправляется в Европу. На этот раз его интересуют восточные плацдармы войны. Он посещает истерзанную Сербию, Грецию, Турцию, а также Болгарию, Румынию. Без разрешения пробирается на русский фронт, после очень сложных и опасных приключений попадает в Петроград, откуда его выдворяют в США.

Результатом этого путешествия является вторая книга Джона Рида — «Война в Восточной Европе» (1916). В ней нет той цельности, которая отличает «Восставшую Мексику», в ней Риду не удалось показать трагедию народов, брошенных в бойню, и если книга не сложилась как единое целеустремленное произведение, обвиняющее капитализм в чудовищном преступлении, то контуры замысла именно таковы, именно это остается основой ее неосуществившейся композиции.

Это скорее всего материалы к большому произведению, которое могло бы возникнуть, материалы, богатство и многообразие которых нельзя переоценить.

В этой книге много метких характеристик и глубоких наблюдений, о чем говорит хотя бы выдержка из главы, которая называется «Лицо России» и которая интересна тем, что представляет своеобразный переход к великой книге — «Десять дней, которые потрясли мир». В этой главе есть много наивного, но вместе с тем в ней передано ощущение того, что Россия 1915 года, которую он увидел, была уже чревата великими потрясениями. Именно за это и полюбил он так страстно «суровую, великолепную, необъятную, сбивающую с толку, непостижимую для себя самой» страну.

Вот что говорит впервые очутившийся в России американец: «Русская фантазия — самая живая, русская жизнь — самая свободная, русское искусство — самое великолепное, русская еда и питье, на мой вкус, самые лучшие, а сами русские, возможно, самые интересные существа на свете».

Вернувшись в конце 1915 года из своего восточно-европейского путешествия, Джон Рид печатает ряд рассказов — «Ночь на Бродвее», «Капиталист», — в которых он продолжает показывать Америку обездоленных, его внимание по-прежнему привлекают люди на дне большого города, искромсанные человеческие судьбы, жертвы капитализма, вызывающие в нем глубокую симпатию.

То, что в Европе бушует война, не интересует ни старика, торгующего «Брачной газетой» на Бродвее, ни уличную проститутку. Эти люди, выброшенные за борт,— грязная изнанка того самого Бродвея, который с фасада залит ослепляющим огнем реклам. Этот резкий контраст постоянно встречается в рассказах Рида, которые являются последовательно антикапиталистическими произведениями.

Джон Рид имел возможность близко познакомиться с европейской войной, и он резко осуждает эту «войну торгашей» (the traders war), развязанную империалистами к их выгоде. Он выступает против участия Соединенных Штатов в этой войне, против заигрывания своих соотечественников с русским царем. В статьях «Миф об американской тучности», «Милитаризм и игра», напечатанных в «Мэссиз», он клеймит империалистические махинации Уолл-стрита,

* Walter Lippman. "Legendary John Reed", 1914.

прикрываемые всевозможными ханжескими соображениями.

В известной статье Ромена Роллана «Свободные голоса Америки» (1917) «Мифу об американской тучности» уделено большое внимание. Подробно излагая аргументацию автора, который ранее не был ему известен и в котором он угадывает новую силу передовой американской литературы, Роллан сочувственно цитирует особенно понравившиеся ему вещие слова Рида, обращенные к поджигателям войны: «Терпение народа имеет границы. Берегитесь восстаний!»

В этот период Рид пишет и много стихов, в некоторых поэтических произведениях его ясно чувствуется влияние Уитмена. Он выпускает единственный за всю свою короткую жизнь сборничек стихов, своеобразную антологию под названием «Бубен» (1917).

Недолго просуществовавший, но оставивший заметный след в истории американской литературы журнал «Семь искусств» (в нем сотрудничали многие крупные американские писатели и среди них — Уолдо Фрэнк, Ван Вик Брукс, Шервуд Андерсен, Теодор Драйзер, О'Нил, Карл Сэндберг) стремился сплотить прогрессивные силы, и естественно, что Джон Рид тоже участвовал в этом издании. Из двух произведений, которые он хотел напечатать в журнале «Семь искусств», было опубликовано только одно — «Эта непопулярная война».

Предельно сжатый обзор впечатлений, которые автор вынес, побывав на многих фронтах войны, разрастается в грозное обвинение против капитализма, обрекшего народы на страдания и муку. «Для всех наций мира, — включая даже Германию,— эта война непопулярна». Народы ненавидят ее. Очень интересны строки, посвященные России. «Если кто-нибудь думает, что русские массы хотят этой войны, то пусть в эти дни, когда русские массы прервали свое вековое молчание, он приложит ухо к земле — и он услышит гул приближающегося мира» (1917, август).

Осталась неопубликованной интереснейшая автобиография Джона Рида, которой он дал название «Почти тридцать» («Almost Thirty»). В этой исповеди рассказана история его духовных исканий *.

«Мне исполнилось двадцать девять лет, и я чувствую, что окончилась определенная часть моей жизни, окончилась моя молодость. В то же время мне кажется, что окончилась и молодость мира и, конечно, большая война кое-чему нас всех научила. Вместе с тем, это начало новой фазы жизни, и мир, в котором мы живем, так стремительно меняет свои краски и мнения, что я едва сдерживал себя, чтобы не размечтаться о прекрасных и пугающих возможностях грядущего времени».

«Я должен найти самого себя. Некоторые люди, по-видимому, рано нащупывают свою дорогу, растут естественно, изменяясь понемногу. Я не представляю себе, что будет со мной через месяц. Когда я пытался достичь чего-либо, я терпел неудачу, исключительно благодаря тому, что я плыл по течению, но я нашел себя и с радостью погрузился в новую роль. Я сделал открытие, что я счастлив только тогда, когда много работаю и чем-нибудь увлечен...» «Я люблю людей, кроме пресыщенных и самодовольных, и мне интересно все новое и все по старинке красивое, что является делом их рук. Я люблю красоту, успех, перемены, но теперь их происходит меньше во внешнем мире, чем в моем сознании. Кажется, что я всегда был романтиком».

«Я видел и описал несколько стачек, большинство из них были отчаянной борьбой против голой нужды; и все, чему я был свидетель, только подтверждало первоначально усвоенную мною идею классовой борьбы и ее неизбежности. Всем сердцем я хочу, чтобы пролетариат поднялся и захватил свои права, — я не знаю, как иначе он может получить их. Политическая помощь приходит так медленно, а возможности мирного протеста и допускаемых законом действий год от года сокращаются. Но я не уверен, что рабочий класс способен осуществить мирную или какую-либо иную революцию, настолько рабочие разобщены и резко враждебны друг другу, настолько плохо их руководство и так еще слепы они в отношении классовых интересов. Война оказалась страшным разрушителем веры в экономический и политический идеализм. И все же я не могу отказаться от мысли, что из демократии родится новый мир, который будет богаче, лучше, будет красивее существующего. И я не знаю, чем я должен помочь, все еще не знаю. Зато я знаю, что мое благополучие построено на несчастье других людей; я хорошо ем потому, что другие голодают; я одет, тогда как другие полураздетыми бредут зимой по промерзшему городу; и это отравляет меня, нарушает мое спокойствие, заставляет меня писать пропаганду в то время, как я предпочитал бы развлекаться».

Джон Рид говорит о продолжающейся империалистической войне: «Это прекращение жизни и брожение человеческой эволюции. Я жду, жду, пока все это кончится и жизнь возобновится, тогда я найду себе дело».

Эту исповедь Джона Рида нельзя читать без глубокого волнения. Ее искренность предельна, и благодаря этому она так полно и так глубоко отражает путь духовных исканий молодого человека, задумывающегося над целью своей жизни. Мы видим, как постепенно совершается его разрыв с прошлым, с той буржуазной средой, из которой он вышел, как перед ним постепенно раскрывалось ханжеское двуличие американской цивилизации, которое он так настойчиво выставлял напоказ в своих рас-

* Только в 1936 году этот замечательный документ был напечатан полностью в «Нью рипаблик» (15 и 29 апреля).

сказах. Автобиография «Почти тридцать» свидетельствовала о том, что Рид уже тогда был близок к рабочему классу и уже тогда не страшился революционных взглядов. Он уже накопил огромный социальный опыт, который помогал ему ориентироваться в сложной действительности.

Таков был Рид накануне своей поездки в революционную Россию.

4

Он прибыл в Петроград в сентябре 1917 года и сразу же окунулся в бурное море событий. Он приехал как корреспондент американских прогрессивных изданий, но у него был замысел книги, к осуществлению которого он был уже подготовлен двумя предшествовавшими частями большой социальной эпопеи, в особенности книгой о Мексике.

В одном из писем к художнику Робинзону, с которым они вместе были на фронте и который замечательно иллюстрировал его книгу «Война в Восточной Европе», он пишет о впечатлении, произведенном революционной Россией: «Мы находимся в центре событий, и, поверь мне, это потрясает. Так много драматического предстоит описать, что я не знаю, с чего начать. По силе цвета, по ужасающему величию это заставляет побледнеть Мексику».

Исполненный доверия к революционным классам России, убежденный в том, что их борьба поведет к «установлению нового человеческого общества во всем мире», Рид сразу же постигает логику совершающихся перед его глазами событий. Несмотря на свое плохое знание русского языка, несмотря на то, что он попал в водоворот поистине ошеломляющих событий («возможно, что пролетариат в конце концов потеряет терпение и восстанет; возможно, что генералы выступят с огнем и мечом»), он без особых колебаний приходит к выводу, что власть Керенского обречена и что будущее за большевиками. Их сила, пишет он, «восходит, как солнце».

Он аккуратно выполняет свои обязанности корреспондента, и журнал «Мэссиз» начинает печатать серию его статей, которым он сам дал название «Восстание пролетариата», а редакция журнала, которому к тому времени пришлось переменить название и превратиться в «Либерейтор», напечатала первую корреспонденцию под заголовком «Красная Россия — триумф большевиков».

Как он сам говорит в предисловии к книге «Десять дней, которые потрясли мир», Джон Рид не был пассивным наблюдателем событий. Вот почему «установление истины», которое он ставил своей целью, вылилось не в хронику, а в цельное эпическое произведение. Он показал величие социалистической революции так искренне, глубоко, полно, ибо он был всем сердцем с массами, осуществившими ее.

После того как совершилась Октябрьская революция, Джон Рид, естественно, стал очень близким новой России человеком. Он принимал участие в первых пропагандистских советских изданиях для зарубежного читателя, и эта его работа, сливавшаяся с первыми шагами советской литературы, должна быть тщательно изучена. Так, исключительный интерес представляют небольшие, но очень броские тексты, которые помещались в еженедельном иллюстрированном приложении к газете «Факел», выходившей на немецком языке. Оно называлось «Die Russische Revolution in Bildern» («Русская революция в картинах»). Это было первоначальным и очень скромным вариантом того, что впоследствии вылилось в такое важное явление советской литературы, как «Окна РОСТА».

Приведем некоторые примеры, которые можно найти в монографии Грэнвила Хикса «Джон Рид. Становление революционера»*. В этой книге сосредоточен большой и очень важный материал, поскольку автор имел возможность пользоваться архивом Луизы Брайант, вдовы Рида. Джон Стюарт, в сотрудничестве с которым была написана эта монография, и теперь продолжает заниматься изучением и пропагандой творчества Рида. Представляет большой интерес обширное введение к составленной им антологии «Воспитание Джона Рида»**.

Под фотографией, изображающей членов Революционного трибунала, был помещен текст: «Эта группа — в ней четыре рабочих и три солдата — представляет в настоящее время Верховный Суд Российской республики. Большинство из них насчитывает долгие годы тюрьмы за революционную деятельность. Теперь эти рабочие и солдаты стали судьями тех, кто ранее притеснял народ».

Многократно помещались вместе с соответствующими агитационными текстами фотографии, изображающие солдат и моряков на уличных баррикадах и в момент празднования победы. Фотография, изображающая рабочего, срывающего императорские орлы с фронтона здания, сопровождалась надписью: «Вот как легко сбросить самодержавие! Самодержавие — ничто, как только солдаты выходят из слепого повиновения».

Под фотографией, изображающей солдат в Зимнем, давался текст: «Здесь вы можете видеть, как в России рабочие и солдаты, чьим потом и трудом воздвигнут этот дворец, чья кровь была пролита за него, впервые чувствуют себя здесь как дома».

Трудно переоценить значение этих первых проявлений советской литературы, которые принадлежат перу американского писателя, породнившегося и с советским народом, и с советской литературой в великие дни Октябрьской революции.

Работу над книгой Джон Рид ведет

* Granville Hicks. "John Reed. The Making of a Revolutionary", 1936.

** "The Education of John Reed. Selected Writings". 1955.

неустанно и в России, и во время затянувшейся остановки в Скандинавии по пути на родину. В частности, он пишет предисловие к будущей книге, которое не вошло в ее окончательный текст и сохранилось только в архивах. Оно многозначительно уже по одному тому, что свидетельствует, какое значение придавал Рид убедительному раскрытию «идей, которые овладевают русскими массами». Неодолимое движение масс, поднявшихся до революционной сознательности, он стремился уловить и показать в своей книге. Здесь ключ к ней.

Подчеркивая, что «в России все атрибуты буржуазно-демократического государства заменены новой идеологией», Рид делает важные и глубокие наблюдения и выводы: «это — патриотизм, но и верность интернациональному братству рабочего класса: это долг, и люди с радостью умирают во имя его, но долг революционный; это честь, но новый вид чести, основанный на человеческом достоинстве и счастье, а не чудовищная честь аристократии крови и денег, выражающаяся в правилах, рассчитанных на «джентльменов»; это дисциплина, революционная дисциплина, как я надеюсь показать на этих страницах; и русские массы сами показали, что они способны не только руководить собой, но и открыть новую всеобъемлющую форму цивилизации»*.

Характерно, что в этот период горячей работы над книгой, которую Джон Рид считал делом своей жизни, он пишет много стихов, посвященных его родине, которую он так хорошо, так глубоко знал. В частности, он работает над поэмой «Америка 1918», которая так и осталась неоконченной. Это превосходное, чисто уитменовское по духу произведение увидело свет только в 1935 году (журнал «New Masses»). «Моя разлюбленная, разлюбленная, разлюбленная»,— говорил Рид об Америке и жил уверенностью, что начавшаяся мировая революция захватит и Америку и разрушит этот последний оплот капиталистического рабства.

В конце апреля 1918 года Джон Рид возвращается на родину. Его задерживает полиция, у него конфискуют рукопись и уникальную коллекцию материалов, на которых базируется вся его книга. Из-под ареста ему удастся освободиться, но работа над книгой задержана тем, что он лишен необходимых ему материалов.

В отчаянье он пишет Линкольну Стеффенсу: «Я до сих пор не имею возможности написать ни одного слова для величайшей в моей жизни повести и одной из величайших во всем мире. Я заперт. Может быть, Вы знаете что-нибудь относительно того, когда мои бумаги будут возвращены. Если я не получу их в ближайшее время, будет поздно, Мак-Миллан не издаст книгу.

Недавно я был арестован в Филадельфии за попытку произнести речь на улице, и в сентябре меня будут судить по обвинению в «побуждении к бунту, побуждении к грабежу, разбою и побуждении к мятежным суждениям» (9 июня 1918).

Уже это письмо показывает, что в Америке Джон Рид попадает сразу в накаленную политическую обстановку. Страна бурлила: митинги, массовые рабочие собрания, на которых симпатии к революционной России проявляются с великой силой, прокатываются по всей стране. Нередко по нескольку раз в день Джон Рид выступает на этих собраниях. Его имя приобретает популярность, которая все ширится. Особенное значение имеют выступления Рида против интервенции, которую начала империалистическая Америка, стремясь удушить советскую революцию.

Арестами, тяжелыми штрафами реакция старается принудить его к молчанию. Но разве можно укротить бурю! «Если у нас сажают в тюрьму людей, которые протестуют против интервенции в России и защищают республику рабочих в России, я буду счастлив и горд тем, что буду привлечен к суду». Джон Рид клеймит сибирский набег американских войск, называя его «настоящей разбойничьей авантюрой», он разоблачает как преступление высадку американских войск в Архангельске.

Как известно, интервенция вызвала возмущение широких масс в Америке, что нашло живой отклик и в литературе. Назовем хотя бы нашумевший роман Эптона Синклера «Джимми Хиггинс» (1919), в котором интервенция американских войск на севере России была осуждена. Автор убедительно показал, что это преступление империалистов в одинаковой мере является преступлением против русского и против американского народов. «Джимми Хиггинс» принадлежит к самым значительным произведениям Э. Синклера, не часто достигающего в своем творчестве такой силы и глубины. Его подняла так высоко волна народного возмущения.

Что же касается Джона Рида, то он все время находится в самой середине этого разбушевавшегося моря.

Когда прекратилась первая мировая война, Рид выразил создавшееся положение в сжатой формуле: «Вот теперь кончилась война, но другая война началась, и на этот раз война между двумя идеологиями». Он выступает как пламенный защитник социализма, проповедник социалистического пути для Америки, как друг Советской России.

Он разъясняет колебавшемуся Эптону Синклеру, что ни один социалист не может «сомневаться в спаянности большинства советских лидеров, в великолепии большевистской мечты и в возможности ее практического осуществления». Он ссылается на то, что был свидетелем Октябрьской революции. «И я не мечтал, я изучал и я исследовал...»

Он постоянно связывает в своих выступлениях судьбы русской революции и судьбы революционного движения в Америке.

* Цит. по книге Гренвилл Хикса.

Как художник, он находит для раскрытия этой связи незабываемые образы и слова.

В статье «Социалистическая революция под судом» («Либерейтор», сентябрь 1918 года), которая по достоинству может быть названа образцом революционной публицистики, он описывает большой судебный процесс Индустриальных рабочих мира в Чикаго. Он разоблачает инсценировку суда над передовыми рабочими и фальшивость буржуазной демократии, которая кичится своими «свободами», а на деле прикрывает безграничную «власть денег, подчинивших себе цивилизацию». Статью пронизывает превосходно переданный контраст между судьей Лэндисом, всем своим видом олицетворяющим смерть и тление, и подсудимыми — великолепной когортой людей, которым принадлежит будущее. «Что касается подсудимых, то я сомневаюсь, было ли в истории Америки подобное зрелище. Сто один человек — лесорубы, батраки, горняки, редакторы газет. Сто один человек, убежденные в том, что богатства мира принадлежат тем, кто их производит».

Великолепно появление подсудимых в зале. «Вот идет большой Билль Хейвуд, в своей черной фетровой шляпе, закрывающей лицо, напоминающее обветренную скалу; Ральф Чаплин, похожий на Джека Лондона в молодости, Редди Дорен с добродушным и энергичным лицом, с копной ярко-красных волос, падающих на зеленый козырек, который он всегда носит; Гаррисон Джордж, чей лоб изборожден глубокими морщинами...» И так далее. Целая портретная галерея лучших представителей американского народа.

«Трудно было бы собрать в Америке сто одного человека, которые более достойно олицетворяли бы социальную революцию. Все, побывавшие в этом зале, говорят: «Это скорее съезд, чем процесс».

И, наконец, совершенно неожиданная, освещающая всю картину светом грозной молнии концовка:

«Мне, только что приехавшему из России, сцена показалась странно знакомой. Я долго вспоминал, где я уже видел все это. И внезапно меня осенило.

Процесс Индустриальных рабочих мира в федеральном суде в Чикаго вызвал в моей памяти заседание Всероссийского Центрального исполнительного комитета рабочих депутатов в Петрограде. И я никак не мог привыкнуть к мысли, что этих людей судят. Они держали себя независимо, не заискивая, — они были уверены в себе, решительны, мудры... как большевистский Революционный трибунал.

И на мгновение мне показалось, что я вижу Центральный комитет советов Америки, который судит судью Лэндиса за... ну, скажем, за контрреволюцию».

Вот как писал Джон Рид.

Он становится во главе журнала «Революционный Век», в котором теперь печатается большинство его статей. Сенатская комиссия требует его к ответу, и на вопрос сенатора Юма, призывал ли он в своих выступлениях совершать в США революцию, подобную русской революции, он без колебания отвечает: «Да, я постоянно призываю к революции в Соединенных Штатах».

Реакция ведет бешеную травлю Джона Рида. Выходят газеты с призывом к расправе над писателем-революционером. В одной из них появляется крупный заголовок: «Человек, по которому соскучилась виселица»*.

Буржуазная Америка круто изменила свое отношение к писателю, которого еще недавно называли надеждой и гордостью американской литературы, которому предсказывали самое блестящее будущее.

В конце концов документы были Джону Риду возвращены, он смог закончить свою книгу, и она появилась в свет 19 марта 1919 года, получив свое крылатое заглавие «Десять дней, которые потрясли мир». Началось ее триумфальное шествие по всему миру.

5

«Прочитав с громаднейшим интересом и неослабевающим вниманием книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», я от всей души рекомендую это сочинение рабочим всех стран». Так писал в 1920 году Ленин в предисловии к американскому изданию. Он подчеркивал, что книга Джона Рида «дает правдивое и необыкновенно живо написанное изображение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата»**.

Эта оценка выделяет художественные достоинства книги и ее идейную глубину, обе стороны эти соединяются в ее подлинной эпичности. Эта книга могла стать эпосом, — что подчеркивала в свое время Н. К. Крупская в своем предисловии к первому русскому изданию,— благодаря тому, что в ее основе лежит понимание великого исторического смысла событий, проносившихся перед взглядом Рида. Он был подготовлен всей своей жизнью, всем опытом своего творчества к тому, чтобы понять, ощутить народность советской революции, он понял также и то, что Октябрьская революция имела всемирно-историческое значение.

В основу книги положены простые, предельно простые контрасты действительности: буржуазное Временное правительство и партия большевиков, борющаяся за победу социализма; Зимний дворец и Смольный; Петроградская Городская Дума и Военно-Революционный Комитет. Это была сама историческая действительность. Сама

* Эптон Синклер рассказывает в «Искусстве Маммоны», как неистовствовала реакционная американская печать при одном только упоминании имени Джона Рида.

** В США предисловие Ленина было опубликовано лишь в издании 1926 года. Печатается в русских изданиях книги Джона Рида, включая издание 1957 года.

жизнь вылилась в эти контрасты, и они раскрываются у Джона Рида так естественно, с такой полнотой реализма, что перед нами не только вырисовывается обстановка, в которой совершались великие события народной жизни, но и обнажен смысл их. Эти контрасты ведут нас в глубь событий, и то, что они настойчиво, упорно, на каждом важном повороте повторяются, означает предельную напряженность борьбы, полную антагонистичность противоречий, революционность сложившейся ситуации. Не существует никаких возможностей компромисса, произошла поляризация социальных сил, исключающая какую-либо третью возможность.

Джон Рид приехал в Россию, которая вынашивала социалистическую революцию, не как сторонний наблюдатель. Сердце его было с народом. Он отождествлял себя с революцией целиком и полностью. И потому именно, что он был подлинный художник, он дает отнюдь не одностороннюю картину событий, его взор охватывает всю сложность действительности. Его убежденность в том, что народ прав, его страстная симпатия к лагерю социалистической революции позволяет ему так прозорливо показать лагерь врагов, который живет, борется с лихорадочным напряжением всех своих сил, в котором сосредоточена грозная опасность.

Контрасты книги — глубоко реалистические контрасты, в них выражена вся напряженность происходящего столкновения социальных сил. Это борьба не на жизнь, а на смерть.

Проникновенно и восхищенно показан титанический труд народа, усилиями которого была совершена социалистическая революция, труд масс и труд руководителей, труд, сочетающийся с невиданными дерзаниями, смелостью, самозабвением.

Книга Джона Рида — это безграничное море лиц, событий, случаев, документов. И вместе с тем это необычайно цельное и целеустремленное произведение, в котором великие исторические события находят художественное отражение, выливаясь в образы эпического характера. Эти образы становятся открытиями, мимо которых уже никто не может пройти, обращаясь к задаче изобразить Октябрьскую революцию. Характерно, что Эйзенштейн и Александров в постановке фильма «Октябрь» исходили из книги Джона Рида, и великолепно воплощенный контраст Смольный — Зимний в этом кинематографическом произведении играет важнейшую роль.

Конечно, книга Джона Рида не является историей Октябрьского переворота. В ней есть только то, что видел и чувствовал художник, в ней нет многого, что он не мог увидеть и почувствовать и что было бы обязательно для историка. Но, как художник, он увидел и почувствовал то, без чего нельзя создать соответствующее правде представление о таком событии, — народ в движении, в борьбе, в победе. И это делает книгу Джона Рида такой потрясающей, такой увлекательной для каждого честного человека на земле.

В этой книге совершенно отсутствует цветистость, отличающая первую книгу Рида, но зато есть безукоризненная точность*, еще более совершенная простота и благородная сдержанность; пафос этой книги заключен в великолепно угаданной логике победы масс, в могучей логике неизбежного нарастания сил революции, в торжестве великих идей, воодушевляющих массы.

В книге множество лиц, и, хотя они очерчены несколькими словами, мы их помним. Эти мгновенно зафиксированные портреты представляют исключительно интересную особенность книги.

Возьмем для примера несколько портретов из галереи противников революции. Все они сатирически окрашены, что только углубляет их ярко выраженную характерность.

«Высокий, безукоризненно одетый и выбритый молодой человек с выдающимися скулами тихим голосом читал свою заботливо составленную и ни к чему не обязывающую речь. Ничего...». Это Терещенко.

«В коридоре мне встретился профессор Шацкий, очень влиятельный в кадетских кругах господин, с крысиной физиономией, в изящном сюртуке».

«Затем слово взял длиннолицый, злоязычный Либер».

«Дан, бесцветный человек с дряблым лицом, в мешковатом мундире военного врача, позвонил в колокольчик».

«Прокопович влез на какой-то ящик и, размахивая зонтиком, стал произносить речь».

А вот, что называется, групповой портрет, в котором проявляется все та же сокрушительная меткость:

«Наверху, в Александровском зале, заседал Комитет спасения. Здесь были видны золотые с красным офицерские погоны, знакомые лица интеллигентов из меньшевиков и эсеров, жесткие глаза и безвкусно шикарные костюмы банкиров и дипломатов; попадались старорежимные чиновники и изящно одетые женщины...

Давали показания телефонистки. Одна за другой появлялись на трибуне крикливо одетые девушки, подражавшие светским манерам, но с истощенными лицами и в стоптанных ботинках... Они краснели от удовольствия при звуках аплодисментов «изящной» петроградской публики — офицеров, богачей, известных политических деятелей; одна за другой рассказывали они о своих страданиях в руках пролетариата и клялись в своей верности всему старому, твердо установленному и могущественному...»

Мы должны обратить внимание на то, что все дается в движении, в действии, и

* Сопоставление этих двух произведений Рида напрашивается само собой: в предисловии Джона Стюарта к «Воспитанию Джона Рида» различие в отношении Рида к революции в Мексике и Октябрьской революции в России определяется как «различие между глубокой симпатией и прямым участием».

это составляет характерную особенность книги. На последнем примере видно, как естественно социально-психологическая характеристика действующих лиц переходит в само действие. Сбитые с толку телефонистки, выступающие перед аудиторией богатых, это уже кусок социальной драмы, и очень выразительный.

А вот люди из лагеря революции.

«Проходили: Подвойский, худой, бородатый штатский человек, в мозгу которого созревали оперативные планы восстания; Антонов, небритый, в грязном воротничке, шатающийся от бессонницы; Крыленко, коренастый, широколицый солдат с постоянной улыбкой, оживленной жестикуляцией и резкой речью; Дыбенко, огромный бородатый матрос со спокойным лицом. Таковы были люди этой битвы за власть Советов и грядущих битв».

Как видим, героическое является здесь в самом простом, жестоко обыкновенном. Ничего показного. Полное отсутствие позы, экзальтированности и очень большая внутренняя сила. Неотвратимо нарастающую энергию революции Рид все время воспроизводит такими чертами и достигает подлинной эпичности художественного изображения. Великолепный портрет Ленина написан в этом же духе:

«Было ровно 8 часов 40 минут, когда громовая волна приветственных кликов и рукоплесканий возвестила появление членов президиума и Ленина — великого Ленина среди них. Невысокая коренастая фигура с большой, лысой и выпуклой, крепко посаженной головой. Маленькие глаза, крупный нос, широкий благородный рот, массивный подбородок, бритый, уже с проступающей бородкой, столь известной в прошлом и будущем. Потертый костюм, несколько не по росту длинные брюки. Ничего, что напоминало бы кумира толпы; простой, любимый, уважаемый так, как, быть может, любили и уважали лишь немногих вождей в истории. Необыкновенный народный вождь, вождь исключительно благодаря своему интеллекту, чуждый какой бы то ни было рисовки, не поддающийся настроениям, твердый, непреклонный, без эффектных пристрастий, но обладающий могучим умением раскрыть сложнейшие идеи в самых простых словах и дать глубокий анализ конкретной обстановки, при сочетании проницательности, гибкости и дерзновенной смелости ума».

За этим следует описание начала исторического заседания, а потом снова Ленин, его первое выступление:

«Но вот на трибуне Ленин. Он стоял, держась за края трибуны, обводя прищуренными глазами массу делегатов, и ждал, по-видимому не замечая нараставшую овацию, длившуюся несколько минут. Когда она стихла, он коротко и просто сказал:

«— Теперь пора приступать к строительству социалистического порядка!»

Новый потрясающий грохот человеческой бури.

«— Первым нашим делом должны быть практические шаги к осуществлению мира... Мы должны предложить народам всех воюющих стран мир на основе советских условий; без аннексий, без контрибуций, на основе свободного самоопределения народностей. Одновременно с этим мы, согласно нашему обещанию, обязаны опубликовать тайные договоры и отказаться от их соблюдения... Вопрос о войне и мире настолько ясен, что, кажется, я могу без всяких предисловий огласить проект воззвания к народам всех воюющих стран...»

«Ленин говорил, широко открывая рот и как будто улыбаясь; голос его был с хрипотцой — не неприятной, а словно бы приобретенной многолетней привычкой к выступлениям, — и звучал так ровно, что казалось, он мог бы звучать без конца... Желая подчеркнуть свою мысль, Ленин слегка наклонялся вперед. Никакой жестикуляции. Тысячи простых лиц напряженно смотрели на него, исполненные обожания».

«От его слов веяло спокойствием и силой, глубоко проникавшими в людские души. Было совершенно ясно, почему народ всегда верил тому, что говорит Ленин».

Мы ощущаем, насколько Ленин неотделим от могучего движения масс, мы видим, что сила этих масс воплощена в его гении, что благодаря этому единству, слитности, неразделимости и победила революция. Вот почему две сцены из книги Джона Рида — Ленин на трибуне II съезда Советов и на Крестьянском съезде — являются вершиной всей эпопеи.

Подлинно эпическим является финал книги, изображающий народную демонстрацию, которой завершился Крестьянский съезд, поддержавший в конце концов позицию большевиков, демонстрацию единства рабочего класса и крестьянства, демонстрацию единства советского народа, демонстрацию непобедимого величия. Это сцена такой силы, что очень продуманно построенное и очень органично развивающееся повествование завершается без какой-либо заключительной фразы, абзаца или картины. И в самом деле, это могло быть лишним. Автор не подводит последней черты. Пафос этих страниц, запечатлевших присоединение к рабочим, которые совершили великий переворот, крестьян, еще недавно настороженных против большевистской революции и только теперь понявших ее великий смысл, так захватывает и потрясает, что действительно уже нельзя прибавить ни одного слова.

К книге «Десять дней, которые потрясли мир» надо относиться как к историческому повествованию, описывающему события по их горячему следу. В этом неповторимая прелесть книги, но именно поэтому не могли не утратить соответствия с дальнейшим ходом событий некоторые ее детали. В качестве действующих лиц социалистической революции мы встречаем здесь людей, которые впоследствии сделались ее яростными врагами. Современный читатель сразу обнаруживает этот диссонанс некоторых, правда очень немногих, страниц книги с современностью. Джон Рид в силу объективных условий, в которых ему приходилось

собирать материал для своей книги, не мог с необходимой достоверностью изучить деятельность большевистских партийных центров в период подготовки восстания и во время восстания, так как она протекала подпольно вплоть до победы восстания. Это не могло не сказаться на освещении некоторых фактов в книге Рида. В особенности это касается капитулянтской позиции Троцкого, которую не мог распознать тогда Рид. Но сила книги «Десять дней, которые потрясли мир» в великой правде целого, в глубокой ее народности, в понимании роли Ленина в социалистической революции. Это и делает книгу Джона Рида неувядающим эпосом великого времени.

* * *

Книга Джона Рида помогла развитию революционного движения в Америке. Автор «Десяти дней» становится одним из создателей Коммунистической партии США. В связи с некоторыми важными вопросами коммунистического движения ему приходится предпринять новое путешествие в Россию. Преодолев неимоверные трудности, он достигает своей цели. Он снова в Петрограде, в Москве, у Ленина, который относился к нему с большой симпатией.

Джон Рид принимает участие в подготовке и проведении II конгресса Коммунистического Интернационала. Он видит массовые празднества в честь открытия конгресса в Петрограде, что напоминает ему его собственный опыт патерсоновского «Карнавала». Он принимает участие в знаменитом съезде народов Востока, состоявшемся летом 1920 года в Баку.

Вскоре после возвращения в Москву тяжелая болезнь сводит Джона Рида в могилу. Его с почестями похоронили у Кремлевской стены.

Его революционное творчество оказало огромное влияние на всемирную литературу, помогло многим писателям во всех странах мира найти себя, подобно тому как когда-то нашел себя сам Джон Рид, и стать на сторону своего народа. Трудно переоценить значение той революционной традиции, которая заключена в творчестве Джона Рида и которая остается вечно живой и вечно плодотворной традицией, получающей все более и более широкое развитие в прогрессивной литературе нашего времени.

Пришло время глубокого и всестороннего изучения творческого наследия Джона Рида, и особенно его последней книги, в перспективе социалистического реализма, к основоположникам которого в Америке принадлежит этот замечательный писатель. Его смелые творческие искания и сделанные им художественные открытия имеют значение не только для настоящего и будущего американской литературы, но и для всех литератур, избирающих социалистический путь.

Ф. Наркирьер

Коммунизм — это юность мира

(К двадцатилетию со дня смерти Поля Вайяна-Кутюрье)

Когда над Францией опустилась ночь фашистской оккупации, когда ее правители, предавшие французский народ, готовы были возвести отступничество в ранг национальных добродетелей,— над поруганной страной прозвучали строгие и чистые голоса людей, оставшихся верными своему народу. За решеткой камеры, в ночь перед расстрелом, член Центрального Комитета Французской Коммунистической партии Габриэль Пери писал:

«Этой ночью я долго думал о том, как правильно мой дорогой Поль Вайян-Кутюрье говорил, что коммунизм — это юность мира, что коммунизм подготавливает поющий завтрашний день. И вот я умру, чтобы подготовить этот поющий завтрашний день».

Крылатые слова «коммунизм — это юность мира» звучат как девиз. Эти слова выражают цель и смысл жизни Поля Вайяна-Кутюрье. Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза видел в нем «одного из выдающихся деятелей коммунистического движения Франции», «активного борца за дело Народного фронта во Франции, за дело коммунизма» *.

Декабрь 1920 года. В городе Туре собрался съезд французских социалистов. На трибуне — один из самых молодых делегатов — Поль Вайян-Кутюрье. Отброшенные назад волосы открывают высокий лоб мыслителя. Во всем его облике — неповторимое сочетание интеллектуальной одухотворенности и большой силы.

Вайян-Кутюрье оглашает манифест, который он написал от имени коммунистического большинства съезда:

«Да будет наша партия великой! Да будет наша партия сильной и дисциплинированной, авторитетной не только для своих рядовых членов, но и для руководителей! Вступив в Интернационал, возрожденный под сенью первой великой социальной революции, да будет наша партия достойна своего прошлого, достойна Бабефа, достойна героев июня 1848 года, достойна Парижской Коммуны, достойна Жореса, достойна славного будущего, которое открывается перед нами!»

Вайян-Кутюрье по праву считается одним из основателей Французской Коммунистической партии.

К коммунизму Вайян-Кутюрье пришел сквозь огонь первой мировой войны. Он мерз в окопах, ходил в атаку, командовал танком; был несколько раз ранен. Фронт превратил мятущегося юношу в революционера; начинающего поэта, влюбленного в родную природу,— в зрелого писателя, запечатлевшего в своих произведениях жестокую окопную правду.

Вместе со своим другом, отважным революционером Раймоном Лефевром, Вайян-Кутюрье написал книгу рассказов «Солдатская война». Читатель идет узкими ходами траншей, слышит стоны раненых, проклятья умирающих; он становится свидетелем того, как в окопах растет глухое недовольство войной, прорывающееся то в запрещенной песне, то в оскорблении офицера, то в прямом отказе участвовать в «несправедливой войне». «Солдатская война» — одна из лучших во Франции книг о первой мировой войне, книг, отразивших рост революционного сознания народных масс.

Война сделала Вайяна-Кутюрье борцом за дело мира. Его деятельность коммуниста неразрывно связана с борьбой против опасности войны, проходящей красной нитью через всю историю ФКП. Вайян-Кутюрье страстно обличал поджигателей войны. В 1935 году, когда чернорубашечники напали на Абиссинию, он предупреждал:

«Если сегодня мы позволим Муссолини издеваться над совестью человечества, то завтра ничто не помешает Гитлеру напасть на Литву, на Австрию, на Чехословакию, на Эльзас, на Францию. Необходимо, чтобы все люди доброй воли, чтобы все те, у кого еще не зажили старые раны, чтобы молодежь, матери и жены выступили в едином строю для обуздания агрессора».

Расцвет общественной и литературной деятельности Вайяна-Кутюрье приходится на тридцатые годы. Главный редактор «Юманите», он день за днем выступает на страни-

* «Правда», 15 октября 1937 года.

цах газеты со статьями, путевыми очерками, фельетонами, стихотворениями. «Юманите» — живая летопись творчества Вайяна-Кутюрье. Невозможно провести грань между его публицистикой и художественной прозой; в своем нерасторжимом единстве его творчество было подчинено задаче борьбы против войны и фашизма.

Андре Вюрмсер метко заметил, что Вайян-Кутюрье любил все молодое — от детей до Советского Союза. Тема юности занимает важное место в его творчестве тридцатых годов. Вайян-Кутюрье создает в то время свое наиболее значительное произведение — автобиографическую повесть «Детство». Тонкая, как бы написанная пастелью книга напоена чистым горным воздухом, в ней отражается безоблачное южное небо; вместе с отважным юным охотником вы карабкаетесь по отвесной скале в погоне за серной или знойным июльским днем ловите в прозрачной воде форель. Но книга Вайяна-Кутюрье — не только поэтический рассказ о детских годах Поля. Создавая типический образ французского юноши, выходца из буржуазной семьи, Вайян-Кутюрье показал начало важного исторического процесса — перехода лучшей части буржуазной интеллигенции на сторону рабочего класса. Книга о детских годах писателя оказалась созвучной настроениям тех кругов французской интеллигенции, которые в тридцатые годы решительно отвернулись от мира корысти и наживы.

Вайяна-Кутюрье волновала участь французской молодежи, обреченной на голод, нищету, безработицу. Но его книга «Несчастье быть молодым», почти целиком состоящая из писем юношей и девушек, лишенных молодости, глубоко оптимистична.

В песне «Юность», написанной в год смерти Вайяна-Кутюрье, мы читаем слова, которые вдохновляли Габриэля Пери:

Мы — юность. Все у нас —
в грядущем.
Мы штурмом небеса возьмем!
Друг другу руки мы сожмем
В порыве братском, всемогущем.
Мы защитим свой хлеб, свой дом,
День завтрашний мы создаем
поющий.
(Пер. В. Дмитриева).

В тридцатые годы, перед лицом фашистской угрозы, Вайян-Кутюрье, генеральный секретарь Ассоциации революционных писателей и художников, неустанно борется за объединение интеллигенции на позициях рабочего класса. Он поддержал историческое обращение Горького «С кем вы, «мастера культуры»?». В статье «С кем вы, художники и писатели?» Вайян-Кутюрье по-горьковски ставит вопрос о необходимости выбора. Для борьбы с фашизмом, писал Вайян-Кутюрье, нужно современное вооружение. «Это вооружение дает ленинизм и только он один. Ленинизм спрашивает: «С каким вы классом?» Он требует, чтобы вы сделали свой выбор, как его сделал в 1871 году такой поэт, как Рембо, такой ученый, как Флуранс, такой художник, как Курбе, которые стали на сторону Парижской Коммуны».

Успехи прогрессивной французской литературы тридцатых годов во многом обусловлены поворотом писателей к изображению реальных конфликтов современной действительности. Подобно Арагону, требовавшему «возврата к реальности», Вайян-Кутюрье призывал литераторов, собравшихся на Второй Международный конгресс писателей в защиту культуры: «Так будьте же писателями, страстно любящими жизнь, насыщайтесь ее здоровой силой; будьте певцами юности, сеятелями истины и мира во всем мире».

Французских писателей вдохновляли лучшие образцы советской литературы, перед ними стоял живой пример Максима Горького. Для Вайяна-Кутюрье Горький был «олицетворением вышедшего из рядов пролетариата писателя нового типа, для которого писать значит сражаться».

Прогрессивные французские писатели увидели в социалистическом реализме закономерный итог своих собственных исканий, направленных к определению художественного метода революционной литературы; они воспринимали его в органической связи с национальными французскими традициями. «Социалистический реализм, — писал Вайян-Кутюрье, — открывает сияющий путь свободной и умной литературе, полезной в лучшем значении этого слова. С учетом его специфики, как метода советской литературы, социалистический реализм подает пример, указывает выход». Он видел в социалистическом реализме «литературу молодости, с грудью, широко открытой животворному дыханию нового мира».

В своих эстетических воззрениях Вайян-Кутюрье опирался на ленинский принцип партийности литературы. Разрабатывая вопрос о роли прогрессивной французской литературы, он выступал против объективизма и утверждал, что революционный писатель обязан понять историческую миссию пролетариата и присоединиться к его требованиям. В предисловии к французскому изданию «Чапаева» Вайян-Кутюрье выдвинул в качестве одного из критериев демократической литературы общественную полезность произведения. «Какие цели преследовал Фурманов, создавая свою книгу? Самые высокие и самые образцовые: быть полезным своему классу, который он теперь защищает пером после того, как защищал его политическими выступлениями и ружейными выстрелами по казакам».

Патриот и интернационалист, Вайян-Кутюрье был другом СССР. Он сразу же осознал величие Октябрьской революции, открывшей невиданные перспективы перед трудящимися всего мира. «Французский пролетариат, — писал в 1921 году Вайян-Кутюрье в газете «Правда», — полон уверенности в победе и благодарности и энтузиазма по отношению к русским товарищам». Вместе с лучшими умами Франции — Анатолем Франсом, Роменом Ролланом, Анри Барбюсом он участвует в широкой кампании протеста против военной интервенции в Советской России. В ритмических строфах сборника стихотворений «Красные поезда» Вайян-Кутюрье славит Октябрьскую революцию, призывает своих соотечественников

идти по пути русских братьев. Его стих бичует интервентов:

Вы, рукоплещущие бойне,
Я презираю вас!

Вы пили кровь,
Вы утоляли жажду
Красноармейцев алой кровью.
Вы пили слезы,
Упивались горем
Несчастных матерей из Киева,
Екатеринослава.
Вы ели жадно,
Словно людоеды,
Тела повешенных,
расстрелянных бойцов.

(Пер. В. Дмитриева).

Вайян-Кутюрье впервые приехал в нашу страну в 1921 году в качестве делегата III конгресса Коминтерна. На конгрессе Вайян увидел Владимира Ильича Ленина, слушал его выступления. Писатель передает неповторимую ленинскую манеру говорить, его скупой, выразительный жест, силу ораторского искусства; он запечатлел внешний облик Ильича, сменяющиеся на его лице выражения «удивительной молодости и усталости человека, который несет на своих плечах новый мир».

Вайян-Кутюрье встречался с Лениным и на заседаниях французской секции Коминтерна. Они беседовали о крестьянстве, о французской революции XVIII века, о Парижской Коммуне, о тактике французских коммунистов. Вспоминая впоследствии о встречах с Лениным, Вайян-Кутюрье писал: «Человек, который потрясал мир, человек, который преломил в своем сознании все, что было пережито человечеством, сохранил до конца своей жизни поразительную способность чувствовать и думать, как китайский кули или негритянский грузчик. Для того, кто понимал ленинградского металлиста, парижского текстильщика, горняка из новой Виргинии,—сердце угнетенного аннамита и индуса было открытой книгой. Ленин в совершенстве воплощал тип нового человека; для нас он был прообразом будущего».

Из своей поездки Вайян-Кутюрье привез серию очерков «У русских крестьян» — одно из первых правдивых свидетельств французской литературы о Советской республике. Писатель рассказал о тех коренных изменениях, что произошли в жизни русского землепашца, которому Октябрьская революция принесла мир и землю.

«Месяц в Красной Москве» — так называется вышедшая в 1925 году книга Вайяна-Кутюрье. Из путевых очерков, рассказов о встречах с советскими людьми, конкретных фактов и смелых обобщений возникает многокрасочная картина стремительной жизни столицы. Ключ успехов во всех областях Вайян видит в руководстве Коммунистической партии, единой и монолитной, «твердой и чистой, как алмаз, замечательном инструменте революции, танке рабочего класса».

1927 год... Вайян-Кутюрье присутствует на праздничной демонстрации и военном параде на Красной площади по случаю десятилетия Октябрьской революции. Он выступает на торжественном заседании Моссовета. «Третий раз, — говорит он, — мне удается посетить Советский Союз. Первое посещение относится к периоду жестокого голода и страшной разрухи. Они были побеждены. Второе посещение совпало с периодом начала восстановления хозяйства Союза. Хозяйство достигло довоенного уровня. И, наконец, сейчас, в третье посещение, можно наблюдать невиданное до сих пор строительство социализма».

Девять месяцев продолжалось путешествие Вайяна-Кутюрье по Советскому Союзу в 1931 году. Из дружеских встреч, задушевных бесед с воронежскими колхозниками и таджикскими хлопкоробами, нефтяниками Баку и рабочими, решившими «раздробить и расплавить» гору Магнитную, вырастает крепкая вера в то, что пятилетний план будет выполнен и перевыполнен. Советским людям полюбился веселый широкоплечий человек, который стал участником великой стройки. В Баку он подписал договор о социалистическом соревновании между газетой «Юманите» и одним из нефтепромыслов, принял участие в ликвидации прорыва на другом.

Следующая поездка Вайяна-Кутюрье в СССР относится к концу 1932 года. В очерках «То, чего они не увидели в Москве» он уличает клеветников из желтой прессы безыскусственным рассказом о жителях советской столицы. Если в «Строителях новой жизни» речь шла о знаменитых ударниках, о лучших из лучших, то здесь выводятся рядовые советские люди, те, что становятся героями, не помышляя о героизме.

Поль Вайян-Кутюрье принял участие в праздновании шестнадцатой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции в Москве. Он посетил СССР в начале 1937 года и собирался встретить двадцатилетие Октября на Красной площади. Мечте Вайяна-Кутюрье не суждено было осуществиться — 10 октября 1937 года он скончался.

«На фронте свободы» — заглавие его очерков о республиканской Испании — очень точно характеризует весь жизненный путь Вайяна-Кутюрье. Он был солдатом армии свободы на улицах Парижа в феврале 1934 года, в дни схваток с фашистскими молодчиками, в Бильбао, осажденном ландскнехтами Гитлера и Муссолини, в Китае, готовившемся порвать цепь колониального гнета. В 1933 году он приехал на антивоенный конгресс в Шанхае.

Путешествие Вайяна-Кутюрье на Дальний Восток — не поездка пресыщенного эстета, мечтающего об экзотике. «Поездка Париж—Шанхай — это открытие тюрьмы империалистического мира со всеми ее кварталами, отделениями, камерами-одиночками, пытками, цепями, виселицами и тюремщиками». Миллионы согнутых спин, запряженные в тележки рикши, дети, изнывающие по тринадцать часов в сутки в прядильных мастерских. Нужда, заставляющая крестьянина продать за два доллара восьмилетнюю дочь; цепи духовного рабства, рабская мораль. «Крестьянин должен страдать»,— го-

ворит старый крестьянин, отец Чена («О том, как крестьянин Чен стал красным»). Вайян-Кутюрье развенчивает «философию» страдания, пассивного принятия действительности. Ценой гибели всех своих близких Чен приходит к выводу, что «крестьянин больше не должен страдать». Цифры два и три — не просто номера девочек — фабричных работниц: они обозначают различные дороги жизни («Рассказ о № 2 и № 3»). № 3, сломленная непосильным трудом, издевательствами, побоями, становится уличной женщиной; ее сестра, № 2, втягивается в революционное движение, распространяет листовки среди шанхайской бедноты.

Противопоставление двух типов женщин — госпожи Истинной Мечты и товарища Ван — поднимается до уровня большого социального обобщения в очерке «Два Китая». Участь одной — жалкий жребий продажной танцовщицы, удел другой — славный путь революционерки. «Госпожа Истинная Мечта и товарищ Ван — представительницы молодого Китая, но двух разных видов молодого Китая». Система контрастных образов оттеняет основную мысль очерков — неизбежность победы молодого, революционного Китая.

Писатель-коммунист заявляет, что на ленинском пути «социализм восторжествует в Китае так же, как он восторжествовал в Советском Союзе».

Само заглавие рассказа «О том, как крестьянин Чен стал красным» свидетельствует, что Вайяна-Кутюрье привлекал прежде всего рост революционных настроений в самой гуще китайского народа. Изображая действительность в революционном развитии, Вайян-Кутюрье шел по пути социалистического реализма, художественного метода, который он отстаивал в своих теоретических высказываниях. В тридцатые годы боевой политический очерк прокладывал дорогу социалистическому реализму во Франции.

В очерке «Цепи Китая» Вайян-Кутюрье писал о зловещей тени американского крейсера, что легла на шанхайский порт. Вайян-Кутюрье был непримиримым противником американского империализма. Еще в 1920 году он проницательно говорил об американском плане колонизации Европы. В статьях, написанных в защиту Сакко и Ванцетти, Вайян-Кутюрье сказал весомое слово правды об «американском образе жизни». Он исходит из того, что именно в США буржуазное развитие приняло особенно уродливые формы. Вайян-Кутюрье говорит об американском империализме, как о «самом наглом, самом варварском, самом диком и самом тлетворном империализме на свете». Гневно осуждая американскую экспансию во Франции, он предупреждал: «Что бы ни думал Уолл-стрит, рабочий Парижа — не колония доллара, не раб чудовищных военных долгов». Казнь Сакко и Ванцетти усилила ненависть к властителям буржуазной Америки: «Никогда прежде, ни в какие времена подобная волна негодования не захлестывала правителей ни одной нации».

И в наши дни, много лет спустя после смерти, Поль Вайян-Кутюрье помогает в борьбе за независимость своей родины. В мае 1952 года в Париж приехал командующий вооруженными силами Северо-атлантического пакта Риджуэй. Жители парижского предместья Вильжюив, мэром которого был Вайян-Кутюрье, встретили американского генерала возгласами: «Риджуэй, убирайся вон! Риджуэй — за дверь!» Демонстранты прорвали цепь войск и преградили путь американским машинам. Обращаясь к Риджуэю, мэр Вильжюива воскликнул: «Город Поля Вайяна-Кутюрье не позволит военному преступнику грязнить свои мостовые! Вы прибыли в Париж, чтобы ускорить подготовку агрессии против Советского Союза. Убирайтесь к себе домой!»

Сегодня, когда французскими солдатами командует немецкий генерал, французы вспоминают героев, погибших от руки фашистов. Со словами Вайяна-Кутюрье «коммунизм — это юность мира» пошел на казнь Габриэль Пери. «Пери, Семар, — сказал в феврале этого года Морис Торез, — все наши герои отказались произнести хотя бы одно слово лжи перед эшафотом, и неужели кто-либо может подумать, хотя бы на минуту, что мы теперь поступим иначе?»*

Жизнь Поля Вайяна-Кутюрье, отданная делу коммунизма, — вдохновляющий пример служения человечеству.

---

* «Правда», 20 февраля 1957 года.

АЛБАНИЯ

«ВЕТЕР ОКТЯБРЯ»

Государственное издательство опубликовало отдельным изданием большую поэму поэта Коль Якова «Ветер Октября». Поэма посвящена героическим подвигам патриотов, отдавших жизнь за свободу и счастье родины. Поэт взволнованно рассказывает о судьбе молодых юношей и девушек, вступивших добровольцами в партизанские дивизии, бравшие штурмом Тирану в 1944 году.

В рецензии, помещенной в тиранском журнале «Ноябрь», отмечается высокий героико-романтический дух поэмы.

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВЕТСКОЙ И РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Государственное издательство выпускает в свет к 40-летию Великого Октября произведения советской и русской литературы общим тиражом 126 000 экземпляров, в том числе «Хождение по мукам» А. Толстого, «Белеет парус одинокий» В. Катаева, а также ряд рассказов и стихотворений.

Произведение «Как работал Владимир Ильич Ленин» Л. Фотиевой, повесть «Я — сын трудового народа» В. Катаева, поэма «Домик в Шушенском» С. Щипачева, «Цемент» Ф. Гладкова, «Максимка» К. Станюковича, «Детские и школьные годы Ильича» А. И. Ульяновой и другие уже изданы летом этого года.

АНГЛИЯ

«АТОМНЫЙ РАСПАД»

Так называется книга девяти английских физиков, написанная ими в предостережение человечеству о страшных последствиях испытания и применения атомного оружия.

На 150 страницах книги популярно излагается история открытия атомной энергии, открытия, которое произвело революцию в области естественных наук, и приводятся биографии крупнейших западных ученых-атомников, чьи изобретения превращены сегодня в угрозу для жизни населения всего земного шара.

На основании неопровержимых фактов, пишет «Дейли уоркер», авторы книги доказывают губительность воздействия испытаний атомного оружия на органический мир, и прежде всего на человека.

Призывая прекратить опасную игру с атомным оружием, автор предисловия известный ученый Бертран Рассел пишет:

«Если уж необходимо идти на риск, то не лучше ли рисковать ради достижения прекрасных и благородных целей, а не ради совершенствования оружия массового уничтожения?

Я был бы счастлив, если бы правительство Великобритании прекратило не только испытания, но и производство водородных бомб. Даже с точки зрения безопасности это было бы проявлением мудрой политики».

ТРАГЕДИЯ АНГЛИЙСКИХ ТЕАТРОВ

Общественность Лондона обеспокоена закрытием ряда театров. Особенно сильное возмущение вызвала ликвидация Сент-Джеймского театра. В связи с этим критик Альфред Корут пишет в «Дейли уоркер»:

«Судьба лондонского Сент-Джеймского театра... побудила актеров выступить в защиту театрального искусства, и в частности в защиту своих профессиональных интересов. На демонстрации, организованной профсоюзом театральных работников, выдающаяся актриса Вивьен Ли заявила: в других странах театры строятся, в то время как в Англии их закрывают. Известно, сказала она также, что за рубежом создаются новые симфонические оркестры — единственным препятствием для их деятельности является нехватка музыкантов, английские же оркестры находятся в тисках постоянных финансовых затруднений. Вивьен Ли призвала правительство предпринять шаги для спасения английского театра, а

Известная английская актриса Вивьен Ли принимает активное участие в кампании по защите лондонских театров, в частности Сент-Джеймского театра, которому угрожает слом. Так, она явилась недавно на заседание палаты лордов и заявила: «Господа, я протестую против вашего решения сломать Сент-Джеймский театр». Поскольку ее появление в палате и выступление явилось «нарушением» общепринятого порядка, ее попросили удалиться. Тогда она возглавила демонстрацию на улицах Лондона, неся плакат с изображением Сент-Джеймского театра и призывом к лондонцам взять его под защиту. Вивьен Ли получила уже 20 тысяч писем от лондонцев, поддерживающих ее действия.

На снимке Вивьен Ли (слева) и другие участники демонстрации на улицах Лондона.

(Журнал «Синемонд»).

также других отраслей искусства».

Автор статьи пишет далее: «Можно ли ожидать от консервативного правительства, что расходы на вооружение превратятся в расходы на искусство? Современному капитализму, — отвечает Корут на свой вопрос,— культура кажется недостаточно выгодным предприятием для капиталовложений и не может по своим результатам сравниться с маргарином или патентованными лекарствами. Вот почему новые театры не строятся!»

Один из выдающихся исполнителей трагических ролей в шекспировских спектаклях, а также известный исполнитель ролей в пьесах Чехова (Тригорин, Трофимов, Вершинин) — Джон Гилгуд в беседе с корреспондентом лондонского журнала «Плейз энд плейерс» следующим образом охарактеризовал положение в английских театрах:

«Экономическое положение современного английского театра невообразимо трудное. Стоимость постановки настолько велика, что новую пьесу нельзя снимать со сцены месяцами, чтобы окупить связанные с ней расходы. Репертуарная же система в лондонском театре совершенно невозможна — в этом я убедился на собственном опыте во время моих выступлений в театре «Хеймаркет»... Актер не может совершенствоваться, играя исключительно в классических пьесах. К несчастью, кроме легкой комедии, сейчас почти невозможно найти какую-нибудь современную английскую пьесу. Лоуренс Оливье и Майкл Редгрейв уверяют, что, когда они перестанут играть Шекспира, им придется выступать в легкой комедии».

БОЛГАРИЯ

ЛИТЕРАТОРЫ БОЛГАРИИ К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Газета «Литературен фронт» сообщает, что к празднованию 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции Союз болгарских писателей подготовил к изданию новые переводы произведений советских авторов и произведения болгарских писателей на революционную тематику.

Издательство «Болгарский писатель» публикует сборник «Под знаменем Октября». В него входят стихотворения болгарских поэтов, посвященные Октябрьской революции.

Одновременно выходит «Антология советской поэзии» под редакцией Л. Стоянова, Хр. Радевского, И. Фурнаджиева, Мл. Исаева, Т. Хаджимарчева, П. Матеева.

Издательство «Народна культура» выпускает сборник «Сорок лет современной литературной критики». В сборник входят работы советских критиков и литературоведов по вопросам тео-

рии и практики социалистического реализма. Этим же издательством будет выпущен в свет роман «Каленые тропы» А. Листовского, посвященный героическим делам эскадронов Первой Конной армии. Переведен и подготовлен к печати исторический роман М. Марич «Северное сияние».

Много новых книг в честь Великого Октября подготовлено издательством «Народна младеж». В их числе сборник «Ленин в воспоминаниях болгар», а также «Мятежная юность» Ф. Гладкова, «Заре навстречу» В. Кожевникова и другие.

КНИГА О МОЛОДЕЖИ

Вышел из печати сборник очерков «Героическое поколение». В книге рассказывается о шестидесяти молодых борцах против фашистских захватчиков, членах Рабочего Союза Молодежи, отдавших жизнь за освобождение Родины. «Если изучить биографии погибших героев, — пишет газета «Работническо дело»,—можно получить яркое представление о целом поколении, его мыслях и чувствах, увидеть, как эти люди становились борцами». Подобно герою-юноше Иордану Лютиборскому, повешенному фашистами в 1935 году, попадавшие в руки врагов молодые борцы предпочитали достойную смерть позорному предательству, повторяя слова Лютиборского: «Лучше умереть, но остаться живым для своего класса, чем жить, но стать разлагающимся политическим трупом».

Книга «Героическое поколение» учит молодежь быть достойной великого дела, за которое отдали жизнь молодые патриоты.

ВЕНГРИЯ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АГЕНТОВ ИМПЕРИАЛИЗМА ВЫЗЫВАЕТ ВОЗМУЩЕНИЕ ВЕНГЕРСКОГО НАРОДА

«Элет эш иродалом» опубликовала статью Белы Иллеша, в которой писатель гневно обличает империалистов, раздувших в ООН так называемое «венгерское дело».

«В ноябре 1956 года, — пишет Бела Иллеш, — агенты империализма и их приспешники в Венгрии потерпели поражение... Реакция, живущая идеями реставрации, показала свое подлинное лицо, организуя погромы и белый террор. Агенты империализма пытались уничтожить достижения, завоеванные в период между 1945 и 1956 годами, потребовали денационализации, восстановления капитализма и отмены земельной реформы... Они стремились втянуть Венгрию и венгерский народ в подлую авантюру».

Писатель указывает, что, хотя их замысел потерпел в Венгрии поражение, приспешники империализма попытались использовать создавшуюся обстановку в своих целях. «Этим целям,— продолжает Бела Иллеш, — и послужил доклад «комитета пяти» в ООН.

Для империалистов в их поражении наиболее неприятным является то, что Венгрия за последние восемь месяцев добилась больших успехов в строительстве, и то, что страна добьется еще больших успехов в будущем...

Венгерская республика сейчас более сильна, чем когда-либо, — говорит писатель,— Доклад «комитета пяти» и дискуссия в ООН не могут поколебать веры венгерского народа в справедливость...

Империалисты хотят воспрепятствовать восстановлению Венгрии, они хотят овеять славой тех, кто совершает преступление за преступлением, тех, кто нанес раны Венгрии и принес страдания ее народу, а именно: провокаторов, предателей родины, поджигателей новой войны. Вся эта деятельность империалистических агентов вызывает законное возмущение венгерского народа».

ПРОТЕСТ ПИСАТЕЛЕЙ ПРОТИВ ИСПЫТАНИЙ АТОМНОГО ОРУЖИЯ

«Элет эш иродалом» опубликовала протест венгерских писателей против испытаний атомного оружия.

«Мы, венгерские писатели, — говорится в заявлении, — проникнутые глубоким сознанием смертельной опасности для человечества, порождаемой атомным и водородным оружием, и повинуясь велению нашей совести, без различия взглядов и партийных позиций, поднимаем свой голос протеста против всякой подготовки атомной войны и продолжения каких бы то ни было испытаний ядерного оружия.

Мы потрясены картиной того, как чудесные преобразовательные силы, которые человеческий ум открыл на благо человечества, все быстрее превращаются в ужасную угрозу для культуры, цивилизации и даже для самого существования человека...

Потрясенные до глубины души, но все же с надеждой, обращаемся мы ко всем — писателям, людям искусства, ученым, государственным деятелям, солдатам, трудящимся полей и заводов: воспрепятствуйте ужасным планам, которые могут обрушить катастрофу на весь земной шар!..

Пусть все обладающие чувством ответственности люди на всех языках мира просят, требуют мира для человечества!»

Протест подписали сорок венгерских писателей, в том числе Лайош Априй, Тибор Барабаш, Дьёрдь Бёлёни, Йожеф Дарваш, Йожеф Фодор, Оскар Геллерт, Шандор Гергей, Ласло Геребеш, Бела Иллеш, Дьюла Ийеш, Ференц Янкович, Шаролта Лани, Лайош Мештерхази, Ласло Надь, Шандор Надь, Пал Сабо, Жужа Тури, Эрне Урбан, Петер Вереш.

НОВЫЕ КНИГИ

К 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции издательство «Ференц Мора» выпускает сборник очерков и расска-

Недавно исполнилась вторая годовщина со дня смерти Томаса Манна. Мы помещаем одну из фотографий писателя, сделанных во время его посещения ГДР незадолго до смерти. Слева — Анна Зегерс.
(Еженедельник «Нейе берлинер иллюстрирте»)

зов Петера Фёльдеша и Дьёрдя Хетоша «Сотни тысяч», включающий рассказы о венграх, участниках Октябрьской революции и гражданской войны в России. Издается также ряд книг советских писателей в переводе на венгерский язык, в том числе произведения Казакевича, Кассиля, Ильфа и Петрова, Вигдоровой.

ГЕРМАНИЯ

ГЕРМАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ПРИЗЫВ НЕМЕЦКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Анна Зегерс, Арнольд Цвейг и режиссер театра «Берлинер ансамбль» Елена Вейгель опубликовали обращение, в котором говорится: «Мы взволнованы тем, что ключевые позиции в Федеративной Республике Германии находятся в руках людей, несущих ответственность за установление бесчеловечного гитлеровского режима. Чтобы бороться с опасностью, угрожающей миру, мы предлагаем создать комиссию для выяснения той роли, какую играют ныне бывшие нацистские судьи в юридических учреждениях ФРГ, а также комиссию для расследования деятельности бывших офицеров гитлеровской армии, ответственных за ужасы второй мировой войны».

Подписавшие обращение предложили также произвести специальное расследование той политической деятельности, которую ведут бывшие нацисты в ФРГ. В заключение в письме указывается, что его авторы обращаются ко всем парламентариям, к членам демократических организаций, к ветеранам войны, ко всем писателям и юристам.

ОТПОР КЕСТЕНУ

Западногерманский писатель Герман Кестен недавно выступил с заявлением о «преследовании» писателей в ГДР. Иоганнес Бехер потребовал, чтобы автор привел конкретные данные. Вскоре Кестен опубликовал в газете «Зюддейче цейтунг» ответ, содержащий злобные клеветнические нападки на министра культуры ГДР И. Бехера.

Отвечая Кестену на страницах еженедельника «Зонntаг» («Зюддейче цейтунг» не рискнула опубликовать ответ), И. Бехер заявил: «Меня по-настоящему потрясло, что господин Кестен в своем заявлении предал забвению все то, что делало его писателем... Потеряв чувство меры и способность трезво рассуждать, Кестен обрушивает в своем заявлении поток грязи и клеветы на литературную жизнь в ГДР, не останавливаясь перед недоказуемыми утверждениями. Он обнаруживает полное нежелание понять общественную жизнь республики рабочих и крестьян... Кто спекулирует на известной и открытой борьбе мнений, ведущейся среди нас, кто не хочет понять, что полемика является для нас жизненной необходимостью, без которой мы не хотим жить и не можем дышать,— пишет Бехер,— тот не в состоянии уловить «знамение времени», и если таким человеком оказывается писатель, его ожидает печальный удел».

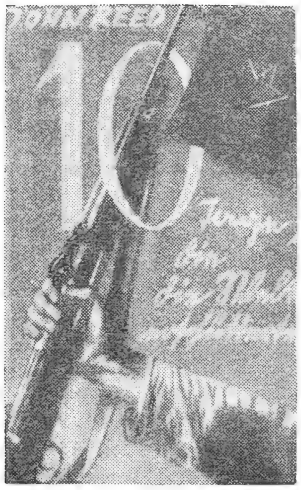
И. Бехер указывает далее, что все перечисленные Кестеном лица являются «писателями» лишь в том смысле, что они сочиняли шпионские донесения для разведывательных органов Запада. Других тоже лишь весьма условно можно назвать писателями: вся их литературная деятельность ограничилась незначительными статейками. Они понесли наказание не потому, что выступали со статьями, «неприятными правительству», а потому, что совершали преступления, нарушали Конституцию.

«Ни один писатель в ГДР,— заявляет Бехер,— не преследуется за то, что его высказывания неприятны».

НОВЫЙ ФИЛЬМ ДЕФА

К сорокалетию Великого Октября студия ДЕФА выпускает на экраны новый художественный фильм «Полония-экспресс». Газета «Берлинер цейтунг» отмечает, что «едва ли какой-нибудь другой фильм производства ДЕФА мог бы так достойно отразить это мировое событие».

Действие фильма (режиссер Юнг-Альсен, сценарист



Обложка выпущенной издательством «Диц-ферлаг» книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», оформленная известным мастером фотомонтажа Джоном Хартфильдом.

Герхард Нейман) развертывается в 1920 году.

...К экспрессу собираются прицепить два товарных вагона со снаряжением для интервентов, вторгшихся в молодую Советскую Россию. Однако, благодаря бдительности и пролетарской солидарности рабочих немецкого города Эрфурта, груз не попадает по назначению. С призывом не давать оружия в руки интервентов, воюющих с русскими братьями, выступает молодой рабочий-коммунист.

В фильме, подчеркивает «Берлинер цейтунг», оживают боевые традиции немецкого рабочего класса.

ПОСТАНОВКИ СОВЕТСКИХ ПЬЕС

К 40-летию Великого Октября немецкий Национальный театр в Веймаре ставит пьесу Н. Погодина «Кремлевские куранты».

* * *

Театры Шверинского района подготовили к постановке пьесы Бориса Лавренева и Александра Корнейчука. В фойе театров, пишет «Зоннтаг», организуются фотовыставки, посвященные истории постановки советских пьес на немецкой сцене с 1945 года.

«ДИЦ-ФЕРЛАГ» ИЗДАЕТ ДЖОНА РИДА

Берлинское издательство общественно-политической литературы «Диц-ферлаг» к 40-летию советской власти выпустило в немецком переводе книгу Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир».

ФЕДЕРАТИВНАЯ РЕСПУБЛИКА ГЕРМАНИИ

ПИСЬМО ТРУДЯЩИМСЯ ГДР

Писатель Валентин Рабис опубликовал недавно повесть «На шелковой нитке». В ней рассказывается о судьбе немецкого военнопленного, возвратившегося на родину.

Рабис, как отмечает «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель», описывает бесплодные старания юноши найти свое место в жизни, которую он как бы начинает снова, его тщетные поиски работы и крова. Всюду он наталкивается на противодействие всевозможных организаций и инстанций. Писатель раскрывает соглашательскую политику профсоюзов, показывает бесчинства, творимые так называемыми «союзами возвращенцев» и «солдатскими союзами».

Книга В. Рабиса издана также и в ГДР.

По решению Объединения свободных немецких профсоюзов ГДР повесть «На шелковой нитке» отмечена литературной премией ОСНП за 1957 год, которая впервые присуждается западногерманскому писателю. Глубоко взволнованный вручением награды, писатель прислал из Франкфурта-на-Майне письмо рабочим ГДР, которое опубликовала газета «Трибюне».

Писатель сообщает, что эта премия помогла ему многое понять, помогла осознать, сколько усилий прилагается на Востоке Германии, чтобы «перекинуть мост между рабочими и писателем». В письме рассказывается, как на встречах с рабочими автор убеждался в необыкновенно вдумчивом отношении трудящихся к книге.

Заключая свое письмо словами восхищения «молодыми всходами на Востоке Германии», писатель подчеркивает, что их не может быть на Западе, «где почве не хватает органических веществ».

Сцена из фильма «Полония-экспресс», выпущенного студией ДЕФА к 40-летию Великого Октября.

(Газета «Нейес Дейчланд»)

На вопрос корреспондента: как вы расцениваете неофашистскую литературу в Западной Германии? — гамбургский издатель Эрнст Ровольт, фото которого мы воспроизводим, ответил:

«Конечно, мы боремся против нее. Всю свою жизнь я стою за прогресс, хотя бы ради того, чтобы следовать моей любимой поговорке: «Ты направляй на свет свой ясный взгляд — всегда вперед и никогда назад».

(Еженедельник «Нейе берлинер иллюстрирте»)

РОМАН ПРИГОВОРЕННОГО К МОЛЧАНИЮ

В издательстве «Ганс Карл-ферлаг» в Нюрнберге вышел роман Фрица фон-Унру «Сын генерала».

По сообщению лейпцигского журнала «Бёрзенблатт фюр ден дейчен буххандель», этот роман посвящен трагедии молодого человека, который, вопреки его убеждениям и наклонностям, вынужден был следовать старой дворянско-прусской традиции и поступить в кадетский корпус, обрекая себя на пожизненную военную службу.

В кадетском корпусе господствует жестокий режим принуждения, дух солдатчины, муштра, полностью подавляющие человеческую индивидуальность. Герой покушается на самоубийство. «Писатель правдиво изображает мир казармы и кайзеровского двора...— отмечает «Бёрзенблатт». — Полезная книга, в высшей степени актуальная и захватывающая».

До 1932 года, по сообщению «Бёрзенблатт», фон-Унру был «одним из самых популярных немецких писателей», книги которого «можно было найти в любой библиотеке» и которому «было присуждено много литературных премий и призов, пока национал-социализм не положил конец его плодотворной деятельности». Подчеркивая непоколебимую веру писателя в необходимость мира, «Бёрзенблатт» указывает, что в зарубежной прессе Фриц фон-Унру выдвигается ныне в кандидаты на получение Нобелевской премии.

Однако по-другому относятся к творчеству фон-Унру в ФРГ. Мюнхенский журнал «Культур» отмечает, что в ФРГ существует группа писателей, книги которых сжигались нацистами в 1933 году и которые сейчас снова приговорены к молчанию. В этой связи журнал называет имена Леонгарда Франка, Альфреда Дёблина и Фрица фон-Унру. «Их книги, правда, не запрещены, однако создается впечатление, что они еще и не разрешены... В то время как авторы, открыто поддерживавшие в свое время национал-социализм, сегодня уже награждаются боннским «Крестом за заслуги» и, вместо того чтобы молчать, говорят во весь голос, такие писатели, как Фриц фон-Унру, приговариваются невидимым судом к молчанию...»

«Не должно ли нас сегодня особенно беспокоить то,— пишет в заключение «Культур», — что литераторы, которые могут сказать многое, осуждены на молчание?»

ДАНИЯ

«МАРТИН АНДЕРСЕН НЕКСЕ И СОВЕТСКИЙ СОЮЗ»

К 40-летию Великой Октябрьской социалистической революции в Дании выходит труд Бэрге Хоуманна — одного из лучших знатоков литературной и политической деятельности М. А. Нексе — «Мартин Андерсен Нексе и Советский Союз». В предисловии автор справедливо замечает, что в Дании «до сих пор не было еще сделано попытки выявить те многочисленные нити, которые связывали Мартина Андерсена Нексе с Советским Союзом». Он характеризует свой труд, как стремление «показать хотя бы главное и основное в отношении М. А. Нексе к великому пролетарскому государству, которое в этом году отмечает 40 лет своего существования».

Октябрьскую революцию Нексе воспринял, как «то, чего он ждал со своей ранней юности, зародыши чего видел во множестве событий, то, о чем мечтал, за что боролся»,— пишет Хоуманн. Она явилась для него свершением мечтаний пролетария о новом мире, где трудящийся наконец становится человеком. И с тех пор вся жизнь писателя была неразрывно связана с его «второй родиной» — СССР; он неоднократно говорил о великом счастье ощущать себя приемным сыном советского народа.

Хоуманн подробно рассказывает обо всех важнейших событиях в жизни Советского Союза и об отношении к ним Нексе, приводит цитаты из книг и статей Нексе, написанных о Советском Союзе, из его многочисленных выступлений в защиту советской страны, из переписки писателя с детьми из детского дома, носившего его имя. Дети писали ему, называя его своим отцом; письма Нексе подписаны «ваш папа Нексе». В книге приведена и не известная еще советскому читателю статья Нексе на смерть Ленина. «Дело Ленина живет,— писал он,— оружие, выкованное им для нас, осталось в наших руках».

Не имея возможности полностью отрицать значение Нексе, буржуазные критики пытались доказать, что он «неплохой писатель, но плохой мыслитель». Труд Бэрге Хоуманна —

живое свидетельство того, что великий датчанин был одновременно и крупным писателем и замечательным мыслителем, коммунистом, несшим в своей душе пламя любви к угнетенным, бесконечной благодарности и дружбы к народу, который первым проложил путь к светлым далям коммунизма.

ИЗДАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Издательство «Тиден» подготовило к печати сборник «Воспоминания о Ленине», в который входят, в частности, воспоминания А. М. Горького о В. И. Ленине. К ноябрю «Тиден» издает сборник очерков и повестей советских писателей. Большое место в этом сборнике занимают произведения хорошо известных в Дании советских писателей М. Шолохова и Б. Полевого.

Издательство «Мега» выпускает в свет третью часть трилогии Алексея Толстого «Хождение по мукам» — «Хмурое утро», а также третий том рассказов А. М. Горького, объединенных названием «Рождение человека», и роман Н. Островского «Как закалялась сталь».

В сентябре в Дании вышли роман В. Катаева «Белеет парус одинокий» в переводе Эрика Хорскьера, уже получивший положительную оценку печати Дании, и пьеса Горького «На дне».

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ

НОВЫЙ ЖУРНАЛ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

Летом этого года в Ханое начал выходить ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал «Ван Нге» («Литература и искусство»), являющийся органом Ассоциации деятелей культуры Вьетнама.

«Объединить всех писателей, художников, композиторов, артистов, указать им путь к созданию полноценных реалистических произведений, отражающих жизнь народа» — такова основная задача журнала. «Ван Нге», как сообщается далее в журнале, будет освещать «вопросы теории литературы и литературной критики, публиковать лучшие произведения вьетнамских и иностранных авторов, статьи о литературе и искусстве».

Первый номер журнала открывается докладом члена Политбюро ЦК Партии трудящихся Вьетнама Труонг Шина на Втором съезде работников культуры. Товарищ Труонг Шин анализирует перемены, которые произошли в культуре Вьетнама за период, начиная от революции 1945 года и до наших дней, говорит о руководстве партии в области культуры, о борьбе с остатками влияния буржуазной культуры и идеологии, о мировоззрении демократического писателя.

«Движение страны к социализму,— пишет Труонг Шин,— обязательно сопровождается культурной революцией. Эта революция направлена на то, чтобы наша культура не была демонстрируемым под стеклянным колпаком экспонатом, которым могут любоваться только избранные. Наша культура должна стать... воздухом для миллионов людей».

ДВИЖЕНИЕ СОЛИДАРНОСТИ С НАРОДОМ АЛЖИРА

Во Вьетнаме ширится движение солидарности с алжирским народом. Активное участие в нем принимают литераторы и деятели искусства. Газета «Ван» поместила статью Те Ханя об алжирском писателе Мухаммеде Дибе и переводы стихов Диба. Поэт-сатирик Ту Мо, поэт Ле Хоанг Иен и другие выступили с обличительными стихотворениями против колонизаторов. Художники и скульпторы Ханоя организовали выставку «Поддерживаем борьбу народа Алжира», в которой участвовало около 250 авторов. Наибольшим успехом пользовались барельеф Чан Ван Лама «Героический Алжир», картины Хюи Тоана, сатирические рисунки Нгуен Шанга, Зианг То и других художников.

ЕГИПЕТ

ЖУРНАЛ «ВОСТОК»

В Каире начал выходить новый ежемесячный журнал «Аш-Шарк» («Восток»). В первом номере помещены материалы о советской культуре. Редактор журнала — известный египетский журналист Мухаммед Мандур.

ДИСКУССИЯ О ПОЭЗИИ

На страницах египетской печати в последнее время развернулась дискуссия о путях поэзии: должна ли египетская поэзия следовать старым, веками сложившимся формам или вырабатывать новые формы. Недавно египетский журнал «Ар-Рисаля аль-Джадида» опубликовал статью известного прогрессивного писателя и поэта Абд ар-Рахмана аль-Хамиси, посвященную этому вопросу. Аль-Хамиси выступает в защиту старых форм поэзии и говорит об их способности отвечать новым поэтическим потребностям. Он призывает противопоставить «поэтам-реакционерам, которые служат целям врагов» и которые владеют определенным художественным мастерством, высококачественные идейные стихи. Художественное мастерство, пишет аль-Хамиси, зависит не только от поэтической техники. «Оно обусловлено, и это самое главное, тем, что поэты хотят сказать народу, связано со стремлением к тому, чтобы мысли, чувства и образы достигали сердец».

Аль-Хамиси выступает за сохранение музыкального строя арабской поэзии, который, по его словам, со-

ставляет основу стихосложения.

В том же журнале другой крупный египетский писатель Абд ар-Рахман аш-Шаркави выступает за свободный выбор формы каждым отдельным поэтом.

ИНДИЯ

ЦЕНТР ЛИТЕРАТУРНОЙ ЖИЗНИ

Индийский журнал «Марч оф Индиа» сообщает о деятельности Литературной академии Индии, направленной на подъем единой многоязычной литературы индийского народа.

В 1954 году при содействии вице-президента Индии Радхакришнана была основана индийская национальная Литературная академия — «Махитья академи». Ее назначение — активно содействовать развитию индийской литературы, координировать литературную деятельность на национальных языках страны.

На каждом из 14 основных (согласно конституции) языков Индии имеется богатое литературное наследие, но трудность освоения этого богатства вызвана тем, что редким исключением является человек, который читает больше чем на одном-двух национальных языках. Почти нет специалистов, знающих всю индийскую литературу. Академия ставит своей целью познакомить широкого читателя с выдающимися литературными произведениями на различных языках страны.

В план работы академии входит составление исторических обзоров провинциальных литератур. Эти труды будут переведены на разные языки и познакомят читателей с основными литературными течениями на всех национальных языках.

Готовятся к печати антологии по поэтическим произведениям, короткому рассказу и драме на каждом национальном языке. Эти сборники также будут переведены на другие языки.

К ЮБИЛЕЮ РАБИНДРАНАТА ТАГОРА

Литературная академия Индии учредила комитет под председательством Неру для подготовки программы празднеств, посвященных столетию со дня рождения Тагора, исполняющемуся в 1961 году. Будет опубликовано юбилейное издание произведений великого писателя в 3—4 томах и сделан их перевод на все национальные языки страны. В Западной Бенгалии собираются материалы для пополнения биографии Тагора.

ИСПАНИЯ

ПРОТИВ АМЕРИКАНСКОЙ ТРАКТОВКИ «ДОН-КИХОТА»

Американский кинопродюсер Майкл Тодд, по методу которого снимаются широкоэкранные фильмы, сообщил во время кинофестиваля в Канне о своем намерении поставить фильм по роману Сервантеса «Дон-Кихот». Тодд собирается пригласить на роль «Рыцаря печального образа» известного французского комического актера Фернанделя, на роль Санчо Пансы — мексиканского комика Кантинфласа.

Съемки этого фильма Тодд намеревался вести в Испании. Но, как сообщает газета «Юманите», этот план натолкнулся на противодействие со стороны Института по изучению области Ла Манча в городе Сьюдад-Реаль, который по радио и через печать выразил свой протест против намерения американских кинематографистов.

«...режиссер, намеревающийся поставить этот фильм, — говорится в протесте, — не способен понять всей глубины выражения испанского национального духа в гениальном литературном творении Сервантеса. Он не сумел бы уловить гуманистический смысл романа, несовместимый с теми художественными принципами и стилем, которых придерживаются американские кинодеятели, намеревающиеся поставить фильм».

Авторы протеста обратились в Министерство информации и туризма Испании с просьбой запретить постановку фильма не только в Ла Манче, но и в любой другой области Испании.

В то же время ряд испанских газет помещают положительные отзывы испанских журналистов, побывавших на кинофестивале в Канне, о советском фильме «Дон-Кихот».

Корреспондент газеты «Пенсамиенто наварро» пишет, что фильм произвел очень сильное впечатление. Помимо его несомненных технических достоинств, в нем дана правильная трактовка образов и идей великого романа, «отличающаяся большим уважением к Сервантесу, даже, можно сказать, любовью». Секрет успеха советского фильма «Дон-Кихот» автор рецензии видит в том, что «создатели фильма сумели верно передать благородные стремления, которые вдохновляли Сервантеса при написании им романа».

ИТАЛИЯ

«НЕТ» ФАШИЗМУ

Под этим названием издательство «Эйнауди» выпустило сборник, составленный публицистом Эрнесто Росси — автором хорошо известной в Италии книги «Хозяева положения», разоблачающей роль итальянских промышленных монополий в деле поддержки фашистского режима. Новая книга Росси включает воспоминания участников итальянского Сопротивления. Книга свидетельствует о том, что в стране в период фашистской диктатуры существовало организованное ядро сил Со-

противления. Действующие лица — антифашисты, боровшиеся мелкими группами или в одиночку. В эти годы, помимо подпольщиков — членов демократических партий, из которых наиболее активными были коммунисты, появился и ряд антифашистов из среды буржуазии. Это—братья Росселли, убийство которых является одним из самых страшных преступлений фашистов (о нем рассказывает в взволнованной статье писатель-историк Гаэтано Сальвемини), или летчик Джованни Бассанези, разбросавший с самолета над Миланом антифашистские листовки.

Собранные Росси рассказы о десяти эпизодах антифашистской борьбы, многие из которых мало известны даже итальянским читателям, передают атмосферу той тяжелой для Италии эпохи, открывают целый мир подпольной борьбы, которую продолжали вести и в эмиграции лучшие представители итальянской интеллигенции, сознававшие, что борьба с фашизмом должна вестись в международном масштабе. Итальянские антифашисты, принявшие активное участие в войне за свободу Испанской республики, повторяли слова Карло Росселли: «Сегодня в Испании, завтра в Италии». Отрывок из книги Росселли, носящий это же название, помещен в сборнике Росси.

НОВЫЕ ИТАЛЬЯНСКИЕ ФИЛЬМЫ

Как сообщает «Унита», режиссер Джузеппе Де Сантис готовится к съемкам фильма «Дорога в долине» совместного итало-югославского производства. В фильме рассказывается о крестьянах, строящих в трудных условиях дорогу. Главные роли в этом фильме вместе с югославскими артистами будут играть известные итальянские киноактеры Элеонора Росси-Драго, Сильвана Пампанини и Массимо Джиротти.

Лукино Висконти закончил съемки нового фильма «Белые ночи» по одноименной повести Достоевского. Роли в фильме исполняют Мария Шелл, Жан Маре и Марчелло Мастроянни.

Пьетро Джерми, поставивший кинокартину «Машинист», работает над фильмом «Соломенное чучело», также повествующим о жизни железнодорожников.

Режиссер Джилло Понтекорво поставил фильм «Большая голубая дорога», снимавшийся в Югославии, на Адриатическом побережье. Главную роль в фильме исполняет Ив Монтан. Герой фильма рыбак Скварчо ведет ожесточенную борьбу за существование. Чтобы прокормить себя и свою семью, он вынужден прибегать к запрещенным способам ловли рыбы при помощи взрывчатки. Ловкость и мужество Скварчо не раз спасают его от преследования агентов инспекции. Рыбаки, друзья Скварчо, предупреждают о грозящей ему опасности, тщетно пытаясь убедить его в том, что выйти из тяжелого положения, в котором находятся рыбаки, они могут, лишь объединившись, организовав рыбацкий кооператив. В результате борьбы с агентами инспекции погибает жених дочери Скварчо, застреленный инспектором, а потом и сам старый рыбак. Так трагически завершается путь одиночки, верящего лишь в свои собственные силы.

КИТАЙ

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

К 40-летию Великого Октября издательство «Жэньминь вэньсюэ» выпускает в свет в переводе на китайский язык книги советских писателей. В их числе «Разгром» А. Фадеева, «Тихий Дон» М. Шолохова, «Цемент» Ф. Гладкова, «Педагогическая поэма» А. Макаренко, «Железный поток» А. Серафимовича, «Чапаев» Д. Фурманова. Выходит в свет первый том избранных произведений В. Маяковского.

В предпраздничные дни выйдет также сборник воспоминаний китайцев — участников Октябрьской революции и гражданской войны в России.

Редакция газеты «Вэньибао» объявила конкурс на лучшую статью на тему «Благодарю советскую литературу за помощь». В извещении о конкурсе редакция пишет, что победа революции в Китае неотделима от победы социалистической революции в СССР.

Извещение заканчивается призывом ко всем читателям принять участие в конкурсе:

«Воины революции, герои боев, отличники труда, кадровые работники, учащаяся молодежь! Мы просим вас рассказать о ваших любимых художественных произведениях советских авторов — романах и рассказах, стихах и пьесах, рассказать о том, как эти произведения родили в вас мысли посвятить себя делу революции, вдохновляли вас на борьбу и труд, помогли выработать коммунистическое мировоззрение».

НОВЫЙ ПЕРЕВОД «ВОЙНЫ И МИРА»

Пекинское издательство «Синь вэньи» («Новая литература и искусство») выпустило в 1957 году новый перевод «Войны и мира», сделанный писателем Гао Чжи, который известен своими переводами «Анны Карениной», трилогии «Детство», «Отрочество» и «Юность» и ряда других произведений Л. Н. Толстого.

Впервые с «Войной и миром» в переводе Го Можо и Гао Чжи китайский читатель познакомился в начале антияпонской войны. С 1951 по 1953 год роман переиздавался в Китае шесть раз.

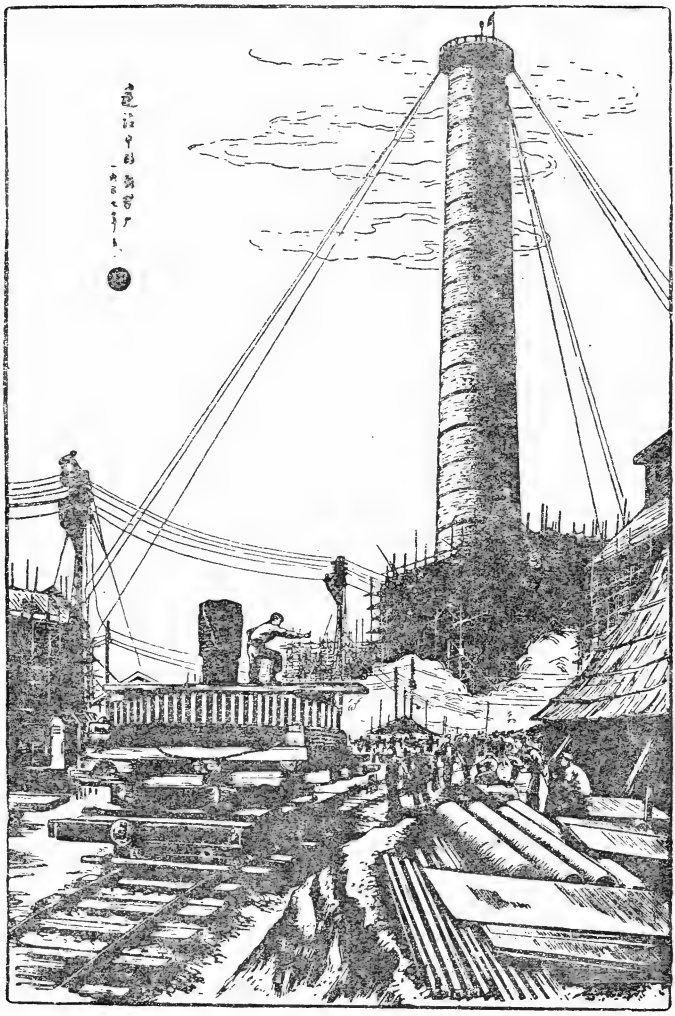


Рисунок китайского художника Ван Ли «На заводской стройке».

(Журнал «Баньхуа»)

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМЕРА ЖУРНАЛА «ИВЭНЬ»

Китайский журнал «Ивэнь» («Переводная литература») посвятил свою восьмую (августовскую) книжку литературе стран Азии. В кратком предисловии главный редактор журнала Мао Дунь пишет о более чем тысячелетней истории культурных связей Китая со странами Азии, о том влиянии, которое эти связи оказали на развитие литературы, музыки, живописи, скульптуры Китая. «Однако в прошлом,— продолжает Мао Дунь,— эти связи были бессистемными и непрочными. Лишь после создания Китайской Народной Республики положение начинает изменяться... Государственные издательства уже опубликовали целый ряд произведений литературы стран Азии, а по перспективному плану на 15—20 лет издадут известнейшие произведения этой литературы с древнейших времен до настоящего времени... Мы надеемся, что этот специальный номер журнала вызовет в нашей стране горячий интерес к литературе азиатских стран».

В номере напечатаны произведения писателей Цейлона, Индии, Пакистана, Японии, Ирана, Афганистана, Сирии, Турции, Кореи, Монголии, Вьетнама, Индонезии, Филиппин, в том числе отрывки из романа корейского писателя Хан Сер Я «Снежные горы», стихотворения персидского поэта Хафиза, азербайджанского поэта Низами, отрывки из классического произведения японской литературы X—XI вв. «Повесть о Гэндзи» Мурасаки Сикибу и многие другие произведения.

В одном из последних номеров журнала «Вэньибао» объявлено, что сдвоенный 11—12 номер журнала «Ивэнь» будет посвящен литературе Советского Союза в ознаменование 40-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Предполагаемый объем номера — около 40 печ. листов. В нем будут опубликованы стихотворения 20 поэтов, в том числе Твардовского, Тычины, Купалы, Вургуна, Брюсова, Есенина. Проза будет представлена произведениями Малышкина, Леонова, Пришвина, Тендрякова и других авторов. Будут опубликованы также драматические произведения, воспоминания, подборка «Советские писатели о литературе» и другие материалы.

КОРЕЙСКАЯ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА

ТЕМА ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ В ЛИТЕРАТУРЕ

Все издательства Кореи выпускают новые книги в связи с 40-й годовщиной Великого Октября.

Государственное издательство подготовило сборник очерков и воспоминаний, посвященных этой теме. Первый том сборника включает очерк М. Горького о В. И. Ленине, вос-

поминания о Ленине Н. Крупской, Д. Ульянова, М. Ульяновой, К. Цеткин, В. Бонч-Бруевича и других. Во второй том войдут рассказы о жизни и деятельности В. И. Ленина, а также произведения Матэ Залка, К. Федина и некоторых других авторов. В третьем томе публикуются очерки о Ленине, написанные в последние годы.

Издательство «Демократическая молодежь» готовит сборник стихотворений «Песнь о смелых сердцах», посвященных подвигам воинов Советской Армии. Сборник открывается стихами Маяковского, Демьяна Бедного и кончается стихами молодых поэтов последних лет.

Это же издательство подготовило сборник рассказов «Как победила революция», посвященных ряду участников Октябрьской революции.

Издательство Союза писателей готовит к выпуску сборники прозы и стихов корейских писателей «По ленинскому пути» и «Эхо «Авроры». В первый сборник войдут рассказы, записки, очерки, путевые заметки 16 корейских писателей, в том числе «Воспоминания о Ленине» Хан Сер Я, «Октябрьская революция принесла народу весну» Ли Ги Ена, «Путешествие по СССР» Пак Пхар Яна, «Всегда с Лениным» Се Ман Ира, «Красная звезда» Ден Чай Гена и «Жертва» Пак Ун Гера.

СБОРНИКИ КОРЕЙСКОЙ ПРОЗЫ И ПОЭЗИИ

Издательство Союза писателей готовит к опубликованию сборники произведений современных корейских писателей. Из 20 запланированных томов в этом году выйдут в свет три. В первый том войдут произведения Цой Со Хе и Чо Мен Хи. Во втором томе будут помещены стихи поэтов 20-х годов: Ким Со Вора, Ли Сан Хва и других. Третий том включит рассказы Хан Сер Я. Ли Ги Ена, Сон Ена.

ЛИВИЯ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА НА ПОДЪЕМЕ

Ливия — страна древней культуры, завоевавшая не так давно независимость,— переживает ныне культурный подъем. В стране растет количество школ, развивается литература.

Журнал «Аль-Адиб» сообщает о новых книгах, вышедших в Ливии. Среди них книга «Аш-Шабби и Джубран» Халифа Мухаммеда ат-Талиси, в которой исследуется творчество двух крупнейших арабских поэтов XX века—туниса Абуаль-Касима аш-Шабби и ливанца Джубран Халиль Джубрана; сборник рассказов Абд аль-Кадира Абу Харуса «Смущенные души» и сборник стихов Али Мухаммеда ар-Рафии «Страстное желание».

«АД-ДИА» ОСУЖДАЕТ «ДОКТРИНУ ЭЙЗЕНХАУЭРА»

В этом году в городе Бенгази начал издаваться новый общественно-политический и литературный журнал «Ад-Диа» («Сияние»). Большое внимание журнал уделяет актуальным вопросам, волнующим ливийскую общественность, таким, например, как борьба против пресловутой «доктрины Эйзенхауэра», призванной под маской «помощи» вновь закабалить страны Ближнего и Среднего Востока, поставить их под контроль североамериканских монополий.

Говоря об американской «помощи», журнал «Ад-Диа» заявляет в одном из последних номеров: «США используют эту помощь в своих собственных интересах. Именно поэтому американская помощь не только не удовлетворяет нужды страны, но, напротив, приумножает и усугубляет их. США обещали помочь нам в экономическом развитии. Однако вместо этого они активно строили свои базы и аэродромы, а их компании усиленно ищут нефть на нашей территории. Вот почему, — продолжает журнал,— когда США объявили о «доктрине Эйзенхауэра», именно нам — ливийцам—следовало бы в первую очередь отвергнуть эту «доктрину» и отклонить ее принципы, так как мы уже испытали американскую помощь на себе».

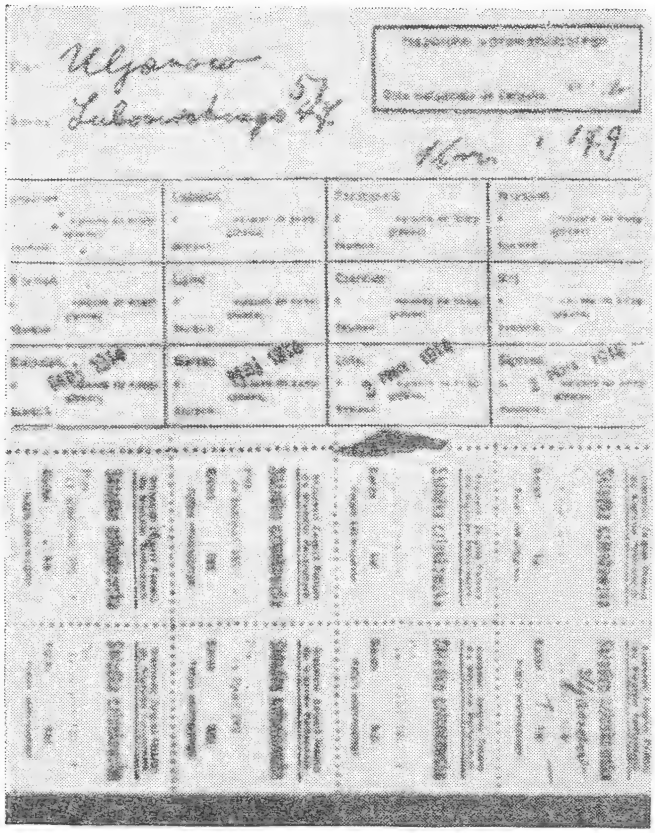
МАЛАЙЯ

ЗА СОЗДАНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

В настоящее время, после провозглашения Малайей независимости, вопрос о необходимости развития национальной литературы привлекает особенно большое внимание малайской общественности.

Посвящая этой проблеме статью, опубликованную в журнале «Истерн уорлд», писательница Хам Суйин отмечает, что авторами книг о Малайе являются, в основном, английские переселенцы. Эта литература довольно обширна. Однако, пишет Хам Суйин, эти книги представляют незначительный интерес для малайцев, так как они писались в большинстве своем «не для них, а о них».

Литературные произведения, опубликованные в Малайе за последние 10—12 лет, Хам Суйин подразделяет на две категории. К первой относятся книги, написанные переселенцами о переселенцах. Эти книги, не оригинальные по своему содержанию, «все еще удовлетворяют лондонских знатоков «азиатской» литературы, но не интересуют малайцев». Ко второй категории принадлежит незначительное число книг, написанных для малайцев и о малайцах, отражающих местный пейзаж и обычаи,



На снимке — обнаруженная недавно в Кракове членская карточка Краковского Союза помощи политзаключенным, выданная на имя Владимира Ильича, который вступил в Союз 1 декабря 1912 года во время пребывания в Кракове.
(Газета «Трибуна люду»)

включающих местные языковые обороты.

Среди авторов таких произведений Хам Суйин называет Чин Ки Она, написавшего книгу «Марае», Патрика Андерсона — автора книги «Змеиное вино» и Мэри Мак-Миннис, написавшую повесть «Летающая лиса». (К числу писателей, создающих национальную малайскую литературу, можно отнести и Хам Суйин, автора книги «И дождь утоляет мою жажду». См. «Иностранную литературу» № 2, 1957 г.).

«П. Андерсон и М. Мак-Миннис являются «переселенцами». Однако в их книгах отсутствует оттенок обычного для «переселенцев» иронического превосходства,— пишет Хам Суйин.— Они понимают людей, о которых пишут... Обе эти книги были высоко оценены малайскими читателями, хотя и не завоевали признания английской печати».

Получит ли развитие местная малайская литература? Писательница отмечает, что «сам факт постановки этого вопроса, который ранее никогда не обсуждался, служит хорошим предзнаменованием».

ПОЛЬША

ИЗДАТЕЛЬСТВА К ЮБИЛЕЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

В октябре этого года издательство «Ксёнжка и ведза» выпускает в свет ряд книг, посвященных 40-летию Октябрьской социалистической революции. Среди них первый том Архивных материалов истории польско-советских отношений. В этом томе собраны материалы за период от Февральской революции до ноября 1918 года, отражающие влияние Октябрьской революции на события, происходившие в Польше, и на поляков, находившихся за пределами своей родины, в частности в России.

В сборник «Поляки об Октябрьской революции» включены воспоминания поляков, либо непосредственно участвовавших в великих событиях 1917 года, либо хорошо знакомых с этими событиями. Среди материалов заслуживают внимания воспоминания Хелены Бобинской о ее пребывании в Москве в 1917—1918 гг., рассказы об октябрьских днях Конрада Сверчинского, Станислава Бобинского и Станислава Пестовского, принимавших участие в борьбе за власть Советов в Петрограде и Москве.

Государственный издательский институт подготовил «Антологию поэзии народов СССР», в которую входят произведения 120 авторов, в том числе Маяковского, Блока, Брюсова, Хлебникова, Есенина. Отдельный сборник поэтических произведений Маяковского выходит в издательстве «Чительник». Издательство «Искры» выпускает впервые переведенный на польский язык роман А. Фадеева «Последний из Удэге». Издательство министерства национальной обороны подготовило к изданию сборник произведений Вс. Иванова.

«ЖИЦЕ ЛИТЕРАЦКЕ» О КНИГЕ МАЦКЕВИЧА «ДОСТОЕВСКИЙ»

В Государственном издательском институте недавно вышла книга о Достоевском, написанная бывшим премьер-министром лондонского польского правительства Станиславом Цат-Мацкевичем, вернувшимся в прошлом году в Польшу. Еженедельник «Жице литерацке» опубликовал статью Юзефа Маслинского, подвергающую

суровой критике книгу и ее автора, как литературоведа. Маслинский пишет, что у Мацкевича нет нужной подготовки для того, чтобы заниматься анализом творческого пути такого сложного писателя, как Достоевский.

Основной источник, которым пользовался Мацкевич для своих изысканий, это мемуары современников Достоевского. Но и в этих мемуарах, пишет Маслинский, он выискивает, главным образом, скандальную великосветскую хронику, сплетни, любовные интриги и т. п. Автор книги провозгласил, что для понимания Достоевского необходимо понимание его эпохи. «Вот мы и узнали ее!» — возмущенно восклицает рецензент, приводя ряд оскорбительных выпадов Мацкевича против лучших людей России, современников великого писателя: Белинского, Герцена, Огарева, Чернышевского, Добролюбова.

«После всего этого,—пишет критик Маслинский,— для самого Достоевского осталось мало места. В чем все же величие этого писателя? Оказывается, в том, что «...он хотел быть русским писателем, а стал мировым» благодаря тому, что проблематика его романов— это, якобы, «проблематика Евангелия».

Опровергая бездоказательные суждения Мацкевича о Белинском, Чернышевском и других великих современниках Достоевского, Маслинский приводит высказывания о них К. Маркса, Л. Толстого, Г. Димитрова, а также некоторых буржуазных литературоведов, дающих высокую оценку русской критической литературе 60-х годов прошлого века.

Считая опубликование книги «Достоевский» ошибкой издательства, рецензент называет ряд работ, посвященных Достоевскому, либо неизвестных в Польше, либо недостаточно популярных, в том числе труды польского литературоведа первой половины XX века Станислава Бжозовского, работы Ермилова, А. Рудницкого.

РУМЫНИЯ

«РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ»

Вопросы современности являются ведущими в творчестве драматургов Румынии.

Рецензируя последнюю пьесу румынского драматурга Аурела Баранги, театровед Валентин Сильвестру пишет в журнале «Вяца ромыняскэ», что в лице Баранги современный румынский театр нашел горячего поборника злободневной темы.

Пьеса Баранги «Рецепт счастья», или «О чем не говорят», посвящена вопросам морали. Марин Вуя, старый член партии, подпольщик, имеющий семью, влюбляется в возрасте 45 лет в молодую, умную и красивую девушку Инну. На первый взгляд кажется, пишет рецензент, что речь идет об извечной теме «треугольника». Однако автор стремится дать современную версию драмы, привлекавшей драматургов всех времен. По мнению рецензента, Баранги старается показать новую мораль, придает новое содержание понятию о честности, утверждает ее общественное значение, восстает против животного эгоизма, насаждавшегося всей буржуазной системой: школой, семьей, церковью. Однако новая мораль прививается не гладко и требует жертв.

Главный вопрос, который ставится в пьесе, таков: связаны ли психологические переживания героев с новыми социальными условиями жизни? Показывая судьбы многих героев, автор отвечает на этот вопрос утвердительно.

Указывая на некоторую сюжетную растянутость, рецензент в целом положительно оценивает пьесу «Рецепт счастья».

ПРЕМЬЕРЫ СОВЕТСКИХ ПЬЕС

«Новый театральный сезон,— сообщает румынский еженедельник «Вяк ноу»,— начинается под знаком двух славнейших годовщин: 40-летия Великой Октябрьской социалистической революции и 10-летия провозглашения Румынской Народной Республики. Оба эти юбилея послужат поводом для осуществления ряда интересных постановок театрами нашей страны. В репертуаре наших театров — пьесы, принадлежащие к золотому фонду советской драматургии. В этих пьесах, посвященных революции и гражданской войне, слышится отзвук грандиозных битв народа, который поднялся, чтобы завоевать новую жизнь. В числе пьес, которые впервые будут поставлены на румынской сцене, «Оптимистическая трагедия» В. Вишневского, «Шторм» В. Билль-Белоцерковского, «Любовь Яровая» К. Тренева, «Разлом» Б. Лавренева, «Бронепоезд 14-69» Вс. Иванова.

Еженедельник «Контемпоранул» также помещает информацию о постановке советских пьес к 40-летию Октябрьской революции, сообщая, что театр им. Караджале и Государственный театр работают над постановкой «Золотой кареты» Л. Леонова. На сцене Государственного театра Арады пойдет «Обыкновенный человек» Л. Леонова, а пьеса Арбузова «Домик на окраине», которая в минувшем сезоне с успехом шла в Городском театре Бухареста и театре в Бакэу, теперь будет поставлена еврейским театром в Яссах. К 40-й годовщине Великого Октября ставится пьеса Арбузова «Таня».

СИРИЯ

«ЛИГА МОЛОДЫХ ПИСАТЕЛЕЙ»

Газета «Ан-Нур» сообщает, что в Дамаске создана «Лига молодых писателей». Лига опубликовала манифест, в котором, в частности, говорится: «Литературе принадлежит авангардная роль в выражении прекрасных устремлений

нашего народа, его революционности, его постоянной мечты о светлом завтрашнем дне». Члены Лиги заявляют: «Мы верим в реализм как метод отображения живой действительности в ее постоянном движении, потому что он соответствует потребностям растущих сил нашего общества».

КНИГИ СИРИЙСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Журнал «Ас-Сакафа аль-Ватания» сообщает о новых произведениях писателей Сирии. Романист Ханна Мина пишет два новых романа. В первом из них, который называется «Невидимая нить», рассказывается о жизни сирийских рабочих и городской бедноты. Название второго романа пока автором не сообщается. В этом романе Ханна Мина повествует о жизни сирийских моряков.

Поэт Ахмад Сулейман аль-Ахмад, известный своими переводами стихов Степана Щипачева, пишет в настоящее время пьесу в стихах и готовит к печати сборник своих переводов из болгарской поэзии.

США

МАЙКЛ ГОЛД О РОМАНЕ А. БЕССИ «АНТИАМЕРИКАНЦЫ»

В США вышел в свет роман Альвы Бесси «Антиамериканцы». Автор, в прошлом участник войны в Испании, является одним из многих голливудских писателей, подвергшихся преследованиям со стороны Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. Книга посвящена животрепещущим вопросам современной жизни США. Речь идет о двух журналистах — Бло и Лэнге, — подружившихся на фронтах республиканской Испании. В дальнейшем их пути расходятся. Бло по возвращении домой вступает в Коммунистическую партию и остается до конца верным делу, за которое он воевал в Испании. Для Лэнга Испания была случайным увлечением, эпизодом, так же как и пребывание в течение полугода в компартии. Он становится преуспевающим журналистом, беспринципным радиокомментатором и кончает тем, что выступает в качестве свидетеля в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, где предает своего бывшего друга.

Писатель Майкл Голд в рецензии на роман Бесси дает высокую оценку художественным достоинствам этого произведения. Особой заслугой автора Голд считает то, что он затронул одну из самых актуальных проблем американской действительности, что Альва Бесси сумел объединить в своем новом романе типические и индивидуальные черты современности.

«Альва Бесси,— пишет Голд,— является одним из немногих американских писателей, которые поддержали честь нашей литературы в эти тяжелые годы. Он осмелился писать о главных темах, а не о случайных, о типичном, а не попросту об эксцентричном...

Поистине удивительно,— продолжает Голд,— как мало писателей делают это сейчас. Вы можете прочитать много хороших, мастерски написанных романов Хемингуэя, Фолкнера, Колдуэлла и других авторов или, скажем, книги стихов Карла Сэндберга, Роберта Фроста, А. Одена, и вы никогда не узнаете, что в Америке идет холодная война, которая терроризировала большинство американцев, заставив их почти полностью отступиться от своих традиционных прав на свободу слова и мысли, что некоторые из них были затравлены и доведены до самоубийства, другие же выродились в доносчиков и предателей, что есть американцы, которые борются против террора».

«В своем великолепном новом романе «Антиамериканцы», — отмечает Майкл Голд, — Бесси создал подлинную монументальную картину того, что произошло с американцами за время трагических десятилетий войны, фашизма и маккартизма».

«НЕГРИТЯНСКИЕ ПИСАТЕЛИ ВСЕГДА В ЧЕРНОМ СПИСКЕ»

Известный негритянский поэт и новеллист Лэнгстон Хьюз выступил в Нью-Йорке на Национальном съезде писателей и драматургов, созванном Лигой американских авторов, с речью о тех притеснениях, унижении и враждебной изоляции, которым подвергаются вместе со всем негритянским народом негритянские писатели. «Негритянские писатели на всю жизнь зачислены в черный список только потому, — говорит Хьюз, — что у них черная кожа. Знаете ли вы, что в нашей стране имеются библиотеки, которые не держат книг негритянских писателей, даже если эти книги получены в подарок? Есть города, в которых негритянские газеты и журналы можно продавать только из-под полы. В Америке есть такие журналы, которые ни разу не напечатали ничего о неграх или написанное неграми. Есть киностудии, которые никогда не допускали к работе писателя-негра. Цветной барьер — вот начало всех этих ограничений для нас... Нельзя припомнить случая, чтобы Голливуд пытался привлечь к работе негритянского писателя, вне зависимости от того, насколько он знаменит.

Когда вы приходите в наши издательства, много ли вы встречаете негров среди редакторов, корректоров или даже секретарей? Часто ли вы видите рецензию, написанную негром, в наших журналах и воскресных приложениях?.. Если же это случается, то в 99 случаях из 100 негру поручают рецензировать только книгу, написанную другим негром... Между тем, критики такого уровня, как Арна Бонтан, Энн Петри и Дж. Сондерс Реддинг, могли бы написать интересную рецензию на книгу любого

писателя, белого или черного».

«Сейчас у нас в Америке есть более десятка перворазрядных широко известных и действительно хороших негритянских писателей, — рассказывает Хьюз. — Не находите ли вы странным, что среди них не менее половины живут за границей, вдали от своего народа, от его проблем, то есть источников творчества?

Ричард Райт, автор «Сына Америки», живет в Париже, Честер Хаймс, написавший «Первобытных людей»,— в Париже, Джеймс Болдуин, автор «Комнаты Джованни», — в Париже, Уильям Дэнби, автор «Битлкрик»,— в Риме, Ральф Эллисон, создавший «Невидимку», — в Риме, Фрэнк Йерби, автор дюжины бестселлеров, живет на юге Франции, Уильям Мотли, автор книги «Стучись в любую дверь», — в Мексике.

Почему? Почему? Потому, что камни, которыми швыряли в Отерин Люси, студентку Алабамского университета, были брошены и в них... потому, что унизительная сегрегация в школах, от Нью-Йорка до Нового Орлеана, унижает также и их. Один из упомянутых выше писателей сказал мне перед своим отъездом за границу: «Я не хочу, чтобы мои дети росли во мраке расового унижения».

ФРАНЦИЯ

ПОЛЕМИКА ВОКРУГ НОВОГО РОМАНА РОЖЕ ВАЙЯНА

Роже Вайян — автор романа «Пьеретта Амабль» («Бомаск»), пьесы «Полковник Фостер признает себя виновным» и других произведений—недавно опубликовал в издательстве Галлимар новый роман «Закон». Французская критика живо откликнулась на эту книгу рядом различных по своей оценке рецензий. «По сравнению с известными нам романами,— отмечает Андре Вюрмсер в «Леттр франсез»,— «Закон» представляет собой отход от больших социальных общений, которые прежде были характерны для этого писателя». Андре Вюрмсер резко критикует Роже Вайяна также за натурализм, которым проникнуты многие страницы «Закона».

Действие романа охватывает несколько дней в маленьком городке на юге Италии. Его героями являются люди разных социальных категорий, но писатель показывает столкновение между ними не в социальном плане, а главным образом в личном.

Пьер Куртад на страницах «Леттр франсез», отвечая на критику Вюрмсера, подчеркивает положительные стороны романа, которые, с его точки зрения, ускользнули от внимания Вюрмсера. Пьер Куртад считает, что Вайяну удалось описание города и нравов его жителей. Что касается роли рабочего класса в «Законе», то нельзя считать, что рабочие совсем отсутствуют в книге, замечает Куртад, указывая на рыбаков и безработных, действующих лиц романа. Далее Куртад выражает мнение, что если в «Законе» Вайян не высказывается так же критически о капиталистическом обществе, как прежде, то в будущих своих произведениях писатель такого масштаба, как он, «прямо или косвенно должен будет это сделать, хотя элемент критики присутствует и в «Законе».

Сходное мнение высказывает в «Юманите» Роже Бержерон, хотя он полагает, что по сравнению с прежними вещами в «Законе» нет ничего нового, что в нем есть отдельные фразы, которые лишь вводят в заблуждение читателей относительно истинных взглядов Вайяна. Бержерон в то же время высоко оценивает художественные достоинства новой книги писателя, выражая лишь сожаление, что она посвящена незначительной теме. Далее Бержерон пишет:

«На прошлой неделе Вайян заявил в интервью по поводу «Бомаск» и своего нового романа: «Отображать борьбу рабочих очень интересно. Это, вероятно, самая значительная тема нашего времени; я буду еще отображать борьбу рабочих». Его товарищи могут быть уверены, что Вайян отдаст свой несомненный талант более сильной, более серьезной, более значительной теме, чем та, которая поднята в его последнем романе».

На венецианском кинофестивале нынешнего года вне конкурса был показан новый фильм Рене Клера «Порт де Лила» — по названию станции метро в одном из рабочих районов Парижа. В главной роли — Жужу — известный французский актер Пьер Брассер. В главной женской роли — Марии — Дени Каррель.

На фото Пьер Брассер и Дени Каррель в «Порт де Лила».

(Журнал «Синемонд»)

ПРОДАЖА РУКОПИСИ РЕМБО

Недавно на аукционе Галери Шарпантье происходила распродажа рукописей и редких изданий, принадлежавших известному библиографу и коллекционеру доктору Люсьен-Гро, погибшему во время войны в гитлеровском концлагере. Среди продававшихся документов была рукопись поэмы Артюра Рембо «Озарения». Владельцы рукописи оценили ее в двенадцать миллионов франков.

Во время аукциона представитель государственной Национальной библиотеки

заявил, что считает недопустимым, чтобы оригинал этого классического произведения французской поэзии вновь попал в частную коллекцию. Между тем Национальная библиотека не располагает необходимыми средствами для приобретения рукописи. Поэтому, основываясь на установленном законом праве преимущественной покупки, представитель библиотеки потребовал приостановить продажу, пока Национальная библиотека не соберет необходимую сумму. Вскоре после этого в печати появилось обращение французского поэта Жана Кокто, призывающего «великодушных людей» оказать помощь Национальной библиотеке. «Я считаю излишним,— говорится в обращении,— объяснять, каким сокровищем является оригинал «Озарений». Его место лишь в Национальной библиотеке среди рукописей Паскаля и Расина».

Газета «Юманите», печатая это обращение, сопровождает его заметкой Арагона следующего содержания: «Администратор Национальной библиотеки вынужден побираться, чтобы приобрести один из наиболее примечательных памятников французской поэзии, рукопись, имеющую огромное значение не только для одной французской поэзии... Это чудовищно, в особенности если вспомнить, сколько миллионов уходит ежедневно на ведение войны в Алжире».

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

ДАР НЕМЕЦКОМУ НАРОДУ

По сообщению газеты «Националь-цейтунг», правительство Чехословакии решило передать ГДР ценнейший литературный архив — рукописи Генриха Манна. Дочь покойного писателя Леония Манн, проживающая в Чехословакии, рассказала, что ее отец передал незадолго до смерти часть своих рукописей Лиону Фейхтвангеру, который и переслал их из Лос-Анжелеса в Прагу.

Среди рукописей этого интересного наследия, которое поступает теперь в распоряжение Архива Генриха Манна в Берлине, находится и последнее произведение писателя: роман о Фридрихе II. Первая часть этого романа — «Кронпринц» — писателем закончена, вторая часть—«Король» — осталась незавершенной; имеются лишь отдельные фрагменты и отрывки.

Кроме этого, в коллекции имеются рукописи романов «Верноподданный», «Маленький город» и других.

«Националь-цейтунг» сообщает, что Архиву Генриха Манна в Берлине передаются также рукописи ряда статей, написанных писателем для журнала «Вельтбюне», издававшегося после 1933 года в Праге.

Среди документов из литературного наследия Генриха Манна представляет интерес его письмо, адресованное секретарю Союза советских писателей А. Фадееву и датированное декабрем 1941 года, в котором говорится:

«Я безгранично восхищен стойкостью советского народа, его волей, его твердой решимостью, его преданностью идеям, которые стóят того, чтобы за них героически умирать или с ними жить».

ИЗДАТЕЛЬСТВА К 40-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

К 40-летию Великого Октября в Чехословакии выходит ряд исторических трудов и художественных произведений.

В числе опубликованных книг — работа молодого историка И. Колейи «Революционное рабочее движение в Моравии и Силезии в 1917—1921 гг.» и работа И. Хорватовой-Отагаловой о мировом значении Октябрьской революции. Кроме этого, публикуется книга В. Оливовой «Чехословацко-советские связи в 1918—1920 гг.» и труд О. Ржиги «Значение Октябрьской социалистической революции».

Из художественных произведений издаются книги И. Ольбрахта «Путь к познанию», М. Горького «Клим Самгин», рассказ М. Шолохова «Судьба человека», роман А. Толстого «Хождение по мукам» и ряд других.

ЮГОСЛАВИЯ

ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИЙ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ЮГОСЛАВИИ

Жюри комиссии по присуждению премий Союза писателей Югославии в составе Велибора Глигорича, Бошко Новаковича, Новака Симича и Ацо Шопова присудило премии Союза за 1956 год. Лучшим произведением большой прозы признан роман Ивана Дончевича «Миротворцы»; Цене Випотник (Словения) получил премию за сборник стихотворений под названием «Дерево в одиночестве».

За рассказ «Большой Мак» премию получил Эрих Кош, а Исидора Секулич награждена за сборник критических статей «Речь и язык — показатель культуры народа».

Словенский писатель Юш Козык премирован за целый ряд произведений. В качестве премии опубликовано полное собрание сочинений автора на сербско-хорватском, словенском и македонском языках.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ ТРУДОВ В. И. ЛЕНИНА

К 40-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции белградское издательство «Культура» издает ряд трудов В. И. Ленина об Октябрьской революции.

Главный орган Социалистического союза трудового народа Югославии в Хорватии «Весник» опубликовал в отрывках перевод книги Гиля «Шесть лет с Лениным».

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

Йожеф Фодор — Jozsef Fodor (род. в 1898 г.) — венгерский поэт.

Печатаемое стихотворение получено редакцией в рукописи.

Шон О'Кейси — Sean O'Casey (род. в 1884 г.) — ирландский писатель и общественный деятель, автор многих романов, пьес и публицистических статей. Печатаемая статья получена от автора в рукописи.

Пьер Гамарра — Pierre Gamarra (род. в 1919 г.) — французский писатель. См. о нем «Иностранную литературу» № 10, 1956 г. Печатаемая статья написана по просьбе редакции.

Фрэнк Харди — Frank Hardy (род. в 1917 г.) — австралийский писатель. О нем см. «Иностранную литературу» № 7, 1957 г. Печатаемая статья получена редакцией в рукописи.

Мухаммед Диб — Mohammed Dib (род. в 1920 г.) — алжирский писатель. О нем см. «Иностранную литературу» № 5, 1955 г. Печатаемый очерк получен от автора в рукописи.

Леон Кручковский — Leon Kruczkowski (род. в 1900 г.) — польский писатель, автор романов «Кордиан и Хам» («Kordian i Cham», 1932 г.), «Павлиньи перья» («Pawie pióra», 1935 г.), пьесы «Немцы» («Niemcy», 1949 г.). Печатаемый нами очерк получен от автора в рукописи.

Лион Фейхтвангер — Lion Feuchtwanger (род. в 1884 г.) — известный немецкий писатель. О нем см. «Иностранную литературу» № 1, 1957 г. Печатаемое нами стихотворение получено от автора в рукописи.

Лэнгстон Хьюз — Langston Hughes (род. в 1902 г.) — американский негритянский поэт и писатель. Начал печататься в 1925 г. Романы, рассказы и стихи Хьюза неоднократно издавались в СССР: «Смех сквозь слезы» («Not Without Laughter», 1932 г.), «Здравствуй, революция!», 1933 г., «Нравы белых» («The Ways of White Folks», 1936 г.), «Неприятное происшествие с ангелами» («Trouble with Angels», 1955 г.). Печатаемое нами стихотворение взято из журнала «Нью мэссиз» от 22 января 1946 г.

Мария Майерова — Marie Majerova (род в 1882 г.) — старейшая писательница, народный художник Чехословакии, автор многих романов и очерков. Печатаемая нами повесть взята из сборника «Семь могил» («Sedm Hrobů», 1956 г.).

Людмил Стоянов (род. в 1888 г.) — болгарский поэт и прозаик. Начал печататься в 1903 г. Автор ряда романов и повестей. В русском переводе изданы повести «Холера», «Мехмед Синап», а также «Избранное». Печатаемый нами отрывок из книги «Детство, молодость и война», над которой писатель работает в настоящее время, получен в рукописи.

Ламар (Лалю Маринов) (род. в 1893 г.) — болгарский поэт. Начал печататься в 20-х годах. Его перу принадлежат поэмы «Восток и Запад» («Изток-Запад», 1944 г.), «Горан Горинов», 1946 г. и ряд сборников стихотворений. Печатаемое нами стихотворение взято из книги стихов «Боевые песни» («Бойни песни», 1949 г.).

Войтех Мигалик — Vojtech Mihalik (род. в 1926 г.) — словацкий поэт. О нем см. «Иностранную литературу» № 2, 1957 г. Печатаемое нами стихотворение взято из сборника «Вооруженная любовь» («Ozbrojená láska», 1953 г.).

Эрих Вайнерт — Erich Weinert (1890—1953) — немецкий поэт и переводчик, известен многими сборниками стихотворений. См. «Иностранную литературу» № 8, 1956 г., стр. 255. Печатаемое нами стихотворение взято из сборника «Глава II мировой истории» («Kapital II der Weltgeschichte», 1955 г.).

Михай Бенюк — Mihai Beniuc (род. в 1907 г.) — румынский поэт. О нем см. «Иностранную литературу» № 2, 1957 г. Печатаемый нами очерк получен от автора в рукописи.

Станислав Выгодский — Stanisław Wygodzki (род. в 1909 г.) — польский поэт, прозаик и переводчик. Автор сборника стихов «Дневник любви» («Pamiętnik miłości», 1948 г.), поэмы «Читая Энгельса» («Nad Engelsem», 1950 г.) и сборников рассказов «Свидание» («Widzenie», 1955 г.), «Пустынная площадь» («Pusty Plac», 1955 г.). Печатаемый рассказ взят из сборника «На шоссе» («Przy Szosie», 1957 г.).

Мойси Залошния — Moisi Zaloshnia — молодой албанский поэт и прозаик. Печатаемый нами рассказ взят из журнала «Нёндори» № 2, 1957 г.

Джеймс Олдридж — James Aldridge (род. в 1918 г.) — английский писатель, хорошо известный советскому читателю. См. «Иностранную литературу» № 4, 1957 г. Печатаемый нами роман получен от автора в рукописи.

Главный редактор **А. Б. Чаковский.**

Редакционная коллегия:
И. И. Анисимов, М. Я. Аплетин, М. О. Ауэзов, Н. Н. Вильмонт,
С. А. Герасимов, С. А. Дангулов (зам. главного редактора),
Т. Л. Мотылева, Л. В. Никулин, С. В. Образцов,
Н. И. Родионов (зам. главного редактора), **С. П. Щипачев.**

Адрес редакции: Москва, ул. Воровского, д. 52, журнал «Иностранная литература».
Телефоны: Д 5-17-83, Д 5-17-10, Д 5-19-81.

Художеств. редактор *М. М. Милославский.* Технический редактор *А. Ф. Марков.*

А 09362. Сдано в производство 19/IX 1957 г. Подписано к печати 17/X 1957 г.
Бумага 70×108 1/16 = 9,0 бум. л. + 1 вкл. П. л. 24,66 + 1 вкл.
Зак. 2177. Цена 8 руб.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 8 руб.